Владимир Тендряков

1

Владимир Тендряков



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Владимир Тендряков

Собрание сочинений в четырёх томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Владимир Тендряков

Собрание сочинений

ТОМ
1

Повести

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р2
Т33



Вступительная статья
Е. СИДОРОВА

Оформление художника
С. ГАННУШКИНОЙ

Т $\frac{70302\text{-}236}{028(01)\text{-}78}$ подписное



МУЖЕСТВО ПРАВДЫ

(О прозе Владимира Тендрякова)

I

Владимир Федорович Тендряков работает в литературе вот уже тридцать лет, и каждое новое его произведение вызывает интерес читателей и критики, встречает признание, несогласие, будит мысль и совесть. Мало можно назвать современных прозаиков, кто бы с таким постоянством, с такой упорной страстью отстаивал право советского художника на постановку острейших социально-нравственных проблем нашего общества, кто бы день за днем, впрямую, задавал вопрос о смысле человеческого существования себе и своему читателю. В творчестве В. Тендрякова неумолчно звенит туго натянутая струна гражданского беспокойства. В этом смысле он очень целен и последователен. Его книги вызваны к жизни жаждой художественного познания действительности, стремлением писателя вынести свое суждение о ней, воззвать к нашему сознанию, воспитать или пробудить в читателе общественное неравнодушие.

Поэтому разговор о его повестях и романах сразу вступает в зону самой действительности, мы начинаем спорить о жизни, окружающей нас, о сложных духовных, экономических, моральных процессах, затронутых прозаиком. Но при этом критика, поддерживая писателя за его пафос, бесстрашие и прямоту в постановке вопросов, иногда с сожалением констатирует несовпадение «проблем» и «прозы» в некоторых тендряковских произведениях: «Безусловно, существует логика решения проблем. Но существует и логика построения художественной прозы. Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию

вещи, а не наваливаться на нее сверху, иначе плохо и для проблемы и для прозы» [1]. Да и те критики, которым «перевес» проблемности не кажется слабостью прозаика, а лишь ярко выраженным свойством его писательской натуры, непременно считают своим долгом помянуть о художественных «проторях и убытках», сторицей окупающихся, впрочем, «значительностью, серьезностью и современностью его слова, общественной значимостью и остротой социальных конфликтов и нравственных проблем его творчества» [2].

Вот, по существу, два крыла критического осознания прозы Владимира Тендрякова:

гражданcки отзывчивый социолог и моралист, но порой «недостаточно» художник, от чего мелеет глубина и самой его проблематики;

«недостаточно» художник? Может быть. Но зато все сторицей окупается остротой и общественной значимостью конфликтов и проблем его творчества.

Оба суждения, хотя и в неодинаковой степени, признают художественную неполноту тендряковского мира. Не могу согласиться с этим. Стоит перечитать сегодня одну за другой все книги писателя, вызвавшие в свое время обильную критику, в том числе и заведомо недобросовестную, прямо отрицающую как раз правомерность проблематики и конфликтов некоторых произведений прозаика, чтобы убедиться в цельности именно проблемно-художественного мира этого писателя. Можно спорить, не соглашаться с его активно проповеднической манерой, со стремлением высказать наболевшее не столько в объективно-пластической образной форме, сколько в прямом напоре рассуждений героев, где всегда явственно слышен и авторский голос. Можно отрицать действенность и универсальность притчеобразных ситуаций, весьма характерных для повестей Тендрякова. Но при этом нельзя, на мой взгляд, не видеть резко очерченную художественную оригинальность этого пера. Логика решения жизненно важных проблем есть для Тендрякова и художественная логика, они слитны, нераздельны, питают друг друга. Искусство для него начинается с идеи и живет идейностью. Мысль разворачивается в образах, проверяет себя в художественных аргументах на площадке повести или романа и, как правило, разрешается в финале, ставя перед нами и героями новые вопросы, новые проблемы.

---

[1] Инна Соловьева. Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова). «Новый мир», 1962, № 7, с. 249.

[2] Феликс Кузнецов. Перекличка эпох. Очерки, статьи, портреты.— М., «Современник», 1976, с. 276.

Нельзя забывать также, что В. Тендряков сформировался как писатель в активной полемике против так называемой «теории бесконфликтности», имевшей достаточно широкое распространение в нашей послевоенной беллетристике. Острая конфликтность, предельный драматизм ситуаций, особенно нравственных коллизий — самая характерная черта тендряковского стиля. Он ощущает правду как поиск неравнодушной, активной мысли и открыто, без обиняков, стремится поведать эту правду людям, отнюдь не претендуя на всю ее объективную полноту, на собственное всеведение. Мужество и откровенность правды есть тот нравственный фундамент, на котором держится художественный мир Тендрякова, и стоит он прочно, и простоит долго, до тех пор, пока жизненные противоречия, его питающие, не будут исчерпаны самой действительностью.

Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская Вологодской области в семье сельского служащего. После окончания средней школы ушел на фронт и служил радистом стрелкового полка. В боях за Харьков получил тяжелое ранение, демобилизовался, учительствовал в сельской школе, был избран секретарем райкома комсомола. Первой мирной осенью поступил на художественный факультет ВГИКа, а затем перешел в Литературный институт, который окончил в 1951 году. С 1948 года В. Тендряков — член Коммунистической партии. Работал корреспондентом журнала «Огонек», писал сельские очерки, в 1948 году опубликовал свой первый рассказ в альманахе «Молодая гвардия».

Но в нашем читательском сознании Тендряков заявил о себе сразу, крупно и заметно, в начале пятидесятых годов, словно бы миновав пору литературного ученичества. Время, общественная ситуация способствовали появлению целой плеяды писателей, устами которых правдиво заговорила доселе почти молчаливая или пейзански подгримированная послевоенная деревня. Вслед за очерками и рассказами Валентина Овечкина, Гавриила Троепольского в ранних произведениях В. Тендрякова были публично обнажены серьезные противоречия колхозной жизни тех лет, ставшие впоследствии предметом пристального общественного внимания.

Сельская действительность сороковых — пятидесятых годов, сложный процесс восстановления в деревне ленинских норм партийной и общественной жизни нашли в лице Тендрякова сильного, смелого художественного интерпретатора.

Другие устойчивые мотивы его прозы — школа и подросток, религия, как эрзац духовности, искусство.

Но о чем бы ни писал Тендряков, какую бы жизненную ситуацию ни выбирал, рассмотрение, художественный анализ действительности всегда протекают у него при свете нравственных требований совести.

Совесть в этическом кодексе Владимира Тендрякова — основополагающее понятие, только она способна осветить человеку глубокую правду о нем самом и окружающем мире.

II

Уже в первой своей повести «Падение Ивана Чупрова» (1953) В. Тендряков обращается к истории нравственного перерождения человека, корыстно использующего свое положение в обществе. Не о материальной личной корысти здесь идет речь, откровенные рвачи и приобретатели не интересуют писателя. Ему важно понять другой нравственный феномен, издавна закрепленный в таких, например, формулах, как «ложь во благо» или «цель оправдывает средства». Тема эта не оставляет, тревожит Тендрякова, он возвращается к ней постоянно, углубляя и варьируя ее в разных произведениях.

Председатель колхоза Иван Чупров ради колхозного «блага» обманывает государство и в результате морально гибнет сам и приводит к развалу хозяйство.

Знатная свинарка Настя Сыроегина, подталкиваемая ласковой, но твердой рукой другого председателя, встает на путь очковтирательства и, не выдержав душевных мук, стыда перед людьми, совершает в отчаянье преступление («Подёнка — век короткий», 1964).

В романе «Тугой узел» (1956) секретарь райкома партии Павел Мансуров шаг за шагом утрачивает высокие нравственные ориентиры и, наконец, перестает различать добро и зло. В его характере писателю очень точно удалось раскрыть психологию волюнтаризма, не лишенного своеобразной отваги и риска: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Энергичный Мансуров хорошо начал, но плохо кончил, ибо ради собственной карьеры, взвалив на район повышенные, нереальные обязательства, пренебрег людьми, незаметно «вывел» их за пределы своих представлений о смысле борьбы за новое, о материальном прогрессе на селе. Искаженная, мистифицированная сознанием Мансурова цель неизбежно породила ложные средства для ее достижения и вызвала деловой и нравственный крах этого партийного руководителя.

Но особенно полно и впечатляюще раскрыта психология морального и социального перерождения в повести Владимира Тендрякова «Кончина» (1968).

Умирает Евлампий Никитич Лыков, знаменитый человек по области, председатель колхоза-миллионера «Власть труда». Умирает еще не старым, на шестьдесят третьем году жизни, в собственном доме, который «отличался от других домов не красотою, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа,— в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна».

Неспроста начинает Тендряков свою повесть с описания лыковского дома. Дом несет отпечаток характера своего хозяина, которого большинство колхозников-односельчан почитают чуть ли не за пророка, хозяина, кормильца, давшего им безбедную жизнь.

Но какой ценой пришло материальное благополучие в колхоз «Власть труда»?

Если вдуматься, страшная эта цена. «Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то и нет семьи, есть казенная организация».

Колхоз Евлампия Лыкова богатеет даже в тяжкие дни войны. Мужские руки взятых на фронт пожарцев, лошадей и ненадежную эмтээсовскую технику заменили руки эвакуированных женщин, придирчиво, как на ярмарке, отобранных председателем. Померзший картофель из соседних сел скупался за бесценок, а то и вывозился даром и пускался на патоку, затем на рынок. А рядом, в деревне Петраковка, пацан малой — «тугой барабан живота на кривых тонких ножках» — остановившимися светлыми глазами глядит на хлеб и яйца не с жадностью, а с изумлением. Море нищеты и горя омывает лыковский остров. Два мира через узкую дорожку колхозных границ.

«Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде» — так долгие годы приучались думать и говорить вслух пожарцы. Почти обожествляя своего крутого нравом, оборотистого председателя, они отдали ему право все судить и решать за них.

Писатель глубоко вскрывает диалектику лыковского перерождения. Мы следим за Евлампием Никитичем на протяжении мно-

гих лет — от первых коммун до конца пятидесятых годов. Не родился Лыков хозяином и «богом» для своих односельчан, был как все, только, пожалуй, умнее и способнее других и умело пользовался обстоятельствами, которые то и дело принуждали его входить в сделку с моральными принципами, ставить материальные интересы своего хозяйства превыше всего на свете. Рано выйдя в передовые, в «маяки», он обрел и общественный вес, и тогда-то появилось сладостное чувство вседозволенности, объективно поощряемое почетом, орденами, привычным местом в президиумах.

Характер Лыкова, конечно, по-своему феноменален, но одновременно он типизирует собственной судьбой некоторые серьезнейшие противоречия нашей колхозной истории. Типизация для Тендрякова есть, по его словам, «характерное, доведенное до исключительности».

Пожалуй, ни в одном своем произведении писатель не достигал такой силы обобщения. «Лыковщина» есть резкое искажение самой идеи социалистического строительства. Богатея на несчастье других, цепко огородив свой колхоз удельной границей благополучия, Лыков разрушается нравственно и сеет вокруг себя моральное разложение. Он окружен прихлебателями, вроде своего заместителя Валерия Николаевича Чистых или личного шофера и телохранителя Алексея Шаблова. Зло приносит он и своей семье: спиваются сыновья, сохнет от горя бессловесная Ольга, вынужденная терпеть бесстыдные любовные похождения своего стареющего мужа.

Писатель не упрощает конфликта. Отрицание «лыковщины» приходит не сверху, как это нередко бывало в книгах на подобную тему, а рождается изнутри, в недрах самого колхоза «Власть труда». Эти силы зреют исподволь и наиболее концентрированного выражения достигают в образе агронома Сергея Лыкова, племянника председателя, объявляющего поначалу неравный, но в конечном итоге победный бой Евлампию Никитичу.

Сергей не просто доказал, что скудная земля Петраковки, которая после укрупнения колхозов в середине пятидесятых годов была присоединена к хозяйству «Власть труда», тоже способна давать людям хлеб. Он сделал гораздо больше: он посеял сомнения в самих основах хозяйственного и нравственного кодекса Евлампия Никитича, делившего мир на «свое» и «чужое», пробудил в рядовых колхозниках чувство хозяина своей земли. Пусть «лыковщина» еще не сдалась, еще живет в людях, первый смертельный удар ей уже нанесен.

«Кончина» написана сильной, плотной прозой; характеры героев выявлены до конца, психологическое и социальное живет в

них слитно, нераздельно. Художественное мастерство Тендрякова ярко проявилось здесь и в самой стилевой ткани произведения, в слове, которое временами обретает поэтический пафос, как бы контрастируя с основными драматическими красками повествования.

«Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме зелени — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб вступает в пору юности.

Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и вглядись — серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер,— по зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминает старости.

Желтизна, соломенное золото — вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.

Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.

Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.

Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.

Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди...

Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивились своим полям. Изумлялись до страха, до оторопи...

— Господи! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас... Господи!

Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье».

Будь моя воля, я непременно поместил бы этот отрывок из «Кончины» в наши школьные хрестоматии по литературе. Советская «деревенская» проза и публицистика посвятила хлебу насущному немало сильных, взволнованных страниц, но даже на фоне богатой традиции тендряковские строки о хлебном колосе выделяются своей безусловной поэзией. Важно только подчеркнуть, что для Тендрякова это не просто ода хлебу, не «лирическое отступление», которое у иного прозаика и само по себе было бы хорошо и уместно, а все тот же «прозаический», «счастливо-отчаянный» взгляд измученных петраковских баб, верящих и не верящих в свое грядущее счастье.

Очень редко в голосе Тендрякова прорывается прямая нежность. Обычно он жестковат и суров в описаниях, особенно в пейзажах, которые под стать драматическим событиям, свершающимся в его книгах. Но здесь — исключение, здесь крестьянская душа очнулась, дала себе волю и выплеснулась в словах бесхитростно-точных, согретых сердечной памятью и болью.

Эта память сердца живет и в повести «Три мешка сорной пшеницы», действие которой протекает последней военной осенью в одном из северных сельских районов. Бригада уполномоченных прибыла сюда по поручению области добыть хоть какой-нибудь хлеб для фронта. И вновь решающим для Тендрякова становится вопрос о «средствах», которыми достигается в конкретно-исторических условиях та или иная справедливая цель.

Существо и противостояние характеров заявлено здесь, как всегда у Тендрякова, с графической четкостью и определенностью. Даже в портретах героев писатель, как правило, сразу выявляет собственную экспрессию, дает персонажам прямую или косвенную нравственную оценку.

Вот первое представление читателям членов бригады по хлебозаготовкам. Крупный план выделяет два контрастных портрета. Именно эти герои и схлестнутся потом в непримиримом конфликте.

Первый — заместитель предрика соседнего района Илья Божеумов, «долговязый, тонконогий, в короткой дошке, в хромовых сапогах с галошами, бродил возле машины, заводил беседы и уже начальственно помахивал костлявым пальцем — наставлял.

Второй стоял в общей куче — молодой парень с застенчиво румяной физиономией, в шинельке, тесно ушитой в талии, при-

осанившийся в петушиной стоечке — одна нога (раненая) чуть поджата, тяжесть тела перенесена на толстую, выструганную из добротной доски — полуторадюймовую палку. Женька Тулупов, недавно вернувшийся из госпиталя, выдвинутый вторым секретарем Полдневского райкома комсомола...

Он глядел на всех внимательными, разнеженно теплыми глазами».

Божеумов исповедует методы угроз и насилия. Он требует ареста председателя колхоза Адриана Фомича, сурового наказания Женьке Тулупову за сокрытие ими трех мешков сорной пшеницы, последнего колхозного зернового запаса. Тулупов и старик председатель взывают к сердцу трудящихся баб и подростков, действуют не окриком, а убеждением, и люди отдают последнее, по щепотке собранное личное зерно, пусть крохи, но все же шесть мешков на деревню. Но те, три «общих» мешка остаются неприкосновенными, без них колхозу и вовсе гибель. Кто осудит за это Адриана Фомича и Тулупова?

Для Божеумова хороши все средства, даже самые крайние, лишь бы выполнить задание о хлебопоставках. Другие коммунисты — секретарь райкома Бахтьяров, председатель сельсовета Кистерев, комсомольский вожак Тулупов постоянно думают о человеческой, моральной цене собранного хлеба. «Любой ценой» — этот лозунг не может не войти в противоречие с их представлениями о должном, необходимом, и они отвергают слепую букву приказа. Не случайно двое из них прошли фронт, видели в глаза смерть и, вернувшись инвалидами в тыл, стремятся не столько закрепить на селе военные порядки, сколько по возможности преодолеть их, помочь полуголодным людям, свершающим ежедневный трудовой подвиг во имя общей победы, выстоять и сохранить себя и родную землю для будущих мирных всходов.

В «Трех мешках сорной пшеницы» есть идейный мотив, особенно важный для понимания прозы Тендрякова. Книга «Город Солнца» великого утописта Т. Кампанеллы, с которой не расстается Женька Тулупов,— весьма многозначительный, хотя и несколько рассудочный, символ. Писатель сталкивает абстрактный идеал с реальностью и решительно развенчивает всякие умозрительные, пусть и самые благородные, представления о должном. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» — это не для Тендрякова, не для его героев. В финале повести Тулупов навсегда прощается со сказкой, с Кампанеллой, а в сущности, со слепой верой в авторитеты, как бы высоки они ни были. Необходимость самому пройти до конца тернистый путь познания жизни — вот что отстаивает Тендряков своим творчеством.

Нет такого социального блага, нет такой праведной цели, которые оправдали бы недоверие к человеку, принижение его личности, не ставили бы в центр его душу, его духовные и материальные интересы. Социальный мир тендряковской прозы постоянно сопрягает хозяйственные и нравственные проблемы, польза дела для автора и его положительных героев неизменно включает в себя принципы социалистического гуманизма, а их нарушение рано или поздно с неумолимой последовательностью влечет за собой кризис не только моральный, но и хозяйственный.

В. Тендряков в своих повестях о недавнем прошлом нашей колхозной деревни проводит эту идею исторического и нравственного «возмездия». Он любит наказывать моральное и экономическое «зло», выносить ему приговор, не подлежащий обжалованию. В острой борьбе побеждает новое, истинно коммунистическое, олицетворенное в характерах Игната Гмызина («Тугой узел»), Сергея Лыкова («Кончина»), Евгения Тулупова («Три мешка сорной пшеницы»). Но победа эта ставит перед героями новые проблемы, которые надобно решать в новых исторических условиях. Жизнь в книгах Тендрякова — вечное конфликтное движение.

III

Воспитание высокой души — другая область неустанных художественных забот писателя. Он нередко обращается к школе, пишет подростков, и здесь, в отличие от характеров взрослых, его очень интересуют психологические детали, нюансы, переливы неустоявшегося духовного мира. Таков, например, Дюшка Тягунов из самой светлой, поэтической повести Тендрякова «Весенние перевертыши» (1973).

Огромный, сложный мир открывается тринадцатилетнему мальчишке. Мир, где есть любовь, святое чувство товарищества и тут же рядом — злоба и жестокость, унижение человека и горе. Душа подростка растет, впервые постигая противоречия жизни, постигая само время. Отлично пишет Тендряков это состояние — щедро, тонко, влюбленно в своего маленького героя:

«Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!»

Дюшка Тягунов с честью выдерживает первые жизненные испытания. Он не испугался своего врага Саньки Ерахи и в борьбе с ним отстоял личную независимость. Он приобрел замечательного друга — Миньку, поначалу, казалось бы, мальчика робкого, слабого десятка, а на поверку — смелого и верного товарища. Дюшка учится защищать добро, для Тендрякова это главное в человеке.

Он убежден, что советская школа призвана не только давать детям знания, но и прививать маленьким гражданам добрые чувства, воспитывать активность в борьбе со злом, равнодушием, эгоизмом. Но всегда ли школа выполняет эту свою миссию? Уже первый роман Тендрякова «За бегущим днем» (1959), посвященный жизни сельского учителя, был открыто полемичен, задевал за живое, касался горячих общественных проблем. Писатель выступил против серьезных недостатков школьного преподавания, и хотя роман не проблемная статья, не очерк, он вызвал целую дискуссию в педагогических кругах страны.

Столь же, если не более дискуссионной оказалась повесть В. Тендрякова «Ночь после выпуска» (1974). Если в романе «За бегущим днем» писатель стремился убедить общество в необходимости перестройки всей системы школьного образования, дабы теснее связать его с производством, с трудовой деятельностью, а также попытаться лучше учесть индивидуальность каждого ученика, то повесть «Ночь после выпуска» прямо обращена к острейшим проблемам нравственности. Речь в ней идет о воспитании чувств и о той роли, которую играет школа в этом сложном процессе.

Учительство в самой натуре Владимира Тендрякова. Его нельзя назвать писателем, чьи образы увлекают нас непредумышленностью и свободой человеческого жеста и поступка. Внутренний мир героев Тендрякова чаще всего детерминирован их устоявшейся социально-нравственной сутью. Но зато интересно и поучительно бывает следить за художественной мыслью Тендрякова, который взламывает течение обыденности продуманным композиционно-сюжетным взрывом, будто ставит моральный эксперимент и устраивает своим героям проверку на их человеческую подлинность. Путь к истине и добру протекает у Тендрякова, как всегда,

драматически, через нравственный кризис, который человеку надо пройти самому, до конца, без оглядки.

«Ночь после выпуска» — именно такая нравственная проверка шести юношам и девушкам, только что окончившим десятилетку. Они собираются ночью на речном обрыве и решают впервые в жизни откровенно сказать друг другу в глаза, что каждый из них думает о присутствующих.

Поначалу все это воспринимается почти как веселая игра, шутка, но вскоре обретает нешуточное содержание. В хороших ребятах нечаянно открывается жестокость, душевная недостаточность, способность больно ранить друг друга. Тендряков мало озабочен тем, чтобы создать иллюзию правдоподобности ситуации. Ему изначально важно поставить героев в исключительные условия, которые могли бы выявить их моральный потенциал, обнажить подсознательное, редко проявляющееся в обычных обстоятельствах. И выяснилось, что каждый из юных героев, в сущности, «думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...».

Такой вывод, принадлежащий Юлечке Студенцевой, лучшей ученице школы, конечно же, не совсем справедлив, рожден предельным нравственным максимализмом. Но и сам писатель если и не солидарен до конца со своей героиней, то все же близок к ее оценке происходящего. Тендряков решился на жесткий эксперимент ради того, чтобы во весь голос сказать об опасности эгоизма, рационализации чувств у современных подростков.

Но не только ради этого. В повести «Ночь после выпуска» просматривается и иной, более глубокий социальный срез. Писатель обнажает перед нами некую модель коллективной психологии, когда личность не всегда способна управлять собой и невольно следует «правилам», которые диктует мгновенное общежитие. Игра, затеваемая подростками, вынуждает их пренебречь моральными нормами, которые для каждого из них в отдельности были бы непреложными в иных, обычных обстоятельствах. Так в структуре маленького коллектива Тендряков обнаруживает свои законы, свои тайные противоречия, имеющие не частный, а общий смысл.

Композиция повести совмещает два параллельных плана: спор в учительской, своеобразный диспут педагогов о недостатках школьного образования, и разговор ребят у реки. Ночь после выпуска стала серьезным экзаменом и для учеников и для учителей, и многие не выдержали его.

Школа дала ребятам знания, но не воспитала чувства, не научила их любви и добру. На выпускном вечере Юля Студенцева

неожиданно для всех бросает в зал взволнованные и искренние слова: «Школа заставляла меня знать все, кроме одного,— что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудной, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!»

Ночь после выпуска кончилась. Расходятся по домам учителя и ученики. Одни скоро опять войдут в классы. Другие отправятся в новую самостоятельную жизнь. Тяжело переживая нравственное потрясение, каждый из ребят, может быть, впервые глубоко задумался о сущности человеческой души, о себе самом и о коллективе, которых, оказывается, не знал. «Мы научимся жить»,— говорит Игорь, и этими словами надежды писатель завершает свою повесть.

Столкновение добра и зла в творчестве Тендрякова нередко принимает характер притчи. Это помогает прозаику художественно выразить обобщенно-философский, нравственный смысл происходящего. «Натуральные» картины, события, случаи во многих его произведениях обязательно содержат и моральный вывод общего, универсального свойства.

Так, к примеру, построены известные повести Владимира Тендрякова «Ухабы» (1956), «Суд» (1960), «Тройка, семерка, туз» (1961), «Находка» (1965). Их герои, попадая в трудные, драматические обстоятельства, проходят испытания совестью.

Четыре повести — четыре человеческие смерти.

Гибнет молодой парень, попав в автомобильную аварию, и виновником его кончины становится директор МТС Княжев, отказавшийся, ссылаясь на инструкции, дать трактор, чтобы доставить пострадавшего в больницу («Ухабы»).

Умирает от нечаянного удара ножом бандит и карточный шулер Николай Бушуев, но этого происшествия в таежной бригаде сплавщиков могло бы и не быть, если бы не трусость и малодушие юного Лешки Малинина, не побоявшегося с риском для жизни спасти тонущего человека, но предавшего законы совести в другую критическую минуту («Тройка, семерка, туз»).

Сложная психологическая драма разыгрывается в повести «Суд». Профессиональный охотник-медвежатник Семен Тетерин, человек цельный и мужественный, совершает нравственное предательство. Не выдержав напора следователя, он уничтожает

единственную улику, которая свидетельствует, что случайное убийство на охоте совершено начальником крупного строительства Дудыревым, «выдающейся личностью» в районе, а не скромным, безответным фельдшером Митягиным. Суд оправдывает Митягина, но убил-то человека Дудырев, и единственно, кто мог это доказать, был он, Тетерин. Но не доказал, спасовал, дрогнул и приговорил себя к мукам собственной совести. А этот суд самый тяжкий.

И, наконец, в «Находке» Тендряков показывает оживание добра и совести в душе угрюмого, сурового инспектора рыбнадзора Трофима Русанова, по прозвищу Карга. Его пробуждению к истинной духовной жизни, к человеческому милосердию и состраданию, помогает «находка» — маленький живой комочек тепла, новорожденный ребенок, найденный им в глухой лесной избушке. Русанову не удалось спасти чужую жизнь, но случай, который на время вверил ему ее, вернул к жизни его душу, она оттаяла, согрелась и повернулась действенным сочувствием к другим людям.

Борьба добра и зла неразрывно связана для Тендрякова с поисками смысла человеческого существования. Не случайно так настойчиво обращается он к анализу религиозного мировоззрения, ведет с ним непримиримый идейный спор, ищет глубокие причины его живучести не только в отсталом или еще не оформившемся сознании («Чудотворная», 1958), но и в среде интеллигенции. И здесь В. Тендряков оказался, по существу, первым советским писателем, который вывел на литературную сцену современного молодого, образованного богоискателя, Юрия Рыльникова, героя повести «Апостольская командировка» (1969).

Наверное, каждый из нас задавался проклятым, вечным вопросом, который мучит Рыльникова, не дает ему покоя и наконец приводит его к попыткам отыскать смысл личного существования в религиозном миросозерцании.

«Я появился — свершившийся факт.

А для чего?

Мое «Я», как и «Я» миллиардов других, закончится жалким холмиком земли.

И это так же неоспоримо, как и то, что в данный момент я существую.

Жалкий, бессмысленный холмик земли. Для него живу, к нему иду, не промахнусь — там исчезну.

Конечная цель — могила!

В бескрайней Вселенной нет ничего бессмысленней меня».

Герой «Апостольской командировки» проходит несколько кругов сомнений и самопознания. Он пытается отыскать высший смысл, оправдание своей жизни и понять духовные основы бытия. Ему тридцать три года — возраст Христа — деталь весьма существенная, откровенно символическая. Очень важна также и профессия героя: физик-теоретик, однако по специальности не работает и занимается в столичном журнале поверхностной научной популяризацией. Рыльников остро чувствует неудовлетворенность собой, он тоскует по духовности, его непокой вызван внутренней необходимостью отыскать точку опоры. Жажда цельности гонит героя прочь от любящей семьи, от столицы в глубинку, в глухую провинцию — к богу.

Вновь Тендряков проводит нравственный эксперимент с определенной этической целью. Бог Рыльникова вымечтан, выдуман героем, став для него жалкой заменой духовности. В далекой Красноглинке, окунувшись в реальную, рабочую жизнь, Рыльников не приблизился к ответам на мучившие его вопросы, а еще более отдалился от них. Теперь он стал чужой и верующим и атеистам. Его духовный поиск привел в пустоту.

Писатель глубоко озабочен некоторым «потеснением» идеальных, духовных моментов в нашей жизни и честно пишет об этом. Но для Тендрякова, для председателя колхоза коммуниста Густерина, который вступает с Рыльниковым в многодневный идейный спор, духовное неразрывно связано с социальным. Путь к себе — это прежде всего путь к людям, к их повседневным трудам и заботам, ибо истинная цель и назначение человека могут быть им постигнуты только в социальной практике.

Эгоизм Рыльникова уже заключен в тайном сознании своей исключительности. Жизнь безжалостно ломает эти притязания. Поиски абстрактного добра и смысла оборачиваются конкретным злом, наносимым самым близким людям — жене и дочери.

Моральное поражение Рыльникова обещает выздоровление его душе. Тендряков даже в самых трагических ситуациях не теряет надежды, верит в человека. Это писатель осознанного социально-нравственного оптимизма. Жизненные противоречия, питающие его творчество, неизбежно таят в финале возможность разрешения, «снятия». Не случайно многие финалы его произведений связаны с весной, временем о б н о в л е н и я жизни.

Обновление человеку приносит и истинное искусство, взыскующее правды. Здесь Тендряков рачительный наследник той ветви нашей отечественной эстетической мысли, которая вызвала к жизни известный рассказ Глеба Успенского «Выпрямила». Особенно хорошо Тендряков чувствует живопись, он сам готовился

стать художником, но потом сменил кисть на перо. В романе «Свидание с Нефертити» (1964), в трактате «Плоть искусства» (1973) много глубоко выношенных размышлений о сущности прекрасного, которое для Тендрякова не есть имманентная цель, а одно из великих средств все того же воспитания высокой души, активно направленной к добру.

В мыслях Тендрякова об искусстве мы находим и те творческие принципы, которые он долгие годы исповедует в своей писательской практике:

«Художник творит, исходя из требований только своего времени. Ничего не может быть глупее заведомого расчета на признание потомков. Для этого нужно предугадать тех, кто еще не родился, то есть предугадать будущее той жизни, которая и сама-то пока является во многом неопределенным будущим. Это уже сродни пророчеству, ничего не имеет общего с предвиденьем.

И если художник не считается со своим временем, не улавливает и не отражает его интересов, то, скорее всего, он будет неинтересен и далеким потомкам, которые не смогут уже по его произведениям достоверно судить о минувшем времени».

Все книги Владимира Федоровича Тендрякова вызваны к жизни нашим временем, его реальными конфликтами и страстями. Он относится к тому типу писателей, которые осуществляют в советской литературе социально-нравственную разведку и проповедь. За Тендряковым часто идут другие прозаики, иногда художественно расширяя впервые открытое им. Для меня, например, несомненно, что творчество Василия Белова и Федора Абрамова, Василия Шукшина и Бориса Можаева развивалось с учетом писательского опыта Владимира Тендрякова, который одним из первых вступил на дорогу глубокого художественного познания противоречий нашей послевоенной жизни ради их преодоления, ради торжества идеалов, начертанных на знамени советского общества.

Евгений Сидоров

Повести

Не ко двору

1

С неделю стояла оттепель. Но подул еле приметный ветерок — окаменели размякнувшие было сугробы, ночи вызвездились, снег под луной усеяли крупные искры, зеленые, как голодный блеск волчьих глаз.

В самую глухую пору, в два часа ночи, в селе ни души. Попрятались собаки, старик сторож зашел домой почаевать и, верно, прикорнул, не раздеваясь, у печи. Сияют облитые луной снежные крыши, деревья стоят, как голубой дым, застывший на полпути к темному небу. Красиво, пусто, жутковато в селе.

Но в одном доме во всех окнах свет, качаются тени, приглушенные голоса доносятся сквозь двойные рамы.

Хлопнула дверь, по крыльцу, неловко нащупывая ногами ступеньки, спустился на утоптанный снег старик, качнувшись, схватился за столбик, постояв, запел скрипуче:

Когда б имел златые горы...

Испугался тишины, замолчал и, покачиваясь, стал оглядываться на крыльцо. В сенцах со звоном упало порожнее ведро, распахнулась дверь, и на освещенный двор вывалились люди. Завизжал под валенками снег.

— Дед Игнат! Игнат! Эй!

— Не кричи, он тут. Вон стоит, ныряет.

— Тяжелу бражку Ивановна сварила.

— Ты и рад — набрался.

Хмельные голоса нарушили тишину, исчезла таинственность.

С крыльца, прижавшись друг к другу под одним полушубком, провожали гостей парень и девушка. Парень деловито наставлял:

— Старика-то домой доставьте. Как бы ненароком на улице спать не пристроился. Пусть бы у нас до утра оставался.

— Я... Ни в жизнь... Я сам-мос-тоятельный!..

— Ладно уж, ладно. Пошли, дед. Еще раз — ладу да миру вам в жизни!

— Дитя в люльку поскорее...

Звонкий скрип шагов смолк, где-то за домами вознесся снова было голос старика: «Когда б имел...» — и оборвался. Опять красиво, пусто, жутковато в селе.

— Все, Стеша... Значит, жить начинаем,— произнес парень.

Она плотнее прижалась под полушубком теплым, нетерпеливо и тревожно вздрагивающим телом.

Свадьба была немноголюдной и нешумливой, гости не засиделись до утра.

2

Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков имел легкий характер — любил позубоскалить, любил сплясать, любил на досуге схватиться с кем-либо из ребят, дюжих трактористов, «за пояски». Высокий, гибкий, с курчавящимся белобрысым чубом, он был ловок и плясать, и бороться, и ухаживать за девчатами.

В селе Хромцово, где работала его бригада, он в один вечер провожал учительницу Зою Александровну под сосновый бор к школе, в другой — сельсоветскую секретаршу Галину Злобину на край села, к дому, по крышу затянутому хмелем. Но что бы сказали обе, если б узнали, что в МТС недавно прибывшая из института агрономша каждый раз, как приезжает бригадир Соловейков, надевает глухое, до подбородка, платье и, встречаясь, словно невзначай, роняет:

— Федор, у вас талант. Пойдемте сегодня в Дом культуры на репетицию.

И у Федора в эту минуту в самом деле появлялась любовь к своему таланту, он шел на репетицию, отплясывал

там «цыганочку», а если репетиции не случалось, охотно соглашался сходить в кино.

Но вот, как выразился шофер хромцовского колхоза Вася Любимов, по прозвищу «Золота-дорога», Федор «сел всей рамой».

В Хромцове, в начале зимы, по первому снегу был свой праздник. Назывался он по старинке «домолотками», праздновался по-новому: говорились торжественные речи, выступала самодеятельность, тут же в колхозном клубе раздвигали стулья, выставляли столы, разумеется, выпивали, а потом ночь напролет молодежь танцевала.

На эти танцы приходили парни и девушки километров за пятнадцать из сел и починков. Начиналось все чинно, кончалось шумно. Радиолу отодвигали, в угол садился Петя Рыжиков с баяном, и стекла звенели от местной «топотухи». Федор плясал немного и всегда после того, как его хорошенько попросят, но уж зато старался, долго потом ходили о его пляске разговоры.

Из села Сухоблиново, что стоит за рекой Чухной и отходит к соседнему Кайгородищенскому району, пришел на танцы знакомый лишь одному шоферу Васе Золота-дорога тракторист Чижов. Пришел не один, привел девушку. В голубом шелковом платье, медлительная, белолицая, с высокой грудью, подбородок надменно вздернут — обидно было видеть ее рядом с большеголовым, скуластым и низкорослым Чижовым. Федор на этот раз долго не ломался, когда его просили выйти и сплясать. Где с присвистом, где с лихим перестуком, где вприсядку оторвал он «русского» и ударил перед гостьей в голубом платье. Та лениwенькой, плавной походкой, так что лежавшая вдоль спины коса не шелохнулась, прошла по кругу и снова встала около Чижова.

Начались танцы, и Федор пошел к ней.

Глаза у нее были выпуклые голубые, ресницы длинные, щеки, еще на улице обожженные холодком, малиново горели румянцем. Федор все время отводил взгляд от белой нежной ямки под горлом в разрезе платья. Но пока он танцевал, как ни странно, все время где-то рядом держался легкий махорочный запах.

— У вас на Сухоблинове все кавалеры такие? — насмешливым шепотом спросил он, кивая на Чижова.

— Какие — такие?

— Да вроде бы неоткормленные. Может, промеж нас, хромцовских, кого повидней выберете?

Та в ответ улыбнулась одними глазами и сразу же спохватилась, строго смахнула улыбку ресницами.

— Разве вас, что ли?

— А разве не подхожу?

И все же после танца она не отошла к Чижову, осталась с Федором, как бы невзначай. Стояла она рядом спокойная, невозмутимая, видно, не сомневалась нисколько, что Федору приятно быть с ней. А ему и в самом деле было приятно, весь вечер не отходил от гостьи.

Чижов, забившись в угол, смотрел исподлобья, Федор не обращал на него никакого внимания и не смущался. Пусть себе смотрит — ее воля, она решит, она выберет.

...Бесшумно падал крупный снег, ложился на пуховый платок, на плечи Стешиной шубки. Федор прижимал к себе ее локоть. Путь был не близкий, шли в ногу торопливым широким шагом, молчали. Она с достоинством умела молчать, и обычные шутки как-то не клеились у Федора, легкая непривычная робость охватила его... В пяти метрах ничего нельзя было разглядеть, лишь в черном воздухе — сплошной ленивый поток белых хлопьев. Из-за пушистого снега на дороге не слышно было даже своих шагов. И баянист Петя Рыжиков, освещенный неярко зал, шум, крики, смех — казалось, все это снилось, нет ничего, только они вдвоем живут на тихой, засыпанной снегом земле. И им не страшно, а приятно — вдвоем, не в одиночку, что еще надо?..

Федор проводил Стешу до села. Прощаясь, притянул ее к себе и поцеловал наудачу, пониже глаза в холодную щеку. В свежем, снежном воздухе снова на него пахнуло залежавшимся листом махорки, но и этот запах был приятен сейчас — обжитое, домашнее, крестьянское тепло напоминал он.

Галина Злобина и учительница Зоя Александровна помирились. Ссориться стало не из-за чего — как ту, так и другую перестал провожать по вечерам Федор. Он через день бегал теперь за двенадцать километров в Сухоблиново.

С Галиной, с Зоей, с агрономшей из МТС — все это шуточки, не настоящее. Хотелось сойтись с такой девчонкой, чтоб сердце болело, чтоб кровь сохла!

А Стеша всегда встречала ровно — в мягких, теплых ладонях задерживала его руку, из-под полуопущенных век глядела ласково, словно бы говорила спокойно: «Никуда ты, милый, от меня не уйдешь. Тебе хорошо со мной, я это знаю, ну и мне хорошо, скрывать незачем...»

Как-то даже пожаловался Федор дружку Васе Золотадорога: «Хороша девка, да пресновата чуток, молчит все». Пожаловался, опомнился и с неделю в душе горел от стыда, клял себя, боялся, как бы ненароком эти слова не долетели до Стеши. И сердце особо вроде бы не болело, и кровь не сохла, а и дня не прожить без Стеши — трудно! Тянет к ней, к ее теплым рукам, к спокойным глазам. Через день бегал — двадцать четыре километра — туда и обратно.

Стеша жила на окраине села в пятистенке, раздавшемся в ширину, работала приемщицей на маслозаводе. Ее родители при первой встрече понравились Федору.

Отец, костлявый, крепкий старик со свислыми усами и большим хрящеватым носом, опустив заскорузлую от мозолей ладонь на стол, как-то раз заговорил:

— По старинке-то мне вроде бы не с лица начинать. Но нынче на то не смотрят. Слушай, парень... Ты частенько к нашей Степаниде запоглядывал. Что ж, у нас со старухой возражений нету. Бога гневить нечего, мы, сравнить с остальными, в достатке живем. Видишь, дом у нас какой? Пустует наполовину. Переезжай к нам. Одним-то двором способнее жить.

Стеша сидела тут же, стыдливо и горячо краснела, молчала. Мать ее, старушка с мягким, полным лицом, с добрыми морщинками вокруг голубых, как у дочери, глаз, покачала ласково головой.

— Перебирайся-ко, перебирайся, так-то, ладнее будет. Сыновьями бог нас не наградил. Заместо сына нам будешь.

Федор на улице жаловался Стеше:

— Жалко мне колхоз и свою МТС бросать. Работал трактористом, теперь бригадиром, сжился я с ними.

— Мне-то с домом расставаться жальчее,— ответила Стеша.— И здесь тебе работа найдется. Не хватает трактористов, тем же бригадиром тебя поставят.

Федор жил как и большинство ребят-трактористов его возраста. При ремонте снимал комнатку близ МТС, во время же полевых работ столовался и ночевал у дальнего родственника, хромцовского кузнеца Кузьмы Мохова.

Отец у Федора умер семь лет тому назад. Мать живет в глухой лесной деревушке Заосичье, километрах в сорока от Хромцова. Она хоть и стара, но ходит еще на колхозные работы: то расстилает лен, то в сенокосную горячку загребает сено на ближайших лугах. Работает не от нужды — хорошо помогает старший сын, горный инженер из Воркуты,— просто скучно сидеть сложа руки, велико ли старушечье хозяйство — коза да полоска картошки.

Каждый месяц Федор, купив баранок, сахару, чаю, навещал мать. Он привозил ей дров, разделывал их, обкладывал избу высокими поленницами, подкашивал сена козе.

— Договорись-ко, родной, со своим начальством,— уговаривала его мать,— пусть в наш колхоз тебя переведут.

Но этого-то как раз и не хотелось самому Федору. Он тракторист, здесь поля лесные, тесные, машины обычно не столько работают, сколько простаивают, охота ли после хромцовских земель на таких задворках сидеть. Матери же отвечал просто: «Не отпускают». Объясни все — может и обидеться.

Теперь придется с насиженного места уходить. Не везти же Стешу в Заосичье к матери, если самому там жить не хочется. Не к Кузьме же Мохову?.. Можно бы и свой дом поставить, колхоз поможет, но это не сразу... Согласится ли Стеша год, а то и два по чужим углам скитаться?.. Федор решил переезжать.

Все знакомые ребята работали в мастерских на ремонте. Никто не приехал на приглашение Федора. Не приехала и мать. Хромцовский председатель обижался на Федора за то, что «ушел на чужую сторону», просить же в незнакомом колхозе лошадь Федору не хотелось, да и не дали бы — много лошадей работало на лесозаготовках, а ехать на попутных грузовиках по морозу шестидесятипятилетней старухе нечего было и думать. Через вторые руки получил от нее Федор банку меду, четверть браги да для невестки шелковую шаль, хранившуюся, верно, лет десять для подобного случая. По почте пришло письмо с родительской просьбой сразу же после свадьбы «сняться вместе с невестушкой на карточку и прислать домой»...

На свадьбе пили, ели, кричали «горько» несколько сухоблинцев, пожилых, степенных, сидевших с женами. Одиночкой держался лишь старик Игнат. Его жена, председатель здешнего колхоза, не пришла, хотя и была приглашена.

И стол был богат, и выпивка хороша, а шуму мало. Приходил народ, толкался в дверях, но не много и не долго. Дольше всех виснули ребятишки под окнами. Но и их позднее время да мороз заставили убраться домой.

Федор даже не сплясал на своей свадьбе.

3

Принято считать: семья начинается свадьбой и отметкой в загсе. Прописались, отпраздновали, поцеловались под крики «горько» — и вот вам наутро новая семья в два человека.

Федор никогда бы не мог подумать раньше, что по-настоящему-то семья начинается с такой простой вещи, как уют. Ни о сундуках, ни о занавесках, ни о горшках для супа ни Федор, ни Стеша не только не говорили при встречах, а даже простое упоминание посчитали бы обидным для себя. Была она — будущая жена, был он — будущий муж, и больше ничего знать не хотели другого. Так чувствовали себя до свадьбы. Так чувствовали во время свадьбы. Утром, проснувшись после свадьбы, они еще продолжали жить этим чувством. Но надо было устраиваться, и не на время, не на год, не на два — постоянно, навечно... Надо было начинать жить сообща! Молодым отвели половину избы.

В сенцах на то место, где когда-то, в незапамятные для Стеши и Федора доколхозные времена, висели хомуты, приспособили до лета на вбитых в стену колышках велосипед Федора. Его радиоприемник «Колхозник» поставили на стол. Целых полдня Федор уминал на крыше снег, поднимал антенну.

В собственность Стеши перешел огромный сундук, потемневший, весь оплетенный полосами железа, с широкой, жадной скважиной для ключа, воистину дедовское хранилище хозяйского добра, основа дома в былые годы. Со ржавым, недовольным скрипом он распахнул перед молодой хозяйкой свои сокровища и сразу же заполнил комнату тяжелым запахом табака, овчин, залежавшегося пыльного сукна.

В сундуке на самом верху лежали модные туфли на высоких каблуках и то голубое шелковое платье, в котором Федор впервые встретил Стешу на празднике в Хромцове. Тот махорочный запах, запах семейного сундука,

принесла тогда Стеша на танцы вместе с нарядным платьем.

За модным платьем и модными туфлями были вынуты хромовые полусапожки, тоже модные, только мода на них отошла в деревне лет десять тому назад — каблучки невысокие, носок острый, голенища длинные на отворот. За сапожками появилась женская, весом в пуд, не меньше, шуба, крытая сукном, с полами колоколом, со складками без числа. В детстве Федор слышал — такие шубы прозывались «сорок мучеников». Платья с вышивками, платья без вышивок, сарафаны, полушубок дубленый, полушубок крытый — вместительны старинные деревенские сундуки! Из самого низу были подняты домотканые, яркие, в красную, желтую, синюю полосу, паневы.

Все это добро было развешано во дворе, и Стеша, в стареньком платьице, из которого выпирало ее молодое, упругое тело, придерживая одной рукой полушалок на плечах, с палкой в другой, азартно выбивала залежавшуюся пыль и табачный дух. Алевтина Ивановна, теща Федора, помогала ей.

— Не шибко, голубица, легчей. Сукнецо кабы не лопнуло,— наставляла она.

Старик тесть вышел на крыльцо, долго стоял, покусывая кончики усов. Под сумрачными бровями маленькие выцветшие глаза его теплились удовольствием. А Федор удивлялся и наконец не выдержал.

— На что они нам? — указал он на цветистые паневы, разбросанные по изгороди.— С такой радугой по подолу в село не выйдешь — собаки сбесятся... Вы бы все это себе лучше взяли, продали при случае.

— Чем богаты, тем и рады. Другого добра не имеем. Ваше дело, хоть выбросьте.— У старика сердитые пятна выступили на острых скулах.

— Зачем же бросать? Можно и в район, в Дом культуры сдать, все польза — купчих играть в таких сарафанах.

— Ты, ласковый, не наживал это, чтоб раздаривать,— обидчиво заметила теща.— Паневки-то бабки моей, мне от матери отошли. Нынче такого рукоделья не найдешь. Польза?.. А кому польза-то?.. Купчих играть отдай! Ой, гляди, Стешка, как бы твой муженек с отдаванием этим по миру тебя не пустил.

— Да полно тебе, шутит он,— заступилась Стеша.— Места не пролежит, сгодится еще.

Деловитая заботливость слышалась в ее голосе.

— Золото тебе жена попалась, золото. Хозяй-ствен-енная! — пропела теща.

И в голосе тещи, и в морщинистом лице тестя Федор заметил легкую обиду. Маленькое недовольство, неприметное, через минуту забудется, но все ж, видать, неприятность, и, должно быть, уже семейная.

К вечеру все было на своих местах. Свежо пахло от чисто вымытых Стешей полов. На столе простенькая белая скатерка. Есть и другая скатерть, с бахромой и цветами, но та, знал Федор, спрятана до праздника. На скатерти поблескивает желтым лаком приемник, на окнах тюлевые занавесочки, на подоконнике — горшок с недоростком фикусом, принесенный из половины родителей. Угрюмый сундук покрыт веселым половичком. Лампа горит под самодельным бумажным колпаком — надо купить абажур, обязательно зеленый сверху, белый понизу...

Когда Федор разделся и пригляделся ко всему, его охватила покойная радость. Вот она и началась — семейная жизнь! Приемник, лампа, белая скатерть — пустяки, а что ни говори, без этого нельзя жить по-семейному. Не холостяцкое страдание, семья — свое гнездышко!

На кровати, в одной ночной рубахе, распустив волнами по груди волосы, выставив полное белое плечо, сидела и, морщась, причесывалась Стеша. Близкой, как и все кругом, какой-то уютной показалась она сейчас ему. Он подошел, обнял, но она, еще вчера вздрагивавшая от его прикосновения, сейчас спокойно отстранилась.

— Обожди... Уж не терпится. Гребень сломаешь.

И это Федора не обидело, не удивило: семья же, а в семье все привычно.

4

Молва о бригадире Соловейкове дошла до Кайгородищенской МТС. Сам директор решил свести Федора к тракторам. Ожидая у дверей, пока директор освободится, Федор слышал в кабинете разговор о себе.

— А как это он к нам надумал?

— Женился на сухоблиновской, к жене переехал.

— Ай, спасибо девке! Подарила нам работника.

Директор Анастас Павлович был осанистый, голос у него густой, начальственный, походка неторопливая, но

держался он с Федором запросто. Сразу же стал звать ласково Федей, проходя по измятому гусеницами огромному эмтэасовскому двору, разоткровенничался:

— Помнится, Федя, жил у нас в деревне, когда я еще мальчонкой был, один мужичок. «Кукушонок» — прозвище. У этого Кукушонка, бывало, спрашивали: «Почему, друг, лошадь у тебя откормленная, а сбруя веревочная? Не из самых бедных, справь, поднатужься». У него один ответ: «Живет и так. От ременной справы лошадь не потянет шибче». Вот и наша МТС пока что на Кукушонково хозяйство смахивает. Гляди, какие лошадки,— директор провел рукой по выстроившимся в ряд гусеничным тракторам,— а справа к ним — Кукушонкова, тяп-ляп понастроено: живет, мол, и так. Навесов поставить не можем, мастерские на живую нитку сколочены. Ты — комсомолец, парень не из пугливых, потому и говорю... По глазам вижу тебя. Был бы только народ настоящий, поживем — оперимся...

Кирпичный домик, смахивающий на сельскую кузницу, в распахнутых дверях которого, в темноте, вспыхивал зеленый огонь сварки. Тут же два других дома, длинных, безликих — конюшни не конюшни, сараи не сараи,— должно быть, мастерские. За ними бок о бок шеренгой самоходные комбайны, красные и голубые горделивые машины, выше колес занесенные снегом.

«Кукушонково хозяйство... Эх, так-то вот променял ты, Федор, сокола на кукушку. Не раз, видно, вспомянуть придется свою МТС».

— Я, брат, сам новичок тут,— бодро продолжал директор.— Всего месяц назад принял... И вовсе никакой не было заботы о рабочих. А я так думаю: раз ты руководитель, то для специалистов хоть с себя рубашку последнюю не жалей!.. Выручат.

«Да ладно уж, не умасливай, не сбегу»,— невесело думал Федор.

— Вот и тракторы твои. Вот и твой тракторист. Чижов, это бригадир новый, прошу любить и жаловать. Соловейков — слышал, верно, такую фамилию? Ну, знакомьтесь, знакомьтесь, не буду мешать.

Директор ушел, крепко пожав Федору руку. Чижов сразу же отвернулся, заелозил ветошью по капоту. Федор знал — Чижов, у которого он, считай, отбил Стешу, работает в этой МТС, но как-то и в голову не приходило

раньше, что они могут встретиться, могут работать вместе. Просто перешагнул тогда через него и забыл.

— Эй, друг, знакомятся-то не задом...

— Чего тебе? — повернулся мрачно Чижов.

— Только и всего. Здравствуй, будем знакомы.

Чижов секунду-другую искоса глядел на протянутую руку, потом с неохотой, вяло пожал.

— Ну, здорово.

— Давай, друг, без «ну», я вежливость люблю.

— Так чего и разговариваешь с невежливым? — Чижов снова взялся за тряпку.

— Нужда заставляет. Работать-то вместе придется. Вот что, повернись-ка да доложи толком: как с ремонтом?

Чижов и повернулся и не повернулся, встал бочком, уставился в сторону, в крыши мастерских.

— Знаем мы таких командиров, которые на готовенькое-то любят.

— На готовенькое? Значит, кончен ремонт? Выходит, ты у чужого трактора копаешься?

— Два трактора кончили. Вот этот остался. Всего и делов-то.

— Да, делов не много. Зима проходит, март на носу, два трактора отремонтировали, один не тронут. Могло быть и хуже.

— Знаем мы таких быстрых.

— Заправлен?

— Заправлен. В разборочную нужно.

— Так поехали, заводи.

Чижов промолчал.

— Иль завести не можешь? Дай-ка попробую.

Федор осторожно плечом отстранил Чижова, положил ладонь на отполированную ручку и привычно, всем телом налег. Мотор засопел, вразброд раз-другой фыркнул и смолк. Федор вопросительно уставился на Чижова.

— Понял? В чем загвоздка?

— Тебе видней, ты начальство.

— И это верно. Скинь капот.

Чижов, нарочно как можно медленнее, повиновался. Федор заглянул в мотор и присвистнул.

— Нет, брат! Я тракторист, а не трубочист. Прежде чем в разборочную вести, очисти, чтоб блестел мотор, как у старого деда лысина. Слышал?.. Я спрашиваю: слышал?

— Ну, слышал.

— Делай!

Федор сунул руки в карманы и, присвистывая небрежно «Во саду ли, в огороде...», не оглядываясь, пошел прочь.

В МТС у него других дел не было, но Федор минут сорок добросовестно прошатался, заглянул в мастерские, в контору, полюбезничал там с секретарем-машинисткой Машенькой, девушкой с розовым крупным лицом, бусами на белой шее, с льняными кудряшками шестимесячной завивки.

Вернулся. Трактор стоял сиротливо, с задранным капотом. Мотор как был — грязный, ветошь брошена на закипевшие ржавчиной гусеницы.

Он нашел Чижова в мастерской, в темном закутке, у точильного станка, около печки-времянки. Тот встретил исподлобья, нелюдимым взглядом. Федор молча присел, закурил не торопясь, произнес негромко и серьезно:

— Что ж, будем волками жить?

— Чего ты ко мне пристал? Чего тебе надо? Посидеть нельзя спокойно, и сюда приперся!

— Не шуми. Не день нам с тобой работать вместе, не неделю — все время. Хошь или нет, а старое забыть придется. Нянчиться я с тобой не буду, это ты запомни. Не хвалясь скажу: не таких, как ты, выхаживал.

Сидели они рядышком, говорили негромко, мимо ходили люди, никто не обращал внимания. Со стороны казалось — с воли дружки пришли отдохнуть, перекурить да погреться.

— Нет тебе расчета на меня косо смотреть. Нет расчета...

— Не пугай, не боюсь.

— Я и не пугаю. Дотолковаться по-человечески с тобой хочу.

Из аккумуляторной, задевая полами распахнутого пальто за станины, прошел директор, оглянулся на присевших у огонька, улыбнулся, как старым знакомым.

— Греемся? Подружились уже?

— Водой не разольешь,— ответил Федор.

— Ну, ну, грейтесь, ребятки, да за дело...

Директор ушел. Федор бросил окурок в печь и поднялся.

— Пошли.

Глядя в пол, Чижов встал.

5

На окраине села Кайгородище, рядом с усадьбой МТС, стояло здание бывшей школы. Оно было построено еще в годы, когда начинался поход за ликвидацию неграмотности в деревне. Тот, кто строил эту школу, считал, верно, что детям нужно больше солнца, больше воздуха, дети должны жить среди зелени. Окна в школе были огромные, потолки очень высокие, а сама школа стояла далеко за селом, среди поля. Но этот строитель не учел такой житейской мелочи, как печи. В классах с огромными окнами и высокими потолками были поставлены маленькие круглые печки с дверками, как кошачий лаз. Летом, при солнце, бьющем сквозь обширные окна, стояла жара, зимой — холод. Да и малышам было тяжело ходить за село по занесенному снегом полю. Учителя, работники роно кляли строителя до тех пор, пока в центре села не поставили двухэтажное здание десятилетки с обычными окнами, с обычными потолками, с хорошими печами. А старую школу передали МТС. Половину ее переоборудовали под квартиры директора и старшего механика, в другой половине устроили общежитие для трактористов.

С обеих сторон вдоль стен бывшего класса шли широкие, лоснящиеся от масла нары. На самой середине стояла бочка из-под горючего, превращенная в печку-времянку. От нее вдоль потолка тянулась черная железная труба. На нарах лежали новенькие, всего несколько дней назад приобретенные матрасы. Для подушек пока по приказу директора закупали перо.

Весь день Федор ни разу не вспомнил ни о Стеше, ни о доме. Но когда он, примостив под голову свой полушубок, лег, уставился на железную трубу, бросавшую при свете электрической лампочки ломаную тень на стены и потолок, то с тоской подумал, что сегодня только понедельник. Пять дней до воскресенья, пять дней не бывать дома, не видеть Стешу!

За мокрыми стеклами широких окон стояла черная ночь. В одном углу пиликала гармошка. Гармонист разводит одно и то же: «Отвори да затвори...» У столика ужинают трактористы, разливая по кружкам кипяток из прокопченного чайника. А Стеша, верно, сидит сейчас на койке, морщась расчесывает густые волосы — одна в комнате... И пестрый половичок на сундуке, и стол под белой ска-

теркой, и приемник — вспомнился недорогой уют, свое гнездышко, освещенное пятнадцатилинейной лампой. «Абажур надо купить завтра, по магазинам поискать. Не поскупиться, подороже который...»

Но на следующий день он так и не сбегал в магазин, не купил. Пришли из деревень еще трое трактористов его бригады. Разобрали мотор, Федор присматривался к ребятам. Забыть про абажур не забыл, а все было некогда, все откладывал.

Чижов молчал, не поднимал глаз, но не перечил, слушался.

Трактор КД, или, как звали в обиходе, «кадушечка», был хоть и подзапущен, но новый, не проходивший по полям и года. Ремонт пустяковый: подчистить, отрегулировать, сменить вкладыши...

Угрюмость Чижова, кругом еще плохо знакомые люди, все одно к одному — домой бы! Успокоиться, а там можно обратно, не сиднем же сидеть подле жены...

— Товарищ Соловейков!

Пряча в беличий воротник подбородок, стояла за спиной Машенька-секретарша.

— Идите в контору.

— За вами, Машенька, хоть на край света.

— Пожалуйста, без шуточек. Вас жена ждет.— Машенька дернула плечом и отвернулась.

В новых валенках, в новом, необмятом полушубке, в пуховом платке, из-под которого выглядывал матово-белый нос и краешки румянца на щеках, сидела в конторе Стеша.

При людях они поздоровались сдержанно.

— У нас с маслозавода машина пришла, так я с ней...— Стеша боялась оглянуться по сторонам.

— С чем машина-то? — серьезно, словно это ему было очень важно знать, спросил Федор.

— Да ни с чем, пустая, тару нам привозила...

Они вышли из конторы, и Стеша тяжело привалилась к его плечу.

— Федюшка, скучно мне одной-то... Только ведь поженились, а ты сбежал. Работа-то тебе, видать, дороже жены.

— Сам воскресенья не дождусь. Ты хоть дома, а я на стороне...

— Отпроситься нельзя ли на недельку? Сорвался, поторопился, пожить бы надо.

Добротная, широкая, теплая какая-то, она глядела на него снизу вверх, и не было в ее взгляде прежней девичьей уверенности: «Никуда не уйдешь, тебе хорошо со мной...» Вот ушел, тревожится, может,— даже думает: не загулял ли на стороне, характер соловейковский ненадежный. Обнять бы, прижаться, в ресницы пугливые расцеловать — нельзя, день на дворе, народ кругом.

«Верно, Стешка, верно. Рано сорвался, пожить бы надо!»

Целый час они ходили по эмтээсовскому двору, говорили об абажуре на лампу, о том, что заболел подсвинок, плохо стал есть... Говорили о пустяках.

Вечером Федор сидел в кабинете директора и доказывал, что надо съездить на недельку домой.

— Молодая ждет? — понимающе подмигнул директор.

— Молодая не молодая, а ремонт-то кончаем, делать мне здесь вроде и нечего.

— Метил я тебя над шибановской бригадой шефом поставить. Ты ведь почти на готовенькое пришел. Тракторы в твоей бригаде новые.

— Анастас Павлович!..

— Да уж ладно, знаю. Поедешь домой, только не на отдых. Ты знаком с сухоблиновским председателем?

— С теткой Варварой? Слышал много раз про нее, но не встречался пока.

— Человек честный, но старого колхозного уклада. Ты думаешь, старое только то, что до коллективизации было? То уж быльем поросло. Есть колхозный старый уклад. Председатель, что без машин, без тракторов жизни себе не представляет, тот — нового уклада. А кто на своих лошадок больше надеется, нам кланяться не любит, натуроплаты больше сатаны боится: мы, мол, сами как-нибудь,— это, помни, корешок со старым запахом. Он еще живет где-то около тридцатых годов, когда в колхозах не густо машин было. Тетка Варвара из таких. Залежи навоза у нее, а норовит вывезти на лошадях. Поедешь к ней, вывезешь навоз... Но покуда свой ремонт не кончишь, не отпущу! Уж серчай не серчай, я, брат, тоже человек с характером.

Все спали в общежитии. За столом лишь сидел и ужинал Чижов, макал крутым яйцом в соль на бумажке.

Федор выложил привезенную женой снедь: ватрушки, пряженики в масле, пироги с яйцами.

— Кипяток-то остыл? — спросил он.

— Остыл.

— Плохо... А ты, друг, можешь к моим харчам пристроиться, лично я не возражаю. Может, только тебя от моих пирогов стошнит, тогда уж, конечно, поостерегись.

— Да нет, спасибо.

— Брось-ко дуться-то. Пробуй, пробуй, не заставляй кланяться. Где ж так долго загулял?

Чижов покраснел.

— Да в кино ходил, на «Подвиг разведчика».

— Один?

— Да н-нет... с ребятами...

Федор не стал его расспрашивать. А ходил тот в кино с секретаршей Машенькой, и та целый вечер толковала ему — какой нехороший его бригадир Федор Соловейков.

В этот вечер спать Федор с Чижовым устроились рядом.

6

Вместе с тестем они попарились в бане, после чего хлебнули бражки. Сейчас Федор лежит на кровати и читает.

Свежее белье обнимает остывшее тело. Едва-едва слышно шипит фитиль у изголовья. Наволочка на мягкой подушке холодит шею. Она настолько чиста, что кажется, даже попахивает снежком. Хорошо дома!

Федор читает, а сам, настороженно отвернув от подушки ухо, прислушивается — не стукнет ли дверь, не войдет ли Стеша: «Ну-ка вставай, поужинаем. Ишь прилип, не оторвешь...» Она вроде недовольна, голос ее чуточку ворчлив... А как же без этого — жена! Нет, не слышно, не идет. Он снова принимается за книгу.

Когда Федора спрашивали: «Что больше любишь читать?» — он отвечал: «Толстого Льва, Чехова...» Или завернет «Гюстава Флобера» — вот, мол, с каким знакомы, хвати-ко нас голыми руками! Но кривил душой, больше любил читать Жюля Верна или Дюма.

Шипит фитиль лампы. Под стекло подплывают акулы, заглядывают внутрь лодки, медузы качаются в зеленоватой воде... Стеша сейчас на кухне, войдет — только что от

печи, все лицо в румянце, если прижаться — кожа горячая... Что-то долго она там?

Хорошо дома! Хорошо даже то, что приходится уезжать, жить в МТС, ночевать на нарах... Каждый день здесь — мягкие подушки, скатерки, теплая постель — пригляделось бы все, скучновато бы показалось, поди б, и жена не радовала. А как побегаешь по мастерским, с недельку поворочаешься на эмтээсовском тюфяке, повспоминаешь Стешу с румянцем после печного жара... тут уж простая наволочка на подушке, и от той счастливый озноб по всему телу, все радует, в каждой складочке половика твое счастье проглядывает. Хорошо дома!

Федор уронил на грудь книгу, улыбнулся в потолок...

Мягко ступая чесаночками, вошла Стеша.

— Ну-ка вставай, поужинаем...

Федор не ответил. Жестковатые кудри упали на лоб, на обмякшем лице задержалась легкая, неясная улыбка. Он спал.

7

Дорожка от калитки к крыльцу расчищена от снега, у колодца срублен лед. Тесть, Силантий Петрович, с топором в руках стоит посреди двора и внимательно из-под лохматой шапки разглядывает поперечину над воротами. У ног его лежит сосновое бревнышко.

Утро только началось, а уж он разбросал снег, подчистил у колодца, сейчас целится поставить вместо осевшей новую поперечину на ворота. Федору немного совестно — он-то спал, а старик работал — неуемная душа, хозяин.

Приходилось уже замечать: идет тесть от соседей, несет спрятанную в рукав стертую подкову. Он ее нашел на дороге и не оставил, поднял, принес домой. В сенцах, в углу, стоит длинный, как ларь, дощатый ящик. Весь он разгорожен внутри перегородками на отделения — одни широкие, вместительные, другие узкие, глубокие, рукавицей можно заткнуть. В одно из этих отделений и попадет старая подкова. Она, может, и не пригодится при жизни старика, а может, кто знает, и в ней случится нужда. Пусть лежит, места не пролежит. Федор знал — стоит только попросить: «Отец, свинья переборку раскачала, скобу надо вбить...» или: «Гвоздочек бы, Стеша под зеркало карточки прибить хочет...» — и тяжелая скоба, и крохотные, еле пальцами

удержишь, гвоздики сразу же появятся из ящика Силантия Петровича.

Старик легко поднял за один конец бревнышко и скупыми, расчетливыми ударами начал отесывать его топором. Федор задержался на крыльце, невольно залюбовался: «На весу ведь. У меня силенки побольше, а не сумею...» С мягким, вкусным стуком врезался топор в дерево, за ним слышался легкий треск, и на белый снег падали желтые, как масло, щепки.

— Может, помочь, отец? — спросил Федор.

Силантий Петрович отбросил кряж, сдвинул с потного лба шапку.

— Нет, парень, справлюсь. На полчасика и работы-то. Иди по своим делам.

Высокий, плечистый, стать как у молодого, движения сдержанны и скупы. «Трудовой мужик,— уходя, думал про него Федор,— да и вся-то у них семья работящая. Смотри, Федор, не покажись среди них увальнем».

В конторе правления председателя не оказалось, Федор пошел искать по колхозу.

«Незавидно живут, далеко им до хромцовских». Около скотного, в каких-нибудь шагах двадцати от дверей, лежит, прикрытая снегом, гора навозу. «Неужели и летом сюда навоз скидывают? Смрад, вонючие лужи, тучи мух... Хозяева!»

Тут же рядом с навозным бунтом разгружали воз сена. Работали женщины. Одна, невысокая, без рукавиц, с красными на морозе руками, стояла на возу, деревянными вилами охапку за охапкой пропихивала сено в чердачное окно.

— Вот так! Вот так-то, без ленцы! — покрикивала она, а две другие топтались около воза.

— Труд на пользу! — весело поздоровался Федор.— Не видали Варвару Степановну?

Подавальщица на возу остановилась.

— А тебе на что ее? — сипловатым голосом спросила она.

— Дело есть.

— Ну-ка, Прасковья, возьми вилы.

Придерживая подол, она неуклюже сползла с воза. Стряхнула с плеч сенную труху, повернулась к Федору, с валенок до шапки оглядела его. При взгляде на нее вблизи против воли готово было сорваться одно слово: «Крупна!» Роста маленького, чуть ли не по плечо Федору, а ли-

цо широкое, грубое, мужичье. Тяжеловатость и крупноту черт еще более выделяли мелкие серые глазки. Взгляд их тверд и насторожен. Крупны у нее и руки, размашиста и в плечах: из тех — неладно скроена, да крепко сшита.

— Я — Варвара Степановна. Выкладывай дело.— И усмехнулась, заметив заминку Федора.— Аль не похожа?

В Хромцове председатель Пал Поликарпыч был седенький, щуплый и очень вежливый. Даже самая походочка у него вежливая — аккуратно, цапелькой выступает высокими сапожками, голос тихий, ко всем одинаковое обращение: «Дитя ты мое милое...» Но уж коль скажет, то это «дитя», какой-нибудь дремучий бородач, годами, случается, и старше Пал Поликарпыча, сразу краснеет или от радости за похвалу, или от стыда за упрек. Где уж там похожа — этот лесовик в юбке! Но Федора было не учить за словом в карман лазить.

— На себя-то, что ли? — ответил он.— Я не гордый и на слово поверю — похожа.

— Э-э, да ты веселый! Откуда такой молодец? Молодые-то парни нашего колхозу сторонятся.

— Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков.

— Зять Силана Ряшкина, что ли?

— Он самый.

Еще раз пристальнее, как будто недружелюбно оглядела Варвара Степановна Федора.

— Ловкий они народ, сумели такого молодца залучить! Да и то: Стешка — девка видная, гладкая, на медовых пышках выкормленная. Чай, доволен женой-то?

— Да покуда нужды не имею на другую менять.

— Ну и добро. Выкладывай, что за дело.

— Навоз-то лежит,— кивнул Федор на навозную гору.

— Вывезем.

— Без нас! По договору-то мы вам обязаны сто тонн вывезти. Договор скромный, можем и перевыполнить.

— Ишь удалец! Нет, уж лучше не перевыполняйте. Сами как-нибудь. Вывезете кучку, а напишете воз. Кто будет навоз вывешивать да проверять! Потом за ваши тонна-километры расплачивайся из колхозного кармана.

— Варвара Степановна, есть председатели колхозов старого уклада, есть нового...— Федор отбросил шутливый тон, заговорил деловито, наставительно.

Председатель слушала его молча, глядела невесело в сторону.

— С вашей МТС постареешь. Ладно, действуйте... Но смотри у меня! За каждым возом сама буду доглядывать. Чтоб накладывали как следует.

— Вот это разговор! На какие поля возить, я уже знаю от участкового агронома. Мне б сейчас лошадку какую-нибудь, проехать, дороги обсмотреть.

— Иди к конюшне, скажи, что я Василька нарядить разрешила.

В сторожке у конюшни чадила потрескавшаяся печка. Какой-то ездовой и Силантий Петрович, оба разомлевшие в своих бараньих полушубках, добавляли к печному чаду махорочный дым. Пахло распаренной хвоей. Дома суровый, внушительный, Силантий Петрович здесь скромненько пристроился на краешке скамейки, лицо скучноватое, неприметное.

— Как бы Василька получить? Варвара разрешила,— спросил Федор.

— Пойди да возьми. Седло-то, должно быть, здесь, под лавкой. Тут вся справа,— ответил тесть.

Федор нагнулся: оброти, чересседельники, веревочные вожжи — все, перепутанное, цепляющееся одно за другое, потянулось из-под лавки.

— Ну и базар! У нас в селе дед Гордей разным ржавым хламом торгует, у него и то порядка больше. Перекинули бы здесь вдоль стены жердь и развесили.

— Не наказано нам,— спокойно произнес Силантий Петрович.

— Уж так и не наказано... А чего наказов ждать! Жерди на дворе лежат. Стрижена девка косы заплести не успеет. Я вроде посторонний, да и то мигом сколочу.

— Ну, ну, засовестил! Выискался начальник.

Ездовой, с любопытством приглядывавшийся к Федору, поднялся.

— Верно, пока не ткнут да не поклонятся, зад не оторвем... Дай-ко, Силан, твой топор, пойду приспособлю, что ли...

— У меня свои руки есть. Без тебя обойдется.

Силантий Петрович сердито встал, а через минуту, впустив в раскрытую дверь морозный пар, внес холодную, скользкую от тонкого слоя льда жердь.

— Ты, Федька, не учи меня — молод! Ишь распорядитель какой! — говорил он, в сердцах остукивая пристывший к жерди снег.

Выезжая за село на низкорослом, лохматом, как осенний медвежонок, Васильке, Федор недоумевал про себя: «Ведь он куда как ретив на хозяйство, дома-то ни минуты не посидит... А тут раскуривает, спокойнешенек...»

Вернулся с полей затемно. Поставил лошадь, соломенным жгутом обтер спину и пахи, с пахнущим конским пóтом седлом на плече двинулся к выходу.

Голос тестя, доносившийся с воли через приоткрытые двери, заставил остановиться Федора:

— Нет, ты уж хоть десяток соток, да запиши. Что я, задарма вам старался? Бог знает что творилось в сторожке — вся снасть под ногами путалась. Теперь — как в магазине: приходи — выбирай.

Невеселый басовитый голос совестил Силантия Петровича:

— На два гвоздя жердь прибил и выпрашиваешь...

— Не выпрашиваю, ты мне отметь мою работу, положено! Никто рук не приложил, а тут вместо благодарности оговаривают.

— Уж лучше бы не делал.

Федору стало неловко: а вдруг тесть заметит, что он тут стоит, подслушивает. Осторожно вышел в другие двери, обогнул разговаривавших.

Но Силантий Петрович и не собирался скрывать свой разговор. Дома, вечером, сердито расстегивая крючки полушубка, он заговорил:

— Вот, Федька, больно старателен-то, не жди, премию не выпишут. Они глядят, чтоб на дармовинку кто сделал.

Алевтина Ивановна, выносившая пойло корове, задержалась посреди избы с ведром.

— Чтой опять стряслось? — спросила она.

— Да ничего. Старая песня. Снова охулки вместо благодарности. Руки приложил, а записать на трудодень отказались.

— И не прикладывал бы.

— Все помочь хочется, совесть не терпит.

— Не терпит... Совестлив больно. Варвара небось с совестью-то не считается. Как она тебя поносила, вспомни-ка, когда ты сани с подсанниками делать отказался?

— Всегда в нашем колхозе так: сделай — себя обворуешь, не сделай — нехорош.

— Уж вестимо.

По угрюмому лицу тестя Федор чувствовал, что тот недоволен им. Было стыдно за этого серьезного, рассудительного человека: «Из-за грошового дела в обиду лезет!» Федор тайком посматривал на Стешу: должно, и ей стыдно за отца? Но та, словно и не слышала этого разговора, как ни в чем не бывало застилала рыжей скатеркой стол, собирала ужинать. Она, уже заметил Федор, никогда не спорила с родителями — послушная дочь.

Он ушел на свою половину и до позднего вечера сидел у приемника, слушал передачу из московского театра. Мягкая поступь Стеши за его спиной успокаивала: «С нею жить... Пусть себе ворчат — старики, что и спрашивать...»

8

Все пригляделось, все стало привычным.

Своими стали тесные, неуютные мастерские Кайгородищенской МТС. Своим — другом и приятелем — стал Чижов.

Привык и к сухоблиновскому председателю, тетке Варваре. Сперва удивлялся: строга, народ ее уважает и побаивается, а в колхозе на каждом шагу непорядок. Если бы не он, Федор, с его тракторами — лежать бы навозу кучами около скотного и до сих пор. Сперва удивлялся, потом понял: Степановна строга, ее побаиваются, а бригадиров не слушают, нету у председателя хороших помощников, всюду сама старается поспеть, своим глазом доглядеть, все своими руками готова сделать, да глаз всего пара и рук не тысяча.

Привык Федор даже к тому, что дома постоянно приходилось слышать обиды: «Охулки вечные... С нашей-то совестливостью...» Привык, старался не обращать внимания: «Старики, что с них спрашивать...» Силантия Петровича в деревне недолюбливали, звали за глаза Бородавкой.

Все пригляделось, ко всему привык и только к одному не мог привыкнуть.

Как в первые дни, так и теперь, возвращаясь из МТС домой, он по-прежнему радовался покойной тишине, чистым наволочкам после бани, румяным щекам оторвавшейся от печки Стеши.

А Стеша что ни день, то красивее — какое-то завидное дородство появилось в ее фигуре, в ее движениях (сразу

видно: не девка — жена). Повернет Стеша голову, на крепкой шее вьются темные кудряшки, через высокую грудь спадает коса. «Федя, дров принеси...» — «Ах ты лебедушка!» — даже не сразу сорвется Федор с места.

Разве можно привыкнуть к этому? Счастье не надоедает, к нему не привыкнешь. Потому-то, может, и прощал Федор старикам их воркотню. Со Стешей жить, не со стариками.

Сама Стеша никогда не ворчала, да и ворчать ей было не о чем. Как бы там ни было, а старики все ж работали в колхозе. Стеше же он — сторона. За селом стоит старый дом с навесом и коновязью перед окнами. Это маслобойка: за неимением других на селе предприятий, ее зовут громко — маслозавод. Каждое утро позднее Федора Стеша уходила туда, не по разу на день забегала домой, а вечером уже она встречала Федора заботливыми хлопотами по хозяйству — бегала из погребца в сенцы, замешивала пойло корове. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила, редко когда перед сном, позевывая, вспоминала: «Сегодня из Лубков с молоком приезжали, воротить пришлось... Холода-то какие, а проквасили, летом-то что будет?» Федор временами забывал, что она работает.

Так дожили до полной весны.

Серьезный, не падкий до шуток и пустяковых дел, Силантий Петрович в один солнечный день подставил к старой березе лестницу, кряхтя, взобрался по ней и снял скворечник; сосредоточенно покусывая кончик усов, по-хозяйски оглядел его. Скворечник — не детская забава, частица хозяйства. Двор без скворечника — все одно что колхозная контора без вывески: знать, некрасно живут, коль вывеску огоревать не могут. Ежели и скворечник исправен — считай, все, до последнего гвоздя, исправно в хозяйстве. Силантий Петрович с самым серьезным видом стал ремонтировать покоробившийся от непогоды птичий домик.

А у колхоза с весной новая беда.

Тетка Варвара зазвала в контору Федора, села напротив, подперев щеку тяжелым кулаком, пригорюнилась побабьи.

— Выручил ты нас, Феденька, однова, свозил навоз, честно работал, не придерешься, выручи и в другой раз. Прошлый-то год, сам знаешь, какова осень была, не за тридевять земель жил... При дожде убирались. Зерно сушили — вода ручьями текла. Такое и на семена засыпали.

Всю-то зимушку нас этот госсорт, чтоб им лихо было, за нос водил, всю зимушку гадали над нашим зерном бумажные душонки — то ли можно сеять, то ли нет... Сказали б загодя — нет, а то теперь выезжать пора, а они — всхожесть низка, не разрешаем! Да провалиться им!.. Семена-то есть, выделил нам райисполком, хорошие семена, так их достать надобно со станции. Выручи, Феденька, оговори у начальства разрешение один трактор послать на станцию. Два выезда сделаете и спасете колхоз.

Федор слушал и прикидывал про себя: до станции более сорока километров, дороги размыло, с порожними, из цельных бревен вырубленными санями и то трудно пробираться трактору, а тут с грузом... Да и горючего уйдет уйма.

— Нет, Степановна, не помогу,— сказал он.— Да ты подумай — сама не согласишься. На такие дороги маломощную «кадушечку» не пошлешь, не вытянет воз «кадушка» по таким дорогам.

— Ну, а этого, большого?.. Пятьдесят же сил в нем, звере, черта своротит.

— Дизелем рисковать не буду. Ни ты, ни я не поручимся, что в такое непроезжее время он где-нибудь посередь дороги не сломается. Он у нас один, ему не сегодня-завтра на клеверища выходить. И семена будут, а все одно сорвем сев. Ненадежный выход, Степановна.

— Как же быть, ума не приложу?

— Всех лошадей бросай на вывозку! Всех до единой!

Тетка Варвара и с надеждой, и с недоверием долго разглядывала Федора.

— Всех лошадей... Выход-то немудреный. Я и сама о нем думала. Всех?.. То-то и оно, побаиваюсь всех-то... Замучаем их, а — по прошлому году сужу — на ваше тракторное племя с головой положиться нельзя. Не тебе в обиду будь сказано... День работали, два дня в борозде стояли трактора-то. Трактористы от села к эмтээс мыкались, запасные части искали. Лошадки-то меня всегда выручали. С открытым сердцем тебе говорю, Федор,— боязнь берет без лошадей в сев остаться.

— Тетка Варвара, плохо ты знаешь бригадира Соловейкова! Иль, может, клятву особую тебе дать? Будут работать тракторы, ручаюсь! Бросай лошадей на семена! Управимся без них на полях! Десять лет я при тракторах, без малого полжизни! Мне слово тракториста дорого.

— Ой ли?..

Но по тому, как это «ой ли» было сказано, Федор понял: согласилась Степановна, не то чтоб совсем поверила,— согласилась, другого не придумаешь.

9

Исчезла под стеной сарая лиловая туша ноздреватого сугроба. Потом под окнами, меж черных грядок, сник ручей, оставил после себя след — желтую дорожку намытого песка. Скоро и сами грядки начали терять свою мокрую черноту, комья земли стали сереть, как остывающие угольья, подергивающиеся тонким слоем пепла. Подсыхала земля.

Федор послал дизель пахать клеверища и сам пропадал около него с раннего утра и до позднего вечера.

Приходил домой грязный, уставший, веселый.

— Лебедушка моя, есть хочу, ноженьки не держат,— и, стараясь походя щипнуть Стешу, на весь дом довольно хохотал, когда в ответ получал тумака.

Однажды вечером, когда Федор навалился на полуостывшие щи, Стеша присела напротив, поставила на краешек стола белые локотки и, склонив голову, с довольной и в то же время осуждающей улыбкой — «Эк ведь торопится, словно кто нахлестывает» — разглядывала мужа.

— Да, совсем было запамятовала... Долго ль ждать будем? Пора усадьбу пахать. Колхозное-то небось начали, а свое лежит нетронуто. Отец просил: сходи к Варваре, попроси лошадь, тебе она не откажет, с тобой ей не с руки не ладить.

— Нельзя, Стеша. Правление постановило: пока семена все не вывезут, никому лошадей не давать. У Варвары-то, чай, своя усадьба, не берет же она себе лошадь. Нам тут, Стешенька, не след поперед других вылезать.

— Так что ж, не пахать?

— Надо что-то придумать, Стеша. Лопатами, что ли, пока взяться? Туго колхозу-то нынче, семена на станции, а весна не ждет.

— Никакой у тебя заботушки! Не холостяшка, кажись, в семье живешь, пора бы иметь заботу-то. Лопатами... Ты, что ль, лопатой эти двадцать пять соток поднимешь?

Ты-то утром добро ежели завтрака дождешься, а то кусок в карман, да и был таков... Может, мне? Может, мать заставить?.. Отцу-то шесть десятков, надорвется!

— Обожди, Стеша. Вот вывезут...

— Жди, когда они вывезут! Колхозное-то засеют, а от своего хоть отвернись!

— Стеша! Я лошадь просить не пойду. Обижайся не обижайся — не пойду! Совести не хватит!

И получилось резковато. Полные губы Стеши растянулись, задрожали в уголках, в тени под ресницами, почувствовал Федор, стали накипать слезы. Она поднялась.

— Совесть свою бережешь? За стол-то лезешь! Тут-то хватает совести! — Ушла, хлопнув дверью.

Федор сидел, продолжал хлебать сразу показавшиеся пресными щи и успокаивал себя: «Бывает... Утрясется... Дело-то домашнее,— глядишь — через час вернется, поладим».

Сел, как бывало в неловкие минуты, к приемнику, поймал Москву. Там пели:

За твои за глазки голубые
Всю вселенную отдам...

Стало не по себе, выключил, походил около двери, но войти не решился. Там тесть сидит,— верно, подметку на старые сапоги набивает или к чайнику отвалившийся нос припаивает, молчит угрюмо. Теща, поджав губы, вздыхает: «На премию целится молодец...» Туда сейчас нельзя, там как на врага взглянут. «Стеша, наверное, плачет... И чего сорвалась? Договорились бы... Беда какая! Да черт с ней, с усадьбой, и без нее голодными не остались бы!..»

Скинув сапоги, лег лицом в подушку, ждал, ждал Стешу. Но та не приходила, не шел и сон.

Встал. Походил по комнате нарочно шумно, чтоб слышали на той половине, двигая стульями. Вспомнил, что днем, помогая ребятам устанавливать плуг, как-то зацепил рукавом, порвал. Решил залатать. Пусть Стеша приходит. Он будет сидеть, шить и молчать: любуйся, мол, какой у тебя догляд за мужем, не совестно?..

Разыскивая в коробке из-под печенья нитки, он наткнулся на комсомольский билет.

На собраниях Стешу не встречал, знакомился — полной анкеты не требовал. Потом как-то привык — она работает,

на работу не жалуется, и в голову не приходило поинтересоваться, комсомолка или нет.

С виду новенькому, не мятому, не затертому билету было четыре года. На карточке Стеша почти девочка, лицо простоватое, брови напряженно подняты; теперь куда красивее она выглядит. Членские взносы заплачены только за три месяца. Давно выбыла, четыре года билет валяется.

Держа в руках этот билет, Федор задумался: «Жена, ближе-то и нету человека, три месяца с ней живу, а ведь не только это, многого еще, пожалуй, не знаю про нее... Верно говорят: «Чужая душа — потемки».

Стеша так и не пришла, ночевала у родителей.

10

...Лошадь требует — подай и шабаш, знать не хочу колхоза!..

И работу-то она нашла тихую, не пыльную, лишь бы в колхозе не сидеть... И комсомольский билет забросила, сунула вместе с нитками, забыла, и горя мало...

Но ведь все ж она душевный человек, мало ль промеж них пережитого, плохим словом о прошлом не обмолвишься, просто крест на ней не поставишь...

Шесть лет работает Федор бригадиром трактористов, а трактористы в деревне — особая статья. Этот народ цену себе знает, любит независимость. Со всякими ребятами приходилось сталкиваться. Случалось, подносили под нос пропахший керосином кулак: «Не командуй, Федька!.. Сами с усами». Но и таких Федор обламывал. По начальству не ходил, не плакал в жилетку: сил-де нет, управы не найду. Шелковыми становились ребята, умел договориться. Девчата под его началом работали... Ну, с девчатами — легче легкого. Слово за слово, коль смазлива, то, глядишь, и за подбородочек можно взять — сразу растает. Стеша тоже человек. Договориться нельзя, что ли? Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за лошади. Да Стеша и сама откажется, только подойти надо умеючи. «Ай, Федор! Что ж тут казниться-то? Со своей женой да не столковаться — смех!»

Федор с трудом дождался обеденной поры.

Стешу он застал дома, и она встретила его на удивление мирно.

— Вернулся, поперечный? А я уж думала, и к ночи не придешь. Наказание ты мое! Ладно, садись обедать.

С самого утра Федор готовился к разговору, сам про себя спорил, придумывал ответы, упреки, шутки. И на вот — все ни к чему. Стеша не держит на сердце обиды. Федор даже немного растерялся.

— Так ведь, Стеша, сама посуди... Чего просила... Разве можно... Не время теперь...

— Это ты о чем? О лошади?.. Так об этом и говорить нечего. Ты не захотел — отец достал. Он уже пашет. Мимо шел, не заглянул небось, не поинтересовался.

— Как достали? Откуда?

— Откуда, откуда... Да все оттуда же. Пошли к Варваре и попросили. Это ты гордец выискался — совести не хватит!.. Садись уж за стол. Сегодня суп с курятиной, солонина-то, чай, опостылела.

Она, как всегда, спокойна и деловита. Мягкой поступью ходит вокруг стола, осторожно, чтоб не испачкать белой кофточки, в которой она сидит на работе, подхватывает тряпками тяжелые чугуны, легко их переставляет. С ней да ругаться, про нее да плохо думать, кто же не без греха?

И все же во время обеда Федор молчал, не переставал думать: «Как это Варвара решилась? Нет же лишних лошадей. Ни Силантия Петровича, ни Алевтину Ивановну она вроде особо не жалует. Что-то не то...»

После обеда он нарочно завернул за угол, полюбовался: Стеша не шутила — по черной, взрыхленной земле прыгали галки, тесть, сутулясь, неровными оступающимися шажочками шел за плугом.

У Федора неспокойно стало на душе.

Тетка Варвара хмуро отвела от него взгляд.

— Ты лошадь просил,— сказала она, не обращая внимания на произнесенное Федором: «Здравствуй, Степановна».— Так я дала ее.

— Я?.. Лошадь?..

— Иль не просил, скажешь? Силан утром целый час подле меня сидел, попрекал, что относимся к людям плохо, что ты, мол, ради колхоза покой потерял, а я уважить тебя не могу. Так и сказал: «Федор просит уважить...» Еще пристращал: кобыленку жалеешь — как бы дороже не обошлось. Я Настасье Пестуновой отказала, у нее пятеро —

мал мала меньше, сама хворая, мужа нет... А тебя уважила. Приходится... Оно верно — план-то сева дороже заезженной кобыленки.

— Не просил я лошадь, тетка Варвара!

Но тетка Варвара всем телом повернулась к бухгалтеру:

— Так ты куда ж, красавец писаный, этот остаток заприходовал?

— Тетка Варвара! Слышь!.. Нечего мне затылок показывать, выслушать надо!

— А ты не кричи на меня. На свою родню иди крикни, ежели они тебя обидели.

Как ошпаренный выскочил Федор из конторы, широким шагом зашагал к дому.

Он подождал, пока большеголовая, кланявшаяся мордой на каждом шагу лошадь добралась до обочины, взял ее за поводок.

— Стой, батя.

— Чего тебе? — Выцветшая, с черным околышем военная фуражка была велика тестю, треснувший матовый козырек наполз на хрящеватый нос.

— Выпрягай.

И, не дожидаясь помощи, Федор сам отцепил гужи. Лошадь дернулась и остановилась, вожжи были привязаны к ручке плуга.

— Отвязывай!

— Так, сынок, так... Ой, спасибо... Забываешь, видно, под чьей крышей живешь, чьи щи хлебаешь... А вожжи ты оставь. Вожжи мои, не колхозные.

Федор отцепил вожжи, побросал концы на землю.

— Позорить себя не дам! — крикнул он, уводя лошадь.— И щами меня не попрекай! Себе и жене на щи заработаю!

Он отвел в конюшню лошадь и ушел в поле, к тракторам, до позднего вечера.

11

Стемнело.

Наигрывая только здесь, по деревням, еще не забытый «Синий платочек», уходила из села гармошка. За пять километров отсюда, в деревне Соболевка, сегодня свадьба. Какой-то незнакомый Федору Илья Зыбунов начнет с

завтрашнего дня семейную жизнь. На крылечках то лениденько разгораются, то притухают огоньки цигарок. Две соседки, каждая от своей калитки, через дорогу, через головы редких прохожих судачат о какой-то Секлетее — и такая она и сякая, и нос широк, и лицо в веснушках: «Как только на нее, конопатую, мужики заглядываются, уму непостижимо...»

Живет село неторопливо, спокойно готовится к ночи. Через час уснет с миром.

А средь других, грузно осевший в кустах малины, стоит дом. Угрюмо глядят на неуверенно приближающегося Федора его темные окна. Тяжело Федору переступить порог этого дома. И не переступил бы, прошел мимо, да нельзя. Так-то просто не отвернешься, не пройдешь мимо.

Федор осторожно толкнул дверь, она не открылась — заложена изнутри.

Что делать? Повернуть обратно? Постучать? И то и другое — одинаково трудно.

«Здесь пока живу, не в другом месте...» — Федор громко стукнул.

Долго не было ответа. Наконец раздался шорох.

— Кто тут? — Федор вздохнул свободней: не тесть, не теща, а Стеша, это хорошо.

— Я... Открой.

Молчание. Сперва морозный озноб пробежал под рубашкой, потом стало жарко до пота.

Но вот стукнул засов, дверь отошла, за ней послышались удаляющиеся шаги, резкие, сердитые.

Федор вошел, запер за собой дверь.

— Пришел, вражина? А зачем? Чего тебе тут?.. Тебе весь свет милей, чем мы! Поворачивай обратно! Глаза терпеть не могут тебя, постылого! Связалась я!..

— Стеша!.. Да обожди... Да брось ты... Пойми, выслушай...

Посреди комнаты, в белой рубахе, волосы растрепанные, неясное в темноте лицо, голос клокочет от злости, чем дальше, тем громче ее выкрики, срываются на визг. В тихом, уснувшем доме, где Федор приготовился говорить вполголоса, это не только неприятно, это страшно.

— Объяснить хочу...

— Какой ты мне муж! И чего я на тебя, дурака, позарилась!.. Пришел! На-ко, мол, полюбуйся!..

— Стеша!

— Не приютили тебя дружки-то, сюда приперся!..

— Брось, Стешка!

— Ай, мамоньки! Что же это такое! Напаскудил, отца оплевал, теперь на меня... Несчастье мое!.. В родном-то доме!..

— Брось плакать! Послушай!

Но Стеша не слушала; белая, высокая, сцепившая на груди руки, она визгливо, по-бабьи заливалась слезами.

— За что-о мне на-а-ка-азание та-акое!

Стукнула дверь, в полутьме на пороге показалась теща в накинутом поверх исподней рубахи старом ватнике, пахнущая щами.

— Господи боже, Исусе Христе!.. Стешенька, родимушка, да что же это такое? Касаточка моя.. Силан! Силан!.. Ты чего там лежишь? Дочь твою убивают!.. Ведь вахлак-то пьянешенек приперся!

И Федора взорвало:

— Вон отсюда, старое корыто! Нечего тебе тут делать!

— Си-и-илан!

— Мамоньки! Отец! Отец!

В белом исподнем, длинный, нескладный, ввалился Силантий Петрович, схватил за руку дочь, толкнул в дверь жену.

— Иди отседова, иди! Стешка, и ты иди! Опосля разберемся... Я на тебя, иуда, найду управу...

— Уйди от греха!

— Найду!

Как отзвук всего безобразного, донесся из-за двери голос тещи:

— Ведь он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!

Стало тихо.

Федор долго стоял не шевелясь.

«Вот ведь еще какое бывает... Что теперь делать?.. Уйти надо сейчас же... Но куда?.. На квартиру к трактористам, к ребятам... Но ведь спросят — зачем, почему, как случилось?.. Рассказывать — себя травить, такое-то позорище напоказ вынести. Нет, уж лучше до утра здесь перемучиться!»

И чтобы только отогнать кошмар темной комнаты — смутные фигуры Стеши, ее матери с ватником на плечах, тощего, как ножницы, тестя в подштанниках,— Федор зажег лампу.

Разбросанная кровать, половички на полу, белая скатерка на столе, желтый лак приемника, лампа под бумажным колпаком... Всплыла ненужная мысль: «На лампу-то абажур купить собирался, сверху зеленый, белый понизу...» И не испуг, а какое-то недоумение охватило Федора: «Неужели конец?»

Пол под ногами вымыт Стешей, скатерка на столе ее руками постелена, а края этой скатерти, знать, подрубала теща, половички, занавески, этот страшный сундук... Вспомнился выкрик: «Он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!» Радовался — свое гнездышко! Сейчас, куда ни повернись, скатерка, половичок — все, кажется, кричит Стешиным голосом: «Вражина! Куда приперся?» — «Гнездышко, да не свое... Ночь бы здесь провести, утром что-то придумать надо...»

Хотя на половине родителей, в маленькой боковушке, стояла широкая кровать с никелированными шарами, с пуховым матрасом, с горкой подушек, устланная нарядным верблюжьим одеялом, но старики обычно спали то на печи, то на полатях, подбросив под себя старые полушубки. Остаток ночи Стеша провела на этой кровати.

Первые часы она плакала просто от злости: «Кто дороже ему, вражине, жена родная или тетка Варвара?» Но мало-помалу слезы растопили обиду, стало стыдно и страшно. «Как еще обернется-то? А вдруг да это конец!..» Стеша снова плакала, но уже не от злобы, а от обиды: не получилось счастья-то.

А счастье Стеша представляла по-своему...

Она родилась здесь, в этом доме, здесь прожила всю свою недолгую жизнь. Если б кто догадался ее спросить: «Случалось ли у тебя в жизни большое горе или большая радость?» — ответить, пожалуй бы, не смогла. Большое горе или большая радость? Не помнит. Когда ей исполнилось семнадцать лет, подарили голубое шелковое платье. Она и теперь его носит по праздникам... После этого отец с матерью каждый год справляют обновки. Каждая обновка — радость, но от голубого платья, помнится, радостнее всех было. А большей радости не случалось.

Училась в школе. В шестом классе уже выглядела невестой — рослая не по годам, и лицо с румянцем, и стан не девчонки. Училась бы неплохо, если б не математика, от

задачек тупела. Но все же шла не хуже других, так — в серединке. В самодеятельности выступала, со школьным хором частушки на сцене пела...

Молодежь в своем колхозе обычно старалась не задерживаться. Парни уходили в армию и не возвращались, девушки уезжали то по вербовке, то учиться в ремесленное, то шли поближе, в райцентр, куда-нибудь делопроизводителем бумаги подшивать. Стеша не кончила восьмой класс — на вечорках поплясывать стала, парни провожали, сидеть за партой, решать, чему равно «а» плюс «б» в квадрате, казалось стыдновато, да и ни к чему, в ее жизни «иксы» да «игреки» не пригодятся.

От дома она не оторвалась, никуда не уехала, но и в колхозе работать — отец с матерью в один голос объявили — расчету нет. Поступила на маслозавод. Работа не трудная — проверить молоко, принять, выписать квитанцию. На маслозаводе, кроме нее, работало всего пять человек, все пожилые, семейные. Стеше в товарищи не под пару.

Держалась сначала старых подруг, с ними она ходила на вечеринки, секретничала в укромных уголках, кружок самодеятельности посещала и даже в это время в комсомол вступила. Другие-то вступают, чем она хуже?..

Вступила, но собрания по вопросам сеноуборки или вывозки навоза — не вечеринки с пляской. Как-то само собой получилось — она отошла от старых подружек (немного их оставалось в колхозе), те забыли ее.

Началась жизнь: дом да маслозавод, маслозавод да дом, каждый день одна дорожка мимо дома Агнии Стригуновой, мимо ограды Петра Шибанова, мимо конторы правления... Скучно бы жить так, да надежда была — кому-кому, а ей не сидеть в вековушках. Найдется под стать ей парень, не далеко уж то время — найдется!

Как отец с матерью живут, она жить не собиралась. Целыми днями они хлопочут по хозяйству, садят, поливают, на базары возят, на медке, на мясе да на картошке копейку выбивают. Едят сытно и еще обновы покупают, а ходят не нарядно, даже спят не по-человечески — печь да полати. В избе неуютно, стены голые, две темные иконки на божнице да отрывной календарь — вот и все украшение. Они довольны, частенько приходится слышать: «Сравнить с другими, справно живем, грех жаловаться...»

И какой спрос с отца, с матери,— им век доживать и так хорошо.

Вот выйдет замуж — по-своему наладит. Муж будет обязательно или учитель, или агроном, культурный человек, чтоб книги читал, газеты выписывал. Займут они половину дома, комнату с печью-голландкой. Тюлевые занавески на окнах, на столе патефон вязаной скатеркой накрыт, стеклянная горка с посудой — свое-то хозяйство из всей силушки станет обиходить.

Представлялось: раным-ранешенько, вместе с солнышком, проснется она: муж спит, сын (сын — непременно) спит: тихонько выходит она в огород. Босые ноги росяным холодком жжет, по крепким капустным листьям вода блестящими катышками сбегает, помидорным листом пахнет — все кругом свое, во все ее душа вложена... А по вечерам гости приходят. Не своя деревенская родня, не Егоры да Игнаты, а мужнины гости. За столом сидят, чай пьют, о политике рассуждают. Она или в сторонке с вышивкой на коленях, или угощает: «Кушайте на здоровье, медку-то не жалейте... Свои пчелы, сбор нынче хорош».

Вот оно, ее счастье — мир, тишина да дом полная чаша.

Но не все как думалось, так и вышло. Муж хоть и собой парень видный, а не учитель, не агроном, почти свой брат колхозник. Правда, книжки читает, газеты иногда на дом приносит, но гостей его приглашать неинтересно, не чаек, не разговор о политике их интересует — пиво да водка, споры о горючем.

Не совсем тот муж.

Стеша про себя тайком считала — осчастливила она Федора, могла бы и другому достаться. Потому и обидело ее страшно: Федор-то больше, чем родителей ее, больше, чем дом свой, больше ее самой посторонних уважает, тетку Варвару слушается!

Утром она, как всегда, ушла на работу. Там она сидела за закапанным чернилами столом, вздрагивала от каждого стука дверей. Все казалось — вот-вот должен войти Федор, и обязательно с повинной головой.

В маленькой конторке маслозавода было душно от нагретой солнцем железной крыши, стоял крепкий запах прокисшей сыворотки. Из-за размытых дорог, из-за жаркого дня молоко колхозы не везли, работы не было...

Стеша сидела и ждала. Федор не появлялся.

Она вдруг почувствовала головокружение и тошноту...

12

Уснул с мыслью: утром что-то надо придумать,— а придумать ничего не мог.

Ходил по распаханным полям от трактора к трактору, потом выбрал сухое местечко, на припеке, лежал на земле, надвинув фуражку на глаза, дремотно глядел в весеннее густо-синее небо.

«К матери бы съездить. Давно уже не был. Холостым-то что ни месяц навещал...»

И вспомнилась Федору мать. Идет согнувшись, мелкой торопливой походочкой, голова в выгоревшем платке вперед, руки назад отброшены. Встретит бригадира, начинает обязательно выговаривать: «Куда смотришь? Где глаза твои?.. За лопатинским двором в овсе козы гуляют. Огорожу поправить досуга у вас нет! Старухе заботиться приходится. Лаз — что ворота. Я там прикрыла малость». И бригадир спокоен: раз Дарья Соловейкова «прикрыла малость», значит — порядок, там козы не пролезут. Он стоит, выслушивает, пока Дарья не устанет.

Любит мать поворчать. Отцу-покойнику доставалось на орехи. Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него что-нибудь новенькое приготовлено: на повети крыша прохудилась, поленницу не на место сложил, дрова сырые привез. Отец так и называл: «Обедать с музыкой». А сколько затрещин Федьке перепадало!.. Ворчлива мать, неуживчива, а в деревне ее любят...

«К ней бы поехать, выложить все — поймет, пожалеет, поругает по-своему... Нет!»

У матери одна теперь радость — сыновья. Они счастливы — счастлива и она. Приехать, пожаловаться... Со стороны-то для нее его горе вдесятеро больше покажется. «Нет уж, сам решай, не порти жизни матери».

Федор поднялся, нехотя направился в село.

Тетка Варвара, видно, своим бабьим сердцем учуяла беду Федора.

— Чегой-то невесел, молодец? — но расспрашивать не стала. Она знала, что Федор привел обратно лошадь, знала и семью Ряшкиных... Она просто предложила: — Пойдем-ка ко мне, гостем будешь. А то работаем, считай, вместе, а знакомство конторское. Негоже! И старик мой радрадешенек будет: раз гость, значит, и косушка на стол. Любит.

Домик у председательши был всего в четыре окна — две крохотные горенки с чисто выскобленными стенами. Под полатями Федору пришлось согнуться.

— Чего так разглядываешь мое житье? — спросила тетка Варвара.

— Могла бы и пошире жить.

— Не положено. Многие не лучше меня живут. Коль мне ставить новую хоромину, так и другим надо... В лесу утонули, одни крыши на солнце проглядывают, а по всему селу постройки не только до колхозов, а еще до революции ставлены. Руки не доходят.

— Кто же виноват? Вон в Хромцове целая улица новая.

— Кто ж виноват? Может, и я... Опять, старый, пол не подмел?

— А то каждый день полагается? — весело и бойко отозвался старик.

Муж тетки Варвары был тщедушный, с прозрачной седенькой бородкой, морщинки у него по лицу беспечные, разбежались в улыбке. Федор знал — дед Игнат был дальний родственник Алевтине Ивановне,— значит, и его. Игнат был на их свадьбе, выпил не больше других, но всех скорей охмелел.

— Плохая ты у меня хозяйка,— покачала головой Варвара.

— Заведи другую... Вот, братец ты мой, уж куда как плохо, коль жена в руководящий состав попадет,— обратился дед Игнат к Федору.— Мне и пол мести, и печь топить, беда прямо...

— Сознавайся уж подчистую, чего там скрывать! Ты у меня и корову обиходишь, и тесто ставишь... Научился. Такие пряженики печет, что куда там мне! Только ленив: пока стопочку не посулишь, пальцем не шевельнет. Иной раз черствой корки в доме не сыщешь. И талант вроде к домовитости есть, да бабьей охотки недостает.

Грубая, резкая Варвара словно размякла дома, голос густоватый, ворчливый, добрый.

— Чего-сь, не сбегать ли мне, Варварушка? — напомнил старик.

— Рад, старый греховодник. Беги уж. Только быстро.

— Сама знаешь, сызмала прыток на ногу.

— На что, на что — на это дело тебе прыти не занимать.

Дед Игнат порылся за печью, достал пустую бутылку, сунул ее в карман, лукаво подмигнул Федору, скрылся.

«Сейчас, верно, расспрашивать начнет, что да как?.. Неспроста же позвала...» — подумал Федор, когда они остались наедине.

Но тетка Варвара и не думала расспрашивать, она сама стала рассказывать о себе.

— Вот, говорят, плохо руковожу... А что тут удивляться? Я ведь баба необразованная. Видишь, книжки в доме держу, тянусь за другими, а ухватка-то на науку не молодая...

Дед Игнат в самом деле оказался прыток на ногу.

— Вот как мы! — заявил он, появляясь в дверях, и засуетился, забегал от погребца к столу.

Сели за стол.

— Ох, зло наше! — неискренне вздохнул дед Игнат перед налитой стопочкой.

— А себе-то что? — спросил Федор тетку Варвару.

— Уж не неволь.

— Мы сами, мы сами... Она и так посидит, за компанию. За твое здоровье, племянничек! Ведь ты вроде того мне, хоть и коленце наше далекое.

Пошел обычный застольный разговор обо всем: о семенах, о севе, о подвозе горючего, о нехватке рабочих рук.

— В сев-то еще ничего, обходимся. А вот сенокосы начнутся! Наши сенокосы в лесах, наполовину приходится не косилками, а по старинке косой-матушкой орудовать. Вот когда запоем — нету народу, рук нехватка! Привычная для нас эта песня... Нам бы поднатужиться, трудодень поувесистей дать, глядишь, те, кто ушел, обратно повернули бы. Толкую, толкую об этом — нажмем, постараемся, кто-то слушает, а кто-то и умом не ведет. Есть люди — дальше своего двора и знать не хотят. Мякина в чистом помоле.

— На моих, верно, намекаешь? — спросил Федор.

— К чему тут намекать? Ты и сам без меня видишь... Эх, Федюха, Федюха, молодецкая голова, да зеленая! Ошибся ты малость. Зачем тебе было к Ряшкиным лезть? Уж коль взяла тебя за душу стать Степанидина, так отрывай ее от родного пристанища. Одну-то ее, пожалуй бы, и настроил на свой лад. Ты — к ним залез, всех троих не осилишь. Тебя б самого не перекрасили...

Федор молчал.

— Силан-то не из богатеев. До богатства подняться смекалки не хватало, а может, и жадность мешала. Жадность при среднем умишке не всегда на богатство помощница. Чтоб богатство добыть, риск нужен, а жадность риск душит. А уж жаден Силан: под себя сходит да посмотрит, нельзя ли на квас переделать. Прости, я попросту... Вот такие-то силаны, при организации колхозов, ой как тяжелы были!.. Середняк, с виду свой человек, а нутро-то кулацкое, вражье! Теперь-то вроде не враги, а мешают. Вот уж истинно — бородавки. Боли от них особой нет, а досаждают.

— Ты так говоришь, что мне одно осталось — пойти да поклониться: бывайте здоровы.

— Нет, на то не толкаю. Попробуй вырви зуб из гнилых десен. Только вначале надо было это сделать. Теперь-то скрывать нечего, трудненько. Ведь я знаю: получил нагоняй от Стешки, что лошадь у отца отобрал. Веры-то у нее к родителям больше, чем к тебе... Для того я все это говорю, парень, чтоб не обернулось как бы по присловью: «С волками жить — по-волчьи выть». Воюй!

— Боюсь, что отвоевался. Нехорошо у нас этой ночью получилось, вспоминать стыдно.

— Понятно, не без того... Особо-то не казнись, к сердцу лишка не бери. Хочешь счастья — ломай, упрямо ломай, а душу-то заморозь, зря ей гореть не давай.

Молчавший дед Игнат, хоть и с интересом вслушивавшийся в разговор, однако недовольный тем, что с разговором забыта и бутылка, произнес:

— Обомнется, дело семейное, не горюй!.. Ну-кось, выпьем по маленькой.

— А ты,— повернулась к нему тетка Варвара,— хоть словечко по деревне пустишь, смотри у меня!.. У тебя ведь с бабьей работой и привычки бабьи объявились, есть грешок — посплетничать любишь. Сваха бородатая!

— Эх, Варька, Варька! Да разве я?.. Язык у тебя, ей-бо, пакостней не сыщешь.

— Ладно! У человека — горе.

— Я ему друг или нет? Ты мне скажи: кто я тебе? — У деда уже заговорил хмелек.

В синее вечернее окно осторожно стукнули с воли.

— Кто это там? Не твои ли, Федор? Мои-то гости по окнам не стучат, прямо в дверь ломятся.— Тетка Варвара поднялась, через минуту вернулась, кивнула коротко Федору: — За тобой, иди.

У окна, прислонившись головой к бревенчатой стене, стояла Стеша. И хотя вечер был теплый, она зябко куталась в свой белый шерстяной полушалок.

Ни слова не обронили они, торопливо пошли прочь от председательского дома. И только когда завернули за угол, скрылись от окон тетки Варвары, оба замедлили шаг. Федор понял — сейчас начнется разговор. Он поднял взгляд на жену. С лица у нее сбежал румянец, глаза красные, заплаканные, но в эту минуту блестят сухо.

— Водочку попиваешь? В гости ушел? А та и рада... Жаловался ей, поди? Знал, кому жаловаться. Варваре! Она, злыдня, нашу семью живьем съесть готова.

Стеша, закусив зубами край шерстяного платка, беззвучно заплакала.

— Плачь не плачь, а тебе одно скажу,— сурово произнес Федор,— жить я в вашем доме не стану! Или идем вместе, или один уйду. Подальше от твоих. Вот мое слово, переиначивать его не буду.

— Она! Она, подлая! У-у, горло бы перегрызла! Собачье отродье! Мало ей, что по селу нас позорит, жизнь мою разбить хочет! Из-за чего?.. Что злого мы ей сделали? Я-то ей чем не потрафила?

— Ее винить нечего. Она тут ни при чем. Ошибся я, что согласился к вам переехать. Стеша... уедем в село, при МТС жить будем.

— Никуда не поеду! Чем тебе здесь худо? Уж, кроме как своей работы, и заботы никакой нет. Плохо ли живешь? Хозяйство, усадьба... А там садись-ка на жалованье.

— Стеша, чего жалеешь? Нужно, и там все будет.

— Зна-аю... Да и что говорить! Нельзя мне ехать от дому. Ты б поинтересовался когда... Души в тебе столько же, сколько у злыдни Варьки совести!.. Ребенок же у меня!

— Ребенок!

— Сегодня на работе голова закружилась, рвать стало... Мать ощупывала... Куда я с ребенком-то от дому поеду? От матери к няньке чужой... От добра добра не ищут, Феденька-а...

Стеша плакала. Федор молчал.

Так — одна плачущая тихими слезами, другой молчаливый, замкнутый — вошли в дом. У крыльца их встретила Алевтина Ивановна, проводила косым взглядом.

Должен быть ребенок. Но его еще нет, он не появился в семье. Не появился, а уже участвует в жизни.

13

Федор и представить себе не мог, как после ночного скандала жить под одной крышей с тестем и тещей, варить обеды в одной печи, каждый день встречаться...

Ведь друг другу в глаза глядеть придется, о чем-то нужно разговаривать!

А не разговаривать, слушать со стороны тошно...

— Никакой заботушки в нашем колхозе о людях! Нету ее.

— Захотела,— бубнит в ответ тесть.

— Скоро для коровы косить... Опять на Совиные или в Авдотьину яругу тащиться?

— А куда же? Может, ждешь, по речке на заливном отвалят?

— Мало ли местов-то.

— Ты к Варваре иди, поплачь, может, пожалеет... Вон собираются на Кузьминской пустоши пни корчевать — подходяще для нашего брата.

— Ломи на них, они это любят.

Этим кончаются все разговоры, изо дня в день одни и те же. Противно!

Противна бывает и ехидная радость Алевтины Ивановны: «В нашем-то кабанчике уже пудиков восемь будет, не колхозная худоба». Противна даже привычка тестя тащить с улицы оброненные подковы, ржавые гвозди, дверные петли, обрывки ременной сбруи... Все в них противно! Как жить с ними?..

Отказаться, не жить, разорвать — значит разорвать со Стешей. Да и только ли с ней? Ее белое лицо потеряло свежесть. Не выносила мясного, рыбного и запаха хлева. Сомнений уже быть не могло.

Казалось бы, невозможно жить, но это только казалось. Федор продолжал оставаться в доме Ряшкиных.

В глаза друг другу почти не глядели, зато Федор часто промеж лопаток, в затылке ощущал зуд от взглядов, брошенных в спину. Разговаривали по крайней нужде. И всегда так: «Стеша просит дров наколоть, мне бы топор...» Назвать тестя «отцом» не лежит душа, назвать по имени-отчеству — обидеть, прежде-то отцом звал.

Стеша же осунулась и подурнела, и не только от беременности. В глазах, постоянно опущенных к полу, носила скрытый страх, горе, тяжелую, глухую злобу не столько на

Федора, сколько на «злыдню Варвару». День ото дня она больше и больше чуждалась мужа.

Иногда Федор исподтишка следил за ней: «Обнять бы, приласкать, поговорить по душам...» Да разве можно! Слезы, объяснения, а там, глядишь, и попреки, крики, прибегут опять отец с матерью.

По ночам, лежа рядом со Стешей, отвернувшейся лицом к стене, Федор кусал кулаки, чтоб не кричать от горя, от бессилия: «Тяжко! Невмоготу! Душит все!»

В полях, около тракторов, в МТС Федор мог и шутить, и смеяться, и заигрывать с секретаршей Машенькой, вызывая ревность у Чижова. На промасленных нарах эмтээсовского общежития теперь он был почти счастлив.

Вот уж воистину — не ко двору пришелся. Не ко двору...

Страшные это слова, на человеческих страданиях они выросли.

Все чаще и чаще приходила мысль: «Не может же так вечно тянуться. Кончится должно... Когда? Чем?..»

Шел день за днем, неделя за неделей, а конца не было.

Как всегда, пряча глаза, Стеша заговорила:

— У тебя завтра день свободен?

— Свободен,— с готовностью ответил Федор, благодарный ей уж только за то, что она заговорила первой и заговорила мирно.

— Отец идет косить на Совиные вырубки. Может, сходишь, поможешь?.. Молоком-то пользуемся от коровы.

— Ладно,— произнес он без всякой радости.

Силантий Петрович и Федор вышли ночью.

До Совиных вырубок — пятнадцать километров, да и эти-то километры черт кочергой мерил.

Тропа, засыпанная пружинящим под ногами толстым слоем прелой хвои, протискивалась сквозь мрачную гущу ельника. Шли, словно добросовестно исполняли трудную работу, слышалось только сосредоточенное посапывание. Тут людям и в приятельских отношениях не до разговоров. Федор, наткнувшись щекой на острый сук да еще когда споткнулся о корневище, дважды выругался: «А чтоб тебя!» Тесть же, переходя по стежке, переброшенной через крутой овражек, за весь путь лишь один раз подал голос:

— Обожди, не сразу... Обоих не сдержит...

Больше до самых вырубок они не произнесли ни слова.

Года четыре назад здесь шли лесозаготовки, надсадно визжали электропилы, с угрожающим, как ветер перед грозой по траве, шумом падали сосны, трелевочные тракторы через пни, валежник и кочки тащили гибкие хлысты.

Теперь тихо, пусто, диковато. Далеко друг от друга стоят одиночки деревья. Это не случайно уцелевшие после вырубки, это семенники. Они должны заново засеять освобожденную от леса землю. Когда-то стояли они в тесной толпе собратьев, боясь опоздать, остаться без солнца, торопливо тянулись вверх. Теперь вокруг никого не осталось, лишь им выпала участь жить. Стоят длинные, тонкие, словно общипанные, бережно хранят на верхушках жалкие клочки листы или хвои. На земле же среди потемневших пней кустится молодая крупнолистая поросль берез, ольхи, осины, где помокрей да помягче — ивнячок да смородина. На этих-то мягких местах и косят обычно те рачительные хозяева, которые не особо надеются на укосы с колхозных лугов. Тут растет больше трава, зовущаяся по деревням «дудовник» или «пучки». Ребятишки с аппетитом едят ее мясистые, пахнущие стебли, очистив их от жестковатой ворсистой кожицы. Косить ее надо до цвету, иначе вырастет, станет жесткой, как кустарник, отворачиваться будет от нее скот.

Верхушка ближайшей березы-семенника розово затеплилась. Где-то, пока еще невидимое с земли, поднялось солнце.

Встали на пологой долинке — Федор с одного конца, Силантий Петрович с другого. Старик, прежде чем начать, с сумрачной важностью (боялся, что зять в душе посмеется над ним) перекрестился на розовеющую верхушку березы. Он первый начал. Взмахи его косы были осторожны, расчетливы и в то же время резки, как удары.

В Заосичье, где родился Федор, говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Не было поблизости ни заливных лугов, ни ровных суходолов. Отец Федора считался одним из лучших косцов по деревне и гордился этим: «Не велика наука по ровному-то, а вот по нашим местам с косой пройдись, тут без смекалки и разу не махнешь».

Позднее, когда Федор выучился ездить на велосипеде и умудрялся отмахивать за час от Хромцова до Большовской МТС двадцать километров по разбитому проселку,

всегда вспоминал косьбу с отцом по окраинам буераков, на гарях, по затянутым кустарником полянам.

На велосипеде все время напряженная борьба с дорогой. Каждая выбоина, песчаный, размятый копытами кусок, глубокая колесная колея — все надо обойти, изловчиться, победить. Так и при косьбе в лесу...

Маленький кустик утонул в густой траве. Боже упаси недоглядеть, всадить в него косу! Носком косы, стежок за стежком, подрубается трава. Она ложится на землю. Кустик, освобожденный от травы, топорщится, кажется — сердится на человека, он оголен, он недоволен, но с ним покончено, остается перешагнуть и дальше... Свободное место, ровная трава — раз, два! — широкие взмахи. То-то наслаждение — не копаться, а развернуться от плеча к плечу. Но не увлекайся — из травы выглядывает макушка полусгнившего пня, он сторожит косу...

Кустик, пенек, трухлявый ствол упавшей березки — все надо обойти, изловчиться, победить.

Федор забывал о тесте.

Солнце поднялось над лесом, стало припекать, прилипла к спине рубаха. Только когда от Силантия Петровича доносился визг бруска о косу, Федор тоже останавливался, пучком травы отирал лезвие, брался за свою лопатку. Им в одно время захотелось пить. Оба положили косы, с двух сторон пошли через кусты к бочажку ручья. Федор постоял в стороне, подождал, пока Силантий Петрович напьется. Тот, припав к воде, пил долго, отрывался, чтоб перевести дух, с желтых усов падали капли. Напившись, осторожно, чтобы не намутить, сполоснул лицо и молча отошел. Его место занял Федор. Лежа грудью на влажной земле, тоже пил долго, тоже отрывался, чтобы перевести дух.

К полудню сошлись. Меж ними оставалось каких-нибудь двадцать шагов ровного, без пней, без кустов, без валежин, места. Взмах за взмахом, шаг за шагом сближались они, красные, уставшие, увлеченные работой.

Быть может, они бы сошлись и взглянули бы в глаза. Что им делить в эту минуту? Оба работали, оба одинаково устали, один от одного не отставал, тайком довольны друг другом... Быть может, взглянули бы, но быть может, и нет.

Они сходились. «Вжи! Вжи!» — с одной стороны взмах, с другой стороны взмах, с сочным шумом валилась трава.

Федор вдруг почувствовал, что его коса словно бы срезала мягкую моховую шапку с кочки. Он сдержал взмах и сморщился, словно от острой боли. Лезвие косы было запачкано кровью. На срезанной траве в одном месте тоже следы крови, темной, не такой яркой и красной, как на блестящей стали. Бурый меховой бесформенный комочек лежал у ног Федора. Он перехватил косой крошечного зайчонка.

Силантий Петрович, отбросив косу, стал что-то ловить в траве, наконец поймал, осторожно разогнулся. Федор подошел.

— Задел ты его, парень. Концом, видать... Ишь кровца на ноге.

В грубых широких ладонях тестя сидел второй зайчонок; к пушистой сгорбленной спинке крепко прижаты светлые бархатные ушки, без испуга, с какой-то болезненной тоской влажно поблескивает темный глазок.

— Выводок тут был. Где ж уследишь? — виновато пробормотал Федор.

— Божья тваринка неразумная. Нет чтоб бежать... досиделась.

И в голосе, и на дубленом лице тестя в глубоких морщинах затаилась искренняя жалость, настоящее, неподдельное человеческое сострадание.

— Не углядишь же...

— Углядеть трудно. Дай-кося тряпицу какую. Перетянем лапу, снесем домой, может, и выходят бабы. Тварь ведь живая.

Домахнув остатки, они отправились обратно. Силантий Петрович нес свою и Федора косу. Федор же осторожно прижимал к груди теплый, мягкий комочек.

В этот вечер ужин готовился не порознь. Уселись за стол на половине стариков. Ни браги, ни водки не стояло на столе, а в доме чувствовался праздник.

Силантий Петрович и Федор, оба в чистых рубахах, сидели рядом, разговаривали неторопливо о хозяйстве.

— Запозднись на недельку,— перестояла бы трава.

— Перестояла бы... А ты, парень, видать, ходил с косой по лесным-то угодьям. Не хваля скажу — меня, старика, обставил.

— Как не ходить! Не из городских, чай.

— Оно и видно.

Алевтина Ивановна на лавке около печки прикладывала смоченные в воде листочки к раненой ноге зайчонка и ласково уговаривала:

— Дурашка моя, кровинушка, чего ж ты, родимый, пугаешься? Не бойся, касатик, раньше бы тебе бояться. Раньше... Угораздило, болезного, подвернуться.

А в стороне, так чтоб не слышать запах мясного борща со стола, сидела и пила топленое молоко Стеша. Светлыми, счастливыми глазами смотрела она на всех: мирно дома, забыто старое.

Она-то промеж Федора да родителей стояла, ей-то больнее всех доставалось, зато уж теперь больше всех и радостно.

Мирно дома, забыто старое.

14

Пришел поутру бригадир Федот Носов, высокий, узкоплечий, с вечной густой щетиной на тяжелом подбородке. Он нередко заглядывал к Силантию Ряшкину, и Федор, приглядываясь к ним, никак не мог понять — друзья или враги промеж собой эти два человека. Если Федот, войдя, здоровался в угол, останавливался посреди избы, не присаживался, не спимал шапки, значит, не жди от него хорошего. Если же он сразу от порога проходил к лавке и присаживался, стараясь поглубже спрятать свои огромные пыльные сапожищи, значит, будет мирный, душа в душу, разговор, а может, даже и бутылочка на столе.

На этот раз бригадир остановился посреди избы, смотрел в сторону.

— Силан,— сказал он сурово,— завтра собирайся на покосы.

— Что ж,— мирно ответил насторожившийся Силантий Петрович,— как все, так и я.

— Варвара сказала, чтоб ныне кашеваром я тебя не ставил. Клавдию на кашеварство. Болезни у нее, загребать ей трудно. Ты-то для себя косишь небось? Вот и для колхозу постарайся.

— Поимейте совесть вы оба с Варварой — ведь старик я. Для себя ежели и кошу, то через силушку. Не выдумывай, Федот, как ходил кашеваром, так и пойду.

— Ничего не знаю. Варвара наказала.

Федот повернулся и, согнувшись под полатями, глухо стуча тяжелыми сапогами, вышел.

— Ох, пакостница! Ох, змея лютая! Своего-то старика небось подле печки держит! А этот-то как вошел, как стал столбом, так и покатилось мое сердечко... Ломи-ко на них цело лето, а чего получишь? Жди, отвалят...

Силантий Петрович оборвал причитания жены:

— Буде! Возьмись-ко за дело. Бражка-то есть ли к вечеру?

— Бражка да бражка, что у меня, завод казенный или фабрика?

Вечером бригадир снова пришел, но держал себя уже иначе. Прошел к лавке, уселся молчком, снял шапку, пригладил ладонью жесткие волосы, заговорил после этого хотя осуждающе, но мирно:

— Лукавый ты человек, Силан. За свою старость прячешься — нехорошо. Ты стар, да куда как здоров, кряжина добрая, а Клавдия и моложе тебя, да хворая...

Федор знал, чем кончится этот разговор, и он ушел к себе, завалился на кровать. Пришла Стеша, напомнила ласково:

— Не след тебе, Феденька, чуждаться. Пошел бы, выпил за компанию.

Федор отвернулся к стене.

— Не хочу.

Стеша постояла над ним и молча вышла.

Назавтра стало известно — Силантия Петровича снова назначили кашеваром. Ничего вроде бы не случилось. Не было ни криков, ни ругани, ни ночных сцен, но в доме Ряшкиных все пошло по-старому.

Снова Стеша стала прятать глаза. Снова Федор и тесть, сталкиваясь, отворачивались друг от друга. Снова теща ворчала вполголоса: «Наградил господь зятьком. Старик с утра до вечера спину ломает, а этот ходит себе... У свиньи навозу по брюхо, пальцем не шевельнет, все на нас норовит свалить». Если такое ворчание доходило до Федора, он на следующий день просил у тестя: «Мне бы вилы...» И опять не отец, не Силантий Петрович, просто: «Мне бы...» — никто!

Федор старался как можно меньше бывать дома. Убегал на работу спозаранку, приходил к ночи. Обедал на стороне — или в чайной, или с трактористами. А так как за обеды приходилось платить, он перестал, как прежде, отда-

вать Стеше все деньги и знал, что кто-кто, а теща уж мимо не пропустит, будет напевать дочери: «Привалил тебе муженек. Он, милушка, пропивает с компанией. Ох, несемейный, ох, горе наше!»

Особенно тяжело было вечерами возвращаться с работы. Днем не чувствовал усталости: хлопотал о горючем, ругался с бригадирами из-за прицепщиков, кричал по телефону о задержке запасных частей, бегал от кузницы до правления. К вечеру стал уставать от беготни.

Тяжелой походкой шел через село. Лечь бы, уснуть по-человечески, как все, не думая ни о чем, не казнясь душой. Но как не думать, когда знаешь, что, поднимаясь по крыльцу, обязательно вспомнишь — третьего дня тесть здесь новые ступеньки поставил, зайдешь в комнату — половички, на которые ступила твоя нога, постланы и выколочены Стешей, постель, куда нужно ложиться, застелена ее руками. Каждая мелочь говорит: помни, под чьей крышей живешь, знай, кому обязан! Даже иногда полной грудью вздохнуть боязно — и воздух-то здесь не свой, их воздух.

Стеша, с похудевшим лицом, встречает его тяжелым молчанием, иногда заставал плачущей. А это самое страшное. По-человечески, как муж жену, должен бы спросить, поинтересоваться: что за слезы, кто обидел? Да как тут интересоваться, если без слов все ясно — жизнь их несуразная, оттого и слезы! Кто обидел? Да он, муж ее,— так считает, не иначе. Лучше не спрашивать, но и молчать не легче. Подняться бы, уйти, хоть средь луга под стогом переночевать, но нельзя. Здесь твой дом, жить в нем обязан. Обязан в одну постель с женой ложиться.

И так из вечера в вечер.

Не может так долго тянуться. Кончиться должно. Уж скорей бы конец!

Пусть тяжелый, некрасивый, но конец — все лучше, чем постоянно мучиться.

Нельзя жить!

Нельзя, а все же каждый вечер Федор послушно шагал через село к дому Ряшкиных.

15

У Федора была тетрадь. Он ее называл «канцелярией». Туда заносил и выработку трактористов, и расход горючего за каждый день. Эту «канцелярию», промасленную и по-

тертую, сложенную вдвое, он носил всегда во внутреннем кармане пиджака и однажды вместе с пиджаком забыл ее дома.

Прямо с поля он приехал за тетрадью, оставил велосипед у плетня, вошел во двор и сразу же услышал за домом истошное козье блеянье. Ряшкины своих коз не держали,— верно, чужая забралась. Крик был с надрывом, с болью. «Какая-то блудливая допрыгалась, повисла на огороде, а сейчас орет». Федор, прихватив у крыльца хворостину, направился за усадьбу и остановился за углом.

Коза не висела на огороде. Она стояла на земле, сзади на нее навалилась Стеша, спереди, у головы, с обрывком веревки в руках орудовала Алевтина Ивановна. Поразило Федора лицо тещи — обычно мягкое, рыхловатое, оно сейчас было искажено злобой.

— Паскуда! Сатанинское семя! Стеша! Милушка! Да держи ты, Христа ради, крепче!.. Так ее!

Коза рвалась, взахлеб кричала.

«Рога стягивают», — понял Федор.

Козы — вредное, пронырливое, надоедливое племя. От них трудно спасти огороды. Их гоняют, бьют, привязывают неуклюжие рогатины и тяжелые волокуши на шеи, все это в порядке вещей, но редко кто решается на такую жестокость — стянуть рога. Оба рога, расходящиеся в стороны, сводятся как можно ближе друг к другу, стягиваются крепко-накрепко веревкой, и коза отпускается на свободу. От стянутых рогов животное чувствует ужасную боль в черепе, мечется, не находя себе места. Если сразу не освободит ее хозяйка от веревки, коза может лишиться и без того небольшого козьего разума. Будет ходить пошатываясь, постоянно с тихой жалобой плакать, плохо есть, перестанет доиться — словом, как называют в деревне, станет «порченой».

— Все, Стешенька, пускай... В огурчики, ведьма, залезла! Огурчиков захотелось!

В две палки ударили по козе, та рванулась, все так же блажно крича, пронеслась мимо Федора.

В первую минуту Федору было только стыдно как человеку, который, сам того не желая, оказался свидетелем нехорошего дела. И Стеша, заметив его, должно быть, почувствовала это. Отвернулась, нагнулась к огуречным грядкам.

Теща, все еще с красным, озлобленным лицом, прошла, не обратив на Федора внимания.

— Огурчики пощипала! Вдругорядь не придет!

За тетрадкой Федор так и не зашел. Он сел на велосипед и поехал в поле.

Смутная тяжесть легла на душу. Такой еще не испытывал. Не жестокость удивила и испугала его и уж, во всяком случае, не жалость. Попадись эта блудливая коза под его руку, тоже бы отходил — помнила. Люди непонятные, вот что страшно. Как же так — один человек может обхаживать раненого зайчонка, обмывать, перевязывать, ворковать над ним: «Кровинушка, болезный...» — и тут же мучить другую животину? А лицо-то какое было! Переворотило от злости — зверь! «Огурчики пощипала!» Ну, теща — еще понятно, она за свои огурчики живьем, не с козы, с человека кожу содрать готова, но Стеша!.. Тоже, знать, осатанела за огурчики. «Девка гладкая, на медовых пышках выкормленная!» И только-то? Мало этого для жизни, оказывается.

Пустой случай. Подумаешь — поглядел, как козу наказывают! Кому рассказать, что расстроился,— засмеют. Не обращать бы внимания, забыть, не вспоминать, но и подумать сейчас не мог Федор о вечере... Опять вернуться, через стенку ворчание тещи слушать, щи хлебать, в их печи сваренные, с тестем при встрече отворачиваться, с женой в одну постель ложиться! Докуда терпеть это наказание? Хватит! Пора кончать, рвать надо!

Но ребенок ведь скоро будет. Его не ветром надуло. Отец-то ты, Федор!

Что же делать?.. Может, ради ребенка под них подладиться? Может, как теща, сатанеть над огурчиками? Может, плюнуть на все, подпевать вместе с тестем: «Ломи на них, они это любят»? Душу себе покалечить из-за ребенка?

Нельзя! Пора кончать! Рвать надо!

Вдоль лесной опушки, по полю, оставляя за собой темную полосу пахоты, полз трактор.

Положив у заросшей ромашками бровки велосипед, Федор прямо по отвалам направился к трактору. Трактор вел Чижов. Он остановился, слез не торопясь, кивнул головой прицепщику, веснушчатому пареньку в выцветшей рубахе:

— Разомнись пока. Как, Федор, уладил с горючим?

Федор прилег на траву.

— Нет. Тетрадь дома забыл.

— Ты ж за ней поехал...

Федор промолчал.

— Слушай,— обратился он через минуту,— там у меня велосипед, съезди ко мне домой, возьми тетрадь.

— А сам-то?

— Да что сам, сам... Тяжело съездить?

— Уж и на голос сразу. Съезжу, коль поработаешь.

Чижов повернулся, пошел было, но Федор вскочил, догнал его, схватил за рукав, повел в сторону.

— Обожди, разговор есть...

Они уселись в тени, под покачнувшейся вперед маленькой березой. И хотя давно уже меж ними была забыта старая обида, но Федор о семейных делах никогда не говорил с Чижовым. Считал — не с руки выносить сор из избы. А тем более перед Чижовым плакаться на судьбу стыдно. Теперь же Федору было все равно — не сейчас, так завтра узнают все, узнает и Чижов, и еще с добавлениями. Добавлений не миновать, такое дело...

Но Федор молчал, долго курил. Чижов с легким удивлением приглядывался к нему. Березка шелестела листьями над их головами.

— Ну, чего ты хотел? — не вытерпел Чижов.

— Слушай, скажи моим,— начал Федор и запнулся.— Скажи,— продолжал он решительнее,— не вернусь я к ним больше... Пусть соберут мои вещи... Сапоги там остались новые, в сундуке лежат... Полушубок, рубахи, приемник... Я к вам на квартиру жить перееду.

— Ты в уме ли? Дурная муха тебя укусила?

— Скажи, что вечером вы приедете за вещами.

— Федька! Ну, хоть убей, не пойму.

— Да что понимать? Не ко двору пришелся. Нет моченьки жить в ихнем доме.

— Это почему?

— Объяснять долго... Да и не рассказать всего-то. Народ они нехороший, тяжелый народ. Ты, Чижик, лучше не расспрашивай. Ты иди, делай, не трави меня. Мне, брат, без твоих расспросов тошно...

Чижов посидел, подождал, не скажет ли еще что Федор, но тот молчал. Чижов осторожно поднялся. Сбитая на затылок истасканная кепка, приподнятые плечи, боязливо шевелящиеся острые локти прижатых к телу рук — все выражало в удаляющемся Чижове недоумение.

Федор, отбросив окурок, поднялся, направился к трактору.

Он осторожно тронул и сразу же через машину ощутил за своей спиной тяжесть плуга, выворачивающего пятью лемехами слежавшуюся землю. Это пришедшее чувство уверенной силы тянущего плуг трактора немного успокоило Федора.

Ему показалось, что Чижов вернулся слишком быстро.

— Сказал? Все?

— Все, как наказывал.

— А они что?

— Степанида-то заплакала, потом ругаться стала, кричать на тебя, на меня... Я думал, в лицо вцепится... А какая красивая она была...

При последних словах Федор представил себе Стешу, лицо осунувшееся, с несвежей от беременности кожей, искаженное злостью и обидой, растрепанные волосы... «Была красивой». Чижов выдал себя. Он, верно, все ж таки завидовал немного Федору — хват парень, девки виснут на шею,— а теперь куда уж завидовать, просто откровенно жалеет.

Полуденная тишина жаркого дня стояла над полем.

Пахло бензином от трактора, теплой, насквозь прогретой солнцем землей, клевером. Федору хотелось лечь на землю лицом вниз и от жалости к себе тихо поплакать о своей неудачной жизни.

Но маленький стыд бывает сильнее большого горя.

Стоял рядом Чижов, топтался в стороне босоногий прицепщик, и Федор не лег на землю, не заплакал, постеснялся.

16

Обычный дом — изба, сложенная из добротного сосняка, тесовая крыша с примелькавшимся коньком, маленькие оконца. Под окнами кусты малины, посреди двора береза-вековуша. На тонком шесте она выкинула в небо скворечник. В глубине — стая и поветь. Въезд на поветь порос травкой. Все это огорожено плетнем.

Дом обычный, ничем не приметный, много таких на селе. И плетень тоже обычный. В нем не три сажени, не частокол бревенчатый, из тонкого хвороста поставлен, хотя и прочно — чужой кошке лапу не просунуть. И все же этот плетень имеет скрытую силу — он неприступен.

Через неделю после ухода Федора Стеше исполнилось двадцать лет. Как всегда, в день ее рождения купили обнову — отрез на платье. В прошлом году был крепдешин — розовые цветочки по голубому полю, нынче — шелк, сиреневый, в мелкую точку. Купили и спрятали в сундук. Были испечены пироги: с луком и яйцами, с капустой и яйцами, просто с яйцами, налим в пироге. Отец, как всегда, принес бутылочку, налил рюмку матери. Как всегда, мать поклонилась в пояс: «За тебя, солнышко, за тебя, доченька. Ты у нас не из последних, есть на что поглядеть». Выпив, долго кашляла и проклинала водку: «Ох, батюшки! Ох, моченьки нет! Ох, зелье антихристово!» Отец, как всегда, проговорил: «Ну, Стешка, будь здорова»,— опрокинул, степенно огладил усы. Все шло, как всегда, одного только не было — радости. Той тихой, уютной, домашней радости, которую с детства помнит Стеша в праздники. Все шло, как всегда. О Федоре не вспоминали. Но под конец мать не выдержала; скрестив на груди руки, она долго смотрела на дочь, вздыхала и все же обмолвилась:

— Не кручинься, соколанушка. Бог с ним, непутевый был, незавидный.

И Стеша расплакалась, убежала на свою половину.

В последнее время частенько ей приходилось плакать в подушку.

«Плохо ли жить ему было? Чего бы волком смотреть на родителей? Доля моя нескладная!.. Парнем-то был и веселый и ласковый. Кто знал, что у него такой характер... Ну, в прошлый раз к Варваре пошел — понятно. Обругала, накричала я на него, мать его обидела. Теперь-то слова против не сказала. На что мать и та, чтоб поворчать, пряталась, в глаза обмолвиться боялась. Может, ждет, чтоб я к нему пришла, поклонилась? Так нет, не дождется!»

Она плакала, а внутри под сердцем сердито толкался ребенок.

И все ж таки не выдержала Стеша.

Возвращаясь с работы, она издалека увидела его. У конторы правления стоял трактор. Варвара и трактористы о чем-то громко разговаривали. До Стеши донесся их смех. Рядом с Варварой стоял Федор и тоже смеялся. Каким был в парнях, таким и остался — высокий, статный, выгоревшие волосы упали на лоб. А она — живот выпирает караваем, лицо такое, что утром взглянуть в зеркало страшно. «Стой в стороне, смотри из-за угла, ку-

сай губы, слезы лей, ругайся, кляни его про себя... Смеется! Подойти бы сейчас к нему, плюнуть в бесстыжие глаза: что, мол, подлая твоя душа, наградил подарочком, теперь назад подаешься?.. При людях бы так и плюнуть!.. Да что люди?.. Варвара, трактористы, все село радо только будет, что Степанида Ряшкина себя на позорище выставила. Федор-то им ближе. И так уж шепчутся, что он обид не выдержал, извели, мол, парня. Кто его изводил? Сам он всю жизнь в семье нарушил...»

Дома Стеша не бросилась, по обыкновению, на подушку лицом. Она, чувствуя слабость в ногах, села на стул и, прислушиваясь к шевелившемуся внутри ребенку, мучилась от ненависти к Федору: «Бросил!.. Забыл!.. Смеется!.. Да как он смеет, бесстыжий!»

Сидела долго. Начало вечереть. Наконец стало невмоготу, казалось, можно сойти с ума от черных однообразных мыслей. Она вскочила, бросилась к двери. Уже во дворе почувствовала, что вечер свеж, ей холодно в легоньком ситцевом платьице, но не остановилась, не вернулась за платком — побоялась, что вскипевшая злоба может остыть, она не донесет до него.

Трактористы квартировали в большом доме, у одинокой старухи Еремеевны. Из распахнутых окон доносился шум голосов и стук ложек об алюминиевые миски. Трактористы ужинали. Стеша громко, с вызовом постучала в стекло. Дожевывая кусок, выглянул Чижов, увидел Стешу, торопливо кивнул, скрылся.

Стеша прислонилась плечом к стене, почувствовала все ту же слабость в ногах.

Федор вышел по-домашнему, в одной рубашке, с расстегнутым на все пуговицы воротом. Лицо у него было бледно и растерянно, чуб свисал на нахмуренные брови. Ведь муж, ведь знаком, дорог ей! И чуб этот белобрысый знаком, и руки, тяжелые, в царапинах, — все знакомо... Но смеялся недавно, живет легко, о ребенке забыл!..

Стеша шагнула навстречу.

— Не в землю смотри, на меня! — вполголоса горячо заговорила она.— Видишь, какая я? Нравлюсь?Что глазами-то мигаешь? Ребенка испугался?

— Звать обратно пришла? — хрипловато и угрюмо спросил он.— Обратно не пойду.

— Может, ждешь, когда в ножки упаду?

— Стеша!

— Что — Стеша? Была Стеша, да вот что осталось. Любуешься?.. Полюбуйся, полюбуйся, наглядись! Запомни, какая у тебя жена, потом хоть в компании с Варварой обсмеешь !

— Стешка! Послушай!...

— Ты послушай! Мне-то больнее твоего теперь!..

— Иди из дому. Иди ко мне, Стеша! Забудем все старое!

— Иди! Из дому!.. Что тебе отец с матерью сделали? Что ты на них так лютуешь?.. Все совесть свою берег! Да где она у тебя, твоя совесть-то? Нету! Нету ее!..— Стеша кричала уже во весь голос, не обращая внимания на то, что на крыльцо начали выходить трактористы.— Изверг ты! Жизнь мою нарушил!..

— Опомнись, не стыдно тебе?

— Мне стыдно! Мне? Еще и глаза не прячешь! Эх ты! Да вот тебе, бессовестному. Тьфу! Получай! — Стеша плюнула в лицо и бросилась на Федора, вцепилась в его рубашку.

Федор схватил ее за руки.

— Что ты!.. Что ты!.. Приди в себя!.. Люди же кругом, люди!

Она рвалась из его рук, изгибалась, упала коленями на землю, пробовала укусить.

— Что-о мне лю-уди?.. Пу-усть смотрят!..

Народ обступил их. Федор, держа за руки рвущуюся Стешу, старался спрятать свое багровое от стыда лицо.

Она враз обессилела, тяжело осела у ног Федора. Он выпустил ее руки. Уткнувшись головой в притоптанную травку, Стеша заплакала про себя, без голоса, видно было, как дергаются ее плечи. Федор, подавленный, растерянный, с горящим лицом, неподвижно стоял над ней.

— Поднимите! Домой сведите. Эк, поглазеть сбежались! — раздвигая плечом народ, подошла тетка Варвара.

Один из трактористов, дюжий парень Лешка Субботин, и бородатый кузнец Иван Пронин осторожно стали поднимать Стешу.

— Ну-ка, девонька, не расстраивайся. Пошли домой помаленьку, пошли... Мы сведем тебя аккуратно.

Поднятая на ноги Стеша столкнулась взглядом с теткой Варварой и снова дернулась в крепких руках парней.

— Это все ты! Ты, змея подколодная! Ты наговорила! Сжить нас со свету хочешь! Что мы тебе сделали? Что?

Тетка Варвара тяжело глядела в лоб Стеши и молчала. Кузнец Пронин уговаривал:

— Ты это брось, девонька. Некрасивое, ей-ей, неладное говоришь. Идем-ка лучше, идем.

— Все вы хороши! Все!.. За что невзлюбили? Никому мы не мешаем. Чужой кусок не заедали!..

Ее осторожно уводили, рыдающий голос еще долго раздавался из проулка.

Поздно вечером Федор пришел к тетке Варваре на дом, привел с собой Чижова.

— Буду проситься, чтоб на другой колхоз меня перекинули. После такого позорища я здесь жить не буду. Сейчас в МТС еду. За меня тут пока он останется.— Федор показал на Чижова.

Тот смущенно мялся.

— Уговори его, Степановна.

Тетка Варвара до их прихода читала книгу. Она не торопясь пошарила на столе — чем бы заложить? — подвернулся ключ от замка, положила в книгу, захлопнула, отодвинула в сторону и сказала:

— Не пущу.

— Не ты, а МТС меня пускать будет. А я не останусь! С работы вовсе уйду. Глаза на селе людям показать совестно. Где уж там оставаться...

— Знаю, но не пущу. Только-только из убожества нашего вылезать начинаем. Твоя бригада — основная подмога. К новому бригадиру привыкай. Это перед уборкой-то... Какой еще попадет?.. Нет уж! Поезжай, хлопочи — держать трудно, но знай — я следом выйду запрягать лошадь. И в райком, и в райисполком, в вашей МТС все пороги обобью, а добьюсь: заставят тебя у меня остаться. Лучше забудь эту мечту. А о стыде говорить... Поразодумайся, отойди от горячки, тогда поймешь: стоит ли бежать от стыда?

— Нет уж, думать нечего. Прощай. Я с Чижовым говорил, ты сама ему наказы сделай...

Федор ушел.

— Вот ведь, милушко, жизнь-то семейная! В сапогах с разных колодок далеко не ушагаешь. А по-разному скроены Стешка да Федор. Далек путь, через всю жизнь бы идти вместе... Учти, молодец, повнимательней приглядывайся к людям.— Тетка Варвара спокойно уставилась на Чижова.

Тот нерешительно проговорил:

— А все ж бы уговорить его надо вернуться.

— Куда, в колхоз?

— В колхоз само собой. К жене вернуться. Ребенок же скоро у них будет.

— В дом Ряшкиных вернуться?.. Нет, не решусь уговаривать. Видел, картину разыграли? А что, ежели в том доме такие картины будут показываться каждый день, только без людей, наедине, за стенами?.. Смысла нету уговаривать, все одно не выдержит, сбежит. Стешку бы от дома оторвать — другое дело. Но присохла, не оторвешь. Знаю я их гнездо, крепко за свой порог держатся.

— Ребенок же, Степановна!

— Вот на него-то и одна надежда. Может, он Стешку образумит... Ну, иди.

— А наказы?

— Какие тебе наказы? Завтра доделывайте, что начали, а послезавтра Федор вернется.

— Уж так и вернется. Упрям он.

— Ну, кто кого переупрямит! Пойдешь сейчас, заверни к Арсентию, скажи — я зову. За меня останется. Мне завтра целый день по организациям бегать. Задал хлопот твой Федор.

Она взялась за книгу.

17

Тетка Варвара «переупрямила». Федор остался на прежнем месте. Конечно, не без того, шли по селу суды и пересуды, но Федор о них не слышал. К нему относились по-прежнему.

Стеша никогда не могла себе представить, что привычный путь через село от дому до маслозавода может быть таким мучительным. Из окон, с крылечек домов, отовсюду ей мерещились взгляды — чужие, любопытствующие. Она стала всего бояться. Она боялась, как бы встретившийся ей на пути человек, проходя, не оглянулся в спину; она боялась, когда ездовые, приехавшие из соседней деревни с бидонами молока, переглядывались при виде ее. Всюду чудился ей один короткий и страшный вопрос: «Эта?..»

Часто думала: люди-то, по всему судя, должны не ее, а Федора осудить. Он ушел из дому, он бросил ее, с ре-

бенком бросил! Не Федора, ее осуждают, где же справедливость? Нет ее на свете!

Теперь Стеша уже не ждала — Федор не придет к ней с повинной головой,— но она еще надеялась встретиться с ним.

Один раз столкнулись. Но Федор шел в компании. Он вспыхнул и глухо, с трудом выдавил: «Здравствуй». Стеша не ответила, прошла мимо. Всю дорогу она злобно сжимала кулаки под платком. На этот раз лютовала в душе не на мужа, а на всех, на колхоз, на людей: «Их стыдится... Ведь из-за них вся и беда-то. Люди чужие ему дороже родни. Они видят это, потому и нянчатся. Нет чтобы отвернулись все. Где же справедливость?»

Прошла осень, выпал первый снег, и Федор надолго уехал из Сухоблинова в МТС. Ждать уж нечего. Скоро появится ребенок.

Что ж, так, видно, и оставаться — ни девкой, ни вдовой, просто — брошенная жена.

Отец ее, Силантий Петрович, угрюмо молчал. Обычно суровый, он стал мягче; когда Стеша плакала, успокаивал по-своему:

— Ничего, поплачь, не вредно, легче будет... Жизнь-то у тебя не сегодня кончается, будет и на твоей улице праздник. За нас держись, мы не чужие. Переживем как-нибудь.

Мать плакала вместе со Стешей и твердила по-разному. Иногда она заявляла: «В суд надо подать. Через суд могут заставить вернуться. Мало ли что платить, мол, будет. Деньгами-то стыдобушку не окупишь. Да и деньги-то — тьфу! Велики ли они у него!» В другой раз уговаривала: «Брось ты, лапушка, брось убиваться. Обожди, красота вернется, расцветешь, как маков цветочек, другого найдешь, получше, не чета такому вахлаку. А уж его-то не оставим в покое, он за ребенка отдаст свое».

Сама же Стеша решилась на такое, что никак не могло прийти в голову ни отцу, ни матери. Раньше не было нужды, и она совсем забыла о комсомоле, теперь она о нем вспомнила.

По санному первопутку, провожаемая наставлениями матери: «Ты про Варвару-то не забудь, обскажи про нее, она его подбивает» — и коротким замечанием отца: «Что ж, попробуй»,— Стеша отправилась на попутной подводе в райком комсомола.

Кабинет комсомольского секретаря был не только чист и уютен, в нем чувствовалась женская рука хозяйки. Цветы на подоконниках были не официальные кабинетные цветы, чахлые и поломанные, удобренные торчащими окурками, а пышные, высокие, вываливающие буйную зелень за край горшков. Под томиками сочинений Сталина подстелена белая салфеточка, рядом с казенным чернильным прибором — фарфоровая безделушка: заяц с черными бусинками глаз.

Сама хозяйка, секретарь райкома Нина Глазычева, пышноволосая, с длинными тонкими пальцами белых рук, на молодом лице меж бровей какая-то решительная, начальственная складочка, предложила Стеше стул негромко и вежливо:

— Садитесь. Я вас слушаю.

Стеша начала рассказывать, крепилась, крепилась и не выдержала участливых глаз секретаря, расплакалась, Нина торопливо налила в стакан воды, но тоном мягкого приказа произнесла:

— Продолжайте.

— Родители мои ему не нравятся почему-то. «Уходи, говорит, из дому, забудь родителей, буду с тобой жить».

— Родителей забыть?.. Так, так, слушаю.

— А ведь ребенок будет. Считанные дни донашиваю. Сами посудите — из дому-то родного на казенную квартиру, у обоих ни кола ни двора... Да и няньку нужно нанимать... Председатель нашего колхоза настраивает его: «Брось жену...» Зачем это ей понадобилось, ума не приложу. Завидует чему-то... — Стеша сквозь слезы горестно смотрела на фарфорового зайчонка.

— Бе-зо-бразие! — Толстый карандаш в тонких прозрачных пальцах комсомольского секретаря сделал решительный росчерк на бумаге.

Да и как не возмущаться? Пришел человек за помощью, не может сдержать слез от горя, лицо худое, пятнистое, платье обтягивает огромный живот... Ведь мать будущая! Бросить в таком положении! Ужасно!

— Очень хорошо, что вы пришли. Не плачьте, не волнуйтесь, все уладим. Соловейков Федор! Лучший бригадир в МТС! Непостижимо!

Как больную, осторожно под локоть проводила секретарь райкома Стешу. Та плакала и от горя, и от того, что

на нее глядят так жалостливо, и, быть может, от благодарности.

— Спасибо вам. Человеческое слово только от вас услышала. Заплеванная хожу по селу.

— Бе-зо-бразие! В наше время и такая дикость! Все сделаем, все, что можем. Прошу вас, успокойтесь, товарищ Соловейкова.

Оставшись одна, Нина Глазычева сразу же подошла к телефону.

— МТС дайте!.. Секретаря комсомольской организации... Журавлев, ты?.. Сейчас вместе с Соловейковым — ко мне!.. Все бросайте, слышать ничего не хочу! Жду! — Она резко опустила на телефон трубку.— Безобразие!

Нина Глазычева считала Федора Соловейкова виноватым уже только за то, что тот втоптал в грязь самые чистые из человеческих отношений — любовь, за одно это можно считать преступником перед комсомольской совестью! А он еще бросил жену беременной!..

Сама Нина вот уже два года переписывалась с одним лейтенантом, служащим на Курильских островах, посылала ему вместо подарков книги. На каждой книге по титульному листу четким почерком делала надпись вроде: «Жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее надо так...» Надписи были красивые и гордые по смыслу, но широко известные. В подходящих случаях молодежные газеты их печатают особняком или цитируют в передовых статьях. От себя же Нина добавляла к ним всегда одно и то же: «Помни эти слова, Витя». Беда только — в последнее время Витя стал отвечать на письма далеко не так часто, как прежде.

18

Казалось бы, все просто: раз решил и решил окончательно — порвать с домом Ряшкиных, раз понял, что жить под одной крышей с Силантием Петровичем и Алевтиной Ивановной нельзя, раз убедился, что Стеша не та жена, обманулся в ней, так что ж мучиться? Порвал, кончил и забыл!

Но забыть не мог Федор.

По ночам, когда он ворочался с боку на бок, не мог заснуть, отчетливо вспоминалась Стеша — вздернутая вверх юбка на животе, красное, перекошенное лицо, темные от

ненависти глаза; вспоминал, как она, упав коленями на землю, выламывала из его рук свои руки, лезла к лицу. Она плюнула, кричала, обзывала, и все это при людях, а он не чувствовал к ней обиды. Да и как тут обижаться? Она живой человек, мечтала, счастья ждала, и вот тебе счастье — оставайся без мужа да с брюхом.

И жалко, и жалеть нельзя. Идти обратно, молчать, отворачиваться, бояться вздохнуть полной грудью?.. Нет! Кончил! Порвал! Это твердо.

Что же делать?

Хотел Федор уехать подальше, в незнакомые края, к новым людям. Жил бы на стороне, посылал деньги... Но тетка Варвара всюду поспела. Сам председатель райисполкома вызывал, спрашивал:

— Уходишь с работы? А что за причина?

«Что за причина!» Этот вопрос задавали все, а Федор на него не мог и не хотел отвечать. Пришлось бы объяснять, почему бросил жену, пришлось бы выносить сор из избы... Волей-неволей остался на прежнем месте, в мастерских.

Чижов, тетка Варвара, другие знакомые Федора старались не заговаривать с ним о жене. Они понимали — больно! Незачем тревожить.

Чувствуя недоброе, вместе с механиком Аркадием Журавлевым, комсомольским секретарем МТС, Федор пришел в райком. Нина Глазычева сумрачным кивком головы указала на стулья, разговор начала не сразу, долго листала какие-то бумаги — давала время приглядеться, понять ее настроение. Наконец она подняла взгляд на Федора.

— Товарищ Соловейков!..— сделала паузу.— Всего каких-нибудь полчаса тому назад на том стуле, который вы занимаете, сидела ваша жена.

Недобрый взгляд, молчание. Федор не пошевелился, лишь потемнел лицом.

— Покинутая жена! Беременная! Вся в слезах! Не помнящая себя от горя!.. Что ж вы молчите? Что же вы боитесь поднять глаза?

Федор продолжал молчать, глаз не поднял, не шевельнулся.

— Вам стыдно? Но я, как комсомольца, вас спрашиваю: что за причины заставили пойти на такой низкий поступок?.. Не считайте это личным делом. Вопросы

быта — вопросы общественные! Я вас слушаю... Я слушаю вас!

— Это долго рассказывать.

— Я готова слушать хоть до утра, лишь бы помочь вашей жене и вам освободиться от пережитков.

Легкая испарина выступила на лбу Федора. Надо бы рассказать все, как встретились, как понравилась Стеша — голубое платье, нежная ямка под горлом, рассказать, как хорошо и покойно начинали жить, когда Стеша подходила к нему с разрумяненным от печного жара лицом, рассказать про отца ее, про незаконно взятую лошадь, про зайчонка, про козу, «пощипавшую огурчики»... Но разве все расскажешь? Где тут самое важное?

— Семья у них нехорошая,— произнес он.

— Чем же нехороши?

— Живут в колхозе, а колхоз не любят. Тяжело жить с такими, когда только и слышишь: «Отношения к людям нету, благодарности никакой», а сами в стороне живут. Бородавкой отца-то Стеши зовут по селу, меня — бородавкин зять. Обидно.

— Из-за этого-то надо бросать жену с ребенком? Вы должны перевоспитать и жену, и отца ее, и мать — всех! Они сразу обязаны были почувствовать, что в их семью вошел комсомолец!

— Это сказать просто. Да разве перевоспитаешь...— возразил было Федор и тут же пожалел, что возразил.

Секретарь райкома развела руками.

— Ну уж... самое позорное, что можно представить,— это расписаться в собственном бессилии. Вы пробовали их перевоспитывать? Наверняка нет!

Что тут говорить, что тут спорить? Тетка Варвара хорошо знает Силана Ряшкина, так она и без объяснений понимает Федора. Эту бы голосистую сунуть в ряшкинский дом! Пусть бы попробовала перевоспитать Силана Бородавку.

— Молчите? Сказать нечего? Ваша жена не комсомолка. Одно это говорит о вашем безразличии к жене. Я пригляделась сейчас — простая девушка, чистосердечная, наверно, не глупая, из такой можно сделать комсомолку.

— Она была комсомолкой. Четыре года назад, да механически выбыла. Что ж райком тогда из нее настоящую комсомолку не сделал?

— Вот как!.. Не знала... Но не вам упрекать райком. В районе около тысячи комсомольцев, работники райкома не могут заниматься воспитанием каждого в отдельности. Такие, как вы, должны помогать нам воспитывать. Вы помогаете?.. Бросили беременную! Преступление вместо помощи! Помните, что говорил товарищ Ленин о коммунистической морали?..

Федору уже больше не пришлось возражать он только слушал. Нина Глазычева упомянула и о Ленине, и о словах Горького, что человек — звучит гордо, и о том, как умел любить Николай Островский, и даже о декабристах, чьи жены добровольно уехали в ссылку за мужьями. У Нины выходило так, что и декабристы умели воспитывать жен.

Выговорив все, что могла, Федору, Нина повернулась в сторону притихшего в уголке Аркадия Журавлева.

— Ты секретарь комсомольской организации, ты куда глядел? Ты должен или не должен знать о быте своих комсомольцев? Почему ты не сигналил в райком?..

Аркадий Журавлев, рослый парень, добряк в душе, много слышавший от трактористов о семейных делах Федора, сейчас молчал. Он сильно робел перед речистой Ниной, особенно когда та расходилась и начинала вспоминать классиков марксизма, знаменитых писателей.

Где уж тут возражать, переждать бы только...

— Так вот! — Нина в знак окончания разговора энергично положила на стекло стола узкую ладонь.— Вскрылось дело, недостойное звания комсомольца! Мы вынуждены будем рассматривать его на бюро. Даю перед бюро десять дней сроку. Советую, товарищ Соловейков, подумать за это время о своем поступке!

...Недалеко от МТС Федор снимал холостяцкую комнатенку. Он шел один. Журавлев с ним расстался у дверей райкома; прощаясь, глядел в сторону, сказал только одно:

— Оно, видишь, как обернулось. Нехорошо.

Нехорошо обернулось. Федор был старым комсомольцем — двадцать пять лет, пора бы и в партию. Взысканий не было, на работе хвалили, поручения выполнял, а на поверку оказался плохим комсомольцем. Может, и верно, но как быть тут хорошим? Воспитывать, говорит... Много она тут наговорила, даже декабристов вспомянула, а как воспитывать, не сказала. Воспитывай — и точка!

Бюро будет, вслух заговорят, пойдет слава по району, думал: пережил, перетерпел, кончилось страшное-то, а оно, сáмое страшное, еще впереди. Нехорошо обернулось, хуже и не придумаешь.

Ранние зимние сумерки поднимались над домами и садиками. Падал редкий снежок. Тихо и пусто. Огни зажигались в окнах, что ни огонек, то семья. Потому и тихо, потому и пусто на улице — все разошлись по этим огонькам. У всех семьи, у каждого свое гнездышко. Иди, Федор, к себе. Там голый стол, на столе приемник, койка в углу. Случается, и в двадцать пять лет человек чувствует себя сиротой.

19

За последний месяц Стеша почти не выходила из дому. Раньше хоть бегала на маслозавод, а тут — декретный отпуск... Четыре стены, даже кусок двора не всегда увидишь в окно, заросли стекла зимними узорами. Вчера с утра до вечера перебирала в уме тяжелые мысли. Все, казалось, передумала, больше некуда — растравила душу. Но наступал новый день — и снова те же мысли... День за днем — нет конца, нет от них покоя...

И вот кренящиеся на раскатах сани, суховатый запах сена па морозном воздухе, заметенные по грудки снегом еловые перелесочки да радостное воспоминание о встрече в райкоме комсомола, добрые глаза, участливый голос — словно умытая, освеженная, приехала Стеша домой.

На полу валялись щепа и стружки. Посреди избы стояли громоздкие, недоделанные сани. От них шел горьковатый запах черемухи.

Отец, держа топор за обух, старательно отесывал наклески. Он делал сани и занимался этим не часто. С заказчиками, приезжавшими из дальних колхозов, договаривался заранее — не болтать лишка. Засадит еще Варвара на постоянную работу. Он будет делать, колхоз перепродавать на сторону, а платить трудоднями — велика ли выгода?

Силантий Петрович только поглядел на вошедшую дочь, ничего не спросил, продолжал отбрасывать из-под остро отточенного топора тонкие стружки.

Зато мать сразу набросилась:

— Как, милая? Чего сказали?

Стеша, не снимая шубы, распустив платок, уселась на лавку и окрепшим от надежды голосом стала рассказывать все по порядку: как встретили, как ласково разговаривали, как проводили чуть ли не под ручку.

Алевтина Ивановна с радостным торжеством перебивала:

— Вот прижгут его, молодчика! Прижгут! Поделом!

Силантий Петрович бросил скупо:

— Пустое. Особо-то не надейся. Все они одним миром мазаны.

Может быть, первый раз в жизни Стеше не понравились слова отца, даже сам он в эту минуту показался ей неприятен: сутуловатый, со слежавшимися седыми волосами, угрюмо нависшим носом над узловатыми руками, зажавшими обух топора. «И чего это он?.. Все на свете для него плохо. Есть же и хорошие люди. Есть!»

— Может, и не пустое. Может, и прижгут,— неуверенно возразила мать.

— Ну и прижгут, ну посовестят, может, наказание какое придумают, а Стешке-то от этого какая выгода?

И Алевтина Ивановна замолчала. Молчала и Стеша. Маленькая, теплая радость, которую она привезла с собой, потухла.

«Десять дней сроку. Советую подумать о своем поступке». Не стоило советовать... Только в редкие минуты на работе забывался, а так с утра до вечера все думал, думал и думал. А придумать ничего не мог.

Сначала обсуждали план культурно-массовой работы на квартал, потом утверждали списки агитбригад, рассылаемых по колхозам. Федор сидел в стороне, ждал и мучился: «Скорей бы, чего уж жилы тянуть...»

Наконец Нина Глазычева, сменив деловито-озабоченное выражение на строго отчужденное, громко произнесла:

— Переходим к разбору персонального дела комсомольца Федора Соловейкова.

И все лица присутствовавших вслед за Ниной выразили тоже строгость и отчуждение. Только Степа Рукавков, секретарь комсомольской организации колхоза «Верный путь», одной из самых больших в районе, взглянул на Федора с лукавым укором: «Эх, друг, до бюро дотянул...» Да еще учитель физики в средней школе Лев Захарович, све-

сив по щекам прямые длинные волосы, сидел, уставившись очками в стол.

— Ко мне недавно пришла жена Соловейкова...— начала докладывать Нина размеренным голосом, один тон которого говорил: «Я ни на чьей стороне, но послушайте факты...»

От этого голоса лица сидевших сделались еще строже. Ирочка Москвина, зоотехник из райсельхозотдела, член бюро, не вытерпела, обронила:

— Возмутительно!

Нина деловито рассказала, какой вид имела Стеша, описала заплаканные глаза, дрожащий голос, сообщила, на каком месяце беременности оставил ее Федор...

— Вот коротко суть дела,— окончила Нина и повернулась к Федору.— Товарищ Соловейков, что вы скажете членам бюро? Мы вас слушаем.

Федор поднялся.

«Суть дела»! Но ведь в этом деле сути-то две: одна его, Федора, другая — Стеши, тестя да тещи. Не его, а их суть сказала сейчас Нина.

Разглядывая носки валенок, Федор долго молчал: «Нет, всего не расскажешь... У Стеши-то вся беда как на ладони, ее проще заметить...»

— Вот вы мне подумать наказывали,— глуховато обратился он к Нине.— Я думал... Назад не вернусь. Как воспитывать, не знаю. Пусть Стеша переедет жить ко мне, тогда, может, буду ее воспитывать. Другого не придумаю... С открытой душой говорю...— Он помолчал, вздохнул и, не взглянув ни на кого, сел.— Все...— снова сгорбился на стуле.

— Разрешите мне,— вкрадчиво попросил слова Степа Рукавков и тут же с грозным видом повернулся к Федору.— Перед тобой была трудность. Как ты с ней боролся? Хлопнул дверью — и до свидания! По-комсомольски ты поступил? Нет, не по-комсомольски! Позорный факт!.. Но, товарищи...

Нина Глазычева сразу же насторожилась. Она хорошо знала Степу Рукавкова. Ежели он начинает свою речь за здравие, хвалит, перечисляет достоинства, жди — кончит непременно за упокой, и наоборот — грозный разнос вначале обещает полнейшее оправдание в конце. Как в том, так и в другом случае переход совершается с помощью одних и тех же слов: «Но, товарищи...»

Сейчас Степа начал с разноса, и Нина насторожилась.

— Но, товарищи! Жена Соловейкова, как сообщили, была комсомолкой. Она бросила комсомол! Кто в этом виноват? А виноват и райком, и мы, старые комсомольцы, и она сама в первую очередь!..

Степа Рукавков был мал ростом, рыжеват, по лицу веснушки, но в колхозе многие девчата заглядывались на своего секретаря. Степа умел держаться, умел говорить веско, уверенно, слова свои подчеркивал размашистыми жестами.

— Нельзя валить все на Соловейкова. А тут — все, кучей!.. Виноват он, верно! Но не так уж велика вина его. Я предлагаю ограничиться вынесением на вид Федору Соловейкову.

— Не велика вина? Жену бросил! На вид! Простить, значит! Как это понимать? — Нина Глазычева от возмущения даже поднялась со стула.

— Исключить мало,— вставила Ирочка Москвина и покраснела смущенно. Она была самой молодой из членов бюро и всегда боялась, как бы не сказать не то, что думает Нина.

Поднялся спор: дать ли строгий, просто выговор или обойтись вынесением на вид? Федор сутулился на стуле и безучастно слушал.

— Не в том дело! — Учитель физики Лев Захарович давно уже поглядывал на спорящих сердито из-под очков.— Дадим выговор, строгий или простой, запишем... Это легко... У жены его — горе, у него — поглядите — тоже горе! А мы директивой надеемся вылечить.

Закидывая назад рукой волосы, Лев Захарович говорил негромким, спокойным голосом. Паренек он был тихий, выступал не часто, но если уж начинал говорить, все прислушивались — обязательно скажет новое. Да и знал он больше других: читал лекции в Доме культуры о радиолокации, мог рассказать и об атомном распаде, и об экране стереоскопического кино. За эти знания его и уважали.

— Для чего мы собрались здесь? Только для того чтобы выговор вынести?.. Помочь собрались человеку.

— Правильно! Помочь! — бодро поддержала Нина.

— Только как? Вот вопрос,— спросил Лев Захарович.— Я, например, откровенно признаюсь,— не знаю.

— Товарищ Соловейков,— обратилась Нина к Федо-

ру,— вы должны сказать: какую помощь вам нужно? Поможем!

— Помощь?..— Федор растерянно оглянулся. Действительно, какую помощь? Стешу бы вытащить из отцовского дома. Но ведь райком комсомола ей не прикажет: брось родителей, переезжай к мужу,— а если и прикажет, Стеша не послушает.— Не знаю,— подавленно развел руками Федор.

Все молчали. Нина недовольно отвела взгляд от Федора: «Даже тут потребовать не может».

— Не знаем, как помочь,— продолжал Лев Захарович.— А раз не знаем, то и спор — дать выговор или поставить на вид — ни к чему.

— Выходит, оставить поступок Соловейкова без последствий?

Лев Захарович пожал плечами.

— А дадим выговор — разве от этого последствия будут? Как было, так все и останется.

И тут Нина горячо заговорила. Она заговорила о том, что Лев Захарович неправильно понимает задачи бюро райкома, что выговор, вынесенный Соловейкову, будет предостережением для других... Говорила она долго, упоминала, как всегда, примеры из литературы, из жизни великих людей. После ее выступления снова разгорелся спор — вынести выговор или поставить на вид? Лев Захарович сердито молчал.

Вынесли выговор.

На улице Федора догнал Степа Рукавков. В аккуратном, с выпушками полушубке, в мерлушковой шапке — щеголь парень, не зря считается у себя в колхозе первым ухажером.

— Если б физик не вмешался, отстояли бы,— дружески заговорил он.— Поставили б на вид — и точка! И голова у человека умная, и сердце доброе, но не политик...

По снисходительному выражению лица Степы нетрудно было догадаться, что он считает, если и есть при райкоме комсомола политик, то это не кто иной, как он, Степа.

Федор махнул рукой.

— Выговор, на вид — все одно не легче. Вы-то поговорили сейчас, а завтра забудете. Чужую-то беду, говорят, руками разведу.

— О-о! — протянул удивленно Степа.— Да ты еще обижаешься. Тогда верно тебе дали выговор. Верно!..

Однажды он долго задержался в МТС, задержался не потому, что было много работы, просто оставаться одному с невеселыми мыслями в четырех стенах тяжко.

Подходил к дому поздно. У ограды стояла лошадь, запряженная в сани-розвальни. В комнате Федора, подле печки, дотлевающей багрянистыми углями, сидел с хозяином дед Игнат, муж тетки Варвары.

— Долгонько кумовал где-то, долгонько,— встретил Игнат Федора.— Ночью мне придется до родного угла-то добираться.

— Нужда во мне какая-нибудь?

— Мое-то домашнее начальство одно дело поручило...— Игнат повернулся к хозяину и по-свойски (видать, ожидая, успел сойтись душа в душу) попросил:— Трофимушка, ты иди к себе, нам промеж собой посекретничать охота.

— Что ж, секретничайте, секретничайте, только печку не прозевайте, закрывать скоро.

Хозяин вышел. Дед Игнат повернулся к Федору.

— Сегодня мы вместе с Силаном жинку твою в больницу сдали. Вот какое дело.

— Что?

— Что, что! Ничего, видать, кроме дитя, не будет. Не ждал разве?.. Моя-то известить тебя велела. «Силан-то, говорит, и один бы справился, да к тебе он не зайдет».

— Когда привезли?

— Еще деньком, после обеда.

— Может, уже родила?

— Не знаю. Дело такое, для нас с тобой непостигаемое.

Федор надвинул мокрую от растаявшего снега шапку.

— Я пойду, Игнат, я пойду... Что ж ты на работу-то ко мне?..

Последние слова он проговорил за дверью.

Игнат, покачивая головой, стал одеваться. Одевшись, вспомнил про печь, подставил стул, кряхтя, влез, задвинул заслонку и позвал:

— Трофим, эй, Трофим! Сегодняшнюю ночь ты не держи дверь на запоре. Чуешь?.. Парень греться домой набегать будет.

Сначала Федор шел размашистым шагом, потом быстрей, быстрей, почти побежал.

Что заставляло его бежать? Что заставляло его тревожиться? Вроде забыта уже любовь к Стеше. Сколько в последнее время несчастий, сколько больших и маленьких переживаний свалилось на него! То, что прежде было, должно было похорониться, заглохнуть, как вересковый куст под осыпью. Может, любовь к ребенку заставляет его тревожиться? Но он пока не знает ребенка, совсем даже не представляет его. Нельзя любить то, что не можешь себе представить... Неужели не все заглохло, кое-что пробилось — живет?

Больничный городок находился в стороне от села, среди большой липовой рощи. Федор уже добежал до широких ворот, ведущих к корпусам, и остановился.

Несется сломя голову, а зачем?.. Поздравить? Больно нужны Стеше его поздравления. Порадоваться?.. Еще кто знает, как все это обернется — радостью или горшим горем? Но повернуться, идти домой, лечь там, спокойно заснуть он не может. Жена рожает! Тут вспомнилось, что в таких случаях обычно приносят цветы и подарки. Он-то с пустыми руками явится: нате — я сам тут. Купить что-то надо.

Федор повернул обратно.

Магазин, прозванный в обиходе «дежуркой», где с шести часов вечера до полуночи стояла за прилавком известная всем в районе Павла Павловна, суровая тетушка с двойным подбородком, в поздние часы служил одновременно и промежуточной станцией для проезжих шоферов, где можно выпить и закусить, побеседовать и прихватить случайного пассажира.

— Федька! — От прилавка шагнул к Федору человек — из-под шапки в тугих бараньих колечках чуб, красное, огрубевшее на морозах и ветрах лицо, веселые глаза.

Знакомый Федору шофер из хромцовского колхоза, Вася Золота-дорога, схватил руку и стал трясти.

— Матушка, Пал Пална, сними с полочки еще мерзавчик, друга встретил!

— Вася!.. Рад бы!.. Рад! Некогда!

— Федор! От кого слышу? Год же не видались, золота-дорога!

— Жена рожает в больнице. Купить заскочил гостинцев.

— Во-о-он что-о!.. Как раз бы нужно отметить... Ну, ну, молчу. Поздравляю, брат! Дай лапу!.. Тут и друга, и

самого себя забыть можно... Сына, Федор, сына!.. Может, все ж за сына-то на ходу... А? Ну, ну, понимаю... Эк, как ты нас обскакал! А я вот целюсь только еще жениться.

Вася шумно радовался, все остальные, пока Федор покупал конфеты и покоробленные от долгого лежания плитки шоколада, относились к нему с молчаливым уважением.

— Уехал и пропал! Ни слуху о тебе, ни духу! Сгинул... Эх, задержаться бы да отпраздновать! Чтоб стон стоял, золота-дорога! Съест меня живьем наш Поликарпыч, коль с концентратами застряну. Но я ребятам свезу весточку — у Федьки Соловейкова наследник! Спешишь, вижу... Спеши, спеши, не держу. Дай еще лапу пожму!

Прежде было только тревожно и смутно на душе. Сейчас после шумной Васиной встречи тревога осталась, но появились радость и надежда. Как он был глуп! Что-то мудрил, над чем-то ломал голову, мучился, а все просто: рождается ребенок, он — отец, он имеет право требовать от Стеши переехать к нему! Добьется!.. Страшного нет!..

Федор бежал по пустынным улицам к больничному городку.

В приемной родильного отделения сидел только один, уже немолодой мужчина, из служащих, в добротном пальто, в высокой под мерлушку шапке. У Федора от быстрой ходьбы, от напряженного ожидания чего-то большого тяжело стучало сердце. Почему-то представлялось, что едва только он войдет, все засуетятся, забегают вокруг него. А этот единственный человек в пустой, чистой, ярко освещенной комнатке взглянул на него с самым спокойным добродушием.

— Первый раз? — спросил он.

— Что? — не сразу понял Федор.

— Я спрашиваю: первый раз жена рожает?

— Первый,— ответил со вздохом Федор. Он сразу же подчинился настроению этого человека.

— Видно. А я каждый год сюда заглядываю. Четвертый у меня.

Дежурная сестра вынесла вещи — пальто, шаль, фетровые ботики.

— Получите.

Незнакомец принял все это, не торопясь уложил, связал аккуратно.

— Привел жену — узелок взамен дали. До свидания...

Не волнуйтесь. Обычное дело. Вам бы кого хотелось — сына или дочь?

— Сына, конечно.

— Значит, дочь появится.

— Почему?

— По опыту знаю. Девочек больше люблю, а каждый год — промах, мальчики появляются. Но и это неплохо. Народ горластый, не заскучаешь.

Еще раз ласково кивнув, он ушел. Сестра, закрыв за ним плотнее дверь, деловито спросила:

— Как фамилия?

— Соловейков... Федор Соловейков.

— Федоры у нас не рожают. Муж Степаниды Соловейковой, что ли? Эту сегодня положили... Передачу принесли, давайте мне... В целости получит.

— Не родила еще?

— Больно скоро. Идите, идите домой. Спите спокойно. Сообщим.

— Я подожду.

— Нет уж, идите. Может, трое суток ждать придется. Дело такое — ни поторопишь, ни придержишь.

Федор долго топтался под освещенными окнами родильной, прислушивался, не донесется ли сквозь двойные рамы крик Стеши. Но лишь робко скрипел снег под его валенками.

За ночь он несколько раз прибегал под эти окна, ходил вдоль стены. Было морозно, временами начинал сыпаться мелкий, сухой снежок, а Федору в мыслях представлялось солнечное летнее утро, луг, матовый от росы, цепочкой два темных следа — один от ног Федора, другой от ног сына... Они идут на рыбалку с удочками... И росяной луг, и следы на мокрой траве, и берег реки с клочьями запутавшегося в кустах тумана — все отчетливо представлял Федор. Не мог представить только самое главное — сына. Белоголовый, длинное удилище на плече, и все... Мало...

Он промерзал до костей, бежал домой, там, не зажигая огня, не раздеваясь, сидел, грелся, думал о сыне, о росяном луге, о следах, временами удивлялся, что хозяин крепко спит, а двери не запирают. Забыли, видать, это на руку — не будить, не беспокоить...

Ночь не спал, но на работе усталости не чувствовал, через час бегал к телефону, с тревожным лицом справлялся и отходил разочарованный.

Стеша родила под вечер.

Погода разгулялась. Вокруг полной луны стыли мутноватые круги. Федор шел, топча на укатанной дороге свою тень. Шел нараспашку, мороза не чувствовал.

Лицом к лицу он неожиданно столкнулся с человеком в серой мерлушковой шапке и, как старому другу, раскрыл объятия.

— А ведь правду говорили... Не сын, нет... Дочка!.. Уж я там поругался, до начальства дошел, уж настоял... Пустили, показали.

Он нагнулся к улыбающемуся доброй улыбкой лицу незнакомца и, как великое открытие, сообщил:

— Гляжу, а волосики-то рыженькие! Рыженькие волосики-то! И глаза!.. Глаза — не понять, должно быть, мои тоже. Наша порода!.. Соловейковская!

21

Во время приступов Стеша металась по койке и кричала: «Не хочу! Не хочу!» Врачи и сестры, привычные к воплям, не обращали внимания. Они по-своему понимали выкрики Стеши: «Больно, не хочу мучиться!» Но Стеша кричала не только от боли. «Не хочу! Не хочу!» — относилось к ребенку. Зачем он ей, брошенной мужем?

Но принесли тугой сверточек. Из белоснежной простыни выглядывало воспаленное личико. Положили на кровать Стеше. При этом врачи, сестры, даже соседка по койке — все улыбались, все поздравляли, у всех были добрые лица. На свет появился новый человек, трудно оставаться равнодушным.

Горячий маленький рот припал к соску, до боли странное и приятное ощущение двинувшегося в груди молока,— Стеша пододвинулась поближе, осторожно обняла ребенка, и крупные слезы снова потекли по лицу. Это были и слезы облегчения, и слезы стыда за свои прежние нехорошие мысли: «Не хочу ребенка»; это были и слезы счастья, слезы жалости к себе, к новому человеку, теплому, живому комочку, доверчиво припавшему к ее груди... И все перевернулось с горя на радость.

Во время второго кормления, когда Стеша, затаив дыхание, разглядывала сморщенную щечку, красное крошечное ухо, редкий пушок на затылке дочери, она почувство-

вала, что кто-то стоит рядом и пристально ее разглядывает. Она подняла голову. Перед ней замер с выражением изумления и страха Федор.

Они не поздоровались, просто Федор присел рядом, с минуту томительно и тревожно молчал, потом спросил:

— Может, нужно чего?.. Я вот яблок достал...— И, видя, что Стеша не сердится, широко и облегченно улыбнулся.— Вот она какая... Дочь, значит. Хорошо.

И Стеша не возразила,— конечно, хорошо.

— Спит все время. Сосет, сосет, глядишь — уже спит.

Федор сидел недолго. Весь разговор вертелся вокруг дочери: сколько весит, что надо купить ей — пеленки, распашоночки, обязательно ватное одеяльце.

Им мешали, напоминали Федору, что он обещал на одну минуточку, сидит уже четверть часа. Федор поднялся и тут только ласково и твердо сказал:

— Никуда я тебя, Стеша, не пущу. Ко мне жить переедешь.

И почему-то в эту минуту Стеше показалось, что он даже парнем ей не нравился так — в белом, не по его плечам халате, длинные руки вылезают из рукавов, лицо озабоченное... Стеша осмелилась робко возразить:

— С ребенком-то дома бы лучше, Феденька.

Но голос Стеши был неуверенный, просящий.

На следующий день приехала мать. Стеша, похудевшая, большеглазая, с растрепанными волосами, стыдливо запахиваясь в халат, тайком выскочила к ней в приемную.

— Вот она, наша долюшка... Прогневили мы бога-то...— завела было Алевтина Ивановна, но тут же перебила себя, сразу же заговорила деловито.— Все, что надобно, приготовила: пеленочек семь штук пошила, исподнички разные, отец люльку уже пристроил...

— Мама,— робко перебила Стеша,— я все ж к нему перейду... Зовет.

— Совесть, видать, тревожит его, а на то не хватает, чтоб повинился да пристраивался сызнова к нам.

— К нам не вернется...— И вдруг Стеша упала на плечо матери, зарыдала.— Да как же мне жить-то с ребенком без мужа? Все пальцами тыкать будут!..

— Это что такое? Кто разрешил? Что сестры смотрят? Лежать! Лежать! Не подниматься!.. Кому говорят! Идите в палату! — В дверях стояла пожилая женщина, дежурный врач родильного отделения.

Мать гладила Стешу по спутанным волосам.

— Не расстраивайся, дитятко, не тревожь себя... Иди-ка, иди. Вон начальница недовольна...

...Утро было с легким морозцем. Ночью выпал снежок, и село казалось умытым. Мягкий свет исходил от всего — от крыш, дороги, сугробов, тяжело навалившихся на хилые оградки. И воздух тоже казался умытым, до того он свеж и легок. Во всех домах топились печи. По белым уличкам в свежем воздухе разносился вкусный запах печеного хлеба. Мир и благополучие окружали маленькую семью, неторопливо двигавшуюся от больницы к дому.

Кроватки Федор не успел купить, постель дочери устроили пока на составленных стульях. И Федор чувствовал себя виноватым, оправдывался перед Стешей.

— Ведь жить-то только начинаем, не мы одни, все так сначала-то... Все будет — и квартира, и, может, домик свой, хозяйством еще обзаведемся. Как хорошо-то заживем!

Стеша со всем соглашалась, ни на что не жаловалась. В тот же день они назвали дочь Ольгой.

А поутру пришел первый гость. Гость не к Федору и не к Стеше. Раздался стук в дверь, через порог перешагнула девушка, стряхнула перчаткой снег с воротника.

— Здравствуйте. Здесь живет Ольга Соловейкова?

Федор и Стеша даже растерялись, не сразу ответили. Да, здесь живет... Всего десять дней, как она появилась на свет и имя свое, Ольга, получила только вчера, вчера только принесли ее в эту комнату.

— Здесь живет, проходите, пожалуйста.

Девушка сняла пальто, достала из чемоданчика белый халат, попросила теплой воды, вымыла руки.

— А кроватку надо приобрести обязательно.

Детский врач долго сидела со Стешей, еще раз напоминала ей, как надо и в какой воде купать, в какие часы кормить, как пеленать, как присыпать, с какого времени можно вынести на улицу. От приглашения попить чайку отказалась:

— У меня не один ваш пациент.

Это был первый гость. За ней стали приходить гости не по одному на день.

Одной из самых первых приехала тетка Варвара. Она внесла в маленькую комнатку какие-то пахнущие морозом узлы, скинула свой полушубок и долго стояла у порога, потирая руки, говорила баском:

— Обождите, обождите, вот холодок с себя спущу... Уж взглянем, взглянем, что за наследница. Успеется.

Первым делом она принялась развязывать свои узлы.

— Принимай-ко, хозяюшка,— обращалась она к Стеше, нисколько не смущаясь тем, что та сдержанно молчит.— Это вам подарочек от колхоза: мука белая, масло, мед, мясо. Ты, Федор, жену теперь корми лучше, через нее ребенка кормишь, помни! Степанида, поди сюда... Да брось в молчанки играть. Вот уж теперь-то нам с тобой делить нечего. Уж теперь-то мы должны душа в душу сойтись. Поди сюда. Это от меня. Ситец белый, пять метров. Ты его на пеленки, гляди, не пускай. На пеленки-то старые мужнины рубахи разорви, простирай их, прокипяти... Ей, несмышлешке, все одно что пачкать. Это на распашонки раскрой да на наволочки. С умом берись за хозяйство-то.

Стеша, не привыкшая «ждать добра» от чужих, тем более от тетки Варвары, растерялась сначала, но когда гостья обратила внимание на составленные стулья и заявила, что сегодня же накажет плотнику Егору делать кроватку, размякла.

Варвара, подойдя к постельке, толстым коротким пальцем повертела перед лицом девочки, та громко расплакалась.

— Уа, уа,— передразнила Варвара, морщась от удовольствия.— Голосистая. Кровь-то, сразу видать, соловейковская. Ряшкины не крикливы — и сердятся и радуются про себя только.

Даже это почему-то не обидело Стешу.

Пришел в гости и Чижов, с тщательно вымытыми руками, побритый, пахнущий тройным одеколоном. Он попросил подержать завернутую в одеяло Олю. Держал неумело, на вытянутых руках, с улыбкой до ушей, разглядывал, приговаривал:

— Уже человек. Уже человек. А?

Когда Стеша наконец отобрала дочь, он удивился:

— Не тяжела, а руки устали. Почему бы это?

Потом сидели они втроем за семейным столом, пили чай, и Чижов настойчиво отказывался от печенья.

Наконец прибыли Силантий Петрович и Алевтина Ивановна. Федор старался принять их как можно лучше. Сбегал за поллитровкой для тестя, сначала величал их отцом да матерью, но скоро стал неразговорчив. Дед и бабка оказались гостями невеселыми. Силантий Петрович отказался выпить:

— И так запоздались. Варвара три шкуры сдерет, коль лошадь ко времени не доставим.

Теща и вовсе не прошла к столу, сидела у порога, чинно поджав губы, смотрела и на дочь и на внучку жалостливо, всем своим видом словно бы говорила: «Не притворяйтеся счастливыми-то, сиротинушки вы...» Она несколько раз пристально оглядела тесную комнатушку с развешанными около печи пеленками. На Федора же старалась не смотреть.

То, что было сказано, можно было сказать в пять минут. Но старики честно отсидели полчаса, ровно столько, чтоб хозяева не подумали — рано ушли родители-то.

Федору казалось, что эти полчаса он сидел не в своей комнате, а под крышей Ряшкиных. Стеша, как бывало, не поднимала глаз, боялась взглянуть на мужа.

«Запахло опять ряшкинским духом. Сломают нам жизнь, сволочи. Стеша-то и не глядит...» — думал он, скупо отвечая на вялые вопросы тестя о жалованье, о казенной квартире, о том, дадут или нет усадьбу весной.

Но после ухода стариков Стеша оставалась по-прежнему ласковой. Она, кажется, сама рада была, что родители долго не засиделись. И уж совсем неожиданным гостем как для Стеши, так и для Федора была Нина Глазычева, секретарь райкома комсомола.

Она не раздевалась.

— Некогда, некогда, на одну минуточку к вам. Вот видите, как хорошо! Очень хорошо!.. Прекрасная дочь, прекрасная! Вы понимаете только — она человек будущего! Она будет жить при коммунизме!

Стеша, помня ласковый прием в райкоме, после похвал дочери смотрела на Нину благодарными глазами и краснела. Федор тоже краснел и виновато улыбался. Он уже не обижался на Нину.

Нина ушла, довольная Федором, Стешей, дочкой и больше всего собой. Теперь можно заявить: «Нам приходилось сталкиваться с бытовыми вопросами, но со всей ответственностью можем сказать — эти вопросы с честью решались нами!»

Первые, самые первые дни в тесной, холостяцкой комнатушке Федора они были счастливы.

Стеша не переставала про себя удивляться: чужие люди приходят, радуются за них, добра желают... Ей в отцовском доме никогда не приходилось видеть такого.

22

Скоро все знакомые привыкли к тому, что у Федора Соловейкова есть дочь.

Гости, поздравления, маленькие подарки (даже Чижов принес погремушку) — все это чем-то смахивало на праздник. И все это скоро кончилось.

Началась будничная жизнь, для Стеши новая — впервые вне дома.

Их хозяин Трофим Никитич жил бобылем. Его жена была постоянно в разъездах, гостила то у одного сына, то у другого, а их у Трофима шестеро — все живут в разных концах страны.

Трофим работал столяром в промкомбинате и по своему бобыльскому положению каждую субботу приходил выпивши. При этом он обязательно заглядывал к жильцам. Балансируя на цыпочках, делая страшные глаза в сторону спящей девочки, предупредительно тряся поднятыми руками, он объявлял шепотом:

— Ш-ш... Я тихо, я тихо...

И обязательно цеплялся за что-нибудь — за стул с тазом, за пустое ведро,— будил дочь.

Усаживаясь, он начинал разговор об одном и том же:

— Я вас не гоню. Живите. Разве я совести не имею?

Но по тому, что Трофим говорил «не гоню», по тому, что он разрешал — «живите», Федор и Стеша понимали: жильцы не очень нравятся хозяину. Одно дело — холостой, одинокий парень, другое — семья с ребенком. Пеленки, детский крик, печь топится с утра до вечера, давно уже отвык старый Трофим от всех этих неудобств. И то, что хозяин не упрекал, не ругался, еще больше заставляло чувствовать Стешу связанной по рукам и ногам.

Однажды Федор пришел очень поздно. Стеша не спала, она перед этим всплакнула по дому, видела, как муж собирал себе поужинать. Не понравился он ей в эту минуту. Ест, уши вверх-вниз ходят, и лицо такое, словно счастлив, что дорвался до каши.

— Стеша,— негромко окликнул он.— Слышь, Стеша, что я тебе скажу.

— Ну?

— Деньги нашей МТС большие ассигновали.

— Что за радость, не тебе деньги, а МТС.

— Строиться будем. Целый поселок вокруг МТС пла-

нируют. Дома финские привезут. Рассчитывали сейчас: трактористам квартиры, а бригадирам по отдельному домику. Вот как!.. Большие дела! В своем домике будем жить, сад разведем, цветы под окнами...

— А скоро ли это?

— Не сразу Москва строилась. Эх, Стешка! Обожди, встанем на ноги. Дочь подрастет, учиться оба начнем. Я ведь тоже, вроде тебя, среднюю школу не кончил. На курсах да на переподготовках доходил.

— Ладно уж, институтчик, ложись спать,— приказала Стеша ласково.

Прежде чем уснуть, в эту ночь она помечтала немного. Всплыло забытое. Свой дом, свое хозяйство. Не отцовский дом с полатями да лавками, отрывным календарем на стенке. Крашеные полы, коврики по стенам. Встанет утром и, как есть, босая, на огородец. Цветы, говорит, под окном... Ну, это, может, и ни к чему. От цветов сыт не будешь. Огород большой, пасеку обязательно. Утром листья у капусты матовые, тронешь — холодные. Муж, может, на директора МТС выучится, культурный человек! Ее хочет заставить учиться... Зачем? Для дому, для хозяйства, для детей ума хватит. Ой, беспокойная головушка! Ой, трудно с тобой, непутевый мой... Вот ведь забыла, смирилась — не бывать тому, что думалось, ан нет, не узнаешь, где счастье откроется...

23

Пришла мать. Напомнила дом. Как бы ни расписывал муж цветы под окнами, а родной дом не забудешь — береза старая, въезд на поветь с весны травкой зарастает: не раз вспомнишь, быть может, и при хорошей жизни слезу прольешь. Как бы ни дичился Федор ее родителей, а мать останется матерью. Голос ее по утрам: «Спи, касаточка, спи, ласковая»,— всегда сердце греть будет.

Стеша не знала, куда усадить мать, чем угостить ее.

— Как муженек-то себя ведет? — прихлебывая чай с блюдечка, поинтересовалась Алевтина Ивановна.

— Хорошо, маменька. Он добрый, старательный.

— Добрый? То-то вижу, от доброты его ты с лица спала.

— Трудно пока на первых-то порах. Но поживем — выправимся. Федор-то обещает: дом дадут в МТС.

— Уж дом. Палат каменных не обещал тебе?

— Запланировано, говорит. Деньги большие им разрешены на стройку...— Стеша принялась рассказывать.

— А ты верь, верь больше. На доверчивых-то воду возят. Не знаешь, что ли? Варвара который год в колхозе масляные да хлебные горы сулит. Не видно их что-то. Обещать-то обещай, да и заботушку проявляй о жене. От нас оторвал, к себе перетянул, а нет того, чтоб, пока там строят да налаживают, у нас до поры пожить. Пусть строят, построят — переедете. В родном доме или на стороне жить, где лучше-то? Мы не враги дитю своему, держать на хорошую жизнь не будем. Веришь — он добрый, а ты на себя погляди. Какая ты белая да румяная была, глядеть не наглядеться, а теперь... Горюшко ты мое, кровинушка ты моя родная, на кого ты похожа?..— Алевтина Ивановна начала сморкаться в конец платка.

Стеша держалась, держалась и тоже заплакала.

— Скворечник на березе нашей мне прошлой ночью снился, мамушка.

— Горькая ты моя! И за что нас господь бог через тебя покарал? За какие грехи тяжкие?..

Обе плакали, чай стыл в чашках.

Едва только Федор переступил через порог, Стеша встретила его словами:

— Нет моей силы жить здесь. Домой поеду... погостить... Может, на месяц, может, и больше, сколько поживется.

Не слова, а самый голос, глухой, срывающийся, недобрый, глаза, спрятанные под ресницами, испугали Федора.

— Не могу, Стеша... Обожди, квартиру новую подыщем, няньку найдем. Не пущу тебя домой. Все поломается опять промеж нами. В вашем доме даже воздух заразный. Надышишься ты его — чужой мне будешь.

— Сам ты заразный, сам ты чужой.

Стеша хотела крикнуть, что дома с цветами под окнами, что жизнь легкая — все выдумки, не будет легче. Уж коли хочет добра ей, то пусть не держит — с отцом да с матерью ей удобнее, от добра добра не ищут!.. Не успела крикнуть, проснулась дочь от громкого разговора, заплакала. Стеша бросилась к ней, схватила, прижала, в голос запричитала:

— Как были мы с тобой, Оленька, сиротинушки, так и остались. Отец твой о своей МТС больше думает!

Так воздух дома Ряшкиных, о котором говорил Федор, казалось, появился и здесь. Трудно молчать, но и говорить нельзя. Заговоришь, будет скандал.

...Дома раньше всех, под петушиный перекрик, выходил во двор отец. Стеша в детстве любила выскакивать за ним в одной рубашонке на крыльцо, поеживаясь от утреннего холодка, поглядывать. У отца в те часы было важное и спокойное лицо. Ходил не торопясь по двору, не торопясь ко всему приглядывался. Вобьет гвоздь в косяк, рукой пощупает — для себя вбит, крепко. Поправит, подопрет колом пошатнувшуюся связь у изгороди, дернет — для себя подпер, на совесть. Плетень, калитка, береза со скворечником, высокое крыльцо — тут деды, прадеды жили, свое место, кровное. Хоть щепку с дороги отбросишь — для себя, не для чужих постарался. Здесь же сенцы грязью заросли, пылища, паутина по стенам... Прибрать бы, но ведь не свое. Чего ради руки ломать, за спасибо от пьяного Трофима? Да и того, поди, не услышишь. Что там сенцы? Комнату прибрать, пол вымыть душа не лежит. Чужое все кругом, не свое, куда попала?..

А свое-то, и дом с коньком, и береза старая, не за морями, не за горами родное гнездо, не по железной дороге ехать — рукой подать. Так что же она тут сидит, мучается? Из-за кого? Из-за мужа, из-за Федора? Да пропади он пропадом, вытащил на убожество, обещает: «Крепись, Стешка, крепись, построятся, выучимся, заживем...» Жди, построятся, строить-то в МТС мастерские начали, а не дома с цветами под окнами...

...Федор, забежав после работы в магазин, купил то, что давно собирался купить: абажур на настольную лампу, стеклянный, снизу белый, как молоко, сверху темно-зеленый, как осенняя озимь.

Надо думать, что Стеша сейчас не обрадуется покупке. Ей нынче не до абажуров. К дому своему, к родной крыше тянется. Молчит, насупилась, комнату запустила, сама ходит растрепой. Ничего, крепись, Федор, в МТС большие дела начинаются. У тихого сельца Кайгородище рабочий поселок вырастет. Пусть Стеша теперь неласкова, пусть недовольна мужем, пусть! Он перетерпит. Придет время, спасибо ему скажет, что в родной дом не пустил. Будет и ласкова, и разговорчива, и опрятна, и красива, лучше не надо жены.

Придет время: возвратится Федор с работы, а в комна-

те, что в лунную ночь, сумрак от абажура, на столе круг яркий, так и тянет сесть, книгу под свет положить. Сам будет учиться, Стешу заставит. Спасибо скажет.

С покупкой, обернутой в серую бумагу, Федор поднялся по крыльцу, сбил снег с валенок, вошел.

Никого. Кроватка-качалка, присланная Варварой, пуста. Стешин чемодан, большой, черный, фанерный, с висячим замком, стоял раньше в углу. Исчез он. Нет и лоскутного одеяла на большой кровати, оно тоже Стешино. На полу, посреди комнаты, валяется погремушка, подаренная Чижовым.

Федор поставил на стол абажур, сел не раздеваяс.

«Вот тебе и зеленый свет по комнате, вот тебе и учиться заставлю... Уехала... Интересно: свои нарочно приезжали или машина подвернулась?.. Да не все ли равно! Уехала... Теперь уж все. Кланяться к Ряшкиным, просить, чтоб вернулась, не пойду. Пусть попрекают в райкоме комсомола: не умеешь воспитывать. Видать, не умею, что поделаешь...»

И вдруг Федор опомнился и застонал

— Ведь Ольгу с собой взяла! Нет дочери-то!..

. .

Осень. Под мелким дождем плачут мутные окна.

Лето было дождливое, серенькое. Только в августе выдались безоблачные деньки — небо предосеннее, лиловое, солнце пылающее, косматое, но не жгучее, так себе припекает. В эти-то дни и успели сухоблиновцы — убрали все с полей. Подсчитали: год не из счастливых, а урожай выдался неплохой.

Осень. Плачут окна. В небе темно и тихо. Кошка, спрыгнувшая с печи, заставляет вздрагивать: «Чтоб тебя разорвало!»

Спит дочь. Отец с матерью притихли. Тоже спят. Да и что делать в такой вечер. Осень на дворе, глухая осень. Мелко, скучно моросит. Плачут окна.

Стеша уставилась на слезящееся стекло, думает и не думает. Скучно! До боли скучно, хоть плачь. Да и плакала, не помогло — все равно скучно.

А сейчас в селе в стареньком клубе около правления горит электричество, собирается народ. Сегодня праздник в колхозе. Урожай нынешний отмечают и пуск тепловой станции. Приглашен известный гармонист Аникушкин из Дарьевского починка. Придет молодежь из всех соседних

деревень. Придет и Федор. Он плясун не из последних, ему там почет. Деньги высылает. Дочь, может, и помнит, а жену забыл. Плясать будет, веселиться будет, что ему — дитя не висит на шее, вольный казак... Да и народ его любит, Федором Гавриловичем величает.

И уже тысячный раз Стеша начинает спрашивать себя: чем они не нравятся людям? Не воры, не хапуги, живут, как все, никого не обижают, на чужой кусок не зарятся. В чем же виноваты они перед селом? Не любят их...

— Эх-хе-хе, доченька! Сумерничаешь?

Последовал сладкий зевок. Мать слезла с печи, зашаркала валенками по половицам.

— Дай-кось огонь вздую.

При тусклом свете лампы Стеша видит лицо матери. Оно опухшее от сна, зеленое от несвежего воздуха.

— Электричества напроводили. Кому так провели, а кому так нет. Кто шибче у правления трется, тому хоть в сенцы не по одной лампочке вешай...

Чувствуется, что ворчание матери скучно даже ей самой.

— Мам? — нехорошим, треснувшим голосом перебивает Стеша.

— Что-сь? — откликается испуганно Алевтина Ивановна.

В последнее время характер что-то у дочки совсем испортился, плачет, на мать кричит. Прежде-то такого не случалось.

— Мам... скажи: за что нас на селе не любят?

— Завидуют, девонька, завидуют. От зависти вся злоба-то, от зависти...

— А чего нам завидовать? Живем стороной, невесело, от людей прячемся за стены.

— Не пойму что-то нынче тебя, Стешенька. Ой! Неладное у тебя на уме!

— Не понимаешь? Где уж понять! Мужа привела, извели вы мужа, ушел из дому. Мне жить хочется, как все живут. Не даете. Пробовала к мужу уйти, ты меня отравила, наговорила на Федю. «Не верь да не верь». Вот тебе и не верь. А что теперь понастроили с МТС-то рядом! Жить вы мне не даете! Сами ничего не понимаете, меня непонятливой сделали!

— Святые угодники! Да что с тобой, с чего опять лаешься? Стешенька, на мать же кричишь, опомнись!

— Опомнись! Опомнилась я, да поздно!

— Господи, от родной-то дочери на старости лет!

Вышел отец, бросил угрюмый взгляд на дочь.

— Опять взбесилась? Стешка! Проучу!

— Проучил, хватит! Твоя-то учеба жизнь мне заела!

Силантий Петрович зло махнул рукой.

— Выродок ты у нас какой-то. Всегда промеж себя дружно жили. Тут на̀ тебе — что ни день, то визг да слезы...

— Это он все! Все он! Муженек отравил, залез к нам змеюкой, намутил, ребенка оставил и до свидания не сказал. Он все! Он!

— Жизнь заели! За-е-ели!

От криков проснулась дочь.

В жарко натопленном клубе играла гармошка. Федора шумно вызывали. Он упрямо отказывался. Наконец ребята-трактористы вытеснили его на середину круга, кто-то услужливо подхватил упавший с плеч пиджак.

Чуть вздрагивающей рукой Федор провел по волосам, стараясь не глядеть в глаза людям, напиравшим со всех сторон, прошел вяло, враскачку, быстрей, быстрей и сделал жест гармонисту: «Давай!» Гармошка рванула и посыпала переборы, один нагоняющий другой. Зазвенели стекла, заголосили сухие половицы под каблуками, гул голосов перешел в восторженный стон, волосы Федора растрепались, лицо покраснело. «Эх! Потеснись, народ! Душа на простор вырвалась!»

Хлопали в ладоши, кричали, не слыша друг друга, теснились плечами... И вдруг, ударив в пол, Федор остановился, вытянулся, уставился поверх голов, потное лицо медленно стала заливать бледность. Жалобно всхлипнув, осеклась гармошка. Голоса смешались, упали — и наступила тишина, в которой лишь было слышно напряженное дыхание людей. Невольно глаза всех повернулись в ту сторону, куда смотрел Федор.

Снаружи, за темным, мокрым окном, прижалось к стеклу смутное лицо Стеши...

1954

Ухабы

1

Сонные тучи придавили маленький городок Густой Бор. Шумит ветер мокрой листвой деревьев, мокро блестят старые железные крыши домов, мокрые бревенчатые стены черны,— и сам город, и земля, на которой он стоит, и воздух — все, все обильно пропитано влагой.

Такому городку, отброшенному на пятьдесят километров в сторону от железной дороги, затяжные дожди причиняют великие неудобства: в магазинах исчезает соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать новые кинокартины, письма и газеты приходят с запозданием, так как почту доставляют с оказией, на лошадях.

Густой Бор в эти дни наполовину отрезан от остального мира.

В райпотребсоюз пришла телеграмма: на железнодорожную станцию прибыла партия копченой сельди. В другое время на нее не обратили бы особого внимания — вывезти, распределить по магазинам, продать. Но теперь председатель райпотребсоюза Ларион Афанасьевич Сямжин, человек с больным сердцем, не любящий волноваться по пустякам, засуетился:

— Как же быть? На станции-то нет холодильников. Попортится! Ох, не ко времени! Ох, наказание!.. Васю ко мне. Быстро! Чтоб одна нога здесь, другая — там!

Шофер Вася Дергачев собирался в село Заустьянское, где вот уже без малого месяц обивал порог у библиотекарши Груни Быстряк. Явился он к Сямжину в синем плаще, коверкотовая фуражка заломлена на затылок,— по одежде праздничный, а лицо тоскливое.

— Опять в рейс? — спросил он, сумрачно разглядывая свои хромовые, с голенищами в гармошку сапоги, втиснутые в новенькие, чуть тронутые грязью калоши.

— На тебя надежда, Василий, только на тебя. Развезло. Другому по улице не проехать, в первой же луже сядет. А ты ведь не просто шофер, ты, без прикрас скажу, божьей милостью водитель. Талант!

— Эх, жизнь собачья! Есть путь, нет пути — все одно гонят.

— Да никто тебя не гонит. Тебя просят, братец.

— А откажусь — небось против воли пошлете?

— Пошлю, голубчик, пошлю, но бью на сознательность. Хочу, чтоб прочувствовал.

— Уж ладно... Выписывайте накладные.

Через двадцать минут он, в старой кепчонке, в кожаной куртке, донельзя вытертой, хлябая ногами в непомерно широких голенищах кирзовых сапог, с какой-то шоферской вдумчивой раскачкой ходил вокруг своей полуторки.

Возраст автомашины измеряют не годами, а километрами. Тридцать тысяч на спидометре — считай, юность, начало жизни. А полуторка Васи Дергачева выглядела старухой: помятые крылья, расхлябанные, обшарпанные борта, погнут буфер, на выхлопе вылетает дымок со зловещей синевой: верный признак — страдает машина обычной автомобильной одышкой, сносились кольца. Укатали сивку крутые горки густоборовских дорог. Сейчас стоит она, постукивает моторами и мелко трясется всем своим многотерпеливым корпусом, словно страшится нового тяжкого испытания.

Вася закрутил проволокой запор у левого борта,— на всякий случай, вдруг да на толчке отвалится, не оберешься греха, сел в кабину.

Он не сразу взял курс через плотину районной ГЭС на станцию, а повернул к чайной. Какой шофер упустит случай, чтоб не «наловить лещей».

2

«Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. Для шофера, ведущего машину, есть только один грозный судья — представитель автоинспекции. Но такие предста-

вители редко заглядывали на здешние глухие дороги. Поэтому густоборовский шофер, выехав из гаража, оторвавшись от организации, в которой он работает, сразу же оказывается в стороне от всяких законов. Он становится единственным владыкой, царьком крошечного государства — кузова автомашины. И каждый, кто попал туда, обязан платить дань.

Правда, три года назад председатель райисполкома Зундышев попробовал было начать войну против шоферского племени, безнаказанно собирающего дань на дорогах. Для этого между городом Густой Бор и станцией поставили шлагбаумы в трех местах, где никак нельзя свернуть в объезд. План был таков: шофер сажает пассажиров, но миновать шлагбаума не может, у шлагбаума же стоит контролер и продает пассажирам самые законные билеты. Все деньги идут не в шоферский засаленный карман, а на ремонт дорог. Так должна была благоустраиваться жизнь Густоборовского района, таков был план. Но получилось иначе...

Шоферы, как обычно, «ловили лещей». Каждый из них, не доезжая до шлагбаума, останавливал машину и держал короткую речь:

— Вылезайте, граждане, идите пешком. Я вперед поеду, за шлагбаумом буду ждать. Там снова сядете. Тяжелые вещи — чемоданы там, мешки — оставляйте в кузове. Кто не согласен, того не держу. Пусть ищет другую машину, а еще лучше — идет пешком.

К шлагбауму подходила пустая машина. Недоверчивый контролер заглядывал в кузов, спрашивал:

— Пассажиров куда, молодец, спрятал?

— В карман положил, да повытрусились.

— Шуточки все, а чемоданы тут, мешки, ась?

— Теща в гости приехала. Багаж вот на станции оставила. Везу...

— Теща? Гм... Богата она, видать, у тебя. Ишь сколько чемоданов.

И рад бы контролер уличить, но как?.. Шофер спокоен: курит, независимо сплевывает, он знает — комар носу не подточит.

Лещи-пассажиры дружной кучкой, обсуждая шоферские доходы, идут пешком километра два-три, находят дожидающуюся за поворотом машину, влезают в кузов, едут до следующего шлагбаума.

Контролерам скоро была дана отставка. А шлагбаумы, задранные вверх, долго еще торчали у дороги, взывая к шоферской совести, пока их не растащили на дрова.

Вася Дергачев, как и все шоферы, считал, что брать дань с пассажиров — это его прямое право, это законная награда за тяжелую дружбу с густоборовскими дорогами.

Самое удобное место, где хорошо «клюют лещи», была чайная. К чайной сходятся из деревень желающие попасть к поезду, в чайной дежурят приезжие из соседнего района, к чайной бегают справляться местные жители: «Не пойдет ли машина?» Чайная — это станция, где можно ждать, убивая время за кружкой пива, за стаканом чаю.

Из-за дождей машины теперь почти не ходят, и наверняка от «лещей» не будет отбоя.

Вася остановил полуторку под окнами чайной, не успел выйти из кабины, как с высокого крыльца его окликнули:

— Эй, Дергачев!

Вперевалочку, не спеша, припечатывая к мокрым ступенькам каблуки сапог, спустился знакомый Васе директор Утряховской МТС Княжев. Подошел, протянул руку.

— Сямжин пообещал, что ты меня подкинешь до дому.

Из-под распахнутого плаща выпирает широкая пухлая грудь, лицо Княжева полное, мягкое, бабье, губы в оборочку, говорит сипловатой фистулой:

— Свою машину угробил, как сюда ехал. Придется весь задний мост перебирать. Вот подсохнет — перетащу в Утряхово.

К его голосу не подходит по-мужски осанистая фигура и твердый крючковатый нос на рыхловатом лице.

— В кабине-то место свободно? — кивает он.

— Свободно. Один еду.

Словно из-под колес, вынырнула маленькая старушка с огромной корзиной, завязанной вылинявшим платком. Она цепко схватила Васю за рукав кожаной куртки, запела с причитанием:

— Выручи, кормилец. Третий день ловлю машину. Третий день никак не уеду. Не бросай ты меня, старую, непутевую. Приткни, Христа ради, в уголок куда. Век буду бога молить.

С плаксиво сморщенного лица хитро, молодо и настойчиво щупали Василия маленькие, бойкие глазки.

— Сидела бы дома, бабка!

— Уж рада бы сидеть, сокол. Ра-ада. Не такие мои годы, чтоб в ящике-то трястись. Да сына, вишь ли, поглядеть охота. Старшой мой на железной дороге начальством служит. Внучатам яичек вот сотенку везу.

— Расколотит тебя вместе с твоими яичками. Ладно, лезь в кузов, садись ближе к кабине.

— Ой, спасибо, родной! Ой, выручил старую! Подсадите, люди добрые, толкните кто...

За борт сначала опускается корзина, за ней, кряхтя, охая, благодаря господа бога и осторожно подталкивающего под зад Василия, перевалилась старуха.

С другой стороны в кузов падают два новеньких, сверкающих никелированными замками чемодана. Их хозяин, на вид такой же новенький, так же сверкающий погонами и начищенными пуговицами младший лейтенант, сдвинув твердую фуражку на одно ухо, подходит к Васе, щелкает портсигаром:

— Закуривай, друг. Занимаю два места — я и жена.

Он не высок, все в нем — от пуговиц, от мягких сапожек до маленьких белых рук и мальчишеского лица с точеным носиком,— все аккуратно, все подогнано.

— Наташа, иди сюда. Вот наш шофер. Теперь-то наконец поедем. Никак не вырвешься, черт возьми, из этой дыры! Я, брат, родом из Большезерска, в сорока километрах отсюда. В отпуск приезжал и вот женился. Наташа! Что ты там машину сторожишь? Без нас не уйдет. Иди сюда... Пока до этого городишка добирались — душу вытрясло. А мне еще ехать и ехать. В Прибалтике служу. В самом центре Европы. Наташа, иди сюда!

Оттого, что он в военной форме с блестящими погонами, что со стороны за ним следит молодая жена, лейтенант расправлял плечи, поигрывал портсигаром, небрежно перекидывал из одного угла рта в другой папиросу. Но Вася отвернулся. Пусть он сейчас в замасленной, затертой куртке, в покоробившихся от грязи огромных сапогах, пусть он неказист с виду — нос пуговицей, на лоб спадает челка, черная, словно напомаженная мазутом,— но он сейчас здесь первое лицо. Даже директор МТС Княжев, тот, кто распоряжается сотнями машин, смотрит на него, шофера Василия Дергачева, с уважением. Не всякий-то решится ехать в такую погоду по размытой дороге. Поэтому пусть этот лейтенантик особо не фасонит, стоит

только захотеть, и он останется мокнуть под дождем здесь, у чайной, вместе со своими чемоданами и красивой женой.

...В кузове устраивались. Рядом со старушкой сел какой-то тщедушный, неприметный человек, то ли заготовитель из конторы «Живсырье», то ли агент по страховке. В грубом брезентовом плаще, в котором утонул он, можно бы упрятать троих таких заготовителей. Из-под капюшона выглядывали лишь острый нос и сонные глазки. Бабка пристраивала у себя на коленях корзину с яйцами, бесцеремонно толкала соседа:

— Эко растопоршился! Сам тощой, а места занял, как баба откормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушка.

Заготовитель покорно шевелился в своем просторном плаще.

Четыре девушки, едущие поступать в ремесленное училище, расположились среди узелков и авосек, сосали леденцы. Лейтенант топтался посреди кузова, ворочал свои новенькие чемоданы, старался удобнее устроить жену.

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, нет, давай сядем так... Чемоданы поставим на попа.

А Наташа, с добрым, простеньким и усталым лицом, послушно поднималась с места, следила из-под ресниц внимательно и терпеливо за мужем.

Влезли три колхозницы с мальчуганом, у которого просторная кепка держалась на торчащих ушах, постоянно сваливалась козырьком на нос, и тоже с шумом начали пристраивать свои узлы и корзины.

К машине подбежала женщина с младенцем на руках, затопталась у борта, присматриваясь, как бы влезть в кузов. Но Вася остановил ее:

— Эй, мать, не вертись. Все равно не возьму.

— Миленький! Да тут еще есть местечко.

— Не возьму с ребенком.

— Ведь я не так, я уплачу. Я же не задаром...

Она, потеребив зубами узелок платка, вытащила скомканную бумажку, начала совать Василию.

— Возьми-ко, возьми. Не отворачивайся. Мне к вечеру на станции быть нужно.

— Не возьму с ребенком. Да ты, тетка, с ума спятила! В такую дорогу и с младенцем. А вдруг да тряхнет, стукнешь ребенка — кто ответит?

— Ты не бойся, с рук не спущу.

— Не возьму — и шабаш! В другой раз уедешь.

— Никак нельзя в другой-то раз. Разве без нужды я б поехала. Да провались езда эта... Ты возьми-ко, возьми, я прибавлю еще. Тут четвертной.

Она снова попыталась всунуть потную бумажку.

— Отстань! — сердито крикнул Василий.

В это время парень с белесым чубом из-под фуражки, в сапогах с отворотами размашистым шагом подошел к машине, не спрашивая разрешения, перемахнул через борт, втиснулся между сидевшими, с трудом повернув в тесном вороте рубахи крепкую шею, раздвинул в улыбке крупные белые зубы:

— Не спеши, дождик пройдет, пообветреет, тогда и покатаешься.

— У-у, оскалился! Этому жеребцу только бы и бегать пешком. Глаза твои бесстыжие! — набросилась на парня женщина.— А ты не думай,— обернулась она к Василию,— не больно-то он раскошелится. Такие-то на дармовщинку ездят.

Василий покосился на парня: что верно, то верно — «лещ» не из надежных, на каком-нибудь отвороте к деревне Копцово или Комариный Плёс выскочит на ходу, только его и видели. Дело не новое. Но, измерив взглядом широкие плечи своего пассажира, решил: «Черт с ним. Сила, должно быть, медвежья, машина застрянет — поможет вытаскивать».

Суровым взглядом окинул тесно набитый кузов:

— Все умостились? Едем! Коль застрянем где — помогать.

Он сел в кабину рядом с изнывающим от ожидания директором Княжевым, нажал на стартер. Разбрызгивая лужи, перетряхивая на колдобинах пассажиров, полуторка, оставив чайную, стала выбираться на прямой путь к станции.

3

Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колеи, ни дать ни взять ущелья среди грязи, лужи-озерца с коварными ловушками под мутной водой,— километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами,— наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густоборовского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи.

Есть в Густом Бору специальная организация — дорожный отдел. Есть в нем заведующий — Гаврила Ануфриевич Пыпин. Он немного стыдится своей должности и, знакомясь с приезжими, прячет смущение под горькой шуточкой. «Зав. бездорожьем»,— рекомендуется он, протягивая лодочкой руку.

Но что может сделать Гаврила Пыпин, когда в прошлом году на ремонт дорог отпустили всего пять тысяч. Пять тысяч на эту пятидесятикилометровую стихию!

Единственное, что мог сделать Пыпин,— вымостить булыжником улицу перед райисполкомом и заменить упавшие верстовые столбы новыми — километровыми.

Сейчас от города Густой Бор до самой станции стоят они, эти столбы, в черную полосу по свежеоструганному дереву, точно отмечая километр за километром куски шоферской муки.

Ох, дорога! — каждый метр с боя.

Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, безобидную, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее нужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая, выбрасывая из-под колес ошметки грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на дифер.

Перед деревней Низовка разлилась широченная лужа. Страшен ее вид — там и сям из воды вздыбились слеги, торчит пучками облепленный грязью хворост. Шоферы прозвали эту лужу «Чертов пруд». Через нее надо ехать только по правой стороне, да и то не слишком-то надейся на удачу.

После Низовки, не доезжая соснового бора, дорога так избита, что лучше свернуть в сторону, проехать по кромке поля вновь пробитой колеей. Зато дальше, пока не кончится сосновый бор,— песок. Дожди не размывают его, прибивают, делают плотным. Можно включить третью ско-

рость, облегченно откинуться на сиденье, дать газ... Какое наслаждение следить, как надвигаются и проносятся мимо сосны! Но только три километра душевного облегчения, несколько минут отдыха — и снова колдобины, до краев заполненные водой, снова врытые глубоко в землю колеи, снова коварные лужи.

На ветровом стекле брызги жидкой грязи. Сквозь стекло видно, как навстречу, словно медлительная, ленивая река, течет дорога. Вася Дергачев, вытянув шею, в кепке, съехавшей на затылок, настороженно впился в дорогу глазами. Она враг — хитрый, неожиданный, беспощадный. От нее каждую секунду можно ждать пакости. Вася с ожесточением воюет, от напряжения ему жарко, волосы прилипли ко лбу.

Рулевая баранка, рычаг скоростей, педали — вот оно, оружие, с помощью которого вырывается у дороги метр за метром...

Впереди зализанный, ослизлый склон. В другое время не стоило бы на него обращать внимания. Тяжелый сапог давит на газ. Взвыл мотор. Сотрясая кабину, машина набирает скорость: давай, давай, старушка! Начало склона близко. Начало склона перед самыми колесами. Газ! Тяжелый сапог давит до отказа: газ! газ! Радиатор поднимается в небо. А в небе, затянутом ровными серыми облаками, равнодушно машет крыльями ворона...

С разгона машина проскочила до середины скользкого склона, и вот — секунда, частичка секунды, когда чувствуется, что она должна остановиться... Если это случится, не помогут и тормоза,— как неуклюжие салазки, сползет грузовик вниз, а уж во второй раз так просто не выползешь.

Секунда, частичка секунды — педаль сцепления, рычаг скоростей на себя и газ, газ, газ! Машина остервенело воет, дребезжат стекла кабины, медленно, медленно, с натугой, по вершку, по сантиметру вперед, вперед, вперед! Выкатилась... Уф!.. Василий расслабил сведенные на руле руки.

Качается кабина, директор МТС Княжев сонно кивает на каждом толчке головой. Окруженные придорожным мокрым кустарником, время от времени выдвигаются, проползают мимо километровые столбы, новенькие, не успевшие еще по-настоящему обветриться.

Первый раз застряли на десятом километре. Объезжая

разбитый путь, Вася никак не мог выбраться на дорогу, задние колеса буксовали в затянутом травой кювете. Из кабинки вылез Княжев, из кузова выскочили парень в сапогах с отворотами и пугающийся в широком плаще заготовитель. Лейтенант, жалея свои хромовые сапожки, командовал сверху, перегнувшись через борт:

— Лопату возьмите! Где лопата?.. Подрыть надо. Эй, кто там! Под колесами подройте!

Подрыли, подложили пару камней, покрикивая для бодрости, вытолкнули на дорогу.

Второй раз прочно сели в «Чертовом пруду» — место законное для задержки. Парень в сапогах с отворотами оказался находкой для Васи. Откуда-то притащил сосновый кряж, бесстрашно шагая по луже, пристроил его под колеса, подровнял лопатой грунт. Веселый, с облепленными грязью ручищами и грязью крапленным потным лицом, он шумливо отвечал всем.

— Ладно, ладно! Командуй! — кричал на лейтенанта.— Как бы самому кителек запачкать не пришлось. Эй, шофер! Лезь в кабину, трогай не ходко! Я подтолкну... А вы, товарищ начальник, не мутите зазря воду у кабины, садитесь на свое место. Как-нибудь управимся...

Директор Княжев послушно усаживался рядом с Васей, смущенно улыбаясь, качал головой:

— Шустрый малый. Силенка так и прет, хоть запрягай в машину заместо тягача.

Проехали Низовку, прокатили по сосновому бору...

У километрового столба с цифрой 20 Василий остановил машину, вылез, своей шоферской вдумчивой походкой враскачку обошел кругом, озабоченно попинал скаты, поднял взгляд на сидящих в кузове:

— Ну, братцы, сейчас Тыркина гора. Коль на нее выползем, считайте — приехали на станцию. Дальше-то как-нибудь промучаемся.— И, влезая в кабину, вздохнул: — Эх, место, богом проклятое!

Машина тронулась, огибая тесно сбившийся в кучу придорожный ельник.

Впереди показался кособокий холм. Правая его сторона, кудрявясь мелким березнячком, круто сбегала вниз. К вершине, по самому краю склона, к выщипанному кустарнику, маячившему на фоне серого неба, ползла вверх жирной виляющей лентой черная дорога.

Машина приближалась к Тыркиной горе.

4

Откинувшись на спинку сиденья, с бесстрастно суровым лицом, Василий наметанным взглядом выбирал более удобный путь на расхлюстанной дороге. Его руки скупо, расчетливо, лишь более порывисто, чем всегда, крутили баранку.

Княжев, до сих пор равнодушно клевавший носом, встряхивавшийся только на сильных толчках, теперь подался вперед, наморщил страдальчески лоб, собрал в тугой узелок губы, всем своим видом выражал такое напряжение, словно сам помогал машине взбираться на тяжелый подъем, вчуже изнемогая от усилий.

Машина, басовито, на одной ноте завывая мотором, с боязливой осторожностью ползла вверх.

С краю у дороги торчат невысокие темные столбики. Они поставлены оберегать машины от несчастья. Впрочем, пролеты между этими спасительными столбиками достаточно широки, чтоб пропустить, не задев, любой грузовик, да и стоят они давно, изрядно подгнили, многие сбиты неосторожными водителями, торчат скорей для очистки совести, на всякий случай.

Василий изредка бросал взгляды в сторону и видел, как внизу ширится простор. Мелкий, мокрый березнячок оседает, своими верхушками уже не закрывает тускло поблескивающую воду узенькой речки, бегущей внизу, под склоном. Сразу за речкой — ядовито-зеленое поле льна, еще дальше — матовые овсы, средь них деревенька — горсточка серых избушек, а совсем далеко, в сырой мгле, мутным темным разливом раскинулся большой хвойный лес.

Как всегда в такие минуты особо трудного пути, Василий чувствовал спиной сидящих в кузове пассажиров. Чувствовал, как они все до единого тянутся со своих мест вперед, каждый душевным усилием, помимо желания, пытается помочь машине; также с необъяснимым беспокойством следят они, как открывается внизу простор: тусклая речка в зеленых берегах, поля, деревенька, мутный лес.

У всякой дороги, поднимающейся в гору, есть хорошо знакомая шоферам критическая полоса. Обычно она расположена недалеко от вершины, там, где основная кру-

тизна кончается и подъем становится положе. На подходе к этой полосе машина должна выжать из себя все, на что способна, здесь она сдает трудный экзамен па силу.

Выщипанные кустики, которые были видны на вершине при подъезде к Тыркиной горе, теперь, вблизи, оказались средней высоты ольховыми деревьями. Среди них белел километровый столб — двадцать первый километр, проклятый шоферами.

До него оставалось метров сто семьдесят. Из них добрая половина была исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь иссечена рваными колеями, как поле битвы костями, усеяна жердями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно срубленных березок. Это и есть критическая полоса Тыркиной горы, тяжелый перевал. Редкая машина не сидела здесь по целым суткам, во всей округе нет такого шофера, который бы не обложил это место крепкими словами, вкладывая в них всю свою душевную ярость и отчаяние.

Меньше всего был разбит кусок дороги, тянувшийся возле самого ската. Есть слабая надежда, что только здесь, и нигде больше, можно проползти, не застряв.

Василий стал прижимать машину к самому краю, повел, едва не задевая колесами темные столбики на обочине.

Сверху от ольховых деревьев, почтительно обступивших километровый столб, прямо на радиатор медленно, с натугой надвигалась дорога — широкая река густо замешанной, скользкой глины. Княжев также тянулся с сиденья вперед, еще туже сводил свои оборчатые губы в узелок. Василий по-прежнему, откинувшись на спинку сиденья, вытянув шею, с окаменевшим лицом уставился вперед немигающими глазами.

Кто б мог подумать, что он в эту минуту мечтал? Да, мечтал! Он представлял себе, как его полуторка мало-помалу приблизится вон к тому камню, замшелой тушей вросшему в обочину, как там он повернет налево, постепенно набавляя газ, пересечет дорогу, как на правой стороне вывернет... А там в кювете растет крошечный, жалкий, всегда густо заляпанный грязью можжевеловый кустик. Он дорог Васе. Около этого кустика кончатся мучения, мотор застучит ровнее, без надсадного завывания, машина, словно стряхнув груз, покатится легче. Не доез-

жая километрового столба, можно уже включить вторую скорость... Он мечтал, как ощутит привычную усталость во всем теле и вместе с этим какую-то радостную, горделивую легкость в душе: знай наших, черт ногу сломит, а мы проехали. Чтоб чем-то отметить эту победу, он обязательно остановит машину, выскочит из кабинки и заявит весело:

— Что ж, братцы, сотворим перекур.

А из кузова благодарно и радостно будут ему улыбаться пассажиры.

...Камень, старый, тупо лобастый, весь в лишаях зеленого мха, скрылся за радиатором. Сейчас он должен находиться как раз напротив переднего колеса. Вася резко крутанул баранку и вдруг почувствовал что-то неладное. Что? Он не сразу понял. Медленное, натужное движение машины не приостановилось, но она не послушалась руля... продолжала двигаться как-то косо.

«Задние колеса сползают!» — догадался Василий и похолодел. Бессознательно нажал газ. Взвыл мотор, машина остановилась, подалась чуть-чуть назад, начала оседать. Вцепившись потными руками в рулевую баранку, с потным, окаменевшим лицом Василий давил на газ. Машина оседала, задирая вверх радиатор. Из кузова резанул истошный женский визг.

— Ну, что сидишь? Смерти хочешь?! Прыгай! — остервенело крикнул Василий съежившемуся от ужаса Княжеву.

Тот заворочался, стал слепо хватать руками ручку дверцы, но было уже поздно...

В ветровом стекле исчезла земля, поплыло в сторону серое небо, по нему, как гигантская метла, промела зеленая верхушка березы. Тяжелая туша Княжева навалилась на Василия, но сразу же освободила. Василия больно стукнуло головой о потолок кабинки, бросило грудью на руль, он навалился на Княжева. Раздался треск, зазвенели стекла... Все стихло.

Шумело в голове от удара, ныла грудь. Внизу, под Василием, зашевелился Княжев, закряхтел:

— Кажись, живы.

Вдавливая коленями мягкое тело кряхтящего Княжева, Василий приподнялся, стал шарить по дверце, нашел ручку, надавил, толкнул дверцу головой.

— Сейчас вылезу, вам помогу,— сообщил Княжеву.

«Кого могло убить?..— думал он, выталкивая себя вверх.— Молодые-то, должно, выскочили, а вот старуха с корзиной... Эх, да конец один — хватит, погонял по знакомым дорожкам, Василий Терентьич, теперь найдут место — отдохнешь от хлопот».

5

Но старуха была жива. Она первая бросилась в глаза Васе: со сбившимся на затылок платком, седые волосы падают на лоб, расставив ноги, огорченно хлопая себя по бокам, причитала над корзиной:

— Исусе Христе! По яичку копила, себя не баловала, все внукам, все внукам! И с чем я, старая, к ним покажусь? Какие гостинцы привезу?

Высокая, простоволосая женщина, не стесняясь, вздернув юбку, растирала ушибленное колено. Она сердито оборвала старуху:

— Буде ныть-то. Спасибо скажи, что цела осталась.

— Ох, верно, матушка, верно. Не допустил господь. Спас от погибели.

Мальчуган, задрав вверх подбородок, из-под наползавшей на глаза кепки внимательно изучал лежавшую на боку, бесстыдно выставившую напоказ свой грязный живот машину.

Девчушки, ехавшие в ремесленное, сбились тесной кучкой, со страхом уставились на вылезших из кабины Василия и Княжева. У директора МТС был потерян картуз, со лба по щеке багровая ссадина.

Какое-то белье, мужские сорочки, цветные женские платья валялись на траве, висели по мокрым кустам. Крошечную, сердито топорщащуюся елочку нежно обняли голубые трикотажные кальсоны. Один из объемистых новеньких чемоданов младшего лейтенанта лежал на полпути от дороги к машине раскрытым. Около него согнулись сам лейтенант и его жена.

Наверху, на обочине дороги, торчала фигура, полная недоумения и растерянности,— заготовитель в своем широком, чуть шевелящемся на ветру плаще.

Пестрота раскиданной кругом одежды, неожиданное многолюдье среди покойно шелестящих листьями невысоких березок и кустов казались Васе чем-то диковинным, не

настоящим, картиной не от мира сего. Ведь всего минуту назад ничего этого не существовало,— была лишь тесная кабина, забрызганное грязью ветровое стекло, медленно плывущая навстречу дорога...

Он провел по волосам, почувствовал от прикосновения руки боль в темени, опомнился и спросил в пространство:

— Все живы?

На его голос обернулся младший лейтенант. Он резко разогнулся над чемоданом, зло вонзая каблуки своих сапожек в травянистую землю склона, без фуражки, в косо сидящем кителе, подбежал к Василию.

— Кто вам доверил возить людей?! — закричал он тенорком.— Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине!

— Э-э, друг, чего кричать,— попробовал было остановить лейтенанта Княжев, с боязливой лаской ощупывая ссадину на щеке.— Парню и без тебя на орехи достанется.

— Нет, вы поймите! Здесь были дети, женщины, могло кончиться убийством!..

Жена лейтенанта, оставив раскрытый чемодан, бросилась к мужу:

— Митя, полно! Ведь он же не нарочно. Зачем кричать? Митя!

— Мало его судить. Надо судить тех, кто дает таким олухам права!

— Митя, стыдно же...

— Наташа, ты ничего не понимаешь!

— А офицерик-то за свои чемоданы обиделся,— вставила со стороны женщина.

Жена Мити вспыхнула, схватила мужа за рукав:

— Несчастье случилось! Как тебе не совестно? Все молчат, один ты набросился. Мне за тебя стыдно! Мне!

В это время за опрокинутой машиной из-под накренившейся, сломанной ударом кузова березы, донесся сдавленный стон: «И-и-и!..» Старуха, все еще стоявшая над своей корзиной, проворно полезла через кусты, зачастила оттуда скороговоркой:

— Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло. Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, лежи, не понужай себя... Люди добрые, да скореича идите!

Василий, отталкивая всех с дороги, бросился за машину.

Голова в кустах, ноги в тяжелых грязных сапогах с затертыми отворотами раскинуты в сторону, схватившись руками за живот, лежал парень, который помогал Василию выбираться из «Чертова пруда».

Когда Василий услышал стон и вслед за ним причитания старухи, он испугался и первой его мыслью была мысль о себе: «Смертный случай! Теперь-то уж не миновать, теперь засудят...» Но едва он, бросившись на колени, нагнулся, отвел ветви куста и увидел изменившееся лицо парня,— нежно-розовое, с мелкими бисеринками пота на лбу, ввалившимися висками и мутными непонимающими глазами,— то сразу же забыл свой испуг, мысли о том, что его засудят, вылетели из головы.

Чужая, не совсем еще понятная, но наверняка страшная беда в упор глядела на него мутным взглядом.

Не жалость, это слишком легкое слово, скорей отчаяние, болезненное, острое, охватило Василия,— что он наделал?!

С минуту, не меньше, Василий бессмысленно смотрел, не зная, как поступить, чем помочь. А помочь чем-то нужно.

Силу б свою вынуть, боль на себя принять, но как?.. Что делать?

— Любушки! Ведь мать же у него есть! Чья-то кровиночка... Вот оно, горюшко-то, не знамо, когда придет! — разливалась старуха.

Темные на странно розовом лице губы парня дернулись, обнажив стиснутые белые крупные зубы. Парень процедил:

— По-моги... подняться...

Василий рванулся к нему, обнял одной рукой за плечо, другую попробовал просунуть под спину. Но парень, изогнувшись, громко застонал. Василий растерянно выпустил его.

— Ничего, ничего. Жив же,— раздался над его головой трезвый голос Княжева.— Надо доставить как-то в больницу. Хотя бы к нам, в село, в фельдшерский пункт.

Василий вскочил на ноги, оглядел умоляющими глазами стоящих стеной пассажиров:

— Ребята! Товарищ Княжев! Помогите мне. Сделаем носилки...

— Что мы, чурбаны бесчувственные? Поможем.— Княжев оглядел присутствующих: — Жаль, мужиков средь нас маловато.

— Вот видите, до чего доводит безалаберность! — снова загорячился лейтенант.— Человека покалечили!

— Митя, зачем же кричать об этом,— со вспыхнувшими щеками, стараясь ни на кого не глядеть, начала успокаивать жена.— Криком делу не поможешь.

— Нет, это безобразие! Равнодушно относиться к преступнику!

— Митя! Прошу!

Василий сорвался с места, царапаясь о кусты, спотыкаясь, скатился вниз, к берегу реки, вынул из изгороди две жерди, притащил их на плече к машине. Заготовитель торопливо скинул свой широкий брезентовый плащ, представ перед всеми в каком-то полудетском, даже по его тщедушной фигурке тесном, порыжевшем пиджачишке. Жерди просунули в вывернутые внутрь рукава плаща, сам плащ застегнули на все крючки. На плащ еще накинули старый, пахнущий бензином кусок брезента, валявшийся в кузове. Все это сооружение кое-где прихватили веревками... Получились громоздкие, неуклюжие носилки.

Василий и Княжев, приговаривая ласково: «Потерпи, потерпи, браток...», насколько это было можно, с осторожностью, один — под мышки, другой — придерживая грязные сапоги, переложили парня на носилки. Он не застонал, не крикнул, только с шумом втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы.

— Значит, как условимся?..— Княжев оглядел столпившихся вокруг носилок людей.— Надо, чтоб силы были равны. Я понесу, ну, скажем, с Сергеем Евдокимовичем.— Княжев указал на съежившегося в своем кургузом пиджачишке заготовителя. Тот в ответ покорно кивнул головой.— Ты, Дергачев, понесешь на пару с лейтенантом.

— А я считаю...— отчеканил младший лейтенант,— мы не должны никуда нести! Надо немедленно вызвать сюда врача и участкового милиционера.

В первый раз за все время Василий угрюмо возразил:

— Не сбегу, не беспокойтесь... А гонять туда да обратно — времени нет.

— Для суда важно, чтоб все осталось на месте, как есть.

— Митя, глупо же! Боже мой, как глупо и стыдно!

— Наташа, ты не понимаешь!

Женщины, до сих пор лишь соболезнующе вздыхавшие, шумно заговорили:

— Нести лень голубчику.

— Сапожки испачкать не хочет.

— Тут человек при смерти, а он...

— А что ж, бабоньки, дивитесь — в чужом рту зуб не болит.

— Образованный, молодой...

— У молодежи-то ныне всей совести с маково зернышко.

— Митя, ты понесешь! — Острые плечи вздернуты, руки нервно теребят на груди концы шелковой косынки, рваный зеленый листочек застрял в завитых волосах, на белом виске, как родинка, засохла капелька грязи, по милому, простоватому лицу — красные пятна, на глазах, детских, серых, откровенных,— слезы, они просят.

— Митя, ты понесешь! Ты не откажешься.

— Наташа, ты не понимаешь...

— Нет, я все понимаю, все! Митя! Ты понесешь! Или!..

— Что — «или»?

— Или я уеду обратно домой. Не буду жить с тобой! Не смогу! Какой ты! Какой ты нехороший!

— Наташа!

Наташа прижала к глазам крепко сжатые кулачки, из одного из них недоуменно заячьим ушком торчал конец косынки.

— Наташа...

Она отдернула плечо от его руки.

— Не тронь меня! Не-на-ви-жу! Не хочу видеть! Какой ты!..— Оторвав руки от лица, прижав их к груди вместе с измятой косынкой, она шагнула к Княжеву: — Я понесу! Я! Не бойтесь, я сильная. Я смогу... Только не просите больше его! Не надо! Не просите! Какой он! Какой он!

Княжев с виновато растерянным лицом ощупывал ссадину на щеке, а Василий, стоявший рядом, сморщился. В эти минуты у него все вызывало острую боль.

Между женщинами снова пробежал глухой шепоток:

— Нарвалась девонька...

— Век-вековечный красней за идола.

Младший лейтенант стоял перед людьми, в кителе, на котором две пуговицы были вырваны с мясом, остальные, начищенные, продолжали мокро сиять. Его уши, по-маль-

чишески упрямо оттопыренные, багрово горели, как прихваченные осенними заморозками кленовые листья.

— Что тут разговаривать,— решительно произнес Василий.— Справимся,— и нагнулся к носилкам.

Княжев взялся с другого конца, удивился:

— Ого! Тяжеленек малый!

Раненый застонал.

Боком, шажок за шажком, стараясь не зацепить носилками за кусты, не тряхнуть, вытащили на дорогу.

За носилками тронулись заготовитель и жена лейтенанта, горестно сморкающаяся в концы косынки. Женщины пошептались между собой, покачали головами, крикнули:

— Нам-то помочь, что ли?

— Оставайтесь, донесем! — с усилием ответил Княжев.

— Вот приберемся тут, может, и догоним.

Лейтенант продолжал стоять у запрокинутой набок машины, смотрел вниз, ковыряя носком сапога землю.

Маленькая процессия, отдохнув на обочине, медленно пошла по верху склона. Сначала травянистая бровка их скрыла по пояс, потом по плечи, наконец, вовсе исчезли... Лишь темный камень тупым выступом торчал на сером небе.

Начинало заметно вечереть. С реки налетел сырой ветерок, шевелил листьями. Женщины вытаскивали вещи, переговаривались негромко, не обращая внимания на ковырявшего землю лейтенанта.

Вдруг тот поднял голову, оглядел раскиданное по траве и кустам белье и нервно завертелся, ища что-то вокруг себя, должно быть, фуражку. Не нашел, махнул рукой, бросился к дороге. На склоне перед самой дорогой споткнулся, вскочил, прихрамывая, бегом бросился в ту сторону, куда ушли с носилками.

— Проняло субчика.

— Совесть заговорила.

— Девка-то душевная ему попалась.

— Этакие хлюсты всегда сливки снимают.

Старушка, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!

Ноги расползаются на скользкой грязи. И хоть Василий выбрал для носилок самые тонкие жерди, но все же их концы толсты, трудно держать, пальцы не могут обхватить. Раненый грузен. На самых легких толчках он вскрикивает.

После двадцати шагов Василий, шагавший в голове, почувствовал, что если сейчас не остановится, то не удержит концы жердей, раненый упадет в грязь.

— Николай Егорович,— обессиленно окликнул он Княжева,— давай в сторонку. Мочи нет. Боюсь — не удержу...

Осторожно опустили носилки на обочину, прямо на мокрую примятую траву. Княжев перевел дыхание:

— Тяжел добрый молодец. Сзади шел, одни сапоги, считай, нес и то умаялся.

Василий разминал сведенные кисти рук.

Парень лежал на спине, чуть согнув ноги в коленях, держась руками за живот, лицо у него было по-прежнему розовое, как у человека, только что попарившегося в бане.

Заготовитель с нескрываемой жалостью на остроносом, с мелкими чертами, небритом лице рассматривал раненого быстро бегающими черными глазками.

— По двое никак не унесем,— сказал он.— Давайте вчетвером.

— А где четвертый-то? — спросил Василий.— Девушку не заставишь.

— Нет, нет, я смогу. Понесемте, прошу вас.

— Еще чего! Авось руки не отвалятся.— Василий нагнулся было к носилкам, чтобы снова ухватиться за концы жердей.

— Не дури, Дергачев. Человек дело советует,— остановил его Княжев.— Ты, знаем, готов надорваться теперь. Ну-ко, девонька, возьмись за один конец у ног... За правый, за правый — там способнее держать. Я — в голову, вместе с Василием. Сергей Евдокимович, чего ждешь? Ну-ко, разом!.. Подняли... Осторожно, осторожно... Ничего, малый, терпи, как-нибудь доставим к месту. Пошли в ногу...

Но четверым в ногу по скользкой дороге нести было труднее. На первых же шагах носилки качнуло, больной охнул.

— Осторожнее! Не напирайте сзади!

Двадцать первый километровый столб начинал приближаться, на нем можно было рассмотреть уже цифру.

Неожиданно у носилок появился прихрамывающий лейтенант. Секунду он молча шагал рядом с женой. Та, старательно схватившись руками за конец жерди, с трудом вытаскивала из грязи резиновые ботики, склонив низко голову, не замечала мужа.

— Наташа, дай мне...

Наташа не отвечала.

— Слышишь? Дай, я понесу. Тебе же тяжело. Ну...

— Не мешай.

— Я погорячился... Ну, дай возьму.

Лейтенант ухватился за конец жерди. Носилки дрогнули, больной застонал.

— Отойди! И здесь мешаешь.

— Наташа...

— Эй, кто там толкает? Отступись! — не оборачиваясь, крикнул Княжев.

— Товарищи, товарищи! — заспешил вперед лейтенант.— Остановимся на минутку. Я понесу.

— Иди, иди,— сердито огрызнулся Василий.— Крутишься тут под ногами.

— С тобой не разговариваю!

— Не разговариваешь, так и не лезь.

Четверо несущих сосредоточенно, угрюмо месили грязь ногами. Лейтенант, всклокоченный, в своем косо сидящем кителе, с расстроенным лицом, попадая в лужи, прихрамывал сбоку, не спуская взгляда с жены.

— Наташа... Я же виноват. Я, честное слово, хотел... Наташенька, мне же стыдно. Ну, прости. Слышишь, прости...

Наташа не отвечала, ей было не до того: мятая косыночка висела на одном плече, глаза напряженно округлились, уставились в сведенные на конце жерди руки. Впереди мерно покачивались поднятые к небу колени раненого.

— Наташенька, ну, дай же понесу. Я виноват, кругом виноват.

— Чего меня-то просишь? Ты у них... Перед всеми виноват.

— Виноват. Да, да, виноват,— обрадованно затоптался лейтенант около жены.

Та не отвечала. Тогда лейтенант бросился к голове носилок, забежав вперед, заглядывая то в лицо Княжеву, то в лицо Василию, заговорил:

— Ребята, извините... Ну, черт-те что вышло... Остановитесь, ребята. Ну, прошу... На минутку только. Дайте мне понести.

— Ладно уж,— согласился Княжев и потянул носилки в сторону.

Больного положили под километровым столбом.

Наташа облегченно разогнулась, стала поправлять спадающие на лоб волосы.

— Ну, бери, что ли! — сердито приказал Василий лейтенанту.— Через каждые пять шагов остановка. Так и к утру до Утряхова не дотянем.

— Да, да, надо быстрей. Сейчас, сейчас... Тут ведь недалеко. Нас теперь четверо,— благодарно засуетился лейтенант и вдруг, снизу вверх глянув на Василия, попросил: — Слышь, друг, прости меня. Честное слово — дурак я. Дай, в голову встану. Ну, дай.

— Ладно, ладно, смени жену лучше,— уже без обиды ответил Василий.

— Нет, право. Ты устал. Я — в голову, ты — на место Наташи.

— Хватит торговаться. Становись на свое место,— резко приказал Княжев.

Лейтенант стал в пару с заготовителем.

Снова закачались носилки над размытой дорогой. Четыре пары сапог: одни — хлюпающие широкими кирзовыми голенищами — Василия, другие — яловые, добротные — Княжева, старенькие, морщинисто-мятые — заготовителя и щегольские, плотно облегающие икры ног — лейтенантовы,— с медлительным упрямством снова принялись месить грязь. Наташа шла сбоку, на ходу повязывая на голову косынку. В движениях ее рук, расслабленных, неторопливых, чувствовалась какая-то покойная усталость, душевное облегчение.

От столба, оставшегося за спиною, до села Утряхово, где есть фельдшерский пункт,— девять километров.

Кусты в стороне от дороги уже трудно было отличить от земли. Однообразно серое, низкое небо стало еще более сумеречным. Потемнела и сама дорога. Лишь тусклыми пятнами выделялись свинцовые лужи.

7

Сквозь тюлевые занавески, сквозь слезящиеся стекла, обдавая сырую тьму ночи теплом обжитых комнат, падал из окна желтый свет. В нем бесновато плясала серебристая пыль — нудная морось.

Там, в комнатах, все покойно, все привычно: люди в одних нательных рубахах, скинув сапоги, ходят по сухим крашеным половицам, садясь ужинать, говорят о перерастающих травах, о погоде, о мелких хозяйских заботах: несушка перестала нестись, плетень подмыло... Там обычная жизнь, только со стороны, в несчастье, понимаешь ее прелесть.

Четыре человека, спотыкаясь от усталости, изредка бросая вялые, бесцветные ругательства, медленно несли тяжелые носилки по селу Утряхово, мимо уютно светящихся окон. Жена лейтенанта, получив подробное объяснение, где живет фельдшерица, убежала предупредить ее.

Впереди, на холме, как бы владычествуя над скупо разбросанными огоньками сельских домишек, сияла огражденная огнями МТС.

— Вон к тому дому... Заворачивай не круто,— указал Княжев.

На крыльце, приподняв на уровень глаз керосиновую лампу, в накинутом на плечи пальто, их встретила девушка. Из-за ее плеча в открытых дверях выглядывала Наташа.

Мокрые, грязные, молчаливые, при тусклом свете керосиновой лампы темноликие и страшные, сосредоточенно сопя, четверо носильщиков поднялись на крыльцо, неосторожно задели концом жерди о дверь, и больной простился сдавленным стоном с темной, слякотной ночью.

В комнате, до боли в глазах ярко освещенной стосвечовой лампой, пахло медикаментами, в шкафчике за стеклом блестели пузырьки и никелированные коробочки. Вдоль стены — белая широкая медицинская скамья. И во всей этой сверкающей белизне грязные, мокрые, с неровно торчащими концами грубо обтесанных жердей носилки вместе с больным казались куском, вырванным из тела обезображенной дороги.

Носильщики, промокшие до нитки, залепленные грязью, с осунувшимися, угрюмыми лицами, подавленные чистотой, стояли каждый на своем месте, не шевели-

лись, боялись неосторожным движением что-либо запачкать. Фельдшерица, молоденькая девушка с некрасивым круглым лицом, густо усеянным крупными веснушками, с сочными, яркими губами, которые сейчас испуганно кривились, попросила несмело:

— Выйдите все, пожалуйста. Тут негде повернуться. Я осмотреть хочу... А девушка пусть останется, поможет мне.

Высоко поднимая ноги, словно не по полу, а по траве, с которой боязно стряхнуть росу, один за другим все четверо вышли в просторный коридор, где на скамье тускло горела керосиновая лампа.

Княжев вынул пачку папирос и выругался, скомкав, сунул в карман,— папиросы были мокрыми. Лейтенант поспешно достал свой портсигар.

— Возьмите. У меня сухие.

В его портсигаре было только две папиросы. Одну взял Княжев, другую лейтенант протянул Василию.

— Да ты сам кури. Ведь больше-то нет,— отказался тот.

— Я нисколько не хочу курить. Нисколько. Прошу.

С улицы донеслись металлические удары — один, другой, третий, четвертый... Отбивали часы. Княжев поспешно отвернул мокрый рукав плаща:

— Вот как — одиннадцать... А меня, наверно, ждут. Из района специально звонил, чтоб бригадиры остались. Думал, часам к шести-семи подъеду. Извините, ребята, пойду. Теперь без меня все уладится.

Пожимая директору МТС руку, Василий, заглядывая в глаза, растроганно говорил:

— Спасибо вам, Николай Егорович. Спасибо.

— Это за что же?..

— Да как же, помогли... Спасибо.

— Ну, ну, заладил. За такие вещи спасибо не говорят.

После ухода директора Василий почувствовал тоскливое одиночество. Ушел человек — его советчик, его опора, ни с лейтенантом, ни с заготовителем так быстро не сговоришься. Скоро и они уйдут... Тогда — совсем один. Делай что хочешь, поступай, как сам знаешь. «Участкового милиционера искать надо...»

Василий задумчиво мял в руках окурок. Лейтенант нетерпеливо поглядывал на дверь фельдшерской комнаты. Заготовитель сидел на краешке скамейки, церемонно

положив руки на колени, словно ждал приема у начальства. Наконец дверь открылась, вышла фельдшерица, на ходу снимая с себя халат.

— Надо его немедленно доставить в Густой Бор к хирургу,— сказала она убито.— Сильное внутреннее кровоизлияние. Надеюсь, печень не повреждена. До живота нельзя дотронуться, бледнеет от боли. Хирург у нас хороший, он все сделает. Только бы доставить.

От волнения и растерянности девушка заливалась краской, ее веснушки тонули на лице.

— А на чем же? — спросил после общего молчания Василий.— На чем доставить? Днем не сумели на машине проехать, а ночью и подавно не продерешься.

— На лошади тоже нельзя. Растрясет, на полпути может скончаться.

— На руках можно девять километров протащить, а не тридцать.

— Так как же быть? — заволновался лейтенант.— Умирать человеку! Мы его спасали, тащили, он умрет. Хирурга вызвать сюда! Это легче, чем везти больного. Пусть выезжает немедленно. Понимаете, девушка, надо спасти этого человека.

— Хорошо, я вызову. Но лучше бы в больницу, там все условия. У меня здесь ничего не приспособлено для сложных операций.

— Ответственности боитесь! — загорячился лейтенант.— Условия не подходящие? Раз другого выхода нет, пусть едет, пусть спасает жизнь!

— А на чем хирург выедет? — спросил Василий.— Ты не подумал?

— В районе достанут машину. Достанут!

— Слушай, друг, я шофер бывалый, ты моему слову верь: ночью ни одна машина не пройдет. Ни одна!

— До утра скончаться может,— уныло вставила фельдшерица.

— Верхом! Пусть лошадь достанет!

— Верхом? Что вы! — Девушка слабо махнула рукой.— Тридцать километров проехать верхом — надо быть кавалеристом. А Виктор Иванович и в жизни, наверное, в седле не сидел. Даже смешно об этом думать.

Замолчали. Разглядывали при свете стоящей на скамье лампы высокие, неуклюжие тени на бревенчатых стенах. Вдруг Василий хлопнул себя по лбу:

— Есть! Доставим! Будет транспорт!

— Какой?.. Где?..

— Трактор! Побегу сейчас в МТС, пока Княжев не ушел. Попрошу его дать трактор с тракторными санями. Трактору что? Он легко пройдет. А уж на санях не растрясет, как в люльке доставим. Я — в МТС!

— А я тем временем на почту сбегаю. Позвоню в больницу, хирурга вызову к телефону.

— Я тоже в МТС,— обрадовался лейтенант.— Вместе разыщем Княжева.

Заготовитель, все время сидевший в стороне на скамье, во время разговора не проронивший ни слова, сейчас пошевелился, скупо сказал:

— Не даст.

— Что не даст? — повернулся к нему Василий.

— Княжев трактор не даст.

— Это почему?

— Я его знаю. Не даст.

— Ну, брат, молчал, молчал, да сказал что рублем одарил. Как же он не даст, когда сам, вместе с нами, на горбу носилки тащил? Не тот человек Николай Егорович, чтоб в помощи отказать. Пошли, лейтенант.

— Дай бог, чтоб я ошибся.

Быстрым шагом, подпрыгивая от нетерпения, шли они вдвоем к холму, где цепочкой горели огни МТС.

Лейтенант зябко запахивал на груди китель, ежился, забегал вперед, странно поглядывал на Василия. Видно было, ему что-то хочется сказать — и не решается. Василий ждал, что вот-вот он начнет, но лейтенант так и молчал до конторы МТС, лишь на крыльце перед дверью вздохнул:

— Стыдно... Черт возьми! Стыдно.

8

Директор МТС Княжев еще не ушел домой. Из-за двери кабинета было слышно, как он своей сипловатой фистулой сердито выговаривает кому-то:

— Тоже мне добрый дядя! У нас есть договор, документ законный, обе стороны подписали, печати пришлепнули. Нет, я через него прыгать не собираюсь. Мало на меня в районе собак навешали... А-а, ребята! Что стряслось?

Княжев поднялся из-за стола. Он был в той же гимнастерке, в которой нес больного, мокрый и грязный плащ висел за спиной, на стене.

Сидевший возле стола мужчина с жесткими рыжими усами и надвинутыми на глаза тяжелыми надбровьями поднял голову, с интересом уставился на вошедших,— должно быть, уже слышал о несчастье, случившемся на двадцать первом километре, и догадывался, кто пришел.

— Николай Егорович,— заговорил Василий,— плохо дело. Надо срочно отправлять парня в густоборовскую больницу на операцию. Фельдшерка побежала звонить хирургу.

Княжев сожалеюще причмокнул, но ничего не ответил.

Неизвестно почему, но Василию в эту минуту показалось, что он сказал не так, как хотелось, вяло, не горячо, его слова почти не задели Княжева, вызвали в нем лишь легкое сочувствие. И сам Княжев показался ему не тем, который плечо в плечо тащил по грязной дороге неуклюжие носилки. Он возвышался над столом, с выпирающей под гимнастеркой пухлой грудью, на лице что-то хозяйское, властное, недоступное.

— Николай Егорович,— еще нерешительней повторил Василий,— как-то надо отправить.

— Вот беда, как же это сделать?.. Задачка... На фельдшерском пункте лошадь есть.

— Нельзя на лошади, растрясет, умрет по дороге.

— За-адачка.

Василий почувствовал неловкость не за себя, за Княжева. Тот хмурился, прятал глаза.

— Трактор дайте. Единственный выход,— решительно сказал за спиной Василия лейтенант.

— Трактор?.. М-да-а... Трактор-то, ребятки, не транспортная машина, а рабочая. Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению.

— Николай Егорович! — Василий почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.— Человек же умирает! Не мне вам это рассказывать. Нужен трактор с прицепом. Ежели вы его не дадите, ведь умрет же...

— В том-то и дело, что ни объяснять мне, ни агитировать меня не надо. Я все сделал, что от меня лично зависело.— Княжев осторожно тронул пальцами засохшую ссадину на щеке.— Если б тракторы были мои собственные...

— Выходит: пусть человек умирает! Да как вам не стыдно, товарищ директор! — Лейтенант, бледнея, подался вперед.

Княжев покосился на него и усмехнулся:

— Ты, дорогой мой, вроде не так давно тем же голосом другую песню пел.

Лейтенант вспыхнул, сжал кулаки.

— Да, пел. Да, я был подлецом, эгоистом! Назовите как хотите. Плевать на это! Но дайте трактор. Вы не имеете права не дать. Слышите! Не имеете права!

— Вот именно — не имею права,— ответил директор.— Раз такой горячий разговор, то придется вам кой-чего показать...

Княжев выдвинул ящик стола, согнувшись, порылся в нем, вытащил бумагу, протянул:

— Читайте.

Василий взял бумагу, лейтенант, шумно дыша над ухом, тоже потянулся к ней.

«Во многих колхозах в зонах Утряховской и Густоборовской МТС наблюдается невыполнение плана по подъему паров. Тракторы на пахоте простаивают. Часто они используются не по назначению. Вместо того чтобы работать на полях, возят кирпич и лес. Напоминаем, что решением исполкома райсовета от 17 июня сего года всем директорам МТС категорически запрещается использовать тракторы как транспортные машины.

Председатель Густоборовского райисполкома

А. Зундышев».

— Вот как обстоит дело, дорогие друзья. Я в МТС не удельный князь, а всего-навсего директор.— Княжев забрал бумагу.— И, как директор, я обязан подчиняться распоряжениям вышестоящих организаций.

— Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться.— Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека?

— Упрекнут, да еще как. Ты вот можешь поручиться, что этот трактор не сломается на такой чертовой дороге? Нет, не можешь. А трактор ждут, скажем, в колхозе «Передовик». Позвонят оттуда в райисполком или в райком, пожалуются — давай объяснения, оправдывайся.

— Ну и объясняйтесь, оправдывайтесь, неужели это в тягость, когда речь идет о спасении человеческой жизни? — заговорил снова лейтенант. Но Княжев пропустил его слова мимо ушей.

— Не могу рисковать. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не гладят.

Сидевший молча мужчина с рыжими усами поднял голову, взглянул на Княжева из-под тяжелых надбровий, произнес:

— Мало ли мы, Николай Егорович, срываем график по пустякам? Всегда у нас так: прогораем на ворохах, выжимаем на крохах. Что уж, выкрутимся. Зато человек будет к месту доставлен.

Мягкое, без намека на скулы лицо Княжева с коршуньим носом побагровело, сипловатая фистула стала тоньше:

— Дерьмовый ты, Никита, бригадир. У тебя интересу к МТС нисколько не больше, чем у Настасьи-уборщицы. Потому и срываем планы, потому и работаем плохо, что добры без меры, встречному-поперечному угодить рады. Мало мне в прошлый раз накостыляли за то, что колхозу «Пятилетка» два трактора выделил на подвозку камней к плотине. Нашлись добрые люди, в райком нажаловались. Хватил горя. А все оттого, что отказать не мог.

— Слушайте, товарищ директор! — Лейтенант боком, выставив плечо, потеснив в сторону Василия, надвинулся на стол.— Если вы не дадите сейчас трактор!.. Слышите: если вы не дадите, я вернусь обратно в районный центр, я пойду к секретарю райкома, пойду к тому же председателю Зундышеву, я не уеду до тех пор, пока вас не привлекут к ответственности. Отказать в помощи человеку, лежащему при смерти,— преступление! Слышите: умирающему помощь нужна!

— Гляди ты, каким сознательным стал. Прежде-то со-овсем другим был, добрый молодец, вспомни-ка! — Но Княжева, видимо, задели слова лейтенанта, он говорил, и его небольшие серые глазки на мягком, по-бабьему добром лице перебрасывались то на Василия, то на сидящего рыжеусого мужчину, надеясь найти в них хоть каплю сочувствия. Но рыжеусый угрюмо опустил голову, а Василий глядел с жадной мольбой.

— Иль я не человек, иль во мне души нет? Я же первый слово сказал — парня до места надо доставить, первый же в носилки запрягся. Попросите для больного кровь — отдам, попросите для него рубаху — сниму. Но тут не мое, тут не я распоряжаюсь. Ладно, ребята, не будем зря ругаться. Попробую согласовать, откажут — не невольте. У меня и без этого грешков достаточно по работе набралось. Еще раз подставлять голову, чтобы по ней сверху стукнули, желания нет.

Княжев сел за телефон, принялся вызывать Густой Бор:

— Барышня! Алло!.. Барышня! Соедини, милая, меня с Фомичевым. Это Княжев из Утряхова по срочному делу рвется... Как с каким Фомичевым? Не знаешь? Со вторым секретарем райкома. Первый-то в области... Как нет телефона? А в кабинет ежели брякнуть? Эх, несчастье... На работе нет, ушел домой, а дома телефон не поставлен,— сообщил Княжев, прикрывая рукой трубку.— Барышня, а барышня! Алло! Алло!.. Как бы мне, детка, Зундышева...

Василий следил, как крупная белая с плоскими ногтями рука Княжева медленно и вяло распутывала скрученный телефонный шнур. Василий почувствовал ненависть к ней. В каждом ее движении — непростительная медлительность. Рука забыла о времени. Все нервы, каждая жилка натянуты до предела: там лежит раненый, в любую минуту он может умереть, время идет, надо спешить, спешить, спешить, чтоб спасти! А рука нерешительно ощупывает пальцами непослушные изгибы шнура. Невольно хочется ударить по ней.

— Ну что за наказание! — Княжев бросил трубку, сердито проговорил: — Зундышев верхом, на ночь глядя, в колхоз поскакал.

С минуту Княжев сидел откинувшись, играл на животе сцепленными пальцами, тонкие губы собрались в сухую оборочку, глаза уперлись в лист бумаги, подписанный председателем райисполкома Зундышевым.

Василий и лейтенант, впившись глазами в лицо Княжева, ждали, что скажет. Директор пошевелился, глубоко-глубоко вздохнул, уставился мимо Василия куда-то в дверь своего кабинета, произнес:

— Не могу. Не будем больше уговаривать друг друга. Не могу!

— Николай Егорович!

— Не будем уговаривать!

Княжев встал, выставил грудь, нелюдимыми, холодными глазами уставился на Василия и лейтенанта. Те переглянулись, поняли, что разговор кончен, директор ничего не сделает.

— Пошли,— сказал Василий.

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил.

Василий обернулся у дверей:

— Чего там! Молчали бы лучше!

Лейтенант глухо добавил:

— А я свое сделаю: припеку тебя, бумажная крыса!

Хлопнула дверь...

На улице они, не сознавая, куда торопятся, что будут делать дальше, бросились опрометью бежать от МТС.

— Ничего не понимаю, ничего! Зачем он тогда нес? Зачем? — бормотал на ходу Василий.

Лейтенант схватился за голову:

— Что за люди! Что за люди живут! Бывают же такие на свете! Я бы этого гада без суда... Какой подлец! Ка-кой подлец!

— А куда мы бежим? — спросил Василий.

Оба остановились.

Дождь перестал, но воздух был переполнен влагой. Сырую тьму, накрывшую село, кое-где прокалывали желтые, тепленькие огоньки. Люди ложились спать. Для них всех кончился день, вместе с ним на время отошли заботы.

— Куда мы?..— Василий растерянно глядел на лейтенанта.

Что-то надо было делать, как-то нужно было помочь, помочь немедленно, не теряя времени. Прийти к больному и над его головой беспомощно развести руками — невозможно.

— Есть же здесь какое-нибудь начальство.

— Председатель сельсовета есть. Вот и все начальство.

— Пошли! Найдем его. Он здесь Советскую власть представляет. Так и скажем: прикажи именем Советской власти!

Чавкая по грязи, они бросились в темноту, к сельскому совету. Лейтенант бормотал на ходу:

— Именем Советской власти... Вот так-то! Именем...

И от этих слов у Василия росла уверенность — пусть-ко попробует Княжев отказать, пусть-ко отвернется, святые слова, против них не попрешь. Только бы отыскать председателя, только бы он, как районное начальство, не уехал куда-нибудь!

9

Оказалось, что председателя сельсовета не надо было искать. Он с семьей жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, и вышел при первом же стуке.

— Чего на мокроте-то толковать? Пойдемте под крышу,— пригласил он.

Два стола по разным углам, облезлый шкаф, широкий, как печь, телефон на стене в окружении старых плакатов о яровизации, крепко затоптанный за день пол и казенный запах чернил... Но Василию на минуту эта комната показалась уютной — тепло, сухо, можно бы опуститься на стул, всласть посидеть, расправив ноющие ноги. На минуту он почувствовал страшную усталость, но сразу же забыл ее.

Председатель сельсовета, долговязый, узкогрудый человек, с крупной, никнущей к полу головой, в седой небритости на впавшей щеке зацепилась белая пушинка (верно, уже успел приложиться к подушке), серьезно выслушал, вздохнул:

— Эко ведь оказия какая... Прямо беда с нашими дорогами, прямо беда... Только чего вы от меня хотите, никак не пойму?

Лейтенанта, минут пять до этого сердито и крикливо объяснявшего, передернуло:

— Трактор помогите вырвать у этого остолопа! Трактор! Не на закорках же тащить больного!

— У Николая Егоровича... Эко! Да ведь я же ему не указчик. Он району подчиняется. Станет ли меня слушать...

— Вы здесь представитель Советской власти. Пойдемте вместе с нами, скажите как официальное лицо: именем Советской власти требую спасти человека! Спасти!

— Эх, дорогие товарищи.— Председатель скорбно покачал головой.— Ну, скажу, а он мне: в районе тоже, мол,

Советская власть, и покрупнее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут, коль есть указание из райисполкома.— В нижней рубахе навыпуск, сквозь расстегнутый ворот видна костлявая, обтянутая серой кожей грудь, всклокоченная голова опущена: вся долговязая фигура председателя выражала сейчас покорную безнадежность.

— Ежели б лошадь... Я бы мигом сбегал...

— На кой черт нам лошадь! Это и сами достанем. Трактор нужен. Ты обязан помочь больному. Вот и доставай, не отвиливай.

— Вы ж взрослые люди. Не турецким языком объясняю: Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся. Только район указание ему дать может. Ежели б лошадь, это я разом... Над председателями колхозов и я начальство.

— Неужели здесь нет управы на Княжева? — В голосе лейтенанта зазвенело отчаянье.

— Вот если б Куманьков...

— Куманьков?.. Кто такой Куманьков?

— Да зональный секретарь райкома...

— Ах да, ведь и зональный секретарь есть... Сколько начальства кругом, а никого не раскачаешь! — Лейтенант оживился.— Где этот, как его... Куманьков?

— То-то и оно,— с прежним унынием произнес председатель сельсовета.— Куманьков живет в Густом Бору, там у него дом свой, семья, а сюда ездит то на недельку, то дней на пять, ночует в соседней комнате, в кабинете моем. Там диванчик, так на этом диванчике и спит... Все на клопов жалуется...

Василий, подчинившийся энергии лейтенанта молча переживал за его спиной, но сейчас он вдруг оттолкнул товарища, шагнул на председателя.

— Человека-то надо спасти или нет? — закричал он придушенным, стонущим голосом.— Вы все здесь бревна или люди? По-вашему, пусть сдыхает!

И этот стонущий голос, землистое от усталости, сведенное судорогой лицо, протянутые в темных ссадинах руки подействовали на председателя сельсовета больше, чем выкрики и угрозы лейтенанта. Без того покатые, узкие плечи опустились еще ниже, длинный, нескладный, с нечесаной головой, он как-то обмяк, на небритом лице, как в зеркале, отразилась точно такая же гримаса боли и отчаяния, какая была у Василия.

— Милые вы мои,— заговорил он проникновенно, крупной костлявой рукой пытаясь поймать пуговицу на распахнутом вороте рубахи.— Милые мои, да я бы разом в колхоз слетал... Сапоги натяну да плащ на плечи наброшу — минутное дело. Тут рядом председатель-то колхоза живет. И на лошади парня выручим. Ребят крепких подберем, где нужно — на руках понесем. Сам до Густого Бора провожу... А с Княжевым мне толковать — лишнюю муть разводить. Бог с ним. Мне через голову Николая Егоровича трактор не достать, не под силу... На лошади давайте...

У Василия ослабли ноги. Под сердцем у него что-то натягивалось, натягивалось, и теперь лопнуло. Исчезло желание просить, умолять, доказывать.

— Пошли, лейтенант. Чего уж...— сказал он невнятно, словно поворочал языком камень во рту.

Но лейтенант обеими руками вцепился в плечи председателя, маленький, напряженно вытянувшийся, глядя снизу вверх бешеными глазами, стал трясти:

— Нет, ты не за лошадью пойдешь. Ты пойдешь вместе с нами к участковому милиционеру. Пусть он силой вырвет трактор у Княжева. Слышишь ты, хоть оружием, да спасет человека!

Председатель, покорно качая головой от лейтенантовых трясков, лишь устало обронил:

— Дураки вы, ребята...

Разбрызгивая лужи, оступаясь в грязь, они снова бросились бежать по ночному селу. А вслед им с крыльца сельсовета долго маячила белая рубаха председателя. Когда Василий обернулся, что-то виноватое, тоскливое и в то же время укоряющее почудилось ему в этом смутно белеющем пятне. Лейтенант решил сам поднять на ноги участкового милиционера.

— Разве законно оставлять на смерть человека? Незаконно!.. Так будь другом, прикажи, раз ты блюститель законов. Под дулом пистолета прикажи, коли словом не прошибешь дубовую башку...— разговаривал он на бегу.— Который же это дом?.. Третий пробежали, четвертый... Вот этот, кажется... Стучи, не жалей кулаков... Ишь ведь, все спать поукладывались!

На стук четырех кулаков долго не было ответа. Наконец за дверью с грохотом что-то упало, послышалась сердитая ругань, вслед за ней сильный голос спросил:

— Кто шумит? Чего надо?

— Участковый здесь живет?.. Человек при смерти, спасайте!..

— Так.

Это «так» было похоже на смачный удар топора в мясистое дерево, в нем чувствовалось не удивление и не огорчение, а решительная готовность спасать, действовать. Щелкнула задвижка, распахнулась дверь, кто-то большой, неуклюжий шагнул в темноту, снова что-то уронил на пути, объявил:

— Обмундируюсь вмиг. Законный порядочек на себя наведу... А вы зайдите, что ли...

Пока, натыкаясь в темноте на кадушки, на грабли, влезая руками в развешанные по стене сети, лейтенант и Василий пробрались через сенцы, шагнули в освещенную комнату, участковый был уже облачен в свой милицейский китель и фуражку, нагнувшись, с налитой кровью могучей шеей, искал под лавкой сапоги.

— Куда их девала глупая баба?.. Дуся! Эй! Ты сапоги куда поставила?

— Да в сенцах сохнут. Вымыла. Изгваздал так, что в руки не возьмешь,— раздался из-за перегородки сонный женский голос.

— Встань-ко да принеси. А то у тебя в сенцах сам сатана вывеску своротит... Я вас слушаю, товарищи: что, где, какое происшествие — по порядочку.

В распахнутом кителе, в фуражке, лихо съехавшей на одно ухо, крепко поставив на половике босые ноги с болтающимися завязками галифе, сам рослый, красный, на зависть здоровый, участковый начальнически оглядел простоволосого, растерзанного лейтенанта, на Василия же не обратил внимания.

— Вот у него сорвалась под откос машина...— вновь принялся горячо объяснять лейтенант.

Сонная, недовольная, жидкие сухие волосы рассыпаны по плечам, не взглянув на незваных гостей, прошла через комнату жена участкового.

— ...Закон не может допустить, чтоб человек умер без врачебной помощи. Вы должны потребовать от Княжева трактор. Приказать ему...

— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта.— Объясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано. Ежели бы капитан Пичугин, начальник

густоборовского отделения милиции, нарисовал распоряжение: так и так, товарищу Копылову, мне то есть, вменяется в обязанность конфисковать на энное количество времени трактор, я бы...

— Пошли, лейтенант,— сердито произнес Василий.

— Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными. Так!

— Пошли,— согласился лейтенант.

— Нет, обождите! Тут надо еще разобраться, раскрыть виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойненько, пункт за пунктом, нарисовать протокол...

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии... Протокол важен, а не человек... Пошли!

Растерзанный ли вид лейтенанта, его ли глухое бешенство или же просто отсутствие сапог на ногах участкового милиционера, но так или иначе тот не остановил ни лейтенанта, ни Василия, не стал их преследовать.

По-прежнему сырая ночь висела над селом. Как прежде, кое-где прокалывали тьму тепленькие огоньки, только заметно стало их меньше. Как прежде, на бугре светились фонари МТС. Василий и лейтенант топтались посреди грязной улицы: куда идти, кому пожаловаться — не придумаешь.

Вдруг словно какая-то громадная ладошка бесшумно накрыла село. Без того густая темнота стала вязкой до удушья. И фонари в МТС, и редкие желтенькие огоньки в окнах домов — все, все до единого разом потухли. За тридцать километров отсюда районная ГЭС в Густом Бору кончила свою работу до следующего вечера. Это значит, во всем селе, кроме фельдшерского пункта да, верно, еще телефонисток на почте, нет ни одного человека, который бы не лег спать. Кто-то мирно похрапывает, кто-то пускает в подушку сладкую слюну, кто-то, быть может, ворочается, перебирает озабоченно в уме: не скошен лужок за домом, свалилась изгородь...

Как можно?! Такой же, как все лежащие сейчас в теплых постелях, человек, быть может, не увидит завтрашнего дня! Нельзя допустить этого! Нельзя не помочь!.. А все спят...

Высоко над грязной улицей пробежал ветерок, шевельнул оторванным железным листом на крыше, смолк... Тишина и темень без просвета, без единой светленькой точки. Мертво кругом...

Василий и лейтенант, не сказав ни слова друг другу, сорвались с места и побежали.

Больной ждал, больной с минуты на минуту мог умереть. Надо спасти! Надо что-то сделать! И скорей, только скорей!

10

Фельдшерица сообщила, что хирург выехал навстречу в райисполкомовском «газике», но не ручается, что доберется до места, наказал — любыми средствами вывозить раненого навстречу.

Раненый лежал на скамье боком, поджав ноги, часто мигая, глядел в угол. Лицо его сильно осунулось, крупные скулы выдались вперед, обметанные губы были плотно сжаты. Он не стонал. Рядом с ним сидели жена лейтенанта и заготовитель, что-то утешающе рассказывавший:

— ...Шибко кричал, метался, память терял. А теперь Игнат Ануфриевич как новенький полтинничек, десятником на сплаве работает. Такие бревна ворочает — глядеть страшно.

Сообщение, что директор Княжев не дал трактора, не возмутило заготовителя. Он лишь повторил с безнадежной покорностью:

— Я его знаю. Уж он такой... Аккуратный мужик...

В сенях, собравшись возле покойно горящей на скамье лампы, снова стали вполголоса советоваться.

— Лучше бы уж ехал хирург на подводе, хоть медленно, но верно,— произнес Василий.— А так — застрянет. В райисполкоме шофером Пашка Кривцов, десять лет в городе по асфальту гонял, привык, чтоб дорожка для него была как скатерка. Не зря же Зундышев на верховой лошади по колхозам скачет.

— Что об этом говорить,— вздохнула фельдшерица.— Уж выехали, не позвонишь теперь, не посоветуешь... Может, еще раз попробовать уговорить Княжева.

— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокурору! — вскипел лейтенант.

— Мертвое дело. Не прошибешь. Давайте думать, как самим вывезти.

— Что думать? — Фельдшерица безнадежно уставилась на язычок лампы.— На машине нельзя... Да и за машиной-то к тому же Княжеву иди кланяйся. Один выход: попробуем на лошади. Боюсь я этого — растрясет. Мука мученическая для человека.

Решили везти больного на подводе.

Сонный, суровым баском покашливающий дядя Данила (как его называла фельдшерица), без шапки, в пальто, из-под которого выглядывали белые подштанники, тонущие в голенищах резиновых сапог, вывел брюхастую лошаденку, запряг в телегу. Набросали сена, укрыли сено холстинным половичком. Фельдшерица принесла из своей комнаты две подушки. С помощью дяди Данилы вынесли на брезенте парня. Когда укладывали, больной стонал, скрежетал зубами.

— Потерпи, дорогой, будь умницей. Потерпи,— уговаривала его фельдшерица, укрывая одеялом.— Вот видишь, славно тебя пристроили. Тепло будет.

— Одеться мне, Константиновна? Помочь везти-то? — спросил дядя Данила.

— Не надо. Иди спать. Со мной вон шофер поедет. Да и лейтенант с женой собираются проводить,— ответила девушка.

Заготовитель, вновь облаченный в свой обширный, стоящий коробом плащ, прощался.

— Ты, парень, не бойся. В случае чего, судить будут, мы за тебя слово скажем,— утешал он Василия.— А вы, гражданин военный, как свои вещички отыщете, возвращайтесь сюда и стучитесь, по этому порядку пятый дом. Там у меня сноха живет. Переночуете. Ну, счастливо вам довезти человека. Счастливо...

Василий взял в руки вожжи. Жена лейтенанта и фельдшерица с минуту поспорили, кому ехать в ногах у больного, уступали друг другу это право. Тронулись.... При первом же толчке парень застонал...

Кое-как дотянули только до маленькой деревеньки Башьяновки, лежащей на дороге в четырех километрах от села. Василий обессилел от криков раненого. Парень умолял хриплым голосом:

— Остановитесь! Все одно мне помирать!.. Остановитесь!.. Прошу!.. Умру, так в покое! Ой, мочи нет! Ой, стойте же!

В Башьяновке привернули к первому же дому. Василий утер рукавом лицо:

— Сил нет больше слушать.

Женщины, всю дорогу утешавшие, теперь подавленно молчали. Лейтенант подошел к жене:

— Наташа, жди меня здесь. Я пойду.

— Куда?

— Обратно в село. Я этого подлеца вытащу! Я вырву у него трактор. Если не даст, в каждый дом стучать буду. Весь народ на ноги подниму. Бунт устрою! Вырву трактор!

Он бросился в темноту.

— Я с ним пойду,— рванулся Василий.

— Нет-нет, случись что — мы одни,— остановила фельдшерица.— Он добьется...— Помолчав, спросила жену лейтенанта: — Давно вы замужем?

— Третьего дня расписались.

— Счастливая...

Жена лейтенанта промолчала. Василий не увидел, но почувствовал, как она боязливо покосилась на него — не возразит ли. А Василию почему-то припомнилась Груня Быстряк, библиотекарша в селе Заустьянском: крупное белое лицо, брови чуть-чуть намечены, если глядеть сбоку, золотятся, только коротенькие ресницы темные. Другие ребята говорят: ничего особенного, а ему нравится. Умная... И то, у реки жить да не знать, как плавать,— среди книг сидит. От этого воспоминания тоска сжала сердце: арестуют, судить будут. И так-то он ей не пара: шофер, семилетку не кончил, одна наука — крути баранку. Теперь и вовсе отвернется — какой девке охота ждать осужденного. Мечтал тайком о жене, о своем доме, надеялся, жил, как умел,— и вот сегодня все к черту, жизнь колесом, перекалечило ее. Не смей мечтать, не смей надеяться. Тяжело и жутко заглядывать в завтрашний день.

Девушка-фельдшерица, привалившись грудью к грядке телеги, говорила задумчиво:

— Да, счастливая... Все девчата знакомые скрывают, что им замуж охота. А зачем скрывать? Найти хорошего человека и прожить с ним спокойно, без ссор, умно — это разве не счастье? А кто от счастья отказывается?

— Вы не замужем? — спросила жена лейтенанта.

— Нет.

— Значит, найдете человека.

— Где мне! Я некрасивая, я конопатая и скучная, наверное. Присватывается ко мне тракторист Пашка Мигушин, так это находка небольшая: слова без чего-нибудь пакостного не скажет, да и выпивает частенько. Как заявится, гоню от себя... Ой, да вы устали, еле на ногах стоите! Пойдемте в избу, я провожу. Идемте, идемте, что зря торчать в этой сырости.

Женщины ушли. Василий остался один.

Только сейчас он заметил, что погода разгуливается: упрямо дует ровный, напористый ветерок — от него холодно во влажной одежде; тучи на небе прорвались, сквозь прорывы видны крупные, водянисто расплывшиеся звезды. На окраине деревеньки — глухая тишина, ни скрипа, ни шороха, только, когда с напряжением вслушиваешься, со всех сторон доносятся непонятные звуки — тяжелые ли капли падают с крыш, лопаются ли пузыри на лужах, расползается ли земля от обилия воды?.. Василий, закинув голову, смотрел на звезды, слушал эти звуки всеобъемлющей сырости и думал о чем-то большом, неясном, о таком, которое никак бы не смог рассказать словами.

Много пассажиров перевез Василий на своей машине от Густого Бора до станции и обратно. Для чего он их возил? Чтоб вышибить деньгу. Считал — так и должно быть. Сейчас хотелось сделать что-то большое, чем-то хорошим удивить людей. Что сделать? Как удивить? Он не знал. Было лишь желание непонятное, незнакомое, тревожащее.

— Друг...— слабо позвал раненый, и Василий вздрогнул.— Должно каюк мне.

— Ты брось дурить. Вот сейчас трактор придет. Лейтенант побежал доставать. Парень пробивной — достанет.

— Нутро разрывает...

— А ты лежи, не шевелись... Думай о чем-нибудь. Старайся забыть о болезни, думай, легче переносить-то... Эх, как это ты не сумел? Старухи выскочили, а ты сплоховал.

— Там борт был проволокой прикручен... Голенищем зацепил... Замешкался...

— За проволоку? Эх!

Разговаривал с Княжевым, помогал запрягать лошадь, вез по разбитой дороге кричащего раненого — все это время ни на минуту не покидало Василия лихорадочное бес-

покойство: скорей, только скорей! Оставшись один, глядя на размытые звезды, на расплывшиеся в ночной тьме деревья, он забылся, успокоился... Сейчас же, наклонившись над парнем, всматриваясь в темное лицо на белой подушке, улавливая сухой, болезненный блеск его глаз, Василий почувствовал, как с новой силой заметалась в тревоге изболевшаяся душа: «Ждем! Стоим! Время идет!.. Где же трактор? Эх, этот Княжев! Будь он проклят!»

Лошадь, дремавшая в оглоблях, потянулась вперед, лениво захрупала сеном. Тихо кругом, спят люди. Нет другого выхода, как только ждать, ждать, ждать! А ждать тяжело! Ждать невыносимо!

Где-то по знакомой Василию дороге едет теперь человек, он могущественный, он сильный, он один, только он может помочь этому парню. Вместе с болью за свою беспомощность появилась благоговейная зависть к тому неизвестному, наделенному дерзким умением человеку. Он может отогнать смерть! Вот бы стать таким, жизни бы своей не жалел, покоя не знал, ходил бы от больного к больному, приносил здоровье. Недоступное, великое счастье! Из дому вышла фельдшерица, приблизилась к телеге, спросила пригибаясь:

— Как наш больной?

— Мучается.

— Трактора что-то долго нет.

Василий застыл на секунду, с напряжением вслушался — а вдруг да как раз в эту минуту донесется стук мотора. Но лишь лошадь шелестела сеном да воздух был заполнен таинственными звуками залитой дождями земли. Василий ответил:

— Будет трактор.

— Конечно, будет.

От девушки, побывшей в избе, шел какой-то теплый, чуть кисловатый домашний запах. Платок ее сбился на затылок, открыл густые волосы, черты лица расплылись в темноте. Она, невысокая, чем-то уютная, успокаивающая, и своим видом и ровным голосом стала близка Василию: желания у них одни, боль одинаковая, понимают друг друга с полуслова, даже удивительно, что всего каких-нибудь четыре часа назад они не были знакомы.

— Вы много спасли больных?

Девушка подумала и ответила:

— Да ни одного.

— Как это? — тайком обиделся Василий.

— Ко мне все с пустяками приходят: гриппом заболеют или же бабка Казачиха с ревматизмом своим заглянет. Выпишешь рецепт на порошки, на бутылку скипидара,— какая уж тут спасительница.

— Ну, а хирург?..

— Виктор-то Иванович? Он многих спас. Знаете такого Леснякова Федора Ефимовича? На ссыпном пункте работает. Умирал от язвы желудка... Что это?..— Девушка замолчала, прислушалась.

Но все было по-прежнему, лишь от слабого ветерка тронулись шелестом деревья и стихли.

Тянулось время. На небе стали отчетливо заметны рваные облака, на грязной дороге можно было различить рваные вмятины, комковатые выступы, а на стенах избы — каждое бревно: светлело...

Василий первый уловил еле слышный стук мотора.

Подошел трактор, и сразу стало шумно на окраине маленькой спящей деревеньки. Сильный свет фар уходил в глубину пустынной улицы, стучал бодро и решительно мотор. С тяжелых и широких, как железнодорожная платформа, саней соскочили два человека — лейтенант и какой-то незнакомый, узкоплечий, гибкий, чернявый, в коротеньком городском плаще.

— Наделали шуму! Я, брат, разузнал, где секретарь парторганизации живет. Я всех эмтээсовских коммунистов поднял. То-то Княжев будет чесаться! Раньше бы нам побегать.— Лейтенант говорил возбужденно, не без хвастовства. Он потащил Василия к чернявому.— Спасибо ему скажи. Иван Афанасьевич мне помог...

Но Иван Афанасьевич подошел к телеге, заглянул к больному:

— Жив?.. Э-э, да что это он? Бормочет что-то...

Фельдшерица подошла, пригнулась, сообщила:

— Бредить начал. Надо ехать скорей.

С трактора слез знакомый уже Василию рыжеусый бригадир, закуривая, обронил:

— Хорошо, что жив еще. А то пока с Княжевым кашу сваришь...

— Где Наташа? — спросил лейтенант, оглядываясь.

— В избе она. Спит. Устала.

— Вы поезжайте. Я подожду здесь, пока она не проснется. Лошадь-то оставьте, мы чемоданы свои привезем в

село. Старушку эту с корзиной встретил, в деревню, говорит, чемоданы снесли. Как ее, Ольховка, что ли?..

Василий хотел проститься с лейтенантом, поблагодарить его, но тот поспешил к избе. Так и исчез этот человек, даже не бросив обычное «до свидания».

Выгребли из-под больного сено, разостлали на платформе саней. Больной не очнулся, бормотал в бреду:

— Ребята, заходи с мережей... Под берег, под берег заводи...

Василий и девушка уселись в ногах у больного. Чернявый Иван Афанасьевич сделал последние наставления рыжеусому:

— Никита, как довезешь, не задерживайся там. Сразу обратно. Слышь? И осторожно, смотри, не бревна везешь. Трогай... Ну, ребята, счастливого вам пути!

Трактор осторожно сдвинул сани. Они, громоздкие, тяжелые, мягко заскользили бревенчатыми полозьями по податливой, как масло, дорожной грязи.

11

Чем больше светлело, тем становилось понятней, что на землю навалился густой туман. Сначала этот туман казался серым, каким-то немытым.

Трактор уперся радиатором в глухую мутную стену, казалось, стоял, не подвигаясь вперед, и только гусеницы его сосредоточенно пережевывали грязную дорогу.

Скоро мертвенная мгла стала оживать. Медленно, робко сбоку от дороги начал просачиваться пятнами тусклый лиловый свет. Он ширился, расплывался, смывал бесцветную муть. И вот торжественный, сияющий океан окружил трясущийся от напряжения трактор, и неуклюжие сани. Где-то, невидимое, взошло солнце, жидким светом растворилось в тумане.

Земля, в течение многих дней прозябавшая в дождях и слякоти, с облегчением освобождалась от влаги. С восходом солнца туман, казалось, стал еще плотней.

Трактор трудился. Сани скользили, лишь кое-где мягко оседая то на один, то на другой бок. Дорога, вчера хитрый, опасный враг, дорога, изматывающая силы, теперь покорилась. Ни капризных колдобин, ни коварных ловушек. Гусеницы трактора с равнодушной методичностью заведен-

пой машины кромсали эту смирившуюся дорогу, направляли ее под тяжелые бревенчатые полозья, те утюжили, приглаживали...

А Василий казнился. Он не мог глядеть на облепленные крутой грязью гусеницы, ему казалось, что трактор еле-еле ползет, что рыжеусый бригадир, сидящий за рычагами, преступно осторожничает. Пытка сидеть над больным и видеть ленивое движение гусениц! Василий не выдержал, соскочил с саней, догнал трактор, крикнул:

— Ты, дорогой, поднажал бы! А то ползем, как вошь по бороде.

— Раньше надо было спешить. Не докричал на Княжева, так теперь молчи,— сердито огрызнулся бригадир.— Это тебе не «скорая помощь».

Трактор не пошел быстрее, гусеницы с прежней медлительностью пережевывали грязь. Василий старался не глядеть на них.

Раненый с минуты на минуту чувствовал себя все хуже. Он метался, дико вскрикивал, и эти вскрики, едва отлетев от саней, как в вате, глохли в тумане. Фельдшерица попросила на минутку остановить трактор, суетливо порывшись в чемоданчике, достала несколько флакончиков и шприц, с помощью робеющего от своей неуклюжести Василия сделала укол.

Больной на время успокоился. Он лежал на боку, подтянув к животу колени, закрыв глаза. На скулах двумя круглыми пятнами пунцовел румянец.

Василий и фельдшерица сидели рядышком, не говорили ни о чем, лишь изредка обменивались взглядами, вместе устало вздыхали. Теперь, с рассветом, девушка казалась Василию новой, не такой знакомой. Темные, с рыжим отливом волосы упрямой волной выбились из-под платка, расплывчатые, бесхитростные черты лица и широкий, мягкий нос нельзя представить без густых веснушек. Некоторые из веснушек, казалось, даже попали на губы, по-детски вытянутые вперед, яркие. В платке, в мужском плаще с подвернутыми вверх клетчатой подкладкой рукавами, она, нахохленная, задумчивая, бледная от усталости, покачивалась на мягких толчках. Василий же испытывал к ней благодарность за то, что она беспокоится о больном, за то, что она больше него понимает в болезни, просто за то, что сидит рядом.

Раненый пошевелился, застонал, откинув в сторону руку. Она упала на разостланный на грязных досках половичок — широкая, костистая, в узловатых суставах, похудевшая, какая-то старческая. На лбу под всклокоченным сухим соломенным чубом снова обильно выступил пот.

— Плохо наше дело,— произнесла девушка.— Даже укол не помог... Не довезем.

Василий глядел на больного и думал о том, что этот совсем незнакомый парень дорог ему сейчас, как брат, даже больше брата. Он самый близкий человек. Какая бы удача ни случилась — пусть простили бы разбитую машину, не передали бы в суд, оставили на прежней работе,— все равно не будет радости, если умрет этот парень. Не должен он умереть! Не должен! Если б Княжев сразу дал трактор, давно были бы в Густом Бору, парень лежал бы на операционном столе... Будь проклят этот Княжев, взваливший на него, Василия, нескончаемую, страшную пытку!

Раненый вдруг резко вытянулся, оскалился, с силой втиснув в подушки голову, изогнулся, вцепился руками в живот.

— Милый! Милый! Да что с тобой?.. Ляг спокойно, ляг...— засуетилась испуганно девушка.

Василий с отчаянной беспомощностью зашевелился.

— О-о-о! — выдохнул больной и обмяк.

Лицо его, посиневшее во время порыва, стало медленно заливаться зеленоватой бледностью. Сведенные на животе руки ослабли, стали сползать, пока не уперлись локтями в подстилку. Голова свалилась набок, из-под белесых ресниц водянистым голубым прищуром уставились мимо Василия глаза.

Фельдшерица, сама мертвенно-бледная, нервно заворачивая сползавший рукав плаща, схватила вялую, податливую руку парня, стала нащупывать пульс. В эти минуты ее веснушчатое лицо, направленное куда-то в затянутое туманом пространство, было решительным, строгим, почти красивым. Василий затаил дыхание, ждал...

Трактор, однообразно стуча мотором, вертел густо облепленными грязью гусеницами. Железный трос от трактора к саням мелко дрожал от напряжения. Мимо призрачными тенями ползли закрытые туманом кусты и деревья.

Девушка бережно опустила руку больного.

— Как? — тихо спросил Василий.

— Плохо дело. Не довезем.

Больше больной не стонал. Ему уложили голову на подушку, подоткнули с боков сено. Неподвижный, с выставленным вверх квадратным подбородком, он глядел в обложивший землю туман загадочно прищуренными глазами. Он пока дышал...

В туманном море, залившем землю, исчезло всякое понятие о расстоянии и о времени. Даже километровые столбы проходили мимо, где-то стороной, не останавливая внимания.

Василий потом не мог вспомнить — долго ли они так ехали. Его внимание привлекла рука парня, вцепившаяся в половичок. В скрюченных пальцах, сжавших толстый, потертый хвост, было что-то каменное, суставы на пальцах побелели, на коже с тыльной стороны ощущалась неживая восковая желтизна.

Василий тронул фельдшерицу за плечо, указал глазами на руку. Она подсела к раненому, положила на грудь голову, на минутку застыла, словно задремала на груди парня, разогнулась, оттянула ему веки, тихо, тихо сообщила:

— Все.

Остановили трактор. К саням подошел рыжеусый бригадир, мельком покосился на умершего, осторожно поправил ему откинувшийся борт пиджака, произнес:

— Так... Не довезли...

Василий стоял у саней, тупо разглядывал парня. У того под сухим чубом, на окостеневшем лбу еще видны были капельки пота, как роса на камне. Фельдшерица сидела на своем обычном месте, беспомощно сложив на коленях руки, вскидывая и сразу же опуская жалостливые, горестные глаза.

— Что теперь делать? Везти-то к хирургу вроде уж незачем? — спросил бригадир.

— На вскрытие надо... Поехали..— слабо произнесла девушка.

Бригадир послушно направился к трактору.

Туман медленно рассеивался. Из него выползли кусты, уселись на обочине дороги. Солнце висело красноватым кругом. На лице и руках чувствовалось тепло его лучей. Неожиданно трактор снова остановился. Впереди показалась высокая фигура, осторожно ступая по скользкой грязи, стала приближаться.

— Виктор Иванович! — слабо воскликнула фельдшерица.— Пешком идет...

В шляпе, сбитой на затылок, с маленьким чемоданчиком, в засученных брюках,— на палке, переброшенной через плечо, болтаются туфли,— оскальзываясь босыми ногами, подошел хирург, снял шляпу, вытер платком лоб, лысеющую голову.

— Опоздал? — спросил он, кидая взгляд на тело, лежащее посреди саней.— Долго же вы... У меня машина застряла сразу же за городом. Пешком-то быстро не прискачешь. Дайте-ка руку, молодой человек. Так!..

С помощью Василия хирург влез на сани. В шляпе, узколицый, с костистыми скулами, умной, ехидной складкой тонкого рта, этот высокий, нескладный интеллигентный человек выглядел сейчас странно со своими босыми ногами, до белых немощных икр заляпанными грязью.

Сдвинув на затылок шляпу, он приподнял на животе умершего рубашку, внимательно оглядел, ощупал рукой. А парень, задрав вверх упрямый подбородок, казалось, сосредоточенно прислушивается к тому, что делает с ним доктор.

— Камфару впрыскивали? Сколько? — бросал отрывистые вопросы девушке.

Наконец он сел, махнул рукой трактористу: поезжай.

Трактор снова начал свою несложную работу — бесконечной грязной лентой потекли вверх гусеницы, задрожал трос...

— Доктор,—хрипло обратился Василий,— если бы раньше привезти, вы бы спасли его?

— Возможно,— ответил тот.— Вполне возможно. Что-то медленно вы, друзья, собирались. Преступно медленно! Надо было не забывать, что на вашей совести лежала человеческая жизнь. Э-э, да что с вами, молодой человек? Это еще что за фокусы?..

Судорога прошла по лицу Василия. И угрызения совести, и жалость, и бессонная ночь, нервное напряжение, и усталость — все вместе лишило сил. По обветренным щекам потекли слезы, редкие, крупные, мучительные — слезы человека, не привыкшего плакать.

— Боже мой, да что это вы? Успокойтесь... Вам прилечь надо.— Девушка забрала грубую руку Василия в свои мягкие, теплые ладони, сама глядела блестящими от сдерживаемых слез глазами.— Он измучился, Виктор Ивано-

вич. Все бегал, хлопотал. Тут на такое наткнулись...— И она, переводя взгляд то на Василия, то на хирурга, принялась торопливо, нескладно рассказывать о том, как Княжев отказал дать трактор. Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчав, и повторил: — До убийцы выросший бюрократ! — Повернувшись к Василию, указывая глазами на мертвого, спросил: — Ваш знакомый?

— Нет.

Василий вытер рукавом куртки глаза и отвернулся, подавив тяжелый вздох.

Туман исчезал. Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом, радостно топорщились зеленой листвой. В них пересвистывались птицы. Ласточки, должно быть, брачная пара, словно родившись из мутновато-голубого неба, появились над головами, сверкнули белыми грудками и умчались, растаяли, оставив о себе лишь воспоминание — два крошечных, упругих комочка, воплощение силы, ловкости, бодрости...

Трактор добросовестно тянул широкие сани по густо замешанной грязи, по лужам.

1956

Чудотворная

1

Каждый год, в то время когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи.

В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на выползней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клев или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.

Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтобы сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.

Родька поднялся на затекшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного

песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошел, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хоронили что-то в землю... Река открыла...— Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.

Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив ее к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжел, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки,— такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина.

«Ишь прятали. Мешковина и та просмолена... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подергивало косточки в коленках.

Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжелую доску.

Большая, темная, словно закопченная доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением ее разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован.

Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но темные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами черные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька все лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами

от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашел икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня непутевого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтесывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расползется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!

Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца,— собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костерчик. Сопревшие под снегом, не совсем еще высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.

К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким

подбородком; даже намека нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бедрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупкие плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, коротконалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставив ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперед, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выклюется из такого Грач под стать старой Грачихе.

— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды.— Варька, иди картошки свинье натолки. Пущай гулявый будылье таскает.

— А я икону нашел,— похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не дает из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, вгляделась, сурово спросила:

— Где нашел?

— Говорят, в берегу выкопал. В ящике заколочена была.

— Иди-ко сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дубленых морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями,

несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.

— Свят, свят... Исусе Христе праведный... Варенька, голубушка, взгляни-ко, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, пропащая,— подтвердила серьезно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.

Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.

Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила, начнет потом зудеть, что, да как, да где нашел, скажешь не по ней — по затылку схватишь.

— Мамка,— проговорил он,— я к Ваське пойду уроки делать.

Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.

3

Вечером дома ждали Родьку.

Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:

— Ноженьки мои, ноженьки!..

У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.

Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами.— Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, продернув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение,— протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша,— раскисла в улыбке Агния Ручкина.— Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать.— Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадет... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу,— сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.

Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.

— Ну чего?

— Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на нее наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.

— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:

— Ноженьки мои, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, завороженно уставилась на неподвижный огонек лампадки.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.

Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:

— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...

Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»

И так уже много лет.

Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:

— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...

Самой большой тревогой в ту пору было — придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобока; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвет его. «Распрямись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...

Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»

Проводила, тут-то и стала задумываться: вернется ли, на фронт ведь уехал, ребенок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придется куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным по́том при мысли, что все быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела все, не переставая твердила:

— Хватит казниться. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!

Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шепотом: «Помоги, господи!»

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»

Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздраженно ворчал:

— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастешь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех,— без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеды. Какой там страх перед завтрашним днем, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твердой надежды, что вернется. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха. А та сама на себя не надеется, все у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господа, ни у кого помощи не найдешь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помоги, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная иль некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с перебоями.

Случилась самая большая беда, большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растет, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани, господь!

Учительница Парасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутевого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу черная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонек лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле. Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание мое... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охо-хонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съежившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было,— деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может, и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Машкино болото, увидел там среди пней и кочек икону Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с печи. Когда он пришел вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.

Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много верст по деревням и селам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.

К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с женами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толченую кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею, поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошинованными колесами, тянулись просить милости у чудотворной.

Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, что восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленье чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхивая медяками, гундося елейно: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошеливались...

На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясину. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром наносили песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх саженной толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полета подняли многопудовые колокола, а еще выше, над голубыми луковицами, истекая огнем, едва не цепляясь на облака, засияли на солнце золоченые кресты.

И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник темной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.

Новую церковь назвали Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.

Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворил молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.

Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осыпавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.

За решетчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели березки, рябинки, липы, галки свили гнезда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорожденных, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казенной святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава ее поутихла, чудотворность уснула, и все-таки на нее продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к ее лику, зажечь копеечную свечу.

В двадцать девятом году, в то время когда вокруг Гумнищ создавались колхозы, последний из попов церкви Николы на Мостах был уличен в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь как пережиток старого решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули веревками тяжелый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумнищинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Все церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил ее из пустой церкви.

Но долго еще вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви

кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»

С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.

6

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разглаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь еще натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ко, дитятко...— позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристем-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Еще чего выдумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съежился, отступил назад:

— Не одену.

— Экой ты...— Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно.

— Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все? Ты ему душу обереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительша вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька, подумай: милость эта не остережение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышленого?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда подругому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.

И мать сдалась.

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не одену.

— Вот бог-то увидит твое упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы ее в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка.— Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знамением осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ко скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впилась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестевшими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, навертывал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имеете.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь умничек...

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все повыцарапаю. Небось не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры.— Крестись, пащенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабка с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, миленок, нет, встань-ко сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое

ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька,— заявила бабка.— Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Сказали тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать.— Просят же, прося-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неумело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили!

— Когда лоб крестят, в пол не глядят,— сурово поправила бабка.— Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойся, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

7

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы, беспомощные зеленые стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые голавлики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают.

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаха, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней ее.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, ловя под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню.

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженой голове; его подвижное лицо по сравнению с яркожелтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

8

О кресте Родька скоро забыл. На переменках устраивал «кучу малу», лазал на березу «щупать» галочьи яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю неспокойными стайками разлетелись ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Степу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Степа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжелым, словно непропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынок, ты того...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Федора

объезжать жеребца Шарапа, замолчал, навострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберег...

Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулек.

— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сласть... Доброму человеку разве жалко. На трешницу купил.

Заскорузлая рука протянула кулек. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулек, икона, которую он нашел под берегом, крест на шее, баб-кино домогание крестить лоб — все, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирушка какой? Сам ешь.

— Да ты не серчай, я тебе от души... Экой ты, право...— На темном, с дымной бородкой и спеченными губами лице Степы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно,— обрадованно поддержал дед Степан.— Иди-ко ты, молодец, своей дорогой, не встревай в чужие дела. Иди с богом.— Он снова повернулся к Родьке.— Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно,— презрительно фыркнул Васька.— На ваши конфеты небось не позарюсь.

Он пошел вперед, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженый затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чем это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулек.— Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжелого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живет. Все бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, все непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Степа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска поедом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приголубил...

— Я-то тут при чем, дед Степан?

— У тебя, милок, душа что стеклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.

— Да при чем я-то?

— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед ней, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твое-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господа-то... Чай, слыхал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...

Солнце светит в зеленой луже посреди дороги. К дому бригадира Федора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная жизнь. И никогда еще не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулек... Да что случилось на свете? Не сошел ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..

Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.

Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжелым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втоптанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекусь, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребятишки, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекшие от сиде-

ния ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ко, покажись, любой! — Голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч.— Да чего рвешься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости...— Она обернулась к своему кланяющемуся сыну.— Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико чтой-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зеленой железной крышей. Уполномоченные, приезжавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жеваными лацканами пиджака; не только щеки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными черными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина,— с досадой проговорила Родькина бабка,— что толку волю слезам давать. Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!

Заметив слезы у жены, Мякишев сконфуженно заерзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю.— Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке.— Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломленный встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащипанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти,— скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днем полагалось прийти к вам, а ночью, потаенно, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...

— Ничего, за бога и потерпеть можно,— отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так,— не совсем уверенно согласился Мякишев.— Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые

люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье.— И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух,— чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись, да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...

Родька съежился...

10

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времен гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая

книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятачка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнет рассказывать — хватайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...». Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век. День-другой, глядишь, все утрясется.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубахе, ясным пятнышком горевшей средь однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— Ах, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега,— купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька.— Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый,— ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул

в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.

11

До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов. Ему было хорошо видно все село: темные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не вид-

но, чтоб старость обезобразила ее: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную темную массу. В залитых сумерками ложбинках лег синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не устережишь, когда появляются,— затеплились огоньки. Долго еще упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном ее стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас черная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днем до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлюпнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточенно забился, может быть, птица, устраивающаяся на ночь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, все время ровно шумевший вдалеке, теперь с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждешь: вдруг да в темном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, желтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой темной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Все равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет»,— решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас все кончится...

Когда Родька взялся горячей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но все обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетеи, толстой Агнии Ручкиной,— сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с желтыми листами книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шепотом:

— Ты бы к утру еще приходил, полуношник! Иди-ко в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжелый груз.

На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лежа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька не дослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем.

12

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка все утро возилась — выгреба-

ла навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тесом новое здание сепараторки, доносился захлебывающийся, свирепо-восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твердо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несушки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж все страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от нее хватать плюх,— ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе.

Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровянистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде,— нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну, чего, дурак, ты-то лезешь? Знай свое дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, все пойдет по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки на затылке, флотская

фуражка с лакированным козырьком, в зубах жеваная цигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже все знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живет!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идет Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернешь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжелые сапоги, вдавливающие каблуки в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошел мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идет в школу, а там, прячься не прячься, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:

— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешевая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!

У всех свои дела, у всех свое место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка; лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекол в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед...

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

13

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжелой мужской поступью подходила Парасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо,— приблизилась, и под ее пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.

— До уроков зайдем-ка в учительскую.

Минуту назад еще можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Парасковьи Петровны легла на плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей черной клеенкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот-то кабинет, поеживаясь в нервном ознобе, вошел Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казенный холодок черной клеенки.

Парасковья Петровна подперла щеку кулаком.

— Опять рукам волю даешь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеенке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точеной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Парасковьи Петровны дойдет? Так?.. Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего; обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать все. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали,— наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Парасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошлась из угла в угол. Объемистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене,— казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Парасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Парасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжелых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Все уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошел Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорбленно-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой,— объявила Парасковья Петровна.— Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Парасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

14

Тридцать лет Парасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлетов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определенный день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скундин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Парасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошел учиться дальше, нашел свою судьбу.

Все прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Парасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидала его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придется распутывать ей, учительнице Гумнищинской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряженная лошадь, разрывала мордой сено в пролетке. Почуя приближение Парасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от челки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Парасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до легкой голубизны чистой бородкой. Словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стрижеными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Парасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то все в порядке.

Морщинки у коричневых век собрались гуще, желтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожду.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышиный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием.

«Ах, вот кто это! — удивилась Парасковья Петровна.— Загарьевский поп...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрии, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нем — перед Парасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнес он.— Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Парасковья... э-э, простите, запамятовал, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Парасковья Петровна, будет скучно слушать.— И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали, найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она...— Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой.— Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось нерешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки.

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше норовите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо.

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать верст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушенным лицом.

Парасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор,— глашатай господа бога, представитель обреченного на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога? Верит ли в то, чем живет она, Парасковья Петровна? Как сегодняшний день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских кущах?

— Отец Дмитрий,— решила заговорить Парасковья Петровна,— раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.

Без тени настороженности отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своем лице лишь одно — полнейшее внимание.

— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.

Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы,— «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение»,— почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.

— А здесь, в этом доме,— продолжала Парасковья Петровна,— на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...

— Это, сударушка, не твое дело! — резко перебила Грачиха.

— Обожди, Авдотья, потом возразишь,— отмахнулась Парасковья Петровна.

— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, все гадаю: зачем пришла?

— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал ее отец Дмитрий.— Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?

Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:

— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...

Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватами. По спине чувствовалось: напряженно прислушивается к разговору.

Парасковья Петровна продолжала:

— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребенка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.

Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо

учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:

— А какое я имею касательство к этому, Парасковья Петровна?

— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой бог из себя, что он делает?» — то матери придется объяснять о триединстве, о бессмертии души, о Судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребенка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно бревнышком, подперся»,— удивилась Парасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с ее стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений,— сказала она,— которые не сразу подведешь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак,— с готовностью подхватил отец Дмитрий,— а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому...— Отец Дмитрий поднял склоненную голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину.— Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи.

К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчилось. Она стояла у шестка, сложив свои тяжелые руки на животе, глядела на учительницу с беззлобной издевкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлевской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Парасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке,— враг Парасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознает ли он сам, что они друг другу враги, или не сознает?.. Трудно догадаться.

— Мы все равно не придем к согласию,— сказала Парасковья Петровна.— Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я,— с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий,— осмелюсь заверить: ни в чем не буду вам препятствовать.

Тяжелая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сенях, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, тупо уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны.

А Парасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешищем?..

— Что тут дивного,— отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу,— изведут парнишку и от училища еще благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно,— сурово обрезала Парасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то небось глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Парасковья Петровна.— А ведь дойдет до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживет всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары желтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздернутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадежная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошенных глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скобленых досок стола, заговорила:

— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...

— Кто слышит?

— Да бог-то.

Полная, белая шея, из-под застиранной кофты выпирают груди, плечи покатые, пухлые, в то же время крепкие — зрелая, полная здоровая женщина. А в светлых с сузившимися в мушиную точку зрачками глазах тупая тревога. Нет в них мысли, один страх. Парасковья Петровна вспомнила ее девчонкой, своей ученицей: круглая, розовая рожица, бойкие, с блеском, как у игривой кошечки, глаза,— уж во всяком случае глупышкой не казалась. Видать, не все-то с годами совершенствуется в природе.

— Эх, Варвара, Варвара! Как в тебя вдолбить? Этим страхом да дикостью и покалечишь жизнь сыну.

— Господи! Да разве нельзя ему в бога веровать и жить, как все?

— То-то и оно, что нельзя. Время Пантелеймонов-праведников отошло.

Слезы потекли по щекам Варвары.

— За что мне наказание такое в жизни?

— Клин-то вышибают клином. Подумай обо всем, что я сказала. И еще заруби себе на носу: школа парня на выучку старухам не отдаст.— Парасковья Петровна поднялась.

Она шла к дому своей медлительной, тяжелой походкой, чуть сутулая, полная женщина в обвисшей вязаной кофте, уважаемая всеми учительница, у которой каждый второй встречный в селе — ее ученик.

Она шла и думала о том, что и ее самое жизнь радует не одними удачами, много, очень много разочарований. Всякий раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любуешься ими. Не любоваться нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Петя Гаврилов рисует — как знать, не станет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадедовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Парасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.

И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломатин, заведовавший магазином при сплавконторе, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был нисколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил — посадили, причиной не поинтересовались. Осот сорвали, корень оставили.

Вот и Варвара, мать Роди Гуляева... Что заставило ее стать такой? Неужели в этом есть вина ее, старой учительницы Парасковьи Петровны?

Дома Парасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскала тетрадь Роди Гуляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протертой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.

Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На ее глазах сменилось двенадцать председателей, на ее глазах построили все хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить свое, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизнь Варвары Гуляевой...

Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: пораскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только

приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрей, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, еще и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать — она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен умственный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущественного, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.

А тут еще война. Тут еще неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днем. Так ли уж нужно винить ее, что она бросилась искать спасения у бога ?

Парасковья Петровна застывшим взглядом уперлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктанте тетрадь Родьки Гуляева.

16

После большой перемены Васька Орехов принес Родьке новость:

— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебен служить будет.

— Ты откуда знаешь?

— Тетрадку по ботанике забыл, домой бегал. Мамка сказала.

Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут еще поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тетка — пришлось идти...

Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая лошадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.

Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабку:

— От школы отобьется! Легко ли жить нынче неучемто! Вся жизнь на перекос у парня пойдет. Мать я ему или не мать?

— Ты шире уши распускай, такие ли тебе еще песни напоют. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабка стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрепанными седыми волосами.

— Всю вину сама перед богом приму. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему со школой не ладить!

— Вот они, слова Иудины! Еще, бессовестная, диву даешься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастье-то тебе? Чем ты перед богом поступилась? От бога плоть свою спрятать хочешь? Ужо отзовется это. Да не на тебе, на Родьке. По материной дурости будет он век вековечный беду мыкать...

Бабка первая заметила остановившегося у порога Родьку.

— Вон он, безотцовщина, сказывается кровь... Должно, все до последнего словечка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты, ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца Дмитрия, словно клещ, впилась... Господи! Да за что я стараюсь! За счастье же ваше. Много ли мне надо? Одной ногой в могиле стою...

Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу:

— Горюшко ты мое! Что мне с тобой делать?

Теплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагретая лицом подушка. Родьке, раскаявшемуся в том, что он пришел домой, вдруг стало жаль мать.

— Повой, повой, от этого все равно легше не станет. Все одно от бога не спрячешься,— сердито выговаривала со стороны бабка.

Постукивая костылем, вошла Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окликнула:

— Ай нелады какие?

— Где уж лады! — отозвалась бабка.— Учительша тут недавно была, смутила вовсе Варьку. Беда, мол, будет с парнем, коль от бога не откажется.

Жеребиха, бегая черными, не по веселому лицу тусклыми глазками, простучала к лавке, уселась, согнутая, нацелившаяся головой в сторону Варвары, мягко спросила:

— Это какая учительша? Парасковья Петровна? Так она, родные, партийная. А им, партийным, такой указ дан: всех начисто от бога отбивать. Дива нет, что отговаривала.

Мать виновато оправдывалась:

— В школе-то за бога не похвалят. А сама посуди, куда нынче без школы денешься? Велика ли радость, коль

Родька всю жизнь, как мать, возле коровьих хвостов торчать будет?

— Тут уж, касатушка, выбирать нечего. Как господь положит, так и будет. Против его воли не пойдешь.

— Живут же люди без бога,— возразила Варвара,— не хуже нас с вами.

— Слышь, какие речи ведет? — бросила бабка.

Жеребиха пошевелилась на лавке, села плотнее, средь веселых морщинок мрачновато глядели черные глазки.

— Под мечом поднятым живут, матушка, под мечом. Только с виду их жизнь гладкая да развеселая. А глянуть внутрь, в душу-то влезть, поди чистый содом да маета. Поразмысли только: от бога отказались. Люди тыщи лет в бога верили. Неужели за тыщу лет не народилось поумней нынешних? Не от ума все это, а от гордыни. Глухи и слепы. Бог нет-нет да и пошлет о себе весточку. Только эти весточки-то понимать не хотят. Василия Помелова помнишь? Хоть дальний, да родственничек мне. Тоже партийный, куда уж, первым за веревку взялся, чтоб колокол со святого храма стянуть. На всех углах кричал: «Леригия — дурман! Бога нету!» И уж поплатился за свое богохульство. Не приведи господь такую смерть принять. Как война началась, его первого, голубчика, под ружье забрали. До фронту не доехал, бомба прямехонько в него попала, косточек не осталось, в землю схоронить нечего. Вот оно, наказание — могилки и той нет, и пожалеть некому и поплакать некому. Верка-то, женка его, живехонько к другому переметнулась...

Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьезно не думал о боге. В школе говорили: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз искал, значит, верил... Но почему теперь в бога верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Па-

расковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковьи Петровны умней был. Непонятно все...»

Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на нее круглыми, остановившимися глазами, идет сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обметанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:

— Уж кому бы в голову пришло поинтересоваться, не зря же в разоренной церкви каждую ночь в одно и то же времечко, ну, истово в одно времечко, хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пиление идет. Не господний ли это знак? Никому, лишенько, в голову не придет поприслушаться да на самих себя оглянуться. Ой, слепы люди! Ой, глухи... Ничего-то видеть не хотят, ничего слышать не желают. А господь остерегает, остерегает, да ведь и его терпению придет конец. Падет вдруг на людей кара божия, дождемся ужо мора или великого голода, поздно тогда будет каяться. Ой, Варюха, Варюха, опамятуйся! Перед чем голову сгибаешь, от чего отворачиваешься?

Варвара столбом стояла посреди избы, на белой широкой переносице выступила испарина, глаза блестели, вот-вот из них брызнут слезы.

На крыльце послышались шаги, неспешные, уверенные, мужские. Вошел старик, снял с головы кепку, длинные космы седых волос упали на воротник. Жеребиха сорвалась с места, бойко застучала палкой по полу:

— Благослови, батюшко!

А из раскрытых дверей слышалось покорное оханье взбирающейся на крыльцо Агнии Ручкиной:

— Ноженьки мои...

Начали собираться гости.

17

Розовая от заходящего солнца, в стороне от села стоит церковь. Ее приветливый вид вместе с запущенной липовой рощицей, с галочьим хороводом над куполом был привычен, как вкус ржаного хлеба.

Эта вздыбленная над деревьями колоколенка со ржавым куполом луковкой, намозолившая глаза, связана с таинственным богом. Не от Жеребихи первой слышал

Родька, что среди ночи, минута в минуту, кто-то пилит купол.

Врут, конечно...

А если нет?

Не ребячье любопытство, не досужая страсть к открытиям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские однолетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудодень. Его ли забота, как жить... Мать с бабкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чем, о чем, а о боге, о душе и думать не думал... Но теперь не увернешься от вопроса: есть ли бог?

Врет бабка, врет мать, врет старая Жеребиха! Нет бога!

А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..

Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва еще по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..

Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чем не может.

Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растет. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильней, сильней. На черном теле паровоза заблестело

какое-то стекло, пропылало минуту-другую остреньким, словно пробивающимся сквозь булавочный прокол, огоньком, погасло. Товарные вагоны при закате кажутся раскаленными. Паровоз простучал через весь луг, таща за собой этот длинный раскаленный хвост, нырнул в решетчатую коробку моста, вновь вынырнул, пробежал дальше и скрылся за церковью.

В тишине неожиданно раздался выкрик:

— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!

Перевалившись животом через ветхую изгородь, подбежал Васька Орехов. На худеньком, с острым подбородком лице обычная радость: «А-а, вот ты где!»

— Что ты тут делаешь?

Родька не ответил, но Васька и не ждал ответа, он обернулся и закричал:

— Венька! Иди сюда, здесь Родька сидит! — так, словно это известие было бог знает каким подарком для Веньки Лупцова.

Венька не спеша подошел. Он хоть и помирился с Родькой, но и сейчас из-под черной, как воронье перо, челки глядел со спрятанной угрюмой настороженностью недобрый глаз.

— Что делаешь? — повторил Венька Васькин вопрос.— Галок считаешь?

— Тебе-то что?

— Да ничего. Из дому небось выжили?

В эту минуту Родьке не хотелось затевать ссору, он со вздохом признался:

— Терпения моего нету.

Эта покорность привела Веньку в мирное настроение. Он присел на землю рядом с Родькой.

Все трое долго молчали, уставившись вперед, на широкий луг с подрумяненными на закате горбами плоских холмиков, на тлевшую вдали колоколенку.

Первым пошевелился Родька, беспомощно взглянул на товарищей, спросил:

— Вот про церковь говорят, там вроде по ночам кто-то купол пилит.

— Поговаривают,— согласился равнодушно Венька.

— Ты знаешь Костю Шарапова? — нетерпеливо заерзал Васька.— Трактористом в прошлом году здесь работал. Он, сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается.

— Врет, наверно, твой Костя,— нерешительно возразил Родька.

— Костя-то!

Венька перебил:

— Я и от других слышал.

— Ну, а коли правда, тогда что это?

— Кто его знает.

Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.

— Нечистая сила будто там,— робко высказался Васька.

— Вранье! — обрезал Родька.— Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.

— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.

— И я что-то слышал, только не от Кости,— подтвердил Венька.

— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо.— Ребята, пойдемте сегодня в церковь... Вот стемнеет... Сами послушаем. Ну, боитесь?

— Это ночью-то? — удивился Васька.

— Эх ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдешь? Иль тоже, как Васька, испугался?

— А чего бояться-то? Ты пойдешь, и я пойду.

— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.

— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька.— Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело...

— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.

Родька неожиданно пришел в какое-то возбужденно-нервное и веселое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему все равно...

18

В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Степа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный бу-

фер — раз, другой, третий, четвертый... Удар за ударом — «дын! дын! дын!» — унылые и однообразные, они поползли над темным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.

— Одиннадцать часов,— прошептал Родька.— Может, пойдем не спеша?

— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.

Васька Орехов как-то беззащитно поежился и притих.

Опять принялись ждать.

Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голосом продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и починком Шибаев Двор:

— Лежит он себе в телеге, а лошадь еле-еле идет. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит, чтой-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...

— Ой, Венька, брось уж, и так зябко,— тихо попросил Васька Орехов.

— А ты побегай, погрейся,— предложил Венька.— Значит, огонек катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...

— Ладно, Венька,— оборвал его Родька,— Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.

— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квелого, не брать с собой,— сердился Венька и добавил: — А мне вот все равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.

— Ребята, я домой пойду. Мамка лупцовки даст,— попросил Васька.

— Я тебе пойду! — вскинулся Венька.— Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся... Нашел рыжих!

Так в переругивании и в приглушенной воркотне шло время.

Наконец Родька решительно встал:

— Идем!

Венька с Васькой неохотно поднялись.

Ночь была безлунная, три или четыре крупные звезды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.

Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.

Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждет... Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, еще шаг, еще... И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривленных веточек. К черту все страхи!

К черту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждет, само идет навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в черном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком... Раздалось фырканье... Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.

Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.

Родька шагал, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во все: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И все-таки он шел вперед, и все-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.

— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.

Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.

— Ты что?

— Ногу подвернул. Дальше не пойду.

— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.

— Скажи прямо: душа в пятках.

Васька перестал стонать.

— А неужель не страшно?..

— Вставай! — схватил его за воротник Венька.— Или силой потащим.

— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.

— Мы тебе живо ее вылечим.— Венька сильнее тряхнул Ваську.— Ну, долго возиться?

— Пусти-и! Не пойду, сказал же.

— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остается,— зашептал Родька.— Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.

— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.

Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька еще поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.

Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.

А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нем покойников. Но кому не известно: чем заброшенней кладбище, тем скорей можно ждать на нем всякой нечисти.

Венька остановился.

— Родька! Слышь, Родька...

— Чего еще? — приглушенным шепотом спросил тот.

— Васька-то небось домой побежал.

— Ну и что?

— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.

— Тоже струсил?

— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на нее!

— А зачем тогда пошел?

— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...

Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти

мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в нее. Все равно придется рано или поздно опять идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!

— Веня, мы уже ведь пришли... А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка... Мы еще посмеемся вместе...

— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернем вместе, не хочешь...

— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пущу.

— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Парасковьи Петровны.

— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.

И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.

— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы.— Одному-то еще страшнее,— заговорил он прерывистым шепотом.— Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...

Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.

Родька первым опомнился.

— Пошли,— сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.

Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.

Они вошли в широкие ворота церковной ограды.

19

В глубине белела, как мутный туман ночью на реке, стена церкви. Они остановились под деревом.

Родька достал из кармана бересту, поднял с земли из-под ног сухую ветку, спросил:

— Васька, спички у тебя?.. Сейчас бересту запалим. При огне-то лучше.

Васька зашептал:

— Не надо, Родька. Так-то нас никто не видит. А как огонь, всяк узнает: мы здесь.

— Давай спички, говорю!

Две руки — Васькина и Родькина — не сразу столкнулись в темноте. Одна спичка сломалась, вторая долго не зажигалась. Наконец зажглась слабеньким, болезненным огоньком — единственно светлая, родная точечка в этой подвальной темноте.

Скрюченный, грубый кусок бересты заскворчал, запузырился, как живой, стал сгибаться. Родька надел его на конец ветки. И из темноты рядом с ними появилась боковина ствола матерой липы в буграх и корявых наростах. Впереди, под ногами, открылась замусоленная кирпичной крошкой земля. Огонь шевелил веселыми языками, пускал темный чадок, без всякой утайки фыркал. И страх почти исчез. Родька, Васька, Венька — все разом вздохнули, переглянулись между собой, снова уставились на огонь.

Но по сторонам темнота еще гуще облила раздвинутый горящей берестой круг. Не стало видно церковной стены. Казалось, эту плотную, могучую темноту ничем не сдвинешь, ничем не пробьешь, не выберешься из светлого круга. Но Родька, бережно держа на весу ветку с корчащейся берестой, шагнул вперед, и эта плотно слитая темнота покорно подалась назад. Липа с корявой корой сразу же исчезла, словно провалилась под землю. Навстречу выскочила тоненькая, с игривым изгибом березка, сразу же лихорадочно зарумянилась от света.

Еще два шага, и свет уперся в стену, вовсе не белую и ровную, а облупленную, с оскалами кирпичей в обвалившейся штукатурке.

В стене — окно, непроницаемо затянутое бархатной темнотой. Что-то там? Мороз пробирает от мысли, что придется схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в эту мрачную, бархатную тьму.

— Венька, держи,— отдал Родька берестяной факел.— Осторожней, бересту стряхнешь... Васька, подсади-ко... Что ты меня за грудки держишь? Плечо, плечо подставь... Вот так...

Родька сел верхом на подоконник. В выползшей из штанов, пузырящейся на спине рубахе, всклокоченная голова

ушла в поднятые плечи, освещенный неровным, пляшущим огнем на бархатно-черном фоне арочного окна, он сам теперь походил на какого-то зловещего горбуна из страшной сказки.

— Да... давай сюда огонь.

Венька медлил: охота ли лезть в это проклятое окно, а уж если отдашь огонь, придется.

— Ну! — это «ну» было сказано слишком громко и гулом отдалось в пустой церкви за Родькиной спиной.

Венька поспешно протянул горящую бересту.

— Что ты в меня огнем тычешь? С другого конца давай... Подсаживай Ваську.

Из окна, из черной пропасти тянуло подвальными запахами плесени и птичьим пометом. Родька первым прыгнул туда, и в это самое время огромная, пустая, темная церковь загудела, забурлила, словно ее старую крышу пробил бешеный водопад. Снизу донесся слабый, заикающийся голос Родьки:

— Не-не... не... бойтесь... Это галки... Ух, сколько их тут!

Огонь осветил кусочек стены, на которой проступали какие-то картины, прислоненные к стене иконы, битый кирпич с блестками стекла на полу. Все остальное — вверху и по сторонам — было покрыто густым мраком.

Родька мельком поглядел на иконы, подумал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чего те дурни на мою икону набросились, вроде она лучше...»

— Вы скоро там?

Венька и Васька слезли вниз, сдерживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.

Вяло покачивался огонь на обугленной бересте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху все еще шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.

— Сколько...— заговорил Родька и сразу же снизил голос до шепота, так как неосторожно произнесенное слово сразу же отдалось где-то под самым куполом.— Сколько времени теперь?

— Кто его знает,— так же шепотом ответил Венька.— За двенадцать, поди.

— Не слышно, не било вроде.

— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?

— Услышали бы. Окна-то полые.

Они на минуту перестали шептаться. Под темной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем углу, пошевелилась другая поближе, столкнула кусочек сухой известки, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонко-тонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряженной тишины.

— Враки все,— выдохнул Родька.

— Что враки? — одними губами спросил Венька.

— Да это... Купол-то будто пилят.

— Конечно, враки,— с охотой подхватил Васька.— Пошли, Родя, быстрей отсюда, чего тут торчать.

Родька не ответил.

Береста на конце ветки прогорала. Желтый огонек стал вялым. Черный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьезные, непривычно большеглазые.

Родька ощутил облегчение, появилось какое-то смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.

Родька набрал уже в грудь воздуху, чтоб еще раз сказать: «Враки все...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...

Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ерзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.

И звук шел не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы нисколько не обращают на него внимания.

Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломленный Родька в долю секунды каким-то далеким уголком своего мозга все же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.

Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...

А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки села. В стороне уверенно и беспечно постукивали колеса удаляющегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне уплывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.

Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счетом ничего.

«Дын! Дын! Дын! Дын!..» Через влажный луг, через реку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Степа Казачок отбивал двенадцать часов.

Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...

Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная перекличка.

20

Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на нее раскисшие от слез глаза, шептала:

— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что все обойдется. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать.

Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые цигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюдце и рассуждал о «нонешней распущенности»:

— В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...

Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил свое слово:

— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквер-

нил себя водкой — яд. Строптивость свою выказал, начальству не подчинился — все яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.

И снова замолкал, с ясным, чуть утомленным лицом покачивал головою, думал, верно, о чем-то своем.

Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Парасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Парасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»

Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...

Ее разбудили сердитые толчки.

— Вставай-ко, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунут.— Старая Грачиха раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней.— А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.

Выглянула за переборку, пригласила:

— Иди, батюшко, постельку сейчас сготовлю.

Варвара поднялась, заспанная, с тяжелой головой, вышла в переднюю.

Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.

Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то еще полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.

Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.

Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустилась она и сейчас.

Что сказать господу? Как пожаловаться? О чем просить, что вымаливать? Как держать себя? Все перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:

— Господи!!

Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.

За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.

Варвара медленно поднялась с полу.

— Родюшка... Ай опять беда какая?

Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошел на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на темную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съежившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.

— Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала.— Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?

Но Родька молчал, только плечи его под материными руками сильно вздрагивали.

От молчания, от слез сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!

Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:

— Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...

И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнес единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:

— Прости... господи...

Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?

21

Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.

У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку,— *самому отказаться!* Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал, пройдет день, неделя, месяц, пусть даже год — и все наладится, все переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасет. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Парасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!

Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.

— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом доме. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.

Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:

— Как бы шума не вышло...

— То-то вы все боголюбы.— Бабка веником, насаженным на длинную палку, обметала паутину с потолка.— Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господа шум на себя принять. Снесете, ежели и поругают маленько.

Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:

— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберег. Ради такого дня выволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ко, одевай живо да не кобенься.

Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твердая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.

Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступил из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.

Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе — уставились сквозь щелки неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:

— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.

Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся:

— Нехристь. С утра нализался... Нашел время.

В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокаленным кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:

— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.

— Бла-ослов-ения хочу,— промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.

— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха.— Какое тебе благословление, дурья башка? Ведь на малом свяченого чина нет.

Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый, по плечо тощей низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.

— Ты, голубок, не пужайся. Идем к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.

Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперед глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.

Сидевшая прямо на земле, широкая, как сопревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:

— Ох-ти, мои ножепьки...

Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.

— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.

Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Парасковья Петровна.

В своей неизменной вязаной кофте, легкий платочек туго стягивает прямые черные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.

— Родя, ты почему не пошел в школу?

И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Парасковьи Петровны:

в чистой, праздничной рубахе, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из ее класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.

— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?

Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Парасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно уставилась на Родьку.

И Родька, издерганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, затопал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:

— А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к черту-у! Уходите! Все уходите! Все!!

После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:

— Небось на дом пришла.

— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.

— За теми не следят. Не-ет.

Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:

— Уходите! Уходите! Уходите!!

— Родя, пойдем отсюда,— не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Парасковья Петровна.

Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.

Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:

— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...

Парасковья Петровна сначала с удивлением, потом с брезгливостью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих ее из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:

— Успокойся, Родя. Идем отсюда.

Но Киндя снова угрожающе зашевелил поднятыми плечищами:

— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.

Давно не стиранная рубаха распахнута на груди, на распаренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.

На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Парасковья Петровна, сурово выпрямившаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.

Никто не двигался, все ждали.

Парасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на нее всем своим коротким телом Киндю, Парасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.

И Киндю взбесила ее бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сиплая, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...

Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.

Парасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, сипло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Парасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Киндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.

Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Киндиной матери, с яростью толкнул ее в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.

Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалясь, с мокрым от слез лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге,— прочь от дома, прочь от страшных людей.

22

Через полчаса он сидел дома у Парасковьи Петровны.

Небольшая, оклеенная веселыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тикания темных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадях — счастливо живет Парасковья Петровна!

С опухшим от слез лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторял одну и ту же фразу:

— Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже...

Парасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платьице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:

— Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью — старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление...

— А что это?

— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.

— Но что?

— Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идет поезд, звук от его колес попадает в церковь и отдается под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо

церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздается звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днем ведь поезда ходят... Понятно тебе?

— Резонанс,— повторил Родька.

Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колес, припомнился и самый звук под куполом. Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издалека, потом ближе, громче, только визгливей... Вместо радости и облегчения, что все так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?.. Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.

— История эта забывалась,— рассказывала Парасковья Петровна,— потом опять о ней начинали говорить. Только одни старухи все верили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братец, не слушаешь?

— Я домой больше не пойду,— заявил Родька.

— А я тебя и не отпущу. Поживешь денек-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту.— Парасковья Петровна поднялась.— Есть захочешь — суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай...

Она ушла.

Родька знал, что муж Парасковьи Петровны, тоже учитель, давно, еще до войны, когда его, Родьки, еще не было на свете, попал с лошадью в полынью, простудился и умер.

Парасковья Петровна жила одна в своем домике, по хозяйству ей помогала тетя Глаша, школьная уборщица. Иногда Парасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.

В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он походил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.

Родька лег на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать веселый узор на обоях. Лежал

час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном — об иконе.

Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдет кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, сочувствовать, качая головой... Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.

— Родюшка,— горестно и виновато произнесла она.— Ты здесь, сокол?.. Я все село избегала, все кругом обрыскала...

Воровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шепотом:

— Нет хозяйки-то?

И когда Родька тряхнул в ответ головой — нет, вздохнула свободнее.

— Идем, голубь, домой! Идем!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идем, горюшко мое!..

Она заплакала, и Родьке стало жаль ее.

Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до нее все шло хорошо.

Она припомнилась ему со всеми подробностями: с черным лицом, разделенным длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды. Как он ее ненавидит! И бабку ненавидит и мать — вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жизнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..

23

Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Парасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумнищ в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что

Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме.

Шел сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновленную жизнь. Парасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая елка, каждый пень. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала, и умнее — изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчетах! Не допусти, чтоб Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..

За спиной Парасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась легкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролетке, натянул вожжи:

— Тпру-у!

В мягкой, крепко надвинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрепана встречным ветерком, возвышался в пролетке отец Дмитрий.

— Издалека вас приметил, Парасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.

Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелколесьице. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Парасковья Петровна первая начнет разговор, не дождался, заговорил сам:

— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.

— Я незлопамятна.

— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.

— Упрямы? В чем? Не замечала.

— А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумнищ храма. Никаких возражений не хотят слушать.

— А вам разве помешает этот храм?

— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия еще одного храма.

— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.

— Вся беда, что теперь открытие храма Николы на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.

— Почему? — удивилась Парасковья Петровна.— Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить.

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.

И не в первый раз за их короткое знакомство Парасковья Петровна с удивлением вгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.

Это не только божий агитатор, во славу господа действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберется поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета, а тут сколько вам нужно; сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.

Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живет себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешевый, а пролетка новая, лошадь сытая... Загарьинское роно, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным инспекторам приходится бегать в командировки пешком.

Молчание Парасковьи Петровны, должно быть, насторожило отца Дмитрия. Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:

— Есть вечная, как мир, истина, Парасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.

— К чему вы это?

— К тому, Парасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.

— Разве оно вам мешает?

— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдает служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?

Это был уже вызов на откровенность, и Парасковья Петровна решила его принять.

— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.

— А не все ли равно, Парасковья Петровна, через бога или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.

— Нет, не все равно. Как там в Библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаныя и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.

— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.

— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плетка? Почему вам кажется,

что все доброе, все хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.

— Парасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины еще не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.

— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?

— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?

— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему,— просто божья благодать. С войны в Гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут еще вы вдалбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов

по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценили и вред.

Отец Дмитрий сделал неопределенное движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»

— Мы никого, Парасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши,— заявил он с достоинством.— Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.

— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, все равно вы знаете: будущее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.

Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.

— Как знать, как знать,— после недолгого молчания возразил он.— Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.

— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждете больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?

На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушенно головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.

Парасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Парасковья Петровна, чуть сутуловатая, твердо ступающая своими тяжелыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.

24

В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехались по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенкова, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.

В скупо освещенном коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно,

приехали из какого-то отдаленного колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Парасковья Петровна проходила мимо, они провожали ее пристальными, вопрошающими взглядами.

Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своем месте. Парасковья Петровна вошла к нему.

Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:

— Горючего нет? Вы мне этим горючим глаза не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват: я или господь бог? Почему трактор на выручку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..

Парасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому, упругому голосу Кучина.

Стены кабинета в несвежей штукатурке, скромный портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами,— до последней мелочи все здесь было свое, знакомое, далекое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.

Кучин бросил трубку, облегченно вздохнул:

— Из-за дорог того и гляди завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял! Здравствуйте, Парасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?

Парасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занес ее в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не занимается распределением льносемян, что надо обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яичком сварить», пора бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.

Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.

Парасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются

не иначе, как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую доску Почета, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал ее с особым вниманием, с подчеркнутой почтительностью.

Это был плечистый, высокий парень, с буйной шевелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с теплой, какой-то домашней рыжеватинкой выдавали приглушенную энергию, весело стреляли то в Парасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.

Но по мере того как Парасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радушные глаза потемнели.

— Эк! — с досадой крякнул он и так распрямился, что стул заверещал под ним птичьими голосами.— Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время съедают горючее для тракторов, овес для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.

— Для этого время должны найти.

И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щеку, морщась от собственных мыслей.

— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим, надо поднять урожайность, плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят, разверните антирелигиозную пропаганду. Как ее развернуть? Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира. Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.

— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации,

вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горючим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?

Парасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под ее взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жесткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.

— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно,— заговорил он.— В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодежь на крестный ход в честь какой-то там старо- или новоявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.

— Правильно попало.

— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только все же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о боге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стеклышко!

— А кто от вас требует делать это в два счета? Вы, я помню, на своем месте сидите уже четвертый год, до вас занимал Климков ваш кабинет, до Климкова еще кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?

— Добились многого. В те годы, когда Климков сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают впятеро больше.

— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чем тут хлеб?

— А при том, что хлеб, овес, горючее — все это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду

да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идем в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что врастало тысячелетиями. Столетнее дерево не сшибешь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.

— Общие фразы.

— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щах, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждете от нас помощи, а мы ее ждем от вас. Таких, как вы, Парасковья Петровна, по нашим деревням и селам разбросаны сотни: учителя, агрономы, врачи. Нас в райкоме единицы, вас армия. Почему бездействуете? Легче всего надеяться, что ветерок из райкома разгонит тучи.

— Кто-то должен поднять эти сотни. Скажите нам — пора! И мы поднимемся. Может быть, не все сразу, но многие зашевелятся.

— Команды ждете. А эти старухи, наверное, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Надо, чтоб антирелигиозная пропаганда стала неотъемлемой частицей совести каждого мало-мальски культурного человека.

— Приятные речи приятно и слушать,— мрачно согласилась Парасковья Петровна.— Но что делать нам сейчас? Что делать с Родей Гуляевым? Ведь я, его учительница, не могу же успокоиться разговорами о постепенном наступлении на религию?

Кучин сидел, большой, нахохлившийся, глядел на свои крупные руки, выброшенные на стол.

— Тут я вижу только один выход. Надо этого мальчика как-то очень осторожно отделить от родителей. На

время, пока у тех не пройдет угар. А там мы найдем возможность поговорить и образумить если не старуху, которую, видно, одна могила исправит, то хоть мать. Только как это сделать? В этом вы, Парасковья Петровна, должны нам посоветовать. Вы рядом с ними живете, вы должны знать обстановку.

Парасковья Петровна задумчиво вертела в руках тяжелое пресс-папье, без нужды внимательно его разглядывала, долго не отвечала. Кучин следил за ней со сдержанным беспокойством.

— Я бы могла взять на время мальчика к себе.

— Если это нетрудно...

— Мне-то нетрудно. Только его бабка и его мать поднимут шум, будут устраивать скандал за скандалом, чего доброго, через суд начнут требовать сына.

— Это было бы хорошо! — Кучин с треском заворочался на своем стуле, глаза повеселели, прежняя энергия вернулась к нему.— Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.

— И все-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.

— Не посмеют. Все эти поклонники господа действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Парасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...

Парасковья Петровна встала со своего стула:

— Так и сделаю.

Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнем по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но все-таки что-то нашли, на что-то решились.

В дверях Парасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:

— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну, хорошо, давайте позвоним Егорову...

25

В Гумнищи Парасковья Петровна вошла ночью. Устало брела темными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на ее шаги сонно лаяли собаки.

Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный буфер. Ночной сторож Степа Казачок обычно отбивал на нем часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.

Парасковья Петровна снова углубилась в темную улочку.

Неожиданно она услышала быстрые, легкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.

— Кто это? — спросила Парасковья Петровна.

— Это я...

Парасковья Петровна узнала Васю Орехова.

— Ты что в такой поздний час бегаешь?

— Пар... Парасковья Петровна...— задыхался он.— Родь... Родька в реку... бро... бросился!..

— Как бросился?

— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степан-сторож несет... Это я Степана-то позвал.

— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.

Парасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, легонько толкнула вперед. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:

— Он вечером ко мне прибежал...

— Кто он?

— Родька-то... Прибегает и говорит. «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью приду, на повети в сене спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половиков притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушел. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему дол-

го его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал, слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то перелез да к окну... Ой, Парасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!

— Кто она?

— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.

— А мать его где была?

— Да мать-то тут стоит. Плачет, щеки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабку. И начали они!.. Родькина-то мамка бабку за волосы, а бабка опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да на луг. Уж очень быстро, не успеваю никак.. Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Пантюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке все рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я на улицу, смотрю, Степан Казачок идет часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабка поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдем, говорит, показывай, куда побежал...»

— Вытащили?

— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается, искали, до Летнего брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и все. А ночью под водой разве увидишь...

— И где же нашли?

— Услышали, что-то под берегом поплескивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется. Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу весь мокрехонек. Прыгнуть-то, видать, прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Он лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрехонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытошнило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»

— Где же они?

— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...

Они не успели выйти из села, как впереди замаячила темная фигура.

— Дедко Стапан!— окликнул негромко Васька.

— Ох, батюшки! Привел-таки...— раздалось впереди старческое кряхтенье.

Парасковья Петровна, опередив Ваську, подбежала к нему:

— Жив?

— Голос недавно подавал, выходит, жив... Ох, тяжеленек парень! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, виснет, как куль с песком.

В темноте можно было разглядеть свесившуюся голову, бледным пятном — словно все черты стерты — лицо. От его одежды тянуло вызывающим озноб глубинным речным холодком.

— Дай-ка возьму за плечи.— Парасковья Петровна осторожно просунула свои руки под мышки Родьке.— В одной рубашонке выскочил... Несем ко мне! — решительно распорядилась она.

Степан, держа Родькины ноги, двинулся, спотыкаясь и приговаривая:

— Вот они какие, дела-то!.. Беда чистая!..

Парасковья Петровна сорвала со стола клеенку, набросила на кровать, уложила мокрого Родьку.

На плечах сквозь прилипшую к телу рубашку просвечивала кровь, грудь рубашки была запачкана грязью, в слипшихся на лбу волосах песок, все лицо, что лоб, что губы, ровного зеленоватого цвета. Парасковья Петровна протянула руку, чтобы снять грязь со щеки, и тут же быстро отдернула ее — грязный сгусток на щеке оказался спекшейся раной.

— Степан, ты не уходи, поможешь мне раздеть,— принялась командовать Парасковья Петровна.— Вася, беги к Трофиму Алексеевичу. Быстренько, родной, быстренько! — И не удержалась, выругалась негромко:— Животные! Довели мальчишку!

Вместо Трофима Алексеевича, гумнищинского фельдшера, минут через сорок появился с Васькой председатель колхоза Иван Макарович.

— В Загарье наш медик. У них совещание в райздраве. Загостился,— сообщил он громким голосом, но, взглянув на Парасковью Петровну, осекся, спросил тихо и серьезно:— Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...

В своем неизменном бушлатике, в мичманке, сбитой на затылок, пахнущий махоркой и ночной свежестью, Иван

Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошел к кровати, сосредоточенно выслушал Парасковью Петровну.

— Ну и ну, выкинули с парнем коленце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дуреха Варвара допустила?

— Как допустила? — переспросила Парасковья Петровна.— Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живет.

— Я-то при чем тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломает в колхозе, а чтоб еще от святых угодников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.

— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.

Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:

— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да и не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезем... Стой! По дороге стукни в окно к Верке-продавщице. Пошибче стучи: спать здорова баба. Крикни, пусть сюда поллитровочку принесет. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.

— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает...— посомневался Степан Казачок.

— Эх ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Верка всегда про запас дома держит...

Парасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно, его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да пытается оправдаться.

— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську.— Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперед!

Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрепанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в

своем углу, Парасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.

— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара.

Иван Макарович шагнул на нее:

— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?

И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На похудевшем лице Родьки, на лбу и щеках расцвели вишневые пятна.

Варвара опустилась на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычании, в исказившемся лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном раскачивании было такое истошное горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Парасковью Петровну.

Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинуясь взгляду Парасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принес ковш воды. Парасковья Петровна села напротив.

— Выпей и успокойся,— приказала она.— Сына твоего мы сейчас увезем в больницу. Не пугайся — поправится.

Варвара припала распухшими губами к ковшу.

— Но слушай,— продолжала Парасковья Петровна,— я этого оставить так не могу. Пока в твоем доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пущу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, все сложно, все трудно, все тяжело, но сделать нужно. Нельзя калечить жизнь Роди. Будете препятствовать, дойду до суда.

Варвара снова залилась слезами.

26

В избу сквозь наглухо закрытые окна неприметно влился робкий рассвет. Стала отчетливо видна не только спинка кровати, но и фотографии, веером висящие на выцветших обоях, и щели на потолке.

Варвара после того, как пришла от Парасковьи Петровны, не сомкнула глаз. Она лежала на спине и думала.

Как всегда, ее мысли забегали вперед, в завтрашний день. Как всегда, этот день пугал ее. Раньше, чтоб прожить его покойно, без всяких случайностей, она просила помощи у бога, шептала молитвы: спаси, боже, помоги от напастей. Она верила в эту помощь, в надежде на нее ей становилось легче жить.

Ох, Родька, Родька! А вдруг да не выживет, вдруг да — страшно подумать — умрет в больнице!.. Парасковья Петровна говорит, что не опасно, Иван Макарович лучшую лошадь снарядил, сам поехал, обещал, что с постели подымет самого Трещинова. К доктору Трещинову из соседних районов ездят лечиться... Дай-то бог! Утром до школы опять надо пойти к Парасковье Петровне, пусть посоветует, как жить дальше. Она и сама теперь понимает: Родьке с бабкой не поладить. Крута мать, не забудет икону. Будь трижды проклята эта икона!.. Это сказать легко: Родьку от старухи отделить. Пусть Парасковья Петровна поможет, Ивана Макаровича тоже надо попросить... Сообща-то что-нибудь придумают...

Все сильней и сильней сквозь мутные окна сочился рассвет. За стеной над карнизом завозились воробьи. Варвара лежала лицом вверх, остановившимися глазами глядела в потолок. Она сама не замечала, что сейчас, забегая мыслями вперед, в наступающий новый день, искала помощи уже не у бога, а у людей.

На воле из конца в конец по селу прокричали петухи. За дощатой переборкой зашевелилась старуха. Слышно было, как, вздыхая, легонько поохивая, спустилась она с полатей, половицы заскрипели под ее босыми ногами. Вот она стукнулась костлявыми коленями о пол, забормотала... Старая Грачиха начала свой день, как всегда, с молитвы.

Варваре все известно наперед. Если она скажет матери, что будет советоваться, просить помощи у Парасковьи Петровны и у Ивана Макаровича, наверняка старуха начнет поносить их: «Они такие, они сякие... Учительша, мол, жалованье не за то получает, чтобы чужих из беды выручать. Мы для них седьмая вода на киселе, за спасибо-то не больно люди тороваты...» И, уж конечно, один припев: молись! Почему она всю жизнь ее, Варвару, отпугивает от людей? Почему считает, что никому, кроме бога, нельзя доверять? Разве можно жить так дальше? Родька-то не понимал всего; теперь и он учен. Ох, бедная голо-

вушка! В такие-то годы да попасть в беду!.. И в какую беду! Она, Варвара, мало ли, много, а уже успела пожить, и то у нее голова кругом пошла от напастей. Не знаешь, чью сторону принять: старухи матери или добрых людей? Нет, трудно с матерью оставаться под одной крышей! А как расстаться? Жили семьей — одни заботы, одно хозяйство...

Старуха, снова поскрипывая половицами, заходила по соседней комнате. Она показалась в дверях — взлохмаченная, в одной ветхой рубахе, с жилистыми темными руками, обнаженными по самые плечи, заметила пошевелившуюся Варвару.

— Не спишь?.. В Загарье я собираюсь,— сообщила она.

Варвара не ответила. Старуха скользнула по ней бегающим, виноватым взглядом.

— Ладно, чего там... Авось бог милостив, все обойдется. Я нашему сорванцу-то гостинчиков свезу. Небось и у меня за вчерашнее-то сердце болит.

Варвара с трудом оторвала голову от подушки, тяжело поднялась, села на кровати. Она представила себе, как у койки больного и без того издерганного Родьки появится бабка, одним своим видом уничтожит покой, мало того, начнет свои уговоры: «Бога обидел, неслух... В грех ввел...» Опять бередить душу парню! Хватит!

— Не езди к нему,— сказала глухо Варвара.

— Чего так — не езди?

— А так... Не хочу.

— Ужель тебя спрашивать буду? Не чужая ему. Внук он мне, не по задворью знакомы.

— Слушай, мать.— Голос Варвары зазвучал непривычными для нее нотками скрытой озлобленности и решительности.— Давай договоримся подобру-поздорову...

— О чем это нам договариваться-то?

— А о том, как бы жить врозь. Я с Родькой, ты сама по себе.

У старухи гневной обидой заблестели глаза, по углам плотно сжатого рта резче обозначились морщины. Секунду молча она оторопело глядела на дочь.

— Свихнулась, Варька?

— Видать, свихнулась... и давно, коль тебя во всем слушалась!

— Вскормила, вспоила тебя, стара стала — не нужна...

Меня же обидели... Да какое там — бога в доме обидели! Волчонок-то до чего додумался — святую икону топором!

— Молчи!

— Так я тебе и замолчала! Как же!.. За то, что за господа заступилась, мне подарочек. Опомнись, греховная твоя душа! Подумай-ка, на какие слова твой язык повернулся! Жить врозь! Да вы с ним подохнете вдвоем! Я на вас, как лошадь, ворочала! Вот она, благодарность-то на старости лет..

— Если по добру все уладим, и ты жить будешь, и мы...

— По добру?! Да где у вас, у нынешних, добро-то? Что душа Кощеева, спрятано оно у вас за тридевятью замками, не доберешься. Старуху мать из дома выгнать на улицу — вот оно, ваше добро! А нет, не выгоните! Дом-то мой! Я с покойничком отцом твоим, царство ему небесное, строила, каждое бревнышко своим горбом перепробовала.

— Живи в своем доме, я уйду.

— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..

Старуха перешла на крик.

Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зари. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный веселый дождь с крыш.

В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильней этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!

Под вечер того же дня Парасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряженную в знакомую пролетку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.

— Здравствуйте, Парасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.

Оба они опустились на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:

— Я глубоко удручен тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручен...

— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне свое соболезнование? — спросила Парасковья Петровна.

— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, все же теперь находится вне всякой опасности...

— Вы боитесь этого шума?

— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпевшего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают жить вместе. Но стоит вопрос: как разойтись, куда девать старуху? Я могу забрать ее из Гумнищ, устроить при храме уборщицей...

— С одним условием, не так ли?

— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.

Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.

— Значит, верно сказал мне вчера один человек,— заговорила Парасковья Петровна, — что огласка для вас, как солнечный свет кроту.

— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.

— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения боятся только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.

Парасковья Петровна поднялась со ступеньки.

1958

Суд

1

Через ржавую лесную речонку была переброшена шаткая лава. Собаки, поджав хвосты, осторожно пробирались по жердям. Та, что шла впереди, низкорослая, грязно-желтой масти, останавливалась и тоскливо оглядывалась. Хозяин собак, старый охотник-медвежатник Семен Тетерин, заинтересованно следил за ней.

— Гляди ты, боится, стервоза,— удивленно и задумчиво произнес он.— Это Калинка-то. На-кося!.. Иди, телка комолая, иди! Чего ты?..

— Непривычная обстановка,— сообщил не без глубокомысленности фельдшер Митягин.

— Чего там непривычного! Ну, сорвется — эка беда. Не такие реки переплывала. Хлебала лиха на своем собачьем веку. Дурь нашла...

Третий из охотников лишь молча перевел взгляд с собак на хозяина.

Сняли ружья, бережно приставили к изрытому стволу матерой березы, опустились на прогретую за день траву. Собаки, перебравшиеся через лаву, бодро подбежали, вывалив языки, улеглись возле тяжелых сапог Тетерина.

Собаки, Калинка и Малинка, мать и дочь, совсем не походили друг на друга. Дочь, Малинка, крупнее матери, темнее мастью, выглядела солиднее, старше. До сих пор казалось странным, что медвежатник хвалит только Калинку, тощую, неказистую, с неопрятно торчащими клочьями шерсти на хребте. Но теперь, когда обе собаки легли рядом, стало видно: в разрезе длинной и узкой пасти Калинки, с выброшенным влажным языком, с желтыми клы-

ками и черными брылами, было что-то безжалостно жестокое, какая-то особая холодная хищность, которая поражает, если внимательно вглядываться в челюсти матерой щуки; узкие, словно кожа туго подтянута к ушам, глаза скользят по лицам охотников с угрюмым безразличием, в них нет и намека на привычную собачью ласковость. Наверное, ни одному постороннему человеку не приходило досужее желание протянуть руку к этой удлиненной, с зализанным лбом морде и потрепать по-дружески. Неприятный характер, но и незаурядный — поневоле веришь, что такая не отступит перед волком, без оглядки кинется на медведя. Гладкая, ширококостная Малинка по сравнению с матерью — бесхитростное существо, воплощенное добродушие.

Над небольшой полянкой возвышались две березы. Одна — коряво могучая, заполнившая листвой и ветвями все небо над головами охотников. Вторая — в стороне, под берегом, по пояс в высоких кустах. На объемистом, в полтора обхвата, дуплистом стволе клочьями висит жесткая кора, сучья — словно сведенные судорогой костлявые руки, ни одного листочка на них. Быть может, она мать могучей березы, почтенная прародительница молодой поросли. Десятки лет назад ее корни перестали гнать из земли по стволу соки, дающие жизнь, а дерево продолжает упрямо стоять и мертвое не падает.

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воздухе пахло грибами и прелой хвоей. Что-то отяжелевшее, покойное, как дремота после обильного обеда, чувствовалось в природе. Ели бессильно повесили грузные лапы, на раскинувшейся в небе березе не шевелился ни один лист. Только умильное, убаюкивающее воркование упрятанного в кустах ивняка тайного перекатца, только комариный писк над головой — немота кругом.

Охотники, лениво развалившиеся прямо на девственной лесной дороге, плотно заросшей мягкой травкой, испытывали смутную, пьянящую свободу. Нет забот, не о чем думать, просто живешь, ловишь лицом лучи солнца, вдыхаешь запах грибов — собрат этим суровым елям, частица нетронутой природы, растворяйся в ней без остатка. Лишь комары досаждают да легко щекочет нервы сознание, что впереди ждет необычное дело — ночная охота на медведя. Недаром же под березой маслянисто поблескивают стволы ружей.

2

Села, деревни, починки, поля, луга, выгоны Густоборовского района — все утонуло в лесах. Сквозь леса робко пробираются проселочные дороги, петляют по ним застойные, с темной водой, речонки, в глуши блестят черные зеркала болотистых озер. Хвойный океан захлестнул человеческую жизнь, даже охотники — а их немало в этом краю — чувствуют себя гостями в лесу, не отваживаются далеко отрываться от дорог. Один лишь Семен Тетерин, самый известный среди местных охотников, может сказать, что знает леса: всю жизнь провел в них. По берегам мрачных озер, в глухоманях таинственных согр он своими руками поставил рубленные из сосняка избушки. Они так и зовутся по деревням «тетеринки» — Кошелевская тетеринка (стоит на озере Кошеле), Губинская тетеринка (возле Губинского болота), Липовая, Моховая, Прокошинская... В какую бы глушь ни занесло Семена, в трескучие морозы зимних ночей или в проливные осенние дожди, он добирался до ближайшей тетеринки, растапливал каменку, сушился, варил хлебово, чувствовал себя дома.

Если Семен Тетерин по-своему владычествовал над лесами, то лежавший напротив человек рано или поздно должен уничтожить его владычество. Этого человека звали Константин Сергеевич Дудырев.

Всего год назад маленькая деревня Дымки ничем не отличалась от других деревень — Кузьминок, Демьяновок, Паленых Горок. В ней темные бревенчатые избы глядели с берега в кувшиночные заводи реки, в ней была всего одна улочка, проходила одна дорога — грязная во время дождей, пыльная в сухие дни. Как и всюду, в ней горланили петухи по утрам, с закатом солнца возвращались с поскотины коровы. Кто мог подумать, что эту самую неприметную деревню ждет необычная судьба. Не в Кузьминках и не в Демьяновке решили строить громадный деревообделочный комбинат. Рядом с бревенчатыми избами выросли щитовые дома, закладывались фундаменты для кирпичных пятиэтажных зданий, на кочковатом выгоне экскаваторы, задирая ковши, принялись рыть громадный котлован. Новые и новые партии рабочих прибывали со стороны — разношерстное, горластое племя. Даже застенчивое название

Дымки исчезло из обихода, заменилось внушительным — Дымковское строительство. А начальником этого строительства стал Дудырев — всемогущая личность.

Много лет руководители Густоборовского района мечтали наладить дорогу от районного центра до железнодорожной станции. Пятьдесят километров твердого покрытия, чтобы не ломались машины, чтоб городок Густой Бор осенью не был отрезан от остального мира. Велись подсчеты, посылались запросы, разводили руками — нет, не осилить! А Дудырев едва только приступил к делу, как сразу же проложил не только дорогу, а навел железнодорожную ветку. Об этом и мечтать не смели... Он пустил рейсовые автобусы от Дымковского строительства до Густого Бора, от Густого Бора — до станции. Он встряхнул сонную жизнь районного городка, наводнил его новыми людьми. Секретарь райкома и председатель райисполкома держались при Дудыреве почтительно, колхозные председатели, даже самые уважаемые, как Донат Боровиков, постоянно крутились вокруг него, старались услужить — авось перепадут крохи с большого стола, авось разрешит отпустить цементу, гвоздей или листового железа, что у сельхозснаба, облейся горючими слезами, не выпросишь.

Дудырев только развернул дело. Он еще выбросит в глубь лесов «усы» узкоколеек. Он перережет леса просеками. Его комбинат будут обслуживать четыре леспромхоза с десятками новых лесопунктов, разбросанных по тем местам, где теперь лишь стоят одинокие тетеринки. Рычание трелевочных тракторов, визг электропил, гудки мотовозов распугают медведей. Кончится владычество Семена Тетерина.

Оно кончится, но не сегодня и не завтра. А пока Семен Тетерин и Дудырев, прислонив ружья к стволу березы, бок о бок отдыхают, отмахиваются от комаров.

На людях Семен Тетерин ничем не выделяется — не низкоросл и не тщедушен, но и не настолько могуч, чтобы останавливать внимание. Одна обветренная скула стянута грубым шрамом, отчего правый глаз глядит сквозь суровый прищур. Шрам не от медведя, хотя Семен на своем веку свалил ни много ни мало — сорок три матерых зверя, да еще пестунов и медвежат около двух десятков. Шрам — с войны, осколок немецкой мины задел Семена Тетерина, когда он вместе с другими саперами наводил мост через Десну.

Дудырев похож на рабочего со своего строительства. Выгоревшая кепка натянута на лоб, поношенный, с мятыми лацканами пиджак, суконное галифе, резиновые сапоги. Новенький, хрустящий желтой кожей патронташ он снял и бросил под березу, к ружьям. Лицо у него крупное, неотесанное, угловатое, истинно рабочее, только маленькие серые, глубоко вдавленные под лоб глаза глядят с покойной, вдумчивой твердостью, напоминая — не так-то прост этот человек.

Третьим был фельдшер Митягин, сосед Семена Тетерина. Он лыс, мешковат, в селе на медпункте в белом халате выглядит даже величавым. Старухи, приходящие из соседних деревень, робеют перед ним, даже за глаза зовут по имени и отчеству, считают его ученым. «Куда врачихе-то, что из района приезжает, до нашего Василия Максимовича. Девка и есть девка, нос пудрит да губы красит, поди одни женихи на уме-то...» Но, кроме старух, Василий Митягин ни у кого уважением не пользовался. Ребятишки по селу в рваных штанах бегают, а сам любит выпить. Добро бы еще пил с умом, а то выпьет да непременно куражится: «Мы-де, практики, за голенище заткнем тех, кто институты-то прошел...» Несерьезный человек.

Митягин давно уже по-соседски упрашивал Семена Тетерина взять его на медвежью охоту, говорил, что в молодости баловался, уверял — не подведет. Семен дал ему свою старенькую одностволку, наказал: «Не вздумай лезть наперед, не на зайца идем. Меня держись, каждое слово лови...»

Сейчас Митягин не обращал внимания ни на тишину, ни на воркование переката,— должно быть, не испытывал радостного чувства свободы, а понимал лишь одно, что сидит в почтенной компании, на физиономии выражал значительность, старался глядеть умно, даже комаров припечатывал на лысине с достоинством.

3

Мало-помалу завязался разговор, благодушный, необязательный, просто потому, что молчать уже надоело. Начали о Калинке...

— У собаки инстинкт, то есть на обычном языке — привычка,— поглядывая краем глаза на Дудырева, вну-

шительно принялся объяснять Митягин.— На лаве испугалась, значит, сказался инстинкт страха. Павловский рефлекс. Так-то...

— Значит, по-твоему, Калинка привыкла пугаться? Эко! — усмехнулся Семен.

— Не просто привычка, а особая, врожденная...

— Ну, мели, Емеля, еще и рожденная. А почему не только наши охотники, но из-под Жмыхова, за семьдесят километров, с поклоном ко мне подъезжают: продай, ради Христа, щенка от Калинки. Они что, урожденный страх сторговать хотят? Весь помет от Калинки на отличку — храбрее собак нету.

— Нельзя, брат, судить, так сказать, с высоты собачьей позиции. Я научную базу подвожу...

Но тут заговорил Дудырев, и Митягин почтительно замолчал на полуслове.

— Храбрость... Трусость... Одно слово — как наградной лист, другое — как выговор в приказе...

— Именно,— на всякий случай осторожно поддакнул фельдшер.

Дудырев лежал на спине, заложив одну руку под голову, другой нехотя отгонял комаров.

— Помню, во время войны один из наших офицеров-разведчиков говорил: страшен не тот, кто стреляет, а кто поджидает. Который стреляет, мол, понятен — хочет убить, сам боится быть убитым, такой же живой человек, как и ты. А вот затаившийся, поджидающий — неизвестен, непонятен. Непонятное, таинственное — самое страшное. От страха перед непонятным люди и бога выдумали и чертей...

— Именно,— снова поддакнул Митягин.

— Скажи,— Дудырев приподнялся на локте, повернувшись к Семену,— ты вот во всяких переделках бывал, шестьдесят медведей свалил, случалось тебе себя потерять, испугаться до беспамятства?

Семен Тетерин задумался.

— Себя терять не приходилось. Потеряйся — не сидел бы я тут с вами в холодке.

— Не может быть, чтоб ты ни разу не боялся.

— Бояться-то как не боялся, чай, тоже человек, как и все.

— А ну-ка...

— Да что — ну. Всяко бывало. Ты, Максимыч, должно быть, помнишь, какого я хозяина приволок в то лето, когда Клашку замуж отдавал?

— Как не помнить. Уникальный экземпляр.

— То-то, экземпляр. Развесил бы меня этот экземпляр по всем кустам да елкам. С лабаза бил. А разве уложишь с первого выстрела? В плечо всадил. Слышу — рявкнул да в лес. Я с дерева да за ним. Пошла у нас, как водится, веселая игра в пятнашечки. Бежит он, а по всему лесу треск, словно в пожар. Я взмок, ватник бы с плеч скинуть, да времени нет: ремень надо расстегнуть, топор за ремнем... Нагоняю в березнячке, всадил заряд из второго ствола, а тут душа зашлась. Березнячок-то молоденький, а башка-то у него, ну-ко, выше березок. Я ружье переломил, патрон вставляю, глядь, а патрон-то заклинило, не закрою никак ружье. А он идет, лапы раскорячил, чтоб пусто было, вот-вот обнимет... Бросил я ружье, топор из-за пояса хвать... Чего там топор, когда я ему чуть повыше пупка макушкой достаю. Изба избою, колокольня ходячая опустится сверху — будет заместо меня мокрая лужа средь кочек. Размахнулся я топором и закричал... Закричишь, коли жизнь дорога. Убью-де, такой-сякой! С матерком на весь лес... И надо же, видать, крепко шумнул, он шмяк на четвереньки да от меня. А я глазам не верю, каждая косточка дрожит, руки не слушаются, топорищем за пояс не попаду...

Семен Тетерин замолчал. На лице, темном, обветренном, со скулой, стянутой шрамом, блуждала невнятная ухмылочка. Дудырев и Митягин притихли. Им невольно представилась картина: ночной вымерший лес, могильная тишина и крик. Этот крик настолько свиреп, что проник в мозг раненого зверя, мозг, затуманенный болью, отчаянием. Ярость против ярости, сильное животное против еще более сильного.

Дудырев оборвал молчание:

— И все-таки убил его?

— А куда ему деться? Возле Помяловского оврага прижал. Тут уж, шалишь, ружье не забаловало. Домой привез, шкуру снял, прибил под самую крышу, так задние-то лапы траву доставали. То-то народ дивился...

— Уникальный экземпляр, что и говорить,— вздохнул Митягин.

В это время со стороны донеслись звуки гармошки. Чьи-то неумелые руки выводили однообразно бездумное «Отвори да затвори...». И было в этих звуках что-то простое, бесхитростное, родственное лесу, как шум переката в кустах.

— Эк, какого-то игруна сюда занесло,— удивился Семен.— Из Пожневки, должно.

На опушку вышел парень в суконном не по погоде черном костюме, отложной воротничок чистой рубахи выпущен наружу, широкие штанины нависают над голенищами сапог, в руках поблескивающая лаком хромка, круглое лицо лоснится от пота.

— Так и есть, из Пожневки,— сообщил Семен.— Бригадира Михайлы сын, трактористом работает... Эй, малый! Куда ты так вырядился? Не с лешачихой ли на болоте свадьбу играть?

Парень, неожиданно налетевший на людей, сначала смутился, потом степенно поправил на плече ремень гармони.

— Куда? Известно, в Сучковку.

— Чай, там вечерку девки устраивают?

— А чего ж.

— Вот оно, дело-то молодое. От Пожневки до Сучковки, почитай, верст десять, а то и все пятнадцать. С ночевкой поди у зазнобушки?

— Где там с ночевкой, утром к семи на работу надо.

— Лих парень!

Семен Тетерин смотрел с откровенным восхищением, как человек, увидевший свою молодость. Митягин снисходительно ухмылялся. Дудырев не без любопытства разглядывал. Ему этот парень в своем праздничном наряде, так не подходящем к лесу, напоминал чем-то кустарную игрушку, одну из тех комично торжественных, покрытых лаком аляповатых фигурок, которые теперь входят в моду у горожан.

— А мы в ваши края,— сообщил парню Семен.

— Знаю. Отец сказывал.

— Не отпугнули от укладки зверя-то?

— Никто близко не подходил.

— То-то... Шагай, не то, гляди, запозднишься,— милостиво отпустил Семен.

— Поспею... Удачи вам.

— И тебе того же.

Парень подтянул повыше ремень хромки и зашагал дальше. Вскоре за лавой раздалось незатейливое: «Отвори да затвори...»

Семен Тетерин поднялся с земли...

— Пора и нам. Солнце-то низко. Как раз ко времени поспеем.

Собаки бодро вскочили на ноги. Охотники разобрали ружья.

4

Три дня тому назад на дом к Семену Тетерину заехал Михайло Лысков, бригадир из деревни Пожневки, и сообщил, что вторую неделю на их поскотине погуливает медведь. До сих пор мял овсы, пугал женщин, ходивших на покосы, а прошлой ночью заломал годовалого телка. Часть сожрал, часть припрятал, как водится, забросал дерном и мхом, чтоб, когда мясо попритухнет, наведаться и всласть полакомиться.

— Заходи в деревню, сам тебя наведу на место,— пообещал бригадир.

— Зачем мне наводчики? Расскажи — смекну. Чай, ваши места знаю, как свой двор.

И бригадир рассказал, что медвежья «укладка» лежит в конце оврага, шагах в двадцати от опушки, что медведя можно встретить и в овсах и в малиннике, который вырос на горелом месте.

— Все друг от дружки рядом — и укладка, и овсы, и малинник. Видать, уходить не собирается. Найдешь без промашки. Убери его — нам покойней и тебе, глядишь, добыча.

— С собаками пойду,— решил Семен.

Летняя охота на медведя обычно ведется тремя способами: с капканами, с лабазов, с собаками.

Охоту с капканами Семен Тетерин презирал: «Эка сноровка — зверя свалить, когда он лапу в железе увязил. Капкан-то цепью к бревну приклепан. Поволочит бревно, умается, подходи вплотную и лупи в упор. Срамота, а не охота...»

С лабазов охотиться труднее. Лабаз — дощатый настил, пристроенный на дереве, растущем возле того места, куда повадился ходить медведь. Охотник еще до захода солнца прячется на лабазе и ждет. Но нельзя никогда рассчиты-

вать, что первый же выстрел уложит зверя наповал. Дашь промах — успеет уйти, ранишь — нужно догонять. А раненый хозяин опасен...

Семен Тетерин считал, что с собаками охотиться проще, чем с лабазов, вернее и не в пример интереснее. При собаках никогда не потеряешь след, они связывают медведя, отвлекают его. Хорошо натасканная собака у медвежатников ценится дороже коровы, а Калинке и вовсе цены не было. Она пользовалась славой едва ли не меньшей, чем сам Семен Тетерин.

Семен прикинул, что именно в эту ночь хозяин должен навестить свои запасы. Он уверенно вел охотников, однако не спешил. Лучше прийти к месту позже (собаки все равно наведут по следу), чем нагрянуть до времени, спугнуть зверя. Ищи тогда вслепую по лесу, надейся на удачу.

Ночь в лесу, как всегда, ползла снизу, из-под корней деревьев. С застывших облачков еще не слинял закатный румянец, а на дороге едва-едва различишь собственные сапоги. Густеет тьма, из всех пор истекает земля черноземным жирным мраком. Мертв лес в эти часы, ни птичьего свиста, ни шума ветра — глухая пустыня. Здесь гуляет в одиночестве большой зверь, лохматое, сильное, дикое существо. Он не сказка, не вымысел.

Митягин отставал, спотыкался о корневища, влезал лицом в колючие еловые лапы, вполголоса чертыхался и уже жалел, что напросился на это хлопотливое дело.

Дудырев считал себя бывалым охотником: не только бил зайцев и уток, эту бесхитростную добычу всех, кто знает, с какого конца держать ружье, но в степях участвовал в отстреле сайгаков, на уральских озерах снимал с лету диких гусей, как-то по лицензии с компанией загнал матерого лося. Давно мечтал выйти на медведя, но все не удавалось.

Сейчас он шел, ни на шаг не отступая от Семена, старался перенять легкую и бесшумную поступь медвежатника, но молчаливый лес угнетал и его. Не понять, куда идут, где зверь, как можно на него наткнуться среди этой чащобы, в этой дегтярной тьме. Ничего не сообразишь, словно слепец за поводырем, целиком зависишь от чужой воли.

Часто впереди можно было разглядеть собак. Они дожидались Семена и, едва тот подходил к ним, снова растворялись в лесу.

Семен остановился. Дудырев тоже. Митягин налетел на него сзади, по привычке выругался.

— Нишкни, Максимыч! — суровым шепотом приказал Семен.— Ни слова больше.

— Туда ли идем? — чуть слышно посомневался Дудырев.

— Пришли, считай. Теперь слушай собак. Как голос подадут, ну, тогда — не отставать.

Семен тронулся вперед. Шагали с осторожностью, на каждый хруст ветки под сапогом медвежатник грозно оглядывался.

Неожиданно мрачный лес раздвинулся, охотники вышли на поле. Светло, тихо, покойно. Поле овса — матовое озеро средь вздыбленных черных берегов. Здесь уже не дикое царство медведя, а свое, родное, человеческое. Невольно Митягин и Дудырев ощутили бодрость.

А до сих пор скорый на ногу Семен Тетерин вдруг пошел медленно, вскинув высоко голову, расправив плечи, вытянувшись — ни намека на прежнюю сутуловатость. Он напоминал сейчас собаку, подбирающуюся к камышам, в которых засели утки.

Так прошли все поле, снова уперлись в лес — монолитно темный, пугающий. Жидкая, падающая изгородь отделяла поле от леса. Семен остановился возле нее; вытянув шею, поводя подбородком из стороны в сторону, стал прислушиваться.

На небе проступили крупные бледные звезды. Далеко-далеко утомленно и печально кричал дергач. От плотной стены густого ельника тянуло сыростью. Медвежатник нервно прислушивался, а кругом — сонная и вялая тишина, один лишь коростель невесело исполнял свою ночную обязанность.

Легкий треск со стороны леса — все обернулись, но за изгородью показались собаки. Они деловито подбежали к Семену, и тот, не приглушая голоса, с досадой выругался:

— Что за оказия!.. Иль я дурака свалял, иль Михайло чего напутал... Пошли посмотрим, что ли. Есть ли хоть укладка-то?

Семен перемахнул через изгородь и двинулся в глубь леса прежним легким и быстрым шагом. Собаки послушно бросились вперед, исчезли в темноте. Дудырев нагнал Семена, снова спросил:

— Да туда ли попали? Про овраг же говорилось...

— Вот он, овраг,— сердито тряхнул головой Семен.— Лозняком зарос. Тут он кончается, и днем-то сразу не приметишь.

В чаще заворчали собаки. Семен круто свернул, принялся ломиться прямиком сквозь ветви.

— Кыш, пакостницы! Обрадовались! — раздался его голос.

Когда Дудырев и Митягин продрались сквозь чащу, Семен стоял на обочине крохотной прогалинки и задумчиво пошевеливал сапогом землю.

— Цела укладка, — сообщил он.

— Не приходил?..

— Спугнули его иль...

— Или?..

— Иль зажрался, сукин сын. Время-то не голодное, тут тебе и малина поспела, и черника, и овсы как раз выколосились. Жри — не хочу. Побаловал и забыл.

— Как же мы теперь найдем его? — спросил Дудырев.

Семен угрюмо промолчал, пошевеливая носком сапога мох. В сыром, пронзительно свежем воздухе тянуло приторной вонью.

— Ишь разит. Самая сладость для него,— повторил Семен.

— Так что — неудача? — допытывался Дудырев.

Медвежатник разогнулся, поправил на плече двустволку.

— Будем по лесу шарить... Чего расселись? Марш отсюда! — прикрикнул он на собак. Уже спокойнее добавил:— Для началу малинник прочешем.

Снова чащоба, снова лезущие в лицо еловые лапы, стволы деревьев, вырастающие на пути, перепутанная корневищами, в ямах и кочках земля, мрачная тишина кругом. Лес сырой, отчужденный, точно такой, каким был полчаса назад, но сейчас он не давил на мозг, не пугал. Нет поблизости зверя, исчезла тайна, пропала душа, осталась одна оболочка. Чувствовалось, что Семен Тетерин спешит из упрямства, с досады. Дудырев и Митягин по привычке подчинялись ему.

Высокий лес перешел в кустарник, стало светлее, но зато на каждом шагу попадались выворотни и залитые водой бочажки. Здесь лет пять назад был пожар, мертвые, обугленные сосны попадали, земля заболотилась, поросла ольхой и кустами малины.

Вдруг Семен так внезапно остановился, что Дудырев ударился о его широкую каменную спину.

В глубине леса раздался лай собак, два голоса: скрипучий, сухой и жесткий — Калинки, бодрый, с подвизгиваниями — Малинки.

— Наткнулись-таки,— вполголоса обронил Семен и, продолжая вслушиваться, медлительно потянул с плеча ружье.— На след наткнулись... Ну... не отставай...

Он бросился не на голоса собак, а куда-то в сторону. Дудырев побежал за ним, но сразу же потерял его из виду.

— Где вы? — донесся до него сердитый голос.— Держись меня, так вашу перетак!

Дудырев рванулся на голос, нагнал медвежатника. Хлещущие по лицу ветви, кусты, трухлявые пни, попадающиеся под ноги,— через пять минут стало жарко, кровь застучала в висках, но Дудырев ломился вперед, ловил звук шагов Тетерина, не отставал...

5

А Митягин сразу же отстал. Он выскочил на довольно широкую тропу, корявую, в каменистых буграх засохшей грязи. По ней бежать было все же легче, чем продираться сквозь чащу. И он побежал, ловя невнятный, как сквозь стену, лай собак. Лай удалялся. Митягин прибавлял скорость, надеясь обогнать Тетерина и Дудырева, которым приходилось бежать лесом.

Но вот ветки снова стали хлестать по лицу, стволы деревьев — задевать за плечи. Митягин влетел в самую чащобу, остановился, переводя дыхание. На весь лес стучало сердце. И вдруг он почувствовал, что стук собственного сердца — единственный звук среди могильной тишины. Собачьего лая не слышно.

Митягин повернул обратно, наткнувшись несколько раз на стволы березок и напоровшись на недружелюбно колючие, мокрые ели, скатился в неглубокий овражек. Разогнулся и понял — заблудился. Тропа растаяла под ногами. Ее, должно быть, протоптал скот, она вела просто в глубь леса, а потом исчезала.

Нельзя было увидеть протянутой руки. Вверху безучастно шумел ветер хвойными вершинами. Один среди леса, огромного, как море. Где-то, километрах в пяти-шести, деревенька Пожневка, окруженная полями, но где, в какой

стороне? Легче всего ее проскочить, а тогда лес, лес и лес на десятки, а то и на сотни километров. Одинокий человек в нем — как сорвавшаяся блесна среди громадного озера: ищи месяцами, не отыщешь.

Шумел ветер хвоей, в просвете между черными вершинами насмешливо подмигивала звезда.

— Се... Се-мен! — крикнул Митягин.

Голос был слабый, плачущий, сырая ночь впитала его. Да разве услышит Семен, когда ломится на собачий лай вслед за медведем, разве можно пробить криком эту вязкую, как смоль, темень!

— Се... Се-мен!

Шумит ветер наверху.

Митягин бросился вслепую, ломая ветви, падая, подымаясь...

Сбоку плотная стена леса прорвалась. Митягин повернул на просвет. А вдруг да он сделал крюк, вдруг да выскочит на то самое поле овса.

Но это была поляна, узкая, стиснутая лесом, заросшая высокой жесткой травой. Посреди нее — редкая кучка елей, купающаяся в сером, густом, как кисель, тумане. Зловещей заброшенностью веяло от всего. Особенно испугала Митягина высокая трава — покосы кончаются, а здесь коса и не проходила, занесла же нелегкая к черту на кулички!..

И в это время послышался собачий лай. Митягин, не задумываясь, бросился в сторону лая...

Далекие собачьи голоса приближались. Можно было разобрать короткое жесткое тявканье Калинки. Митягин бежал по мокрой траве, хлеставшей его по коленям. Молодые елочки средь распластанного тумана плясали перед глазами.

Неожиданно одна из темных елей сорвалась с места и кургузым бесформенным комком покатилась навстречу. Митягин бежал прямо на нее, но вдруг сообразил, прилип к месту. Да ведь это же медведь. Он совсем забыл о нем!

Медведь отмахивал грузным галопом, вскидывая зад. Митягин судорожно стал срывать с плеча ружье, оступился, упал на траву, замер... Рядом послышались тяжкие удары мягких лап о землю, громкое сопение...

Промчались лающие собаки...

Митягин нащупал в траве ружье, распрямился. Из тумана вынырнула сначала одна фигура, за ней другая. По

войлочной шляпе узнал Семена Тетерина, Дудырев бежал за ним шагах в десяти.

Они не обратили внимания на выросшего словно из-под земли Митягина. Тяжело дыша, с шумливой суетой проскочили мимо. Митягин рванулся за ними. Теперь он знал — не отстанет ни на шаг.

6

Проснулась сила предков. Дудырев перестал быть обычным человеком, сам превратился в зверя — злого, жаждущего крови, выносливого. Пот заливал глаза, ветви хлестали по лицу, сучья рвали пиджак, а он бежал, бежал, не чувствуя ни боли, ни тяжести резиновых сапог, перемахивал через кочки, через поваленные стволы деревьев, через пни. Он слышал только собачий лай и еще не видел медведя, но всей кожей ощущал его близость и его обреченность. Не уйти ему от собак, рано или поздно нагонят, а там...

Потные руки сжимают ружье. Впереди Семен Тетерин. Он так сильно подался вперед всем телом, что ждешь — вот-вот упадет, но не падает. Бег его кажется легким, летящим — никак не нагонишь.

Отставший где-то Митягин вдруг почему-то оказался рядом, побежал следом, чуть ли не наступая на пятки.

Лай собак превратился в осатанелый визг. Летящий над высокой травой Семен Тетерин споткнулся, распрямился, уже не побежал, а пошел вперед приплясывающей походочкой, неся на весу ружье. Дудырев перевел дыхание, смахнул рукавом пот с лица. Он понял: собаки нагнали медведя, будет встреча. Захлебывающийся от ярости собачий лай доносился с конца поляны, от самой опушки. И хотя глаза совсем привыкли к темноте, Дудырев сначала никак не мог понять, где собаки, где медведь. Он видел лишь какое-то шевеление среди деревьев. Молодая березка, как в сказке, кланялась и подымалась навстречу приближавшемуся с ружьем Семену Тетерину. Но вот Дудырев различил среди травы спины собак и сразу же отчетливо увидел всю картину...

То, что он принял сначала просто за темный провал в опушке, был стоящий на задних лапах медведь. Собаки захлебывались, рвались к зверю, но держались-таки на поч-

гительном расстоянии. Медведь, ухватив обеими лапами ствол березки, ломал ее, гнул из стороны в сторону, словно гигантским веником отмахивался от собак.

Дудырев не успел добежать до Семена, как тот вскинул ружье, замер, словно заснул на секунду возле приклада... От красного пламени подпрыгнул лес, тугой звук выстрела ударил в уши, отозвался где-то далеко за спиной. И еще отзвук выстрела не стих, а продолжал метаться в конце поляны, как прозвучало болезненно-свирепое, короткое, как кряканье с надсады, рычание медведя. Собаки с раздирающим душу визгом бросились на него и отскочили...

— Ах, чтоб тебя! — с болью крикнул Семен.

Медведь словно повалился на землю. Из лесной чащи доносился одинокий визгливый лай. Полусломанная березка печально качалась в воздухе.

Семен, осторожно ступая, прошел под самую березку, опустился коленями на траву, пригнулся. Подбежавший Дудырев разглядел в траве распластанное собачье тело.

— Эх ты, оказия... Надо же, напоролась. Глупая, без сноровки... Небось Калинка не подвернется... Все нутро, стервец, выпустил. Дурной знак, дурной... Слышь...— Семен повернулся к Дудыреву:— Добей, чтоб не мучилась. У меня рука не подымется.

Он поспешно вскочил на ноги, отступил в сторону.

Дудырев приставил ружье к собачьей голове, увидел, что она доверчиво приподнялась, различил мерцающий в сумерках глаз, невольно зажмурился сам и, поспешно нащупав спусковой крючок, выстрелил из одного ствола.

По мокрой траве расползался пороховой дым. Семена уже рядом не было. Неподвижно стоял в стороне Митягин. Надломленная и перекрученная березка все еще качалась. В глубь леса удалялся визгливый лай Калинки. Она преследовала по пятам зверя.

Первым сорвался Митягин. Дудырев, не успев перезарядить двустволку, с одним патроном в стволе, бросился догонять. Охота продолжалась.

7

Медведь был ранен и уже не мог оторваться от собаки. Иногда лай прерывался осатанелым визгом, за которым следовало секундное молчание. Затем снова лай с возрос-

шей яростью, силой, упрямством. Это медведь пробовал напасть на собаку. Калинка увертывалась.

Они наткнулись на глубокий овраг и погнали зверя вдоль него. Вдруг сиплый визг Калинки возвысился до злобного торжества, потом стал глуше, словно собака провалилась сквозь землю.

— Никак, в овраг скатился...— Семен круто остановился.— Так и есть! — Он, повернувшись к Дудыреву, жарко задышал прямо в лицо.— Я вверх оврага проскочу, перехвачу его. А вы здесь спускайтесь. Услышите, что на вас идет,— пугайте издалека. В воздух бейте. Гляди же, издалека. А то в тесноте да в темноте, чего доброго, заломает вас. Ну, марш!

Склоны густо поросли ольхой, снизу тянуло влажной, затхлой прелью, как из погребной ямы, где лежит прошлогодняя картошка. Как ни привыкли глаза к темноте, но в овраге мрак был особый, густой, слежавшийся. Мир исчез — здесь преисподняя. Шуршит под ногами галька, лезут в лицо сухие сучья, прерывисто посапывает за плечами испуганный Митягин.

— Ну и местечко,— шепотом, выдававшим душевный озноб, обронил он.— Могила.

Совсем неожиданно глухой доселе собачий лай прорвался, стал явственным. Но в этом задушенном темнотой и застойной сыростью подземелье не понять — далеко ли, близко ли лает собака.

— Стреляем? — тем же шепотом спросил Митягин.

Дудырев не ответил. Стрелять? А вдруг рано, вдруг да отдаленные выстрелы не испугают зверя, а насторожат, он не бросится опрометью назад, а полезет по склону вверх? Что тогда подумает Семен? Издалека палили, подпустить ближе боялись? Лучше выждать...

Лай слышался отчетливо, и опять не разберешь, приближается ли он. Дудырев сдерживал нервную дрожь: если медведь наскочит внезапно, вряд ли удастся увернуться — сомнет, переломает, он ранен, взбешен.

Дудырев вспомнил — в ружье всего один патрон. Если промахнется, то шабаш — не прикладом же отмахиваться от зверя. Он переломил двустволку, начал слепо нашаривать рукой патроны, но патронташ съехал набок, никак не удавалось расстегнуть клапан.

В эту минуту впереди что-то хрястнуло, обвалилось. Охрипший собачий лай, ворчание — медведь рядом, а

ружье переломлено! Задев плечом, чуть не сбив Дудырева с ног, рванулся в сторону Митягин. Ружье переломлено... Хватаясь рукой за кусты, упираясь в землю коленками, Дудырев полез вверх по склону.

Треск, хриплое, прерывистое дыхание, надрывный — почти плач озлобления и бессилия — лай. Снова треск, злобное рычание, но уже дальше...

Лай Калинки стал глохнуть. Тут только Дудырев понял и чуть не застонал от стыда. Испугался, очистил дорогу, зверь прошел, даже не заметив его.

Двустволка была не закрыта. Дудырев с досадой защелкнул ее. Много лет мечтал о такой встрече и — на вот. Как глупо! Как нелепо! Позор! Дудырев морщился в темноте.

Семен Тетерин рассвирепел:

— Помощнички! В болото отпустили! Теперь намаемся... Лазай среди ляжин! В руках был! Пугнуть только и просил. Эх, бестолочи! Ты!..— Он налетел на Митягина, виновато трусившего в стороне.— Забыл, что ружье носишь, а не балясину? Стреляй, коль нужно, не то катись домой, не путайся в ногах! А ты, Константин, хвалился — козлищ в степях стрелял. Оно и видно — на козлищ да на поганых зайцев мастак...

Семен ругался, а Дудырев покорно молчал, не пытаясь оправдаться.

Выбежали на окраину болота. Тощие елочки редко торчали из моховых кочек. Были видны лишь самые ближние, остальные скрывала ночь. И тем не менее чувствовалось, что такой частокол из худосочных деревьев тянется на километры. Даже ночь не могла спрятать унылость болота.

Где-то в глубине этого болота продолжал звучать голос Калинки. Низкорослая, тщедушная собака с бесстрашием до самозабвения, с упрямством до помешательства одна продолжала преследовать могучего озлобленного зверя, который может легким шлепком перебить ее пополам. Плачущий лай Калинки терзал сердце Дудырева.

8

Из болота вырвались, когда ночь начала мутнеть, моховые кочки проступили отчетливее.

Калинка сорвала голос, и вместо яростного лая доносилось взвизгивание, похожее на скрип несмазанного колеса.

Грязные, мокрые, выбившиеся из сил охотники заставляли себя бежать. Теперь у каждого из них появилось озлобление против медведя; загонял, измучил, заставил месить трясину, страдать от стыда — накопилось личное, непримиримое, более серьезное, чем простой охотничий азарт.

Медведь, должно, сам измучился. Он выскочил на дорогу и бросился по ней, чувствуя одно — ему легче бежать, не соображая, что здесь охотники быстрей настигнут его.

А эта дорога вела к берегу лесной речки, к лаве, возле которой всего каких-нибудь пять часов назад охотники отдыхали, беседовали, отмахивались от комаров.

Вот и береза — под ней стояли ружья. Вот покатый склон к речке. Вот окруженное кустами высохшее дерево, в подслеповатых сумерках окостенели в бессильной корче его ветви.

Обеспамятевший медведь наткнулся на лаву — она не выдержит его, вплавь перебраться не успеет: охотники рядом. Зверь поднялся на дыбы и шагнул навстречу охотникам...

В скупо брезжущих сумерках, впереди размашистых кустов и вознесенных над ними сучьев сухостойной березы, расплывчатый, от этого еще более грозный и величественный, какой-то бесплотный, двинулся по склону. Он не рычал, не отмахивался от Калинки, которая наскоками зло хватала за ляжки и отлетала обратно,— он молча шел навстречу смерти.

Три ружья одновременно вскинулись на него. Три человека припали к прикладам...

И тут Семен Тетерин уловил за кустами «Отвори да затвори....» — бездумно веселый, глупенький звук гармошки.

— Не стреляй! — крикнул Семен.

Но было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнущий затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чащах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа навесу ружья, все еще сочившиеся дымком. И чего-то не хватало, что-то исчезло из этого скудно освещенного мира.

Заглохло наконец эхо выстрелов, словно подавившись, Калинка оборвала сиплый визг, явственно доносился гово-

рок переката в кустах... Семен, вытянув шею, с усилием вслушивался — ничего, только умильно воркует перекат.

Семен отбросил ружье, рванулся к лаве.

Над темным дымящимся бочажком лесной речки перекинуты три жерди, упирающиеся в связи из кольев. Застойная речка, неподвижные кусты, грубо сколоченная лава — нерушимый покой, уголок мирно спящего леса, редко навещаемого людьми. Пусто кругом и глухо. Только со стороны, из зарослей, ведет нескончаемую болтовню перекат.

Под тяжестью Семена настланные жерди возмущенно заскрипели. Он огляделся и в маслянисто-темной воде, по которой ползли клочья серого тумана, заметил что-то черное. Семен прыгнул с лавы, оглушил себя всплеском, окунулся с головой, достав и руками и ногами илистое дно, распрямился, громко плеская, побрел по грудь к плавающему черному предмету. Дотянулся, схватил — гармошка!

Подняв ее над головой, он пошел дальше, старательно вдавливая сапоги в илистое дно. Шаг, другой, третий... И с ужасом почувствовал, как что-то крупное, невесомое с робкой ласковостью прислонилось к нему.

Семен отшвырнул гармошку, запустил руки, пальцы сразу ощутили мягкую шероховатость сукна... С ленивым всплеском раздалась вода, показалось плечо, за ним сникшая голова с зализанными на одну сторону волосами.

Подымая эту сникшую голову, раздвигая кувшиночные листья, Семен потащил ношу к берегу.

9

Парня положили возле березы, почти на то место, где отдыхали перед охотой. Дудырев, склонившийся над ним, поспешно разогнулся, сорвал патронташ, сбросил пиджак, вылез из одной рубахи, другую, нательную, с треском разорвал на себе.

— В шею попало,— глухо обронил он.

Это были первые слова, произнесенные после выстрелов.

Митягин стоял в стороне, все еще сжимая в руках разряженное ружье. Семен, мокро шуршащий, сильно ссутулившийся, распространяя вокруг себя знобящий речной холодок, шагнул к нему, грубо вырвал из рук ружье, толкнул к распластанному на земле парню.

— Чай, фельдшер, как-никак — действуй!

Митягин упал на колени перед парнем, принял из рук Дудырева располосованную рубаху, засуетился — повернул вялую голову, низко-низко, как близорукий, склонился над раной, попросил:

— Тряпку какую намочите. Обмыть бы...

Дудырев схватил кусок рубахи, передергивая от холода голыми плечами, бросился к реке, затрещал средь кустов.

— Ах ты беда, из шеи кусище вырвало,— жалобно бормотал Митягин.— Ах, беда так беда...

— Ты шевелись, а не плачь! — подгонял Семен.

— Тут и опытный врач не поможет, куда мне... В клинических условиях не сладят...

Появился Дудырев, встал за спиной Митягина, бережно держа в руках тряпку, с которой капала вода. Его пухлую грудь и плечи жалили комары, он передергивался и ежился.

— Пульс есть ли? — спросил он.

Митягин, выпустив тряпки, поспешно ухватился за руку парня, стал щупать запястье.

— Ах, господи, господи! Не учую никак — пальцы-то дрожат...

— К сердцу прильни,— посоветовал Семен.

Так же послушно, как хватался ощупывать пульс, Митягин сдернул с лысины картуз, прижался ухом к груди.

— Эк, ополоумел! — Семен с досадой оттолкнул его.— Сквозь пиджак слушает.

Он грубо разорвал руками мокрую одежду, обнажил грудь парня.

— Теперь слушай...

Яйцевидная лысая голова долго пристраивалась, замерла... Замер сгорбившийся над Митягиным Семен Тетерин, замер продолжавший бережно держать в руках мокрую тряпку Дудырев. Снова беспокойно заелозила митягинская лысина. Семен и Дудырев не дыша ждали.

— Не прослушивается,— слабо произнес Митягин, подымая голову.

— Ну-кося! — Семен отстранил Митягина, тоже припал к груди, долго слушал, молча поднялся.

— Ну?..— с надеждой спросил Дудырев.

— Не чуть вроде — ни сердца, ни дыхания.

— Сонная артерия... Пока в воде был да пока вытаскивали, сколько крови вышло,— бормотал Митягин.

— Может, искусственное дыхание сделать? — предположил Дудырев.— Вдруг да...

Он присел, взялся за раскинутые руки парня. Но когда он коснулся этих рук, то почувствовал — холодны, едва ли не холоднее той мокрой тряпки, которую только что держал в ладонях. Дудырев выпустил руки, помедлил с минуту, вглядываясь в бледное, какое-то стертое в сумерках лицо парня, с натугой встал, передернул зябко плечами, с усилием нагнувшись, поднял с земли свой пиджак и рубахи, стал молча одеваться.

А утро послушно, по привычке наступало. Блеклые звезды глядели утомленно и неверно. Над рваной кромкой хвойных вершин расплывался свет, пока еще мутный, какой-то мыльный — не заря, лишь далекий предвестник бодрой зари. И еще довольно темно — не разглядишь росу на кустах, хотя и чувствуешь тяжесть мокрой листвы. И не проснулись еще птицы... Утро? Нет, умирание обессиленной, состарившейся ночи.

В сумеречном пугливом освещении лежал на траве парень в черном костюме с растерзанной на груди рубахой. Он казался плоским, раздавленным, только носки сапог торчали вверх. Бросалось в глаза: одна штанина заправлена в голенище, другая выбилась.

Опустив головы, стояли охотники. Их усталые, небритые лица с ввалившимися щеками были бледны той бесплотной бледностью, какая обычно бывает при брезжущем свете. Мокро лоснилась удлиненная лысина Митягина. Дудырев нахмурился, глаз не видно, под выпирающим лбом — темные провалы. Семен Тетерин сгорбатился, словно не в силах выдержать тяжести безвольно опущенных широких рук.

Семен первым пошевелился.

— Ну, дружочки мои, потешились, теперь похмелку принимай. Ты, Константин,— обратился он к Дудыреву,— скорым шагом давай в район. Что уж, докладывай без утайки кому нужно... А ты,— Семен направил тяжелый взгляд на Митягина,— крой в Пожневку. Сообщи бригадиру Михайле о сыне... Мне придется здесь куковать. Бросить все, уйти — негоже.

Дудырев угрюмо кивнул головой, а Митягин сжался.

— Ты сам, Семен, сходи... Не могу...— попросил он угасшим голосом.— Не неволь, как же к человеку с эдаким...

Семен взял Митягина за плечо, сурово вгляделся в него.

— Иль чует кошка, чье мясо съела?

— Да ведь я не один стрелял...

— Двое стреляли. Один медведя свалил, другой — человека. И сдается мне: ты с ружьем-то похуже справляешься. Иди! — Семен легонько и властно подтолкнул Митягина.

Не подняв с земли ни ружья, ни картуза, поникнув лысой головой, фельдшер покорно направился в лес. Дудырев, хмуро кивнув на прощанье, подхватив двустволку и патронташ, двинулся в другую сторону.

От убитого медведя доносилось рычание. Калинка стояла на туше, шерсть на ее спине вздыбилась, налитые кровью глаза невидяще скользнули по Семену и опять уставились вниз. Маленькая, жиловатая, она со злобным остервенением рвала медвежий загривок, торжествовала над поверженным врагом, мертвому зверю мстила за смерть дочери.

— Кыш! Стерво! — угрюмо прогнал ее Семен.

Подойдя ближе, удивленно покачал головой.

— Одначе...

Медвежий загривок был искромсан в кровавое месиво.

10

В свое время зашевелились в кустах и засвистели птицы. В свое время заалела верхушка старой березы. Туман над рекой поднялся выше кустов... Солнце вывалилось из-за леса — свеженькое, ласково-теплое, услужливое ко всему живому. По траве протянулись росяные тени.

Клочок зеленой земли в положенное время привычно изменялся, переживал свою маленькую историю, повторявшуюся каждое утро.

Странным, чуждым, враждебным этому живому радостному миру были два лежавших на земле трупа. Медведь уткнулся мордой в траву, выступая на пологом склоне бурым наростом, в его густой шерсти искрились на солнце росинки. Ранние мухи уже вились над ним. Парень распластался во влажной тени, косо повернув набок голову.

За лавой вкрадчиво закуковала кукушка, обещая кому-то долгую жизнь.

Медленно-медленно ползло вверх солнце. Семен не стал сушиться после ночного купания. Раздеваться, развеши-

вать по кустам свои тряпки, беспокоиться о себе, когда рядом лежит убитый, когда обрушилось такое несчастье.

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» — высчитывала бестолковая птица.

Семен Тетерин много видел, как умирают люди. Ему было всего шесть лет, когда его дядю Василия Тетерина, тоже лихого медвежатника, заломала медведица. Отец Семена убил ее, и это было нетрудно — медведица оказалась вся израненной. Погибнуть охотнику от зверя — смерть законная и даже почетная. Люди умирали от болезней, от старости, на фронте — каждый день убитые, но с такой обидной смертью Семен встретился впервые. Шел парень к зазнобе, кто знает, рассчитывал, верно, жениться, обзавестись семьей — и на вот, подвернулся. Не болел, не воевал, на медведей не ходил. В старину говорили: на роду написано. Пустое! Просто жизнь коленца выкидывает.

Солнце поднялось, стало жестоко припекать. Кукушка или утомилась, или улетела на другое место. Семен ждал, что с часу на час приедет отец парня — Михайло. Рано его потревожил. До приезда следователя убитого нельзя увозить. А следователь так быстро не обернется. Пока-то Дудырев добежит до райцентра, пока сообщит, пока сборы, да разговоры, да путь сюда — к вечеру жди, не раньше. Михайле терпеть до вечера, смотреть на сына. Не подумавши поступил.

Семен поглядывал на подымающееся к полудню солнце и с тоской ждал, что со стороны Пожневки застучит телега.

Но случилось так, что первыми приехали из района. За рекой раздалось натужное гудение мотора, затем мотор заглох, и послышались громкие, деловитые голоса:

— Дальше не пролезем.

— Да тут рядом.

— Вылезайте, пешком дойдем.

По шаткой лаве один за другим стали перебираться люди: длинный узкоплечий, в наглухо застегнутом кителе, с портфелем под мышкой незнакомый Семену человек; за ним, сильно прихрамывая, ощупывая толстой палкой жерди, сам прокурор Тестов, без фуражки, с копной курчавых волос, смуглолицый и бровастый, в вышитой рубашке, смахивающий на заезжего горожанина, выбравшегося на природу ради отдыха; с чемоданчиком в руке молодая женщина в пестром платье; Дудырев, мятый и грязный, без ружья, без патронташа, но уже какой-то новый, словно

подмененный,— держится свободно, неприступен; сзади всех парень в комбинезоне и покоробленных кирзовых сапогах — должно быть, шофер, что привез всех.

Дудырев подошел к Семену, бросил хмуровато:

— Вот, доставил.

— Быстро. Ума не приложу, как это обернулся...

— Дошел до Сучковки, позвонил по телефону на строительство, сказал, чтоб машину к прокуратуре подогнали, а потом сразу же связался с прокурором, попросил приехать и меня захватить заодно...

Семен кивнул головой. Он забыл, что Дудырев только в лесу, на охоте, простоват, не то, что среди людей: снял трубку — и даже сам прокурор все дела бросил. Это не Митягин. Бригадир Михайло, видать, спозаранку убежал на поля или на покосы, а он его ждет до сих пор.

Прокурор, припадая на покалеченную на фронте ногу, энергично опираясь на палку, прошел прямо к убитому, с минуту постоял молча, вглядываясь острым, оценивающим взглядом, щелкнул портсигаром, закурил, живо обернулся к Семену на здоровой ноге.

— Как же это, а?

Семен развел руками.

— Надо же, подвернулся... Тут не только ночью, а добро бы за целый день один человек пройдет. Не бойкое место.

— Ты-то опытный, должен бы сообразить.

— Сообразил. Да ведь в момент за руки не схватишь. Крикнул им, а уж готово...

— Крикнул?..— Смуглое, узкое, под густой курчавой шевелюрой лицо прокурора насторожилось, взгляд живых черных глаз обострился.— Что крикнул?

— Да как же, услышал гармошку и кричу: «Не стреляй!» Да вгорячах-то, видать, они не сообразили сразу...

Подошел высокий с портфелем, подался вперед, вслушиваясь. Прокурор значительно переглянулся с ним, повернулся к Дудыреву:

— Он действительно кричал это?

— Припоминаю — что-то кричал,— ответил Дудырев.

— Вы и гармошку слышали?

— Гармошки не слышал. А разве это важно для следствия?

— Важно,— сурово ответил прокурор.— Весь ход дела меняет. Если один мог предусмотреть, то ничего не мешало то же самое предусмотреть и другим. В нашем деле при-

ходится быть педантами. Крик был, можно сесть и в тюрьму. Иначе просто был бы несчастный случай, или, что называется на нашем языке, юридический казус.

Все вокруг него подавленно молчали.

Пока шел разговор, никем не замеченная подъехала подвода из Пожневки. Пятеро, приехавшие с машиной, Семен Тетерин да Митягин с Михайлой, прибывшие с подводой,— восемь человек. Для другого места не такая уж большая компания, но заброшенный лесной угол, должно быть, с самого сотворения мира не видел столько народу сразу.

11

Среди бела дня, при ярком солнечном свете начали обстоятельно, с самого начала, разыгрывать ту историю, которая произошла в сумерках, на рубеже ночи и утра.

Долговязый следователь по фамилии Дитятичев снял свой форменный китель, засучил рукава на волосатых тощих руках, принялся придирчиво расспрашивать Семена Тетерина и Дудырева, кто из охотников где стоял во время выстрелов.

— Так, вы здесь стояли... Здесь, значит, товарищ Дудырев... Ага, чуть в сторонке. Так, а третий... Этот третий здесь?

— Здесь,— робко выдвинулся вперед Митягин.

— Так. Припомните точней, где вы стояли... Здесь. Отлично!

Дитятичев занял место Митягина, сощурившись, словно сам целился из ружья, поглядел в сторону уткнувшегося в землю медведя. За медведем из кустов торчало сухое дерево с ободранным толстым стволом и вознесенными кривыми ветвями.

— От-лично!.. А этот зверь, не припомните, сразу упал или еще сделал несколько шагов вперед? Нам важно знать, где он стоял в то время, когда произошли выстрелы.

— Сразу вроде,— ответил Семен.

— Сразу. Так. Впрочем, мы еще установим — мгновенно у него наступила смерть или нет. Обратите внимание,— повернулся Дитятичев к прокурору,— этот товарищ... Как ваша фамилия?.. Ага, Митягин! Так вот, Митягин стоял чуть ниже Дудырева, да к тому же Дудырев выше его ростом...

Прокурор хмуро глядел поверх медведя в ствол старой березы.

— Это дерево прикрывает часть мостков,— сказал он скупо.

Следователь сразу же понимающе защелкал языком:

— Тэк, тэк, тэк!..— Отступил в сторону Митягина, вгляделся.— А отсюда мешает меньше...

— Не торопитесь с выводами. Постарайтесь установить как можно точнее, с какого места упал парень в воду.

В это время подошла врачиха с листками бумаги, которые она заполняла возле убитого. Прокурор и следователь склонились возле нее. Врачиха, молодая, с миловидным, не тронутым загаром, очень белым лицом, сосредоточенно нахмурив золотившиеся пушком брови, принялась пояснять:

— Пуля прошла с левой стороны шеи сквозь мякоть. На вылете сделала рваную рану. Перебита сонная артерия. Шейные позвонки не задеты. Смерть наступила минут через пятнадцать, если не раньше. Приходится учитывать, что погибший упал в воду, захлебнулся...

— Ясно, ясно,— перебил прокурор.— Вытащили на берег уже мертвым. Обождите минуту, займитесь вместе с Дитятичевым медведем. Будем надеяться, что пуля, уложившая медведя, застряла в нем.

Следователь рысцой побежал к лаве. Прокурор встал на место, откуда стрелял Дудырев. Они стали перекликаться.

— Я иду, Алексей Федорович! — кричал Дитятичев из-за кустов.

— Не вижу! — отвечал прокурор.

— А так?

— Не вижу!

— Я на самой середине перехода!

— Не вижу! Кусты закрывают вас целиком! По голосу чувствую, что вас как раз должен закрывать ствол дерева. Найдите какой-нибудь шест или ветку и поднимите вверх, чтоб я точно знал, где вы стоите.

Через минуту следователь поднял над кустами носовой платок, привязанный к палке. Прокурор встал там, откуда стрелял Дудырев, приказал:

— Сделайте два шага вперед.

Носовой платок продвинулся над кустами.

— Еще шаг!.. Еще!.. Стоп!.. Пострадавший мог пройти посредине лавы по крайней мере метра два под прикрытием дерева.

— Больше, Алексей Федорович! Три метра! — крикнул из-за кустов следователь.

— Проверим с другой точки.— Прокурор отошел к месту, с которого стрелял Митягин.

Снова медленно поплыл над кустами привязанный к палке платок.

— Вижу... Вижу...— бросал прокурор.

— Еще шага четыре — и лава кончится!

— Стоп!..

— Три шага до берега. Почти весь путь открыт!

— Не будем спешить с выводами. Просмотрите внимательно настил, не осталось ли где следов крови,— приказал прокурор.

Уже немолодой, долговязый Дитятичев встал на четвереньки и пополз по шатким жердям, словно обнюхивая их, временами останавливался, изучал внимательно. Так он прополз от берега до берега, поднялся, деловито стряхнул грязь с колен.

— Следов нет.— Он подошел к Семену: — Вы с какого места бросились в воду?

— Вроде посередке. Как гармошку увидел, так и прыгнул.

— Где была гармошка?

— Да в воде.

— Понятно, что не в небе. В каком месте?

— Возле середки лавы, чуть поодаль.

— А где наткнулись на тело?

— Шага через четыре к этому берегу. Тут течения-то, считай, нет — бочаг. Как шагнул, чую — прислоняется...

— Добро. Все за то, что парень в момент выстрелов находился приблизительно на середине мостков, а не возле того или другого берега.

— Оставьте эти хитроумия. Займитесь медведем да пулю найдите. Она все объяснит,— предложил прокурор.

Обступили медведя. Врачиха присела возле морды, рой мух с жужжанием взлетел в воздух.

— Что это? — удивленно показала врачиха на медвежий загривок.

— Это собака...— ответил Семен.— Покуда мы паренька из воды вытаскивали да покуда обхаживали его, она, проклятущая, лютовала на хозяина.

— Почему именно это место рвала?

— Кто ее знает. Так понравилось, видать.

Врачиха, хмурясь, осторожно стала ворочать белыми тонкими пальцами крупную, кудлатую, с грубыми и могучими формами башку зверя.

— Что за беда? Не вижу пулевого отверстия.

— Глядите, глядите. Медведь, судя по рассказам, упал замертво при выстрелах.

— Может, в области сердца. Попробуйте его перевернуть на спину, грудь осмотрю.

Общими усилиями — Семен, Дитятичев, Дудырев, шофер с машины — цепляясь за густую шерсть на боках, толкая друг друга плечами, перевернули тяжелую тушу.

Сосредоточенно нахмурившееся миловидное лицо врачихи склонилось над звериной грудью, маленькая рука медленно, вершок за вершком, ощупывала грудь, живот, бока.

— Есть! Ранена лапа! Но это же... не опасная рана. От такой бы он сразу не умер.

— Это я ковырнул. Первая...— торопливо пояснил Семен.— Еще на пожневских покосах, как нагнали, в него ударил. В голову целил, да, видать, в ту минуту лапой прикрылся. Он с этой раной часа три бегал от нас.

— Не пойму, куда же девалась та рана, смертельная? — недоумевала врачиха, продолжая медленно шарить рукой по шерстистому туловищу.

— Может, сердце сдало? И такое, я слышал, у медведей бывает,— подсказал прокурор.

— Наверно, бывает, хотя и редко,— неохотно согласилась врачиха.— Не очень-то привлекательное занятие такой туше при таких условиях вскрытие делать с моими инструментами. Поищем еще.

— Ищите. И нам интересно знать, что от пули дядько погиб, а не от своей сердечной слабости. Обе пули мимо него прошли, тогда и вовсе не выпутаешься...

— Обождите, обождите! — Врачиха ухватилась обеими руками за медвежью морду, с усилием раздвинула пасть.— Ну, так и есть! Как же я раньше-то не догадалась? Глядите! Убит! Пуля попала прямо в раскрытую пасть. Видите, выбиты передние зубы, в том числе и клык. И кажется... пуля прошла ниже глотки...

— Кромсайте! Ищите пулю! — приказал прокурор.

Врачиха сокрушенно покачала головой.

— Такие могучие кости и сочленения, а я инструменты-то взяла...

— Ищите!

Следователь присел на корточки рядом с врачихой.

Медведь лежал на самом солнцепеке. Воздух застыл от зноя. От звериной туши несло крепким, острым запахом нечистоплотного лесного животного, к нему примешивался неприятно мутящий запах свернувшейся крови. Все отошли в сторону, уселись в тени, только следователь остался возле врачихи, помогал ей. Да вокруг ходил шофер, с любопытством и удивлением приглядывался к убитому зверю.

Прокурор, вытянув на траве негнущуюся ногу, задумчиво курил. Дудырев казался тоже спокойным, но его слишком неподвижное осунувшееся небритое лицо, устремленный вперед из-под тяжелого лба замороженный взгляд, жадные короткие затяжки папиросой выдавали взволнованность.

А в нескольких шагах от них сидели рядышком и молчали фельдшер Митягин и отец убитого — Михайло Лысков. Голова Митягина безвольно поникла на грудь. Михайло устало мигал, глядя куда-то мимо врача и следователя, возившихся у медвежьей туши. Это был тщедушный мужик с задубленным, изрезанным глубокими морщинами кротким лицом, один из тех, про кого обычно говорят — воды не замутит. Все время он держался в стороне, не плакал, не кричал, не приставал ни к кому с вопросами, и о нем как-то забыли.

Семен Тетерин, всегда уверенный в себе, всегда спокойный, на этот раз чувствовал в душе непонятный разлад. Его расстраивала возня около медведя, озлоблял парень — шофер с дудыревской машины. Ходит вокруг зверя, глядит не наглядится на диковинку. Рядом же убитый человек лежит, такой же парень, как и он. Неужели медведь интереснее? Посовестился бы для виду пялить глаза. Раздражали Семена и яркий солнечный свет, и запах медведя, и долговязый следователь, и врачиха. Он постоянно ощущал присутствие Михайлы, боялся взглянуть в его сторону... Даже мальчишкой Семен не плакал. Мать, которой случалось задавать ему трепку, всегда жаловалась: «Не выбьешь слезу из ирода». А тут надрывается душа, кипят слезы, вот-вот вырвутся — это при людях-то! Вот бы подивились: Семен-медвежатник, ну-ко, слезу пустил...

Наверно, всем было нелегко, даже прокурор, посторонний к событию человек, приехавший сюда по службе, произнес со вздохом:

— Вот ведь как получается: не угадаешь, где несчастье настигнет. Чистая случайность.

Дудырев, к которому он обратился, промолчал.

В это время следователь и врачиха поднялись возле медвежьей туши. Кряхтя, с усилием опираясь о палку и ствол дерева, встал прокурор.

— Ну как?..

Следователь развел длинными руками.

— Нет пули.

— Не проглотил же ее потапыч?

— Прошла навылет. И собака-то рвала загривок потому, что там было выходное отверстие. Где кровь, рвала.

— Вы уверены, что пуля вылетела?

— Врач уверен, а я не имею права ей не доверять.

— Поискать если кругом...— несмело предложил прокурор, но, взглянув на склон позади медведя, заросший травой и молодой порослью ольхи, на буйно подымающиеся кусты по берегу речки, махнул рукой.— Бесполезно. Давайте закругляться — да домой...

Врачиха, стянув резиновые перчатки, собрав инструменты, направилась к реке мыть руки. Лицо у нее было потным и усталым.

12

Всех дома ждали дела. Всех, даже Митягина. На берегу лесной речонки остались только Семен и Михайло Лысков.

Лишь потоптанная трава да брошенные то там, то сям окурки напоминали о недавнем нашествии.

Изменилась еще поза медведя. Он теперь лежал на боку, чья-то рука прикрыла лапой раскромсанную морду. Над ней уже снова вились мухи.

Семен подошел к Михайле, выводившему из леса лошадь.

— Помочь тебе довезти парня-то? На оврагах поди один не удержишь — завалишься.

— Ну, коль нетрудно...

Они уложили на сено убитого, поудобнее приладили все время косо сваливающуюся на один бок голову. Михайло разобрал вожжи, молча тронулись в лес.

Но, не проехав и двадцати шагов, Михайло выронил вожжи, шагнул в сторонку, опустился на землю.

— Чтой-то со мной делается... Ноги не держат.

Маленький, узкоплечий, крупноголовый, с раздавленными работой кистями рук, сложенными на коленях, под глазами набрякшие мешки, крупный, мясистый нос уныло висит... И от чужого горя, невысказанного, непоправимого, безропотного, у Семена Тетерина перехватило горло. Он вновь почувствовал странный разлад в душе. Тянуло уйти в сторонку, спрятаться в лесу и без свидетелей, ну, не плакать — где уж! — а просто забыться. Семен переминался возле Михайлы, с мученическим лицом, почтительно глядя в сторону.

Михайло глубоко и прерывисто вздохнул, вяло пошевелился, стал подыматься.

— Садись, что ли, наперед,— посоветовал Семен.— А вожжи мне дай.

— Ничего. Полегчало... Дойду.

Разбирая вожжи, Михайло негромко сообщил:

— Двух-то старших у меня в войну убило... Этот последыш.

И они снова молча пошли. Михайло, придерживая вожжи, чуть впереди, Семен — отступя от него шагов на пять.

Покатые плечи, сквозь выгоревшую рубаху проступают острые лопатки, шея темная, забуревшая, походка расчетливо спорая, не размашистая, как у всех пожилых крестьян, которым еще пришлось-таки походить на веку за плугом. Семен шагал сзади, глядел в проступавшие сквозь рубаху лопатки...

Он опять вспомнил парня-шофера, разглядывавшего медведя. Медведь удивил, а беда Михайлы прошла мимо! Он даже и не заметил, поди, Михайлу, тихо сидевшего в сторонке. Спокойненько потешал себя: мол, эко чудо-юдо зверь лежит!.. Да возмутись же, обидься за другого — живая душа мается! Такая же живая, как твоя собственная. Прими ее боль, как свою. Можешь помочь — помоги, не можешь — просто пойми человека. Понять — это, пожалуй, самое важное. Совсем от бед и напастей мир не спасешь — они были, они будут! Сколько бы умные люди ни раздумывали, как бы удачнее устроить жизнь на земле, как прибавить всем счастья,— все равно и при новом счастье, и при удобно налаженной жизни дети будут оплакивать умерших родителей, красные девки лить слезы, что суженому понравилась другая, все равно станут случаться такие вот нелепицы с негаданной смертью или увечьем. Худо в беде быть едину! Ежели мир напрочь забудет эти слова,

то какие-то несчастья проще обойти, а неминуемые — вынести.

Семен не смог бы складно высказать свои мысли, он только чувствовал: что-то значительное, слишком сложное, чтоб объяснить словами, тяжело засело сейчас в нем.

До Пожневки добрались без особых хлопот. Бригадир Михайло Лысков жил на другом конце, пришлось ехать через всю деревню.

Выходил народ. Детишки, женщины, старухи медленно, с угрюмым молчанием двинулись к избе бригадира вслед за подводой.

С крыльца сбежала жена Михайлы, жидкие волосы растрепаны, ворот кофты распахнут на тощей груди. С силой расталкивая людей, она прорвалась к подводе, прижалась к сыну и заголосила:

— Золотко ненаглядное! Головушка горемышная! Покинул ты меня, сирую да убогую! Мне б лучше заместо тебя померeть такой смерти-и-ю!..

Ее плач подхватили другие бабы. Средь собравшихся поднялся ропот.

— Охотнички!

— Помогли, нечего сказать!

— Душегубы проклятые!

Стряслось несчастье, и люди не находили ничего лучшего, как искать виновников, попрекать их.

Семен Тетерин стоял опустив голову.

13

Михайло, не в пример всем, не считал Семена виновным, он заставил его взять лошадь...

— Не на себе же зверя потащишь. Чего уж... Нам со старухой легче не будет, коль этот медведь пропадет зазря...

Доброта, как и озлобление, бывает заразительной. Сразу же смолкли недружелюбные выкрики, двое парней вызвались помочь Семену.

Всю обратную дорогу Семен жаловался ребятам. Толкнуло же его связаться с Митягиным, ружья, должно, не держал в руках, хвалился, мол, баловался... Думалось, трудно ли уберечь непутевого от зверя, ан вон как обернулось — от него самого нужно беречься, близко к такой забаве не подпускать... Проще всего успокоить себя — это

указать пальцем на другого: не я, а он виноват. И Семен жаловался, охаивал Митягина, проникался к нему обидой. Оба парня из Пожневки сочувственно его слушали, охотно соглашались.

Обычно Семен привозил в село добычу торжественно. Стар и мал выскакивали навстречу, помогали стащить убитого зверя с телеги, рассматривали его, трогали, охали, дивились. На этот раз подъехали к дому глухой ночью, свалили тушу в сарай. Ребята простились, забрались в телегу. А Семен, разбудив старуху, наскоро перекусил — больше суток маковой росинки не было во рту,— завалился на койку и заснул мертвым сном.

Встал утром по привычке рано. Едва ополоснув лицо, направился к сараю, где лежал убитый зверь. У дверей сарая уже дежурила Калинка, при виде хозяина вскочила, скупо махнула хвостом.

Голова зверя была искромсана врачихой, с нее свисали клочья кожи, сквозь мясо торчали кости. Семен решил для начала отнять голову, разрубить на куски, выбросить Калинке, которая привычно сидела в распахнутых воротах, не скуля, терпеливо ожидая своей доли.

Работая ножом, Семен почувствовал, что верхний позвонок, который соединяет шею с черепом, перебит. Он ковырнул ножом, и на разостланную мешковину, прямо под колени, выпал какой-то темный кусочек, смахивающий на речную гальку. Семен поднял его. Он был не по размерам увесист. Пуля! Та самая, что искала врачиха! Сплющенный свинцовый слиток, какие Семен сам обкатывал и вбивал в патроны.

Отложив нож, зажав пулю в ладони, Семен поднялся, отогнал Калинку, прикрыл ворота и зашагал к дому.

У крыльца его перехватила Настасья — жена Митягина. Худая, с плоской грудью, с остановившимися сердитыми глазами, с горбатым, угрожающе направленным носом — недаром же по селу прозвали ее «Сова»,— она стала на пути, уперла тощие кулаки в поясницу.

— Вы чего это — компанией нашкодили, а на одного всю вину сваливаете? — начала она своим резким голосом, чуть не подымающимся до надсадного крика.

— Ну полно! — Семен, сжимая в кулаке пулю, хотел пройти мимо.

Но фельдшерица не пустила его.

— Прячешь глаза-то! Совестно. А ты видишь их?..—

Она тряхнула подолом, за который цеплялись два меньших из митягинских детишек: круглые чумазые рожицы, выпученные светлые глазенки — истинные совята.— Отца отнять хотите! Шуточное дело — человека убили. Испугались, что холодком пахнуло, давай, мол, сунем в зубы овцу попроще, авось нас не тронут. А он-то сразу раскис, хоть ложкой собирай. Пользуетесь, что безответный. А я не спущу! Не-ет, не спущу-у!..— Настасья заголосила.

Ребятишки, привыкшие к крику матери, продолжали пялить из-за юбки глаза на Семена. А Семен, хорошо знавший, что более взбалмошной бабы, чем Настя Сова, по селу нет, переступал с ноги на ногу, глядел диковато, исподлобья, изредка ронял:

— Ну чего взбеленилась? Эко!

— Я все знаю! Ты-то небось в сторонке останешься: мол, не стрелял. А другой высоко сидит — рукой не достанешь. Кому быть в ответе, как не моему дураку!..

— Ну, чего ты...

Голос Настасьи неожиданно сорвался, она уткнулась носом в конец платка и заплакала:

— Совести у вас нету... Пятеро же на его шее сидят. Нам, выходит, теперь одно остается — в чужие окна стучись... И за что я наказана? Надо же было выйти за непутного, всю жизнь из-за него маюсь...

От слез Насти, от отчаяния, зазвучавшего в ее голосе, а больше всего от бездумно вытаращенных ребячьих глаз Семен ощутил одуряющий разлад в душе, точно такой, какой он испытывал, когда врачиха ковырялась в медведе.

— Брось хныкать! Никто и не мыслит твоего Василия топить,— сказал он и, отстранив плечом, прошел мимо.

Возле печи Семен отыскал две чугунные сковороды — одну большую, другую поменьше. Прихватив их, он закрылся в боковушке, где висели у него ружья, где обычно готовил себе охотничьи припасы. Бросив сплющенную пулю на большую сковороду, он принялся ее раскатывать, придавливая сверху маленькой сковородкой.

Семен катал неровный кусок свинца, а сам думал, что сейчас каждое его движение ведет Митягина к беде. Прокурор давеча сказал — дело плохо, кто-то должен сесть в тюрьму. И ежели он, Семен, положит на стол пулю, скажет, что вынул ее из медведя,— Митягину не отвертеться.

Вчера, шагая за подводой следом за Михайлом, Семен испытывал что-то большое и доброе. Худо человеку в беде

быть едину! Беда нависла над Митягиным. Слепая беда, негаданная, прямых виновников в ней нет. Настя останется бобылкой, дети — сиротами... После неласковой встречи в Пожневке, после выкриков: «Охотнички! Душегубы проклятые!» — Семен и не вспомнил, что Митягину худо, даже охаивал его, пальцем указывал, свою совесть спасал. Сейчас пулю раскатывает, словно эта пуля добру послужит... Жаль Митягина...

И все-таки Семен продолжал раскатывать. Кусочек свинца становился круглее, глаже, уже не стучал под сковородкой.

Старую «переломку», которую Семен дал Митягину, забрал с собой следователь. Но двустволка Семена и двустволка Дудырева имели один калибр, можно пулю проверить и на своем ружье. Семен снял со стены двустволку, поднес пулю к дульному отверстию и... тут случилось неожиданное. Пуля не вошла в ствол. Семен не поверил своим глазам, приложил еще раз — нет, не подходит! Пуля, уложившая медведя, вылетела из ружья Митягина, имевшего двенадцатый калибр.

Семен опустился на лавку, поставил между колен ружье, разглядывал пулю на ладони. Убил парня, выходит, Дудырев. Но и Дудыреву Семен не хочет зла. Спрятать? Выбросить? Нельзя, на Митягина обрушатся, а Дудырев за себя постоять сумеет. Надо пойти к нему, показать пулю, рассказать все. Лучшего советчика не придумаешь. По-доброму решить...

Семен положил пулю в карман.

Через десять минут он уже шагал по шоссе, ведущему к Дымковскому строительству.

14

Строительство не смело с лица земли деревню Дымки. Она продолжала стоять на прежнем месте — два неровных ряда бревенчатых изб, тесно прижатых к берегу реки. Прежде не бросались в глаза их ветхость и убожество — избы как избы, потемневшие, исхлестанные дождями, с честью прошедшие через время. А сейчас, когда за их спинами выросли сборные дома с широкими окнами, выкрашенные, как один, в игривый, легкомысленный салатный цвет, когда позади осевших поветей, мшистых крыш, выпу-

стивших из-под себя рогатых, полусгнивших «куриц», теперь стало видно, какие все избы корявые, подслеповатые, вбитые в землю — рахитичное обветшалое племя! Его не уничтожили, ему милостиво разрешили сгинуть самому.

У крайней избы стоял трактор, не обычный деревенский, колхозный, а бульдозер, с угрозой приподнявший над утоптанной завалинкой тяжелый, в засохших комьях грязи стальной щит. На завалинке же грелась, повернув к солнцу сжатое в темный кулачок крохотное личико, знакомая Семену старуха, по прозвищу Коза. Ей было лет девяносто, если не больше,— во всяком случае, Семен молодой ее не помнил. Всю свою жизнь бабка Коза прожила в Дымках, вставала с петухами, ложилась с курами, самый большой шум, какой она слушала до недавнего времени, был шум весеннего ледохода, когда река хрустит и стонет. Теперь же из-за крыш несется непрерывный гул, грохот, крики вразнобой, а тяжелый бульдозер нагло уставился на избу с завалинкой.

Из избы вышел парень в рубахе с засученными рукавами, с пиджаком, перекинутым через плечо. Дожевывая на ходу, он направился к бульдозеру. Кажется, один из внуков бабки Козы. Заметил Семена, остановился, продолжая жевать, поздоровался.

— Не по делу ли какому, Семен Иванович? — Парень, как и все местные, знал в лицо известного медвежатника.

— Да вот к вам на строительство. Как тут у вас к конторе добраться?

— К какой конторе? Контор много, у каждого участка своя. Тебе какую?

— А лях его знает! Я в ваших местах как баран в кустах. Мне бы Дудырева самого.

Парень присвистнул:

— Дудырева!.. Так бы и спрашивал. Не контору ищи, а управление. Садись, до котлована довезу, там покажут.

Семен неловко вскарабкался в кабину. Парень деловито сел за рычаги, мотор оглушительно взревел, на минуту Семену стало жутковато: вдруг да эта рычащая зверина рванется вперед, сомнет избу вместе с пригревшейся на завалинке бабкой Козой? Но трактор, как солдат на учении, лихо повернулся на одном месте и, потрясая перед собой тяжелым ножом, покатился вдоль деревенской улицы, распугивая кур.

— Съест Дымки строительство! — прокричал Семен.

— Съест,— охотно кивнул головой парень.

— И не жалко? Место родное, пригретое!..

Парень презрительно махнул рукой, потом, пригнувшись к Семену, ответил:

— Ужо квартиру получу в новом доме, я по своей избе вот на этой прокачусь! — Хохотнул весело: — Всех тараканов подавлю!

— Дождись, дура, пусть хоть бабка в своем углу помрет! — сказал Семен в сердцах.

Он понимал старуху. Стройка нарушала и его покой, врожденный душевный покой человека, привыкшего к лесу, к одиночеству, к тишине. И впервые в жизни вместе со страхом перед завтрашним днем Семен почувствовал себя очень старым, чуть ли не ровесником бабке Козе.

С бульдозера он слез у котлована, в самом центре строительства. Самосвалы шли мимо него, обдавали едким угаром и где-то неподалеку медлительно сваливали целые горы песку. Один за другим, один за другим, все без отлички тупорылые, грозно рычащие, обремененные тяжким грузом, нет им конца и краю. Что таким болота, что для них леса и реки — без пощады засыплют начисто. А в углу котлована ворочается, страдая от тесноты, от собственной неуклюжести, чудище с железной суставчатой рукой. Ворочающаяся зверина запускает ее в землю. Тупорылые самосвалы толпятся к ней в очередь. Земля, словно вода, течет с одного места на другое, диковинные машины выворачивают наизнанку привычный мир. Что там сказки, испокон веков населявшие лес лешими, ведьмами, болотными кикиморами, что все эти кикиморы по сравнению с такими вот колченогими чудовищами!

— Эй, деревня! Чего рот раскрыл? — раздался выкрик.

Семен отскочил в сторону. Грузовик с прицепом, везущий бетонные балки, прошел мимо, обдав вонючим чадом. Со стороны скалил белые зубы парнишка-подросток в грязной майке, в промасленной кепке, в больших брезентовых рукавицах. Он тащил конец стального троса.

— Милый,— несмело обратился к нему Семен,— как пройти в управление, к Дудыреву?

— Топай прямо да ворон не считай. Толкнут ненароком...

Семен направился по обочине дороги, оглядываясь во все стороны. А мимо шли и шли рычащие машины, то тащившие на себе трубы, в которые мог бы пролезть добрый

пестун, то какие-то катушки, каждая высотой в человеческий рост, то подъемные краны, то плещущий через борта густой, как серая сметана, цемент. Как идти? Куда? Он, старый медвежатник, знавший как свои пять пальцев самые далекие лесные углы, умевший найти дорогу из глухих согр, запутался, растерялся, и где — возле самой деревни. Прежде здесь был кочковатый выгон, росли кусты можжевельника и реденькие березки вперемешку с осинками, тянулись кривые тропинки к опушке леса. Да полно, было ли все это? Не верится...

И Семен представил себя — в рыжем пиджачке, надетом поверх косоворотки, в кепчонке, натянутой на лоб, маленький, беспомощный, лишний... Сколько машин, сколько людей, светопреставление, и всему голова — Дудырев. Тот человек, который с почтением беседовал с ним в лесу, кого он, Семен Тетерин, в сердцах обругал за нерасторопность. Сейчас, оглушенный, Семен идет к нему, сжимает в кулаке свинцовую пулю. Не для веселого разговора идет...

В эти минуты Семену на память пришла Калинка, с трусливой оглядкой пробирающаяся по шатким жердям лавы. Тогда еще Семен удивлялся — чего боится, дурь нашла на собаку. Теперь-то он ее понимал...

Он упрямо шагал вперед, а Калинка, с тоскливой оглядкой стоящая посреди лавы, не выходила у него из головы.

15

Дудырев вышел навстречу из-за стола, протянул руку Семену, подвел к дивану.

— Садись.— И, заглядывая в лицо из-под тяжелого лба запавшими глазами, спросил: — Ну?..

Он был в легкой трикотажной рубашке, плотно обтягивавшей его выпуклую грудь и сильные плечи, по-прежнему простоватый, не совсем подходящий к широкой, с огромным окном комнате, уставленной стульями, мягкими креслами, диваном, двумя столами: одним под красным сукном, другим — под зеленым. Даже не верилось, что этот знакомый, не очень изменившийся после леса Дудырев заворачивает таким диковинным миром, который оглушил Семена и размахом и бесноватостью.

— Что-нибудь неприятное?

Семен со вздохом запустил руку в карман, вынул пулю, протянул Дудыреву.

— Вот...

Дудырев с недоумением покатал пулю на ладони.

— Из медведя вынул,— сообщил Семен.— Эти-то с врачихой не доискались.

— Из медведя?..

Дудырев не глядел на охотника, насупив брови, продолжал разглядывать свинцовый катышек на своей ладони.

— Под самым черепом застряла...

За окном, сотрясая стекла, проходили тяжелые грузовики. Семен, широко расставив колени, опираясь на них руками, сидел раскорячкой на самом краешке дивана и, затаив дыхание, вглядывался в сосредоточенное лицо Дудырева.

Зазвонил телефон, Дудырев, стряхнув задумчивость, зажав в кулаке пулю, прошел к столу, снял трубку, спокойным и внушительным голосом принялся разговаривать с кем-то.

— Да, помню... Да, заходите, только не сейчас, а позднее. Да, догадываюсь — опять разговор о капитальном строительстве. Не мог жертвовать миллионы рублей... Заходите попозднее, сейчас занят...

Он положил трубку, вернулся к Семену, раскрыл ладонь.

— Чья?

— К твоему стволу не подойдет, Константин Сергеевич,— твердо ответил Семен.

— Ты примерял?

— Примерял. Митягин уложил зверя...

Наступило молчание. Сотрясая стекла, шли под окном машины. Дудырев задумчиво катал на ладони пулю.

— Константин Сергеевич,— снова заговорил Семен,— надо бы все как-то по-людски решить. Вина одинакова, что у Митягина, что у тебя. Дурной случай, каждый может сплоховать. Я потому и пришел к тебе, чтоб мозгами пораскинуть.

И опять Дудырев ничего не ответил, глядел в ладонь. Семен, оцепенев, ждал его ответа.

— Возьми,— наконец протянул Дудырев пулю.

Семен покорно принял ее обратно.

— Ты от меня ответа ждешь? — спросил Дудырев.

— Для того и пришел. Где мне своей головой решить?

— А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе приносят пулю и говорят: вот доказательство, что ты убил человека. Ты убийца!.. Ты бы с готовностью согласился?

— Так, выходит, пусть Митягин отвечает? А ведь с ним-то церемониться не будут. Прокурор говорил — кого-то по закону посадить должны.

— Перед законом как я, так и Митягин одинаковы.

— Перед законом, а не перед людьми. Не равняй себя с Митягиным, Константин Сергеевич. Люди-то, которые возле законов сидят, на тебя с почтением смотрят.

— Значит, ты мне предлагаешь прикрыть собой Митягина?

— Ничего не предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя свалила. Эта пуля митягинская. Выходит, твоя пуля парня прикончила. Вот что я знаю. А там уж ты решай по совести, как быть. Ты поумней меня.

Дудырев поднялся. Семен заметил, что у него на виске напряженно бьется жилка.

— Сообщи о том, что нашел пулю, следователю,— сухо сказал Дудырев.— А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу.

Семен вышел от Дудырева. Мимо него шли грузовики с прицепами. На обочине котлована ползали скреперы, разравнивали кучи песка. Экскаватор заносил свой ковш над самосвалами. Пуля жгла ладонь Семена. Маленький кусочек свинца, хранящий в себе тайну. Если эта тайна не будет раскрыта, суд может приговорить Митягина к заключению. Несправедливо же!.. Раз Дудырев не может помочь, что ж.. Хочешь не хочешь, а надо идти к следователю. Дудыреву придется самому за себя постоять.

16

Следователь Дитятичев, склонив набок ушастую голову, с минуту внимательно вертел в руках пулю, положил на стол.

— Вы ее такой кругленькой из медведя вынули?

— Помята была, раскатал, чтобы узнать, из чьего ружья.

— Раскатали и нам преподнесли...— И вдруг остро взглянул Семену в самые зрачки, спросил: — Вы давно соседи с Митягиным?

— Соседями-то?.. Да, считай, лет десять добрых, ежели не больше. Третий год шел после войны, как он к нам переехал.

— Так... А по какой причине вы взяли его на охоту?

— Какая-такая причина? Давно он просил меня взять.

— И вы не отказали?

— Много раз отказывал, а тут неловко стало — просит человек.

— Так... А вы не вздорили с Митягиным, не ругались?

— Упаси бог,— испугался Семен, не зная, куда гнет следователь.— Бабы ежели когда схватятся, а мы нет — дружно жили.

— Так... Вы не отрицаете, что жили дружно?

— Чего отрицать, коли так было.

— Так...— Следователь кивнул на покойно лежавший на закапанном чернилами сукне кусочек свинца.— Соседи, десять лет жили дружно, а вы не подумали о том, что у нас создастся впечатление, что эту пульку вы отлили ради десятилетней дружбы с Митягиным? Первое, что придет нам в голову,— вы собираетесь спасти виновного дружка и утопить Дудырева...

Семен оторопело уставился на следователя.

— Вы понимаете, чем это пахнет? — продолжал тот спокойно.— Ложное показание с целью ввести в заблуждение правосудие. Вы, должно быть, не знаете, что за такое дело привлекают к уголовной ответственности. Пулька... Наивный вы человек, подобная фальшивая пулька расценивается как своего рода преступление.

— Слушай, добрая душа,— Семен сердито заворочался на стуле,— я в ваших делах небоек. А только пулька эта не фальшивая, хоть голову руби! Своими руками утром из медведя вынул. Сплоховали вы с врачихой, не углядели ее.

— Вы можете настаивать на этом. Можете! Но прикиньте: кто вам поверит? Не посторонний человек, а врач-профессионал ищет пулю в голове медведя. Имейте в виду, ищет старательно, я тому свидетель. Ищет, но не находит, об этом составляет форменный акт, ни на минуту не колеблясь, подписывает его. Не просто словом, а письменно отвечает за то, что пули не существовало. И вдруг вы приносите и кладете нам на стол эту пулю. Пуля ваша обкатана, она не имеет никакой деформации, то есть не сплющена, не сдавлена, по ее форме никак теперь не определишь, что вынута она из разбитого медвежьего позвонка, а

не из охотничьего загашничка. Ответьте: почему вы не принесли пулю такой, какой вынули?

— Примерить же хотел.

— Примерить! Не терпелось! Дитя любопытное! У ребенка, пожалуй, хватило бы соображения — нельзя уничтожать такую важную для следствия улику...

Семен, насупившись, молчал. Когда он раскатывал пулю, то думал о Митягине, хотел убедиться, на самом ли деле убил фельдшер. Следователь в те минуты был для Семена далеким, посторонним. Даже когда открыл — убил не Митягин, подумал опять же не о следователе, а о Дудыреве, хотел не подымать шума, уладить полюбовно. Могло ли прийти в голову, что начнут придираться — обкатал пулю, уничтожил улику. Эх, знать, где упасть, подстелил бы соломки.

— Слушайте дальше,— продолжал следователь.— Вы откровенно признаетесь, что жили с Митягиным бок о бок лет десять, что за эти десять лет у вас с ним не было никакой ссоры, ни единой размолвки. Этим самым вы признаетесь, что вас связывает с Митягиным десятилетняя дружба, тогда как с Дудыревым вы познакомились всего несколько дней назад. Все за то, что вы любой ценой хотите спасти дружка, хотя бы для этого пришлось свалить вину на Дудырева. Вот как выглядит! Настаивайте теперь на своем, но вряд ли вам кто поверит — все данные против вас.

Следователь молчал, угрюмо молчал и Семен Тетерин.

— Вы-то как доказываете, что Митягин виноват? У вас самих, поди, карманы-то не особо набиты доказками.

— Этим-то вы и хотели воспользоваться,— спокойно ответил следователь.— Да, прямых улик против Митягина у нас нет, но есть косвенные...

— Прямых нет — значит, кривые подходят. Хороши, нечего сказать.

— Не нравится вам наше поведение, обижены, что не соглашаемся выгораживать вашего дружка. Но разрешите спросить: вы знали, что Митягин в жизни не держал в руках ружья?

— Говорил, что баловался в молодости, а там, кто знает, я не видел.

— А он здесь час тому назад сам признался, что никогда не был охотником. Тогда как Дудырев охотится уже много лет.

— Мало ли что, а на старуху иной раз находит проруха.

— Согласен. Может случиться всякое, мог и Дудырев промахнуться. Однако можем мы не принимать в расчет тот факт, что Митягин неумелый стрелок, неопытный, а Дудырев опытный?

— Наверно, все должны в расчет брать. Все! Потому и пулю не след обходить стороной.

— Вы же видели, как мы искали эту пулю. Искали и не нашли, вдруг вы приносите, без особых доказательств требуете, чтобы мы верили... Но слушайте дальше. Вы присутствовали, когда мы вели расследование на месте убийства. Вы сами показывали, где стоял Дудырев, где Митягин. Так вот, Митягин стоял на более покатом месте, чуть сбоку, ростом он к тому же ниже Дудырева, попасть в медведя ему было труднее. И это не все. С того места, откуда стрелял Дудырев, большая часть мостков — а именно середина — была прикрыта старым деревом. С места Митягина почти все мостки через реку открыты. Сами же вы показали, что парень упал в воду примерно с середины лавы. Промахнись Дудырев по медведю, он бы всадил свою пулю в ствол дерева. Десять шансов за то, что пуля Митягина прошла мимо цели и...

— И все же в медведе оказалась. Складно вы рассказываете, а на деле-то вышло иначе.

Следователь сбоку, как петух на рассыпанное просо, взглянул на Семена.

— Я бы советовал вам не вести себя с излишней развязанностью. Вы и так во всей этой истории выглядите не очень красиво. Как знать, не придется ли нам и против вас возбудить дело.

— Эко! Уж не я ли, на проверку, убил парня? Ловки, вижу, можете повернуть, куда любо.

— За что намереваемся судить? За убийство с расчетом, за убийство преднамеренное? Нет. Судим за убийство по неосмотрительности. Если шофер по неосмотрительности собьет прохожего, нанесет ему тяжелое увечье или даже убьет его, то этого шофера, как известно, судят и наказывают. Тут точно такая же неосмотрительность со стороны того, кто пустил пулю мимо медведя. А если разобраться добросовестно, то вы... да, да, вы более повинны в неосмотрительности, чем Митягин.

— Эко!

— Вот вам и «эко». Разве осмотрительно взять на медвежью охоту человека, не державшего ружья в руках? Виноват он, что напросился, что пошел, но вы, опытный охотник, хорошо знающий все опасности, все неприятности, какие могут произойти с людьми, не привыкшими к обращению с огнестрельным оружием, вы виноваты, пожалуй, больше. Если мы судим неосмотрительных шоферов, судим неосмотрительных растратчиков, неосмотрительных руководителей, то мы не можем проходить мимо и неосмотрительных охотников. Помните, что вы сами не безвинны!

Следователь встал, узкий, прямой, высокий, на полголовы выше сутуловато поднявшегося Семена Тетерина. Отчеканивая слова, Дитятичев закончил:

— Сегодня я вас не вызывал. Разговор наш, так сказать, случайный. На днях вы ко мне придете по вызову, как свидетель. Мы еще вспомним эту беседу. До свидания.

Семен молча глядел на следователя: длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий, старушечий рот. С минуту назад Семен смотрел на него просто, как на самого обычного человека, только образованного и более умного, чем он сам. Теперь же он видел в нем что-то особое, какую-то силу, способную обвинять. И глаза следователя, серые, неприметные, с помятыми веками, казалось, заглядывают сейчас внутрь, ищут в тебе порочное. Семен не в силах был выдержать его взгляд, опустил голову, повернулся.

— Вы что же, оставляете мне это? — окликнул его следователь. Он указывал на пулю, лежавшую на столе. Семен покорно вернулся, взял пулю, опустил в карман.

Согнувшись, он зашагал прочь от прокуратуры, где сидел пугающий его человек. Возле поворота он невольно оглянулся и увидел, что к крыльцу прокуратуры подъехала машина, из нее вылез Дудырев.

И Семен Тетерин впервые испытал бессильную ненависть и к Дудыреву и к следователю: «Они-то споются... Они-то отыграются! И на ком?.. Эх!»

17

Дудырев любил застывшие, казалось, наполненные не водой, а тяжелым жидким металлом озера на рассвете, когда чуткие камыши спят, когда запутавшийся в них ту-

ман вязок и недвижим. Он любил острое, тревожное, никогда не притупляющееся чувство — дичь близко, она где-то рядом, любил идти на лыжах по синей строчке лисьих следов на мерцающем, словно смеющемся снеге. Дудырев любил охоту.

Но в любой охоте был для него один всегда неприятный момент. После того как долгожданная дичь, на выслеживание которой уходили все силы, расходовалась вся душевная страсть, появлялась — птицы ли с шумом взлетали в подкрашенное зарей небо, или среди холодных сугробов мелькало горячее пятно лисьей шубы,— после вскинутого к плечу ружья, после возвышенного мгновения, когда разум отсутствует, а действует инстинкт, после выстрела и торжества — видеть кровь, брать руками противно теплую тушку, хранящую остатки жизни, той жизни, что оборвана твоим выстрелом... Среди наслаждения — жестокость, среди поэзии — грубая проза! Нужно только перетерпеть, не заметить, не придать значения, а потом снова — уснувшие камыши, следы на снегу, ствол, настигающий взмывающую птицу, торжество победы... Дудырев любил охоту.

Но последняя охота оставила убийственно тягостные воспоминания. Смерть собаки, которую пришлось Дудыреву добить, ее страдальчески мерцающий в темноте глаз, страх в овраге и уничтожающий стыд, ожесточение после болота, злобное, личное ожесточение против зверя, повинного лишь в том, что отчаянно спасал свою жизнь,— и ради чего все это, каков конец? Грязный свет умирающей ночи, распластанное на земле тело в черном костюме... Вот он, конец погони, сквозь чащи, кусты, зыбкую топь болота. Вот он, финиш! Смерть зверя перемешалась со смертью человека! И то и другое выглядит чудовищным, страшно оглянуться назад — противен сам себе, нет оправдания!

Дудырев не верил, что именно его выстрел, миновав медведя, уложил человека. Без того тяжко, а тут еще считать себя убийцей. Только не это! Скорей всего сплоховал Митягин. «Он, а не я!» И все же не мог отделаться от странного чувства, похожего на то, какое приходилось испытывать в глубоком детстве. У них дома, в темном коридоре, стоял большой шкаф, и всякий раз, когда Костя Дудырев проходил мимо него, казалось, что за ним, притаившись, ждет кто-то неведомый, неизвестное существо,

не имеющее ни лица, ни тела. Ждет, чтоб напасть. Знал, что нет его, не существует, а все-таки боялся.

И сейчас Дудырев испытывал страх перед чем-то неведомым, притаившимся впереди. Однако этот страх не заглушал острой вины. Прокурор и следователь во время обратного пути пробовали участливо разговаривать с ним: мол, со всяким может случиться подобная история. Они словно не замечали забившегося в угол машины Митягина. Его-то они не утешали...

Он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще нужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, подымающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!

Нет, Дудырев не станет выгораживать себя. Что бы ни случилось, какими бы неприятностями ни угрожало ему будущее, он будет держаться беспристрастно, честно признает за собой часть вины. Часть! Равную с Митягиным долю! Гнусно прикрываться собственным всесилием. Превыше всего — уважение к человеческому достоинству!

И все эти высокие мысли вылетели из головы, когда явился Семен Тетерин, положил перед ним на стол пулю. Охотник еще не произнес ни слова, но Дудырев уже почувствовал панический ужас. Вот оно, то таинственное существо, до сей минуты не имевшее ни лица, ни плоти, ни голоса, вот оно явилось воочию, приобрело плоть! Смущаясь, пряча глаза, Семен Тетерин беспомощно объявил: «Ты убийца, Константин Сергеевич!»

Комочек свинца на зеленом сукне, аккуратно круглый, обкатанный, ничем не отличающийся от других медвежьих пуль. У него одна роковая особенность — размер. Он точно подходит к стволу ружья Митягина и не подходит к его, Дудырева, двустволке.

Дудырев смотрел на свинцовый шарик и чувствовал, что все его существо восстает против этой улики. Убийца! Он, который все силы, всю жизнь отдал на то, чтобы лучше устроить жизнь людям. Там, где он появлялся, проходили новые дороги, вырастали новые поселки, подымались столбы электролиний, дремота сменялась кипением. Для себя Дудыреву нужно очень мало: крышу над головой, не слишком прихотливую пищу и как роскошь раз в месяц свободный день, чтоб отдохнуть с ружьем на приволье.

Все для людей — и бессонные ночи, и напряженные дни, и постоянный расход нервов. И ему предлагают признаться в самом страшном людском грехе — в убийстве.

Мутный рассвет, отяжелевшая от росы неподвижная листва кустов, распластанный человек в черном костюме, с выбившейся из голенища сапога штаниной, лысина Митягина, припавшего к груди убитого... Пройдут года, десятилетия, и все равно, вспоминая это, будешь содрогаться в душе. Существовала спасительная тайна, даже больше — существовала убежденность, что виновник не он, и если он, Дудырев, берет половину вины на себя, то только из чистой солидарности. В этом было что-то красивое, благородное, успокаивающее совесть. С этим еще можно жить, не терзая себя!

Свинцовая пуля, угрюмое лицо медвежатника... Нет, не может поверить! Не признает себя! Нет, нет и нет! Только не по доброй воле, лишь через силу, лишь припертый к стене, не иначе.

Семен ушел, унес с собой проклятую пулю...

Рабочий день, прерванный на каких-то пятнадцать минут приходом Семена Тетерина, пошел своим обычным порядком.

Дудырев отвечал на телефонные звонки, отдавал распоряжения прежним твердым голосом и все ждал, что дурная минута пройдет, он вновь обретет былую уверенность в себе. Но «дурная минута» не проходила.

Тогда он решил ехать к следователю. Нельзя больше терпеть неясности, может, там что-то прояснится... Дудырев вызвал машину.

18

Голос следователя был почтительно-бережный. Таким голосом разговаривают врачи у постели серьезно больного.

— Поверьте, мы не формалисты, хватающиеся за букву закона. Мы понимаем очевидную невиновность как Митягина, так и вашу. Но поставьте себя на наше место. Представьте, что мы прикроем это дело, не доведем до суда. Стоит родственникам убитого поднять голос, указать на то, что был предупреждающий крик, что вполне можно было бы избежать несчастья, как сразу же мы оказываемся в незавидном положении. Нас упрекнут, что мы прикрываем преступную неосмотрительность.

— Не собираюсь толкать вас на незаконные действия,— возразил Дудырев.— Однако напоминаю, что справедливость требует наказания не одного Митягина, но и меня. Я в равной степени виноват.

Где-то в глубине глаз под бесстрастно опущенными веками Дитятичева промелькнула понимающая улыбка. И Дудырев уловил ее: следователь догадывается о его смятении. Этот внезапный наезд он расценивает как слабость всесильного Дудырева. И черт с ним! Пусть что хочет, то и думает. Ему, Дудыреву, нужна ясность: как держаться, как поступать? Он не может прикрываться Митягиным, по сути, таким же безвинным, как и он, но не может и с легким сердцем назвать себя убийцей. Как быть?..

— О наказании говорить рано,— с мягкой уклончивостью ответил Дитятичев.— Мы не выносим обвинительных приговоров, этим занимается суд.— Помолчал и доверительно добавил: — Думаю, что суд будет снисходителен.

— У вас был Семен Тетерин? — в упор спросил Дудырев.

— Только что ушел.

— Что вы скажете о его заявлении?

— О пуле?..

— Да.

— Думаю, что это грубая уловка.

— Почему так?..

— Пытается спасти своего старого знакомого. А так как он по натуре своей человек честный, не искушенный во лжи, то эти попытки выглядят неуклюже. На что он рассчитывает? Дудырев — человек влиятельный, свалимка на него, ему все с рук сойдет. Но стоило этому Тетерину объяснить, что его поведение преступно, как сразу же дал задний ход. Лишнее доказательство, что мои догадки справедливы.

— Задний ход — доказательство?

— Вы же не откажете Тетерину в решительности. Его профессия уже сама по себе что-то значит. И если этот не робкого десятка человек не осмелился настаивать на своем, покорно забрал пулю, то всякие сомнения у меня исчезают — не верит в свою правоту. Значит...

— Значит, пуля фальшивая? — сумрачно перебил Дудырев.

— Да.

— Тетерин не робкого десятка — что верно, то верно. Но разве вам не известно, что офицеры или солдаты, не боявшиеся на войне смерти, без страха бросавшиеся в самое пекло, часто теряются и робеют в мирной обстановке перед сугубо штатским начальником? Не делайте далеко идущие выводы, что храбрый медвежатник спасовал перед вами.

— Хорошо, я соглашусь принять во внимание его пулю. Но ведь этим самым я впутаю Тетерина в весьма неприятную историю. Если его пуля окажется фальшивой, ему придется отвечать за ложные показания с целью ввести следственные органы в заблуждение. Не говоря уже о том, что мы и для себя осложним и запутаем дело.

— Боитесь осложнений?

— Я думаю, и вы бы на моем месте предпочитали простоту и ясность.

Дудырев с сумрачным вниманием вглядывался в Дитятичева. Тот сидел, выкинув длинные руки на стол, приподняв к ушам острые плечи,— полный почтительного бесстрастия, уверенный в своей правоте человек. Он терпит Дудырева лишь из уважения к его особе.

— Разрешите напомнить вам один старый анекдот,— произнес Дудырев.

Дитятичев склонил голову: «Слушаю вас...»

— Пьяный ползает на коленях под фонарем. Его спрашивают: что, мол, ты ищешь? «Кошелек потерял».— «Где?» — «Да там»,— кивает на другую сторону улицы. «Почему же ты тогда ищешь здесь, а не там, где потерял?» — «Здесь светлее...»

Впервые за весь разговор Дитятичев озадаченно взглянул на Дудырева.

— Чем же я напоминаю этого пьяного?

— Да тем, что боитесь сложности, ищете истину, где светлей да удобней, а не там, где она лежит на самом деле.

Дитятичев нахмурился.

— Не считаю удачным ваше сравнение,— ответил он с чуть приметной обидой.— Все данные за то, что Тетерин темнит, уводит от истины, но, если он будет настаивать на своем, что ж, я пойду на любые осложнения.

Разговор, казалось, кончился ничем. Усевшись в машину, Дудырев продолжал досадовать: «Пуля-то Тетерина не только для меня, но и для него страшна. Пришлось бы следователю меня брать за шиворот, а это грозит столк-

новением с райкомом, с областью. Ему проще Митягиным откупиться. Искать под фонарем! Как это подло! Что делать? Молчать? Наблюдать со стороны? Быть молчаливым помощником Дитятичеву?.. Подло! Низко!»

Как бы то ни было, а страх и растерянность отступили перед досадой и возмущением. Сейчас Дудырев думал о себе меньше.

Машина шла среди полей. Впереди показался лесок — густая, приветливая зеленая опушка. Но Дудыреву хорошо было известно: этот лесок — только декорация. От большой, некогда тенистой рощи теперь осталась узкая полоска, остальная часть вырублена под территорию строительства. Зимой и ранней весной, когда деревья не одеты в листву, с этого места сквозь стволы уже видны огни рабочего поселка.

Машина ворвалась в лесок и сразу же выскочила в поселок. Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь живут люди временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него вырастут дома, быть может, благоустроенные, быть может, красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатанных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят — значит, жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, как следователь Дитятичев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Настаивал строить не капитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное — просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться, откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?

Дорога спускалась к котловану. Развороченная, растерзанная земля лежала внизу. Над ней, притихшей, израненной, успокоившейся на короткое время, в багровом закате летали чайки.

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко: под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь.

19

Вынутая из медведя пуля стала наказанием для Семена Тетерина. До сих пор он покойно жил, никого не боялся, любому и каждому мог без опаски смотреть в глаза. Сейчас же, выходя из своего дома во двор, он каждый раз оглядывался — не столкнется ли с Митягиным или с Настей, не нарвется ли на попреки или расспросы. Даже один вид митягинских ребятишек, возившихся с гамом и смехом целыми днями в проулке перед домом, смущал и расстраивал.

Стала для Семена страшным человеком и Глашка Попова, бегавшая иноходью из деревни в деревню с почтовой сумкой. Всякий раз, когда Глашка, пыля сапогами, бежала вдоль села, падало сердце: повернет к нему или проскочит мимо? А после того как она пробегала мимо, почему-то становилось еще более неспокойно — лучше бы принесла этот вызов к следователю. Семен представлял себе лицо Дитятичева, суховатое, с тонкими мягкими губами, с лопушистыми серыми ушами, его спокойный, холодный взгляд. При одной мысли, что этот человек будет смотреть на него, допрашивать, тянуть душу, Семен загодя чувствовал себя преступником. Пуля! А ну, докажи, что это та самая. Митягина спасаешь, знаем, не без умысла: ежели на него падет вина, то и у самого рыльце пушком обрастет — на медвежью охоту неумелого взял, твоя неосмотрительность до беды довела. И то, что следователь медлил, не вызывал к себе, казалось Семену дурным знаком. Что-то там за его спиной придумывают, какие плетут петельки?..

В первые дни Семен опасался, что Митягин покою не даст — каждый день будет приходить и жаловаться. Но Митягин вылезал из дома только на работу. Из окна по утрам Семен видел, как фельдшер, уставясь в землю, словно высматривал что-то оброненное, шел, волоча ноги, в сторону медпункта. Ежели кто-нибудь окликал его, испуганно оборачивался, прибавлял шагу.

Как-то Семен столкнулся с ним нос к носу. Виски впали, хрящеватый нос туго обтянут кожей, в глазах дурной блеск, под глазами круги — эх, перевернуло мужика. При виде Семена Митягин съежился, заморгал, уставился куда-то в сторону.

— Оно надо же, беда свалилась... Кто ж гадал...— виновато забормотал он, пряча глаза.

И Семен понял, что фельдшер сам избегает с ним встречи, ничего не знает, верит, что убил он, мучится. Сжалось сердце, хотелось выложить начистоту: «Твоя пуля медведя свалила, а не человека...» Но скажи, а Митягин шум подымет, начнет требовать — действуй, вызволяй из беды! Рад бы, а как? Мимо Дитятичева не пройдешь, а тот в один узелок свяжет Митягина и его, Семена.

Только и нашелся Семен, что сказал:

— Ты того, дружок... Не убивайся шибко-то...

Но Митягин с натугой, словно шею его душил ворот рубахи, покрутил лысиной, махнул рукой.

— Беда ведь... Эх!

На этом и расстались.

У Семена появилась новая забава, от которой порой становилось тошно. Он скрывался от старухи в свою боковушку, высыпал на дощатый стол пули — весь запас, какой был,— а рядом с ними клал ту, проклятую, вынутую из медведя. Потом долго перебирал, внимательно сравнивал — есть ли отличка. Нет, не было. Брось эту пулю в общую кучку — затеряется. Странно, маленький, ничем ровным счетом не приметный свинцовый кругляш — мертвая вещь, но в нем какое-то зловещее колдовство! Запутывает, раздирает душу, и не бросишь его, не отделаешься. Казалось бы, что стоит легонько подтолкнуть к куче других пуль — и не разберешь потом, какую же вынул из-под медвежьего черепа. Подтолкни... А завтра выбегут на улицу митягинские ребятишки, будешь на них глядеть и казниться — в руках правду держал, помочь мог бы, ан нет, испугался. И хочется подтолкнуть, и нельзя.

Семен опускал пулю в карман, но каждый раз оставалось такое чувство, что положил не ту, а какую-то другую. Каждый раз испытывал тоскливое бессилие — раз все пули друг на друга так похожи, то неси любую и доказывай: в ней правда спрятана. Кто поверит? А не поверят, то и нянчиться нечего с пулей, зря мучить себя...

Строже всего Семен хранил тайну от жены. Баба и есть баба — волос долог, да ум короток. Поведай, не утерпит — разнесет по селу. Проще признаться Митягину. Но с кем-то хотелось поделиться, услышать со стороны добрый совет. Один на один с этой трижды проклятой пулей можно сойти с ума.

Самым уважаемым человеком по селу был Донат Боровиков, председатель колхоза. Он в председатели был выбран давно, лет пятнадцать назад. Но добрых лет десять ни он сам, ни его колхоз ничем не выделялись среди других. Вырвался как-то неприметно: выстроил новую свиноферму, новый скотный двор, птицеферму с инкубатором и пошел разворачиваться. Раньше Донат был тощ, вертляв, теперь стал осанист, басовит, нетороплив, его имя печатали в газетах, на районных собраниях выбирали в президиумы...

Семен по давней дружбе часто заглядывал к Донату. Тот ставил для медвежатника поллитру и просиживая с ним за полночь, беседуя об охоте, о глухих лесных местах, о рыбных озерах в лесу, хотя сам ни охотой, ни рыбалкой не баловался.

Ему-то и открылся Семен.

— Да-а, история,— протянул Донат. Он сидел за столом в нательной рубахе, краснолицый, благодушный, разморенный пропущенным стаканчиком.

— Поганая история, больше некуда,— поддакнул Семен.— Скажи: ты-то хоть веришь ли мне?

— В чем?

— Что пулю вытащил из медведя, а не подсунул ее.

— В это верю. Только хочу совет дать, ты эту пулю при себе храни, а не шуми о ней на всех углах.

— Эко! Не шуми... Ты тоже хочешь правду упрятать?

Донат удобнее устроился за столом, заговорил внушительнее:

— Правда?.. А ты задумывался когда-нибудь, что это такое? Вот я снял Гаврилу Ушакова с заведования молочной фермой. Он говорит: я полжизни на этом месте проработал, все силы отдавал, коли какая-нибудь корова растелиться не могла, ночами не спал, дежурил, нянчился. Правда это? Слов нет, правда — и сил не жалел, и ночами не спал. А все-таки я пошел поперек его правды. Гаврила — старик, образования никакого, норовит все сделать, как бабки да деды делали. Мы ему покупаем разные там

электродойки, проводим автопоилки, налаживаем подвесные дороги, а они ему не к рукам — ломаются, стоят без пользы, ржавеют. Прикинул я: Гаврилино руководство только за два года вытряхнуло на ветер из колхозного кармана тысяч триста, ежели не все четыреста. Вот тебе две правды — его и моя. Представь, что я с Гаврилиной правдой соглашусь,— то-то будет житуха в нашем колхозе!

— Ты к чему гнешь, Донат?

— К тому, Семен, что, кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая. Я этих судебных законов не знаю, но, видать, так уж положено: раз человека убили — верно, для острастки другим следует наказать. Скажешь — глупо. Согласен! Я и сам хотел быть милосердным. Но ведь не мы с тобой законы выдумываем. Будем считать, что кто-то непременно пострадать должен. Ты вот докажешь, что виновен Дудырев, что его по всей строгости должны в каталажку упрятать, с работы убрать. Буду я этому рад? Нет! А почему? Да потому, что боюсь — заместо Дудырева сядет какой-нибудь тип, пойдет тогда на строительстве, как на престольном празднике: кто-то стекла бьет, кто-то шкуру рвет. Интересно это мне, к примеру? Да упаси бог, сплю и вижу тот день, когда этот комбинат рядышком станет, рабочий класс вокруг него поселится. Еще в позапрошлом году семьдесят тонн капусты свиньям скормил. Вырастить-то эту капустку мы вырастили, а продать — шалишь. Пока из наших глухих мест по бездорожью на бойкое место ее вывезешь, она так в цене подскочит, что и глядеть-то на нее покупатель не хочет. А тут под боком у меня будет постоянный покупатель. Я ему и капусту, и помидорчики из теплиц, и огурчики — ешь витамины, рабочий класс, плати звонкой монетой. Мои колхозники на эту монету в твоих же магазинах велосипеды и мотоциклы покупать будут... Любой бабе, любому парню, на кого ни укажи пальцем — всем выгодно, чтоб строительство шло как по маслу, не срывалось бы, не разваливалось, чтоб Дудырев сидел на своем месте. Эта ваша глупая оказия, на проверку, не только Дудыреву коленки подобьет — нам всем по ногам ударит.

Семен остекленевшими глазами разглядывал распаренное лицо Доната Боровикова. Знаком с ним много лет, казалось, знал всего — и с изнанки, и снаружи — до мелочей. Не злой человек, не попрекнешь, приходи с нуждой — с по-

рога не повернет, а на вот — по его словам, безвинного можно в крупу истолочь, чтоб других накормить. Добро строить на погибели?..

— Неужто тебе, Донат, Митягина не жаль? Одумайся, у него ж ребятишек куча.

— Мне и Гаврилу было жаль снимать с работы.

— Но ты Гаврилу не в тюрьму упек, а на другое место пристроил, вроде и не такое уж безвыгодное для Гаврилы.

— Эх, ежели б мне такая сила была дана — всех пристраивать, всех ублажать. Так нет такой силы. Не бывает! Приходится изворачиваться, а там долго ли толкнуть кого ненароком. Не для себя, для общей пользы толкаешь.

— Не по совести говоришь, Донат.

— По жизни говорю. А жизнь тебе не коврижка с медом, иной раз вжуешься — скулы сводит, а глотать нужно.

Семен широкой грудью навалился на стол, снизу заглянул в самые зрачки Доната:

— Вот мы сейчас пьем как дружки задушевные, знаю — на меня зла никакого не имеешь. Не за что... Скажи: можешь ты меня, как Митягина, для общей пользы в яму пихнуть? А?

Донат с минуту сопел в тарелку с надкушенным огурцом, затем твердо ответил:

— Ради общей пользы я себя пхну куда хочешь. А уж ежели своей башки не пожалею, то и твою навряд ли...

Семен встал — зазвенела посуда на столе.

— Себя можешь пхать, а меня спроси сперва—хочу ли?

— Ты куда это?

Семен не ответил.

20

От любых напастей Семена всегда спасал лес. Находила дурная минута, не глядя — вечер ли на дворе иль раннее утро,— брал ружье, оставлял порог дома и ударял куда-нибудь подальше — в Кошелевскую тетеринку или в Глуховскую, что стоит на самой окраине его владений. Спал то в пропахшем дымом срубе, то под осевшим стожком сена, ловил рыбу в черных озерах, бил уток, пек их по-охотничьи на костре, в угольях, обмазав перья глиной или жидкой грязью. И всегда из лесу Семен возвращался помолодевшим, каким-то чистеньким изнутри. Лес обмывал душу, лес наделял силой, всякий раз после леса за-

втрашний день казался приветливым. Не было лучшего друга у Семена, чем лес.

И Семен решил бежать от всего — от следователя, от Митягина, от истории с проклятой пулей,— бежать в лес.

От мягкого утреннего зарева подрумянились крыши и стены домов. Улицы села были пусты, на пыльной дороге бестолково судачили галки. Калинка, бежавшая впереди хозяина, вспугнула их. Птицы с гневливым криком сорвались в воздух. Семен размашистым шагом миновал село, свернул с дороги, тропкой вдоль поля ржи направился к лесной опушке. Знакомый путь — пересечет первый лесок, обшаренный бабами и детишками, набегавшими сюда за грибами и ягодами, километров пять пройдет полями, снова лес с покосами, потом покосы кончатся и там уж начнется лес серьезный...

Семен шагал почти на хвосте Калинки, резво бегущей впереди. К черту все! Митягин, Дудырев, следователь, пуля, разъедающие душу мысли! К черту! Луг от росы морозно-матовый, вылупился краешек солнца, растопил кромку леса, косо легли от деревьев влажные тени. И воздух легкий, подмывающе свежий, дышишь им, и кажется, что растешь вверх. И птицы поют, и начинают пробовать силы кузнечики, и в ложбинках лениво тронулся слежавшийся за ночь туман. Вроде привык к этой красоте, сколько раз видел ее, сколько раз встречал по утрам солнце, а вот идешь, дивишься, словно видишь впервой. К черту все! Жалок тот, кто спит сейчас в теплой постели, не видит этих простеньких чудес с набухающим туманом, с выползающим солнцем. Мелок тот душой, кто, проспав рождение солнца, сразу нырнет в обычные дела, закрутится в домашних заботах — заболела корова, обижен бригадиром, стращают судом. К черту все, что осталось за спиной!

Семен Тетерин быстрым шагом уходил в лес...

Солнце поднялось, высушило росу. Утро кончилось, наступил день. А Семен все шел и шел, не сбавляя шага. Шел, не зная куда, без цели, без мысли, бежал дальше от села — лишь бы в лес, лишь бы забраться глубже.

Тени съежились, листва, омытая росой, радовавшая глаз яркостью, теперь потускнела. Начался день, и сразу все стало на свои места — привычно кругом, буднично, скучновато. Но Семен подгонял себя, боялся — пропадет азарт.

В полдень его занесло в болото.

Наверное, не бывает на свете печальнее места, чем лесное болото в солнечный полдень. Ночь еще как-то прячет его устрашающую унылость. В кочках и вмятинах мшистая земля, бесконечный частокол рахитичных, засушенных обилием влаги елочек. Их стволы тощи, шершавы, похожи один на другой. Взгляд проникает сквозь них, пока не увязнет в каком-то сизом тумане,— это тысячи дальних и близких стволов сливаются в рыжую муть. Проклята та земля, что плодит такой жалкий лес. Ни в каком другом месте человек не чувствует так свое одиночество. И не только человек — зверь обходит стороной болото. Только глупые куропатки жируют на кочках черники и брусники.

Семен остановился и сразу почувствовал, что устал — ружье оттягивало плечо. Вот и лес, пришел... А что дальше?.. Калинка, усевшись в стороне, выжидающе поглядывала на хозяина.

Искать зверя, загнать, пристрелить? А зачем это? Он никогда раньше не задавал себе такого вопроса. Раз пришел в лес — действуй, показывай охотничью сноровку. Сейчас задумался: блуждать, искать след, гнаться, выбиваясь из сил, убить. А ради чего?.. Ради мяса? Ради шкуры?.. Ничего не нужно.

Ружье оттягивало плечо, во всем теле нехорошая истома, хочется выбрать место посуше и лечь. Никогда прежде не уставал, мог колесить по лесу целые сутки, десятки верст бежать без передышки за зверем — усталость приходила только во время привалов вместе со сном.

Мертвая пустыня, украшенная тощим ельничком, окружала его. Воздух парной, удушливый, не свистели птицы, не надрывались кузнечики. Пусто. Калинка сидит и ждет приказа. Один.

Он ушел от людей. А они живут себе по-своему. Должно быть, у скотного двора доярки загружают подъехавшую полуторку бидонами, смеются, весело перебраниваются с шофером, на лугах за речкой трещат косилки, мужики навивают стога. Плохо ли жить, как все живут! Разве лучше торчать в болоте, одному с глазу на глаз с Калинкой? Надо возвращаться... Возвращаться?! Чтобы и день и ночь думать о проклятой пуле, сидеть дома в четырех стенах, держать себя под арестом — лишь бы не видеть ни Митягина, ни Насти, ни их ребятишек...

Донат Боровиков, ежели поразмыслить, столько же виноват, сколько и он, Семен. Но этот Донат сидит, верно,

сейчас у себя в кабинете, уточняет сводки из бригад, думать не думает ни о Митягине, ни о пуле, что вчера показывал ему Семен. Рассуждает: себя пихну, другого не пожалею... Беды крутой не ведывал, потому и на людей с кондачка смотрит. Но Донат сторона, а вот Дудырев... Неужели и он спокоен, забыл обо всем, покрикивает себе по телефону? Вот уж у кого, верно, черная душа да каменное сердце...

Семен стоял посреди кочек, плотно заросших черничным листом, и сжимал тяжелые кулаки. Высоко сидит этот Дудырев, не замахнешься, был бы попроще, научил был его Семен совестливости.

И вдруг охватило озлобление. Донат Боровиков не думает, Дудырев не травит себя, а он, Семен Тетерин, хочет быть лучше других, эко! Вздумалось болящего Христа из себя корчить. Для него Митягин такой же сват и брат, как, скажем, для Доната. Все спокойны, людская беда как с гуся вода, отряхнутся — сухи и чисты. А он убивается, пулю таскает, то Дудыреву, то следователю эту пулю под нос сует. Их мутит от этой пули, зубы показывают, как Калинка при виде палки. Простак ты, Семен, простак. Считай, век прожил, а до сих пор в ум не возьмешь, что плетью обуха не перешибают. Дудырев и следователь не медведи, с лесной ухваткой не свалишь. Малой шавке не след на матерых волков лаять. И перед Митягиным от стыда корчиться нечего. Помогай там, где можешь помочь, не можешь — живи себе в сторонке. А пуля?.. Да будь она неладна!

Семен сунул руку в карман, вытащил пулю, хмуро оглядел ее в последний раз и бросил в сторону. Калинка, следившая за хозяином, метнулась туда, куда упала пуля, обнюхала, сконфуженно отошла.

Спохватись сейчас Семен, примись искать, навряд ли бы нашел ее среди кочек в высоком мху. Кусок свинца, хранящий в себе правду, исчез для людей.

Семен повернулся, решительно зашагал прочь в сторону села.

21

Дудырев почти ничего не знал о Митягине. За короткое знакомство во время охоты этот человек оставил у него смутный след — ничем не примечателен, не интересен.

Жалость к Митягину была, но слишком общая, отвлеченная, так жалеют, когда прочитают в газетах о пассажирах, погибших во время железнодорожной катастрофы. Нет, не жалость заставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не она толкала — действуй, не успокаивайся, добивайся истины. Просто одна мысль — прикрываться слабым и беззащитным — была противна Дудыреву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить с вечным презрением к себе — да какая же это жизнь!

При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойно и твердо доказывать, почему верит Семену Тетерину. Если б охотник задался целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступал бы более осмотрительно. Он бы мог придать пуле нужную форму, а не обкатывать ее. Он бы понес пулю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю. Наивная доверчивость не совмещается с характером человека, который решился на заведомый обман... Сухостойное дерево... Но оно не прикрывало собой всю лаву. Нет прямого доказательства, что парень упал в воду точно на середине реки. Это догадки.

Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, постукивая палкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув негнущуюся ногу, из-под сухих курчавых волос уставился черными прищуренными глазами.

Дудырев привык к уважению в районе, к тому, что его слово ловят на лету. Но на этот раз его напористые, решительные доводы не производили впечатления. Лицо Дитятичева было, как всегда, вежливо-бесстрастным, прокурор же с любопытством щурился, и под его жесткими ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва Дудырев замолчал, как следователь суховато и обстоятельно начал возражать:

— Ваши рассуждения не лишены интереса, но... отмахнуться от врачебной экспертизы, с распростертыми объятиями ринуться навстречу весьма сомнительным доводам охотника... К тому же, как кажется, он лицо заинтересованное... Друг Митягина...

А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвернулся, спрятал лицо.

Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, выступающий против Дудырева,— некий любо-

пытный парадокс, чудачество почтенного человека, уверенного в своей полной безопасности. И Дудырев понял — им немного неловко за него: зачем эта неискренняя игра, к чему казаться святей папы римского?

А ведь прокурор Тестов славился по району как недюжинный человек. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, ходит молва, что в обвинительных речах проявляет мягкость и уступчивость. Как он-то не понимает, что со стороны Дудырева не фальшь, не поза, а обычная норма поведения. Как не догадывается, что нельзя уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чужими руками.

Дудырев против Дудырева. Он выступает против своего, известного всему району имени. Имя — бестелесный звук, но оно могуче, оно грозит прокурору и следователю осложнениями, заставляет их искать удобные пути, искать истину «под фонарем». И сам Дудырев, с его напористостью, твердостью, отделившись на время от своего имени, оказывается бессильным что-либо сделать...

— А все-таки прислушайтесь...— сказал он мрачно.— Прислушайтесь и не опасайтесь за то, что я окажусь в невыгодном положении. Мне легче будет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину.

Последние слова он произнес с такой угрюмой настойчивостью, что прокурор с удивлением поднял голову, а бесстрастное лицо Дитятичева дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли наконец, что с ними не шутили, не играли в благородство.

Ответил прокурор:

— Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина... И поверьте, беспристрастно.

— Именно этого я и добивался.

Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. И только когда от крыльца донесся подвывающий звук стартера дудыревской машины, Дитятичев произнес:

— Черт его знает, донкихот какой-то.

Прокурор, задумчиво щуря глаза в угол, возразил после минутного молчания:

— Скорей Нехлюдов... Иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой.

22

На следующий день Дитятичев вызвал к себе Семена Тетерина. Стараясь придать своему голосу мягкость, он попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах была найдена пуля, не сможет ли Семен Тетерин назвать свидетелей, видевших пулю до того, как она была обкатана.

Обветренное лицо Семена потемнело еще сильнее.

— Нет пули,— ответил он глухо.

— Как так нет? Вы ее доставали или не доставали?

— Считай, что не доставал. Нету — и все.

Плотно сжав губы, следователь с презрением разглядывал охотника. Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед ним сгорбившись, тяжелые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле придает особую диковатую силу — бесхитростное, честное лицо, а глаза прячет, отвечает с подозрительным раздражением, отрицает то, что говорил прежде.

— Мне нужно знать точно: нашли вы после врача пулю в трупе медведя или не нашли?

Долго молчал медвежатник, наконец выдавил:

— Не нашел...

— Значит, вы лгали мне в прошлый раз?

Снова молчание.

— Лгали или нет?

— Считай, как хошь...

Дитятичев ничего не выжал из Семена.

А Семен, шагая домой, вспомнил, как мягко, почти ласково начал свой допрос следователь. Лисой прикидывается, про пулю признаться понуждает, а для чего? Угадать нетрудно — решили его, Семена Тетерина, пришить к Митягину: мол, одна бражка, один и ответ держать. Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ль им, ученым да сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, шалишь, в лесу похоронена пуля, словечка о ней клещами теперь не вытащат. Но ведь они и без пули могут придраться. Запутают, придется на старости лет сухари сушить, в дальнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая!

С этого дня не укоры совести мучали Семена Тетерина, а страх. Все казалось, что за его спиной против него зате-

вается страшное, тайное, непонятное, против которого не попрешь, с чем не схватишься в открытую, не оборонишься кулаком. Бессильным чувствовал себя Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным, словно младенец.

23

Прошло лето, зарядили дожди, развезло дороги. В эту осень не было золотых деньков, не сияли березовые перелески под негреющим солнышком, не полыхали багрянцем осины, не заметало тележные колеи шуршащей листвой. Никто и не заметил, как оголились леса, как ударили первые утренники.

Всю осень воевали за хлеб. Многие учреждения в райцентре закрылись, служащие разъехались по колхозам. Дудырев отрывал рабочих от строительства, посылал на поля.

В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое случилось во время охоты в середине лета. И если кто ненароком ронял об этом слово, равнодушно отмахивались — старые дрожжи поминать дважды.

Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только на работу, постарел, потускнел, как-то ссохся, казалось, стал меньше ростом. Он перестал выпивать, возился с ребятишками, копался на огороде, покорно сносил нападки сварливой Настасьи. В их семье наступил мир и покой, какого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы.

Митягин и Семен Тетерин сторонились друг друга, при встречах перекидывались двумя-тремя ненужными словами, про охоту не вспоминали.

Семен, как и все, помогал колхозу — отремонтировал сушилку, работал на токах. В лес выбирался изредка, но в эту осень ему не везло — всего только и добычи, что принес лису-огневку. На одном из таких неудачных выходов Калинка сломала ногу, кость не срасталась — сказывался возраст, как-никак по собачьему веку старуха.

Временами и Семен забывал о несчастье, по нескольку дней не вспоминал о пуле. Но всегда после таких спокойных дней тревога охватывала с новой силой. Притихли, забыли, не напоминают о себе! Перед грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они забыть начисто, не мино-

вать суда. Грянет гром — по кому-то ударит. Правда, следователь больше его не тревожил, с него, Семена, не взяли подписки о невыезде, как это сделали с Митягиным. Но что там подписка — знают, что и без нее Семен никуда не денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, начнут при народе пытать. Нет пули — и шабаш! Не хочет он принимать во чужом пиру похмелье.

По-прежнему с глухой тайной ненавистью вспоминал о Дудыреве. И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника строительства: Дудырев собирается бараки сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходителен, он и добр... Семен-то знает его доброту. Ох, люди — за полушку покупаются!..

При первых заморозках в дом к Семену ворвалась Глашка Попова, принесла повестку на суд...

Семена усадили в соседней комнате, в одиночестве. Он сидел и прислушивался к глухим голосам, доносившимся из-за стенки, представлял себе Митягина — на него глазеют из зала, шушукаются, показывают пальцами. Пожалуй, нет ничего на свете страшнее, чем торчать вот так перед людьми покрытым срамом. Семен согласился бы выйти против разъяренной медведицы с голыми руками, чем оказаться сейчас в шкуре Митягина.

Рядом с Митягиным, верно, сидит и Дудырев. Как ни крутился следователь, а, должно быть, не сумел совсем выгородить начальника строительства — все же причастен к убийству. Но все ясно: Дудырев сидит ради приличия. Митягин и стреляет хуже, и дерево сухостойное позади медведя стояло для него невыгодно — вся вина на нем, ему и ответ держать. Дудырев посидит, может, покраснеет даже, а потом отряхнется — что ему, непременно оправдают.

Семен ждал долго, изнывал от страха, томился. Наконец открылась дверь.

— Свидетель Тетерин! Пройдите!

Он встал перед столом, боком к народу, мельком увидел — в первом ряду восседает Донат Боровиков, смотрит в упор на Семена, и взгляд его торжественно-тяжелый, чужеватый, без сочувствия. Других не различал, но чувствовал, что и все смотрят на него выжидающе, по-чужому.

Народного судью — Евдокию Павловну Теплякову — Семен часто встречал в районе, как-то даже случалось беседовать на берегу реки, ожидая перевоза. Помнится, говорили тогда о сущей ерунде — о грибах, которые в том году росли наотличку. Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная. Сейчас Семен видел ее руки, лежащие на каких-то бумагах,— руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать, и бельишко стирает ребятам, и полы моет, и картошку копает. Без мужа живет, тоже бабе приходится из кулька в рогожку переворачиваться.

Теплякова и все остальные, что плотно, с разных сторон обсели стол,— люди как люди, должно, не злы, при случае готовы и пожалеть, и посочувствовать, и помочь в беде. При случае, а не сейчас. Сейчас-то между ними и Семеном Тетериным сто́ит красный стол.

Теплякова скользнула отрешенным взглядом, взяла бумагу со стола.

— Свидетель Тетерин Семен Иванович, год рождения 1904, промысловик-охотник, место жительства — село Волок Густоборовского района... Свидетель Тетерин, вас поставили в известность, что за ложные показания вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статьям?..

Голос Евдокии Тепляковой нисколько не похож на тот, каким она разговаривала с Семеном о грибах.

— Свидетель Тетерин! — К нему обращаются торжественно, его величают строго.— Расскажите суду, что произошло на охоте в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля сего года. Постарайтесь припомнить все.

Семен робко кашлянул в кулак и начал, запинаясь, рассказывать о том, как собрались на охоту, о том, как гнали медведя, как выгнали его к лаве, как он, Семен, услышал гармошку, успел крикнуть...

— Свидетель Тетерин, вы видели, чтобы подсудимый Митягин когда-нибудь занимался до этого охотой?

У Семена упало сердце: «Вот оно, копают».

— Н-нет,— признался он.

— Вы знали, что он не умеет обращаться с ружьем?

— Н-нет... Говорил, что баловался прежде.

— И вы поверили?

— Поверил.

— Свидетель Тетерин, вы как-то предъявили следователю пулю, которую вы якобы достали из убитого медведя.

Вы уверяли, что врач, искавший эту пулю, не нашел ее. Вы подтверждаете это?

Вот оно... У Семена стали мокрыми ладони, он молчал, сутулился, угрюмо уставившись в пол. Вот оно — самое страшное, вот он — пробил час. Много дней и недель жил в страхе перед этим часом. Все молчат, ждут, что он скажет. Молчит и он. Признаться? Сказать правду? Спросят: где пуля, покажи! А пуля лежит во мху, среди кочек, затерялась в глухом болоте, сам черт ее теперь не отыщет.

— Свидетель Тетерин, вам понятен вопрос?

— Нету пули,— выдавил из себя Семен.

— Вы утверждаете, что не показывали пулю следователю?

— Никакой пули не знаю.

— А вот здесь запротоколировано черным по белому, что шестнадцатого июля сего года, на следующий день после события, вы принесли следователю Дитятичеву пулю, вынутую, по вашим словам, из трупа медведя и подходящую под калибр ружья, которым пользовался Митягин... Приносили пулю или не приносили шестнадцатого июля, сразу после охоты? Да или нет?

— Не-ет.

— Что значит ваше «нет»? Приносили пулю или не приносили?

— Приносил.

— Вы, как сообщил следствию Дудырев, и ему показывали эту пулю?

— Показывал и ему.

— На следующих показаниях вы отрицали, однако, что эта пуля у вас есть, что вы достали ее из медведя?

— Отрицал,— признался Семен, еще ниже опуская голову.

— Значит, это пуля не из медведя, вы просто принесли другую пулю из своих запасов? Не так ли?

Семен молчал. Он чувствовал себя совсем раздавленным, тело стало грузным и непослушным, ноги вялыми, коленки дрожали от напряжения. Вконец запутался. Если он скажет правду, что вынул из медведя, что нашел ее под самым черепом, в шейном позвонке, что сам раскатал ее, тогда спросят: почему раньше увиливал? Чему верить? Зачем водите суд и следствие за нос? Где пуля? Почему вы ее бросили? Конца и краю не будет

расспросам. Все равно правда похоронена вместе с пулей.

Суд ждал, без конца молчать было нельзя, и Семен, набрав в грудь воздуху, с усилием выдавил лишь одно слово: «Да»,— лживое слово, прозвучавшее придушенно.

— Не из медведя? — уточнила Теплякова.

— Да...

— Вы ее принесли для того, чтобы спасти от наказания Митягина?

Надо было лгать и дальше, Семен снова с усилием выдавил:

— Да...

На минуту наступило тяжкое молчание. Семен стоял, опустив голову.

— Со стороны обвинения будут вопросы?.. Со стороны защиты?.. Нет. Свидетель Тетерин, имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?

Семен Тетерин ничего не имел, он еле держался на ногах.

— Свидетель Тетерин, вы свободны. Можно пройти в зал и присутствовать на заседании.

Спотыкаясь, никого не видя, Семен направился на народ. Кто-то — он не видел кто — пожалел его, уступил место на скамье. Семен грузно опустился. Сидел, уставившись в пол, до тех пор, пока не услышал голос Дудырева.

В мягкой кожаной куртке, чисто выбритый, прочно стоящий на расставленных ногах перед судебным столом, по всей вероятности, не испытывавший ни смущения, ни волнения, коротко, точно и спокойно Дудырев отвечал на вопросы. Слышал ли он предупреждение Семена Тетерина? Да, слышал, но не мог уже остановиться, выстрелил почти одновременно с выкриком. Слышал ли он звук гармошки? Нет, не слышал...

После обычного завершающего вопроса: «Имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?» — Дудырев чуть вскинул тяжелую голову и твердо сказал:

— Да, имею.

Зал, и до этого внимательно-настороженный, притаился за спиной Семена Тетерина так, что Семен услышал свое напряженное дыхание.

— Мне известно,— размеренно и по-прежнему спокойно начал Дудырев,— что ряд косвенных улик, принятых во внимание следствием, отягощает вину Митягина и об-

легчает мое положение. Поэтому сейчас, перед лицом суда, хочу заявить: не считаю себя менее виновным. Мы одновременно выстрелили. Я стреляю лучше Митягина, но это не может гарантировать полностью того, что я не мог промахнуться. Указывают на местоположение сухостойного дерева, которое прикрывало от меня середину лавы. Но достаточно было потерпевшему выдвинуться вперед на полшага, а пуле пролететь в каком-нибудь сантиметре от ствола дерева, как обвинение против Митягина рушится. Свидетель Тетерин отрицает теперь наличие пули. Я не собираюсь ни уличать его, ни попрекать в непостоянстве. Пули нет, кто из нас убил — для меня до сих пор тайна, как и для всех. Мы оба повинны, оба в одинаковой степени!..

Зал одобрительно загудел.

— Но это не значит, что я покорно признаю себя виновным. Думаю, никто не решится упрекнуть ни меня, ни Митягина в преднамеренном убийстве. Нас могут судить лишь за неосмотрительность. Но является ли эта неосмотрительность преступной? Мы стреляли в лесу, где никакими законами, никакими частными предупреждениями стрельба как таковая не возбраняется и не ограничивается. Мы не могли предположить, что за кустами может оказаться живой человек. Место, где мы стреляли, чрезвычайно безлюдно, прохожие встречаются на дню один, от силы два раза. Как я, так и Митягин не слышали гармошки. Ее услышал Тетерин, не в пример нам обоим более опытный охотник. Выкрик Тетерина прозвучал почти одновременно с выстрелами, мы просто физически не успели сообразить. И мне думается, никто не позволит себе допустить такую мысль, что мы решились спустить курки, услышав выкрик, поняв его значение. Я не считаю себя совершившим преступление, а следовательно, не считаю преступником и Митягина. Если же суд не согласится с моими доводами, посчитает нужным вынести наказание, то это наказание я в одинаковой мере должен нести с Митягиным.

Семен слушал Дудырева, сидел, вытянувшись, с каменно-неподвижным лицом, из-под скулы, приподнятой шрамом, глядел с суровым прищуром. И если б кто-нибудь в эту минуту вгляделся в него, то все равно не смог бы разглядеть, что этот человек с каменным лицом корчится сейчас внутри от стыда.

24

Прокурор не настаивал на наказании. Народные заседатели совещались недолго.

Суд оправдал Митягина, приняв во внимание, что крик Семена Тетерина, предупреждавший об опасности, прозвучал слишком поздно.

Семен вместе со всеми стоя выслушал приговор, вместе с одобрительно гудевшей толпой вышел из суда на улицу и только там натянул на голову шапку.

Люди не спешили расходиться, топтались по только что выпавшему снегу, радостно переговаривались между собой. Каждый чувствовал, что свершилось что-то доброе и красивое. И все в эту минуту, столпившись под лампочкой в жестяном абажуре, качавшейся от легкого ветерка на столбе, простосердечно тянулись друг к другу, хотели продлить праздничную минуту.

Митягина, вышедшего из суда вместе с женой, сразу же обступили, хлопали по плечу, поздравляли, отпускали незамысловатые шуточки:

— Что, братец, верно, бельишко уже собирал?

— Не тужит, что не привелась дальняя дорога.

— Сердце-то, поди, до сих пор в пятках сидит!

— На тебя бы такую напасть — тоже, чай, не особо бы радовался.

Митягин вертел косо напяленным на лысину лохматым треухом, растроганно, со слезой бубнил одно и то же:

— Ах, беда! Вот беда так беда!..

Видать, эти слова прочно въелись в него за последнее время.

Его Настя, стоявшая рядом, вздернув голову в пуховом платке, победно оглядывала обступивших, всем своим видом говорила: «То-то! Мы не какие-нибудь арестанты. Против правды-то не попрешь!»

Неожиданно люди замолчали, расступились. Рука об руку прошли прокурор и следователь. Следователь высокий, прямой, прокурор по плечо ему, сильно прихрамывающий. И по тому, что они вышагивали с достоинством, не без подчеркнутой торжественности, было понятно — их вовсе не оскорбляет добрая радость людей, не спешащих расходиться по домам. Служба заставляла их проявлять строгость, они сделали свое, теперь тоже довольны, что окончилось хорошо.

Прошел быстрым шагом и Дудырев, кивая на прощание направо и налево.

Шагая враскачку, приблизился Донат Боровиков, встал на расставленных коротких ногах перед Митягиным, крепкий, приземистый — не столкнешь с места,— заговорил покровительственно:

— Ждал, поди, что люди готовы съесть тебя. Ан нет, и понять всегда готовы, и руку протянуть при нужде... Мало доверяем друг другу. Великое дело — доверие. Так-то.

— Ах, ты, беда... Да я же и не мыслил...

Семен, стоявший на отшибе, чувствовал себя обворованным. У него было одно утешение — маленькое, неверное, постыдное, но все-таки утешение. Считал, что все люди плохи, такой, как Дудырев, спасает свою шкуру, не мучится совестью. Так к чему выглядеть красивее других, зачем лезть на рожон? Было утешение, теперь нет. Дудырев защищал Митягина, готов был разделить с ним вину. Нет оправдания Семену, не на кого кивать. А ему ли сейчас не радоваться вместе со всеми, ему ли не торжествовать за Митягина? Все довольны, все добры друг к другу, у всех праздник. У всех, но не у него.

Тоскливый среди всеобщего возбуждения голос заставил Семена обернуться. Поеживаясь в вытертом полушубке, невидяще уставившись мимо Семена на людей, толкущихся вокруг Митягина, стоял бригадир Михайло Лысков, отец парня, убитого на охоте.

— Не вернешь Пашки теперь,— говорил он рослому детине в распахнутом ватнике.— Не след другим жизнь портить. Мне от чужой напасти теплее не будет.

— Само собой, злобой не излечишься,— с охотой поддакивал детина.

Казалось бы, кому, как не Михайле, озлобиться, возроптать на всех, а на вот, не озлобляется, не теряет совести, остается человеком. Ему-то, Семену, не в пример проще было не пятнать душу. Врал, увиливал, Митягина продал... Голос Михайлы словно прожег насквозь Семена. Он повернулся и, сторонясь людей, зашагал в темноту, к дому...

А в это самое время Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделявшейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене.

Отрекся от пули, но что-то мешало Дудыреву до конца верить в это отречение. Как бы там ни было — солгал ли охотник сейчас на суде, или же лгал ему, Дудыреву, раньше, принеся фальшивую пулю,— в обоих случаях некрасиво.

Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться.

Он, Дудырев, требует от Семена Тетерина больше, чем от самого себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву, окончившему институт, приписавшемуся к интеллигенции! Умилялся и забывал, что он сам строит новые заводы, завозит новые машины, хочет того или нет, а усложняет жизнь. Усложняет, а после этого удивляется, что Семен Тетерин, оставив лес с его пусть суровыми, но бесхитростными законами, теряется, путается, держит себя не так, как подобает.

Люди меняются медленнее, чем сама жизнь. Построил комбинат — перевернул в Густоборье жизнь. Комбинат можно построить за три-четыре года, человеческий характер создается десятилетиями. Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить.

Слепое преклонение не есть любовь. Истинная любовь деятельна.

25

Дома старуха размешивала у печи пойло корове; увидев переступившего через порог Семена, разогнулась, поспешно вытерла руки о завеску, спросила с тревогой:

— Чтой там? Аль строго дали?

Семен ничего не ответил, стянул обшитый солдатским сукном полушубок. Его молчание старуха поняла по-своему, припала сморщенной щекой к костлявому кулаку, скорбно закачала головой, вполголоса запричитала:

— И на кого, горемыка, детишек-то оставит! И теперь вольница неухоженная, без отца-то совсем от рук отобьются... Господи! Не чаяли горюшка, да свалилось!..

— Цыц! — рыкнул на нее Семен.— Сбегай к Силантьихе! — И, видя, что жена собирается возражать, угрожающе-заглохшим голосом прикрикнул: — Кому сказано! Живо!

Старуха послушно накинула на голову платок.

Силантьиха, бобылка, живущая через три двора от Семена, таясь от участкового Малышкина и председателя Доната Боровикова, варила самогон и при нужде сбывала его из-под полы.

Семен прошел в свою боковушку, не зажигая света, сел за стол, навалился локтями, сжал ладонями голову. За окном, что в погребе: темно и тихо. Только за сенями, под поветью, слышно было, как ворочается нетерпеливая корова, которой не принесли пойло.

И вдруг тишину за окном прорезал собачий вой. Надрывно завыла Калинка. Не беду хозяина учуяла она, не из преданности изливалась она в плаче в черное небо — у нее своя беда, свое непоправимое несчастье. Лапа не срастается, на последней охоте трижды теряла след, часто ложилась — уходят силы, чует это собачьим нутром.

Семен понял — с Калинкой ему больше не охотиться, прошло ее время, надломилась.

Он сидел, сжав лицо широкими ладонями.

Как случилось?.. Сколько себя помнит — не приходилось краснеть перед людьми, знал себе цену. До чего дошел: последние месяцы, считай, заячьей жизнью жил. Это он-то! И добро бы беда настоящая грозила, так не было ее! Заместо зверя огородное пугало принял. Сраму боялся. Вот он, срам,— по уши влез. Вперед наука. Наука?.. Еже ли б в семнадцать лет такая наука выпала, а он уже не мальчишка — старик, через четыре года за шестой десяток перевалит. Не поздно ли учиться?..

Семен сжимал голову, готов был выть в один голос с Калинкой.

Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести.

1960

Тройка, семёрка, туз

1

Сотни, а может, тысячи (кто считал!) речек, речонок и упрямых ручейков, протачиваясь сквозь прель опавшей листвы и хвои, прорывая путь в корневищах деревьев, несут из ржавых болот воду в эту большую реку. Потому-то вода в ней темна, отливает рыжей накипью. Потому-то в ненастье у реки особый цвет, не просто свинцовый, а лежало-свинцовый, древний.

Река всегда полноводна. Песчаные отмели у берегов — редкость. Выписывая привольные петли, течет она по необжитому, дикому краю к полярному морю. А по самой реке — день и ночь безмолвное шествие. День и ночь по реке плывут бревна.

Их путь нелегок. Отмели (они встречаются на любой реке, даже на полноводной), тихие заводи, просто закраины у берегов — все ловушки, всюду можно застрять. Неторопливо течение, медлительно движение вперед. Многие из речных паломников не выдерживают. Набухает водой древесина — у бревна утопает один конец, над водой торчит тупая макушка. Но бревно упрямится, ползет вперед, тащит по дну отяжелевший конец, пока не огрузнет совсем и тихо не ляжет на дно. Вялые налимы будут прятаться под ним в летние дни, занесет его песком и илом. А другие бревна-паломники поплывут все дальше и дальше, пока не попадут в запань перевалочной базы. Там их выкатят из воды, начнут сортировать: это строительный — на лесопильный, это баланс — пойдет на бумагу, это крепежник — на шахты, это резонанс — из него можно делать музыкальные инструменты. Расписаны по графам, разложены по

штабелям — забвение лежащим на дне покойникам, новая жизнь тем, кто сумел дойти до конца.

Течет северная река — великая артерия молевого сплава. Местами она свой лениво-суровый характер меняет на яростный — кипит среди камней, брызжет, несет хлопья желтой пены. Здесь пороги. Их несколько по всей реке. И самые крупные — Острожьи.

2

Собственно, это два порога: первый — Большая Голова; чуть ниже, метров на двести — Малая. Над затопленными огромными валунами вечное, никогда не прекращающееся волнение, в сыром воздухе неумолкающий рев.

Как раз напротив Большой Головы разместился крошечный поселок — всего пять домов, считая маленький магазин, где торгуют хлебом, сахаром и консервами.

Лес, тесно прижавший дома к берегу, серое небо и кипящая на порогах река... Эта река — единственная дорога, по ней раз в неделю на лодке подвозят продукты.

Пять домов — мастерский сплавучасток Дубинина. Население — тридцать два человека: двадцать пять рабочих-сплавщиков, уборщица, продавщица Клаша, моторист Тихон, трое девчат в столовой и сам мастер Дубинин — глава поселка.

Плывут россыпью бревна, трутся друг о друга, тесно сбиваются в заводях, садятся на отмелях.

Каждое утро с баграми и топорами сплавщики рассаживаются по лодкам и разъезжаются по пикетам. Занесенные в кусты бревна скатываются обратно в воду, освобождаются заводи, очищаются отмели... Население маленького поселка существует для того, чтобы бесконечное шествие леса по реке не останавливалось.

3

Мастер Дубинин живет прямо в конторе. Рядом с колченогим столом, на котором он выписывает наряды, стоит койка. На стене висит телефон. Звонит этот телефон хрипло, рычаще. А так как на одной линии таких телефонов навешано, что наживы на перемет, то рычащие звонки раз-

даются ежеминутно. Один звонок — значит, кто-то добивается коммутатора, два — вызывают мастерский участок Кротова, три — лесозаготовительная организация... А есть еще участок Горшкова, Дымченко... Дубинин не обращает внимания на чужие звонки, может крепко спать под хриплое рычание телефона. И если раздается четыре звонка, просыпается — его!

Дубинин невысок и неширок в плечах, ходит медлительно, враскачку. Сплавщики — все дюжие ребята, целые дни проводящие на окатке бревен,— в один голос уважительно отзываются о его силе: «Любому вязы скрутит...»

Все зовут его Сашей, хотя он самый старший по должности, да, пожалуй, и по возрасту. Маленькие, под насупленными бровями глаза сонно угрюмоваты, в крепкой рыжеватой щетине массивный подбородок, нижняя губа отвисает, к ней всегда приклеена тлеющая цигарка, резиновые сапоги с завернутыми голенищами, мешковатый, неопределенного цвета пиджак, натянутая на брови кепка... И, как бы дополняя нелюдимый вид, из-под полы пиджака выглядывает финка в кожаных ножнах. Финка для Дубинина не оружие, ею он потрошит рыбу, режет хлеб, выстругивает рогульки для жерлиц, нарезает ивняк для морд, которые сам плетет. В маленьком поселке, где живут тихо и дружно, никому и в голову не придет обзаводиться оружием.

В субботу обычно поселок пустеет. Сплавщики сменяют высокие резиновые сапоги на яловые, переезжают в лодках на другой берег и по глухим лесным тропинкам идут в свои деревни. Все они из ближайших деревень — Куренево, Закутное, Яремное. Вечером в воскресенье они возвращаются — попарившиеся в банях, обласканные женами, большинство довольные, кое-кто озабоченный домашними неурядицами. У многих, случается, не совсем выветрился праздничный хмелек. На участке не пьют — продавщица Клаша спиртным не торгует.

У Дубинина тоже дом в деревне Закутное. Один день в неделю он проводил с женой и детьми, шесть дней — на участке. Дома он гость, а настоящая его жизнь — среди сплавщиков.

Толька Ступнин, младший брат Ивана Ступнина, славившийся среди сплавщиков книгочием, отпросился в город на учебу. Дубинин выхлопотал ему на дорогу премиаль-

ные, подарил совсем неношеные яловые сапоги, писал письма, сам тайком высылал деньги, заставлял помогать старшего брата.

Сплавщики отзывались о мастере:

— Саша-то ничего мужик... Свой в доску.

4

Рабочие жили в общежитии. Двадцать шесть коек, разделенных фанерными тумбочками, окружали громоздкую печь. В непогожие дни эту печь так усердно топили, что нельзя было прислониться — обжигала.

Работа сплавщиков — грубая работа. Своротить с места набухшее водой бревно, столкнуть его в воду, чтоб плыло себе дальше,— какая уж, кажись, хитрость. Нужны багор, топор, прочная слега и крепкие мускулы. Но и среди сплавщиков есть свои артисты.

Как-то продавщица Клаша, вопреки правилу не торговать спиртным, завезла в свой магазин ящик шампанского. Купили в складчину бутылку. Иван Ступнин поставил ее на конец бревна, сам встал на него и, орудуя багром, переехал за реку, вернулся обратно, не дав себя утащить напористому течению в кипение Большой Головы, не обронив в воду бутылки. Забава — рискованная сама по себе; кроме того, Иван Ступнин, всю жизнь кормившийся рекой, еле-едва умел плавать.

Эту бутылку он распил один, поминутно сплевывая.

— Перипетия одна — квас. Только и славы, что в нос шибает. Стоило из-за этого спектакль показывать.

Любое состояние своей души — будь то радость, огорчение, удивление, пренебрежение — он выражал одним непонятным ему словом: п е р и п е т и я.

— Запань Ощеринскую прорвало. Будет нам работки.

— Эхма, перипетия...

— По радио передавали: новый спутник в небо забросили, больше тонны весом.

— Ишь ты, перипетия.

— Под Куреневым медведь бабу заломал. В больницу отвезли, неизвестно, жива ли будет.

— Ну и ну, пе-ри-петия.

Кроме Ивана Ступнина, было еще два артиста — Егор Петухов и Генка Шамаев.

У Егора рыхлое, бабье лицо с торчащим острым носом. И голос у него тонкий, бабий, несолидный. Когда Егор одет, он неприметен, даже кажется каким-то пришибленным. Но разденется — широкие, налитые плечищи, лепная, играющая от малейшего движения мускулами грудь, тугие бицепсы, перекатывающиеся под кожей.

Егор славится своей скупостью. Ему постоянно кажется, что в столовой воруют.

— Пять рублей берут за обед, а дают что?.. Водичку.

— Ты, поди, за пятерку-то из-под себя есть готов?

— Может, кто и богат, а я пятерки-то не печатаю. Мне каждую копеечку считать приходится.

Он хороший сплавщик и зарабатывает много, больше мастера. Все знают, что Егор бездетен, что его жена работает при леспромхозе, живет на свою зарплату. Деньги, что не успел положить на книжку, Егор хранит в чемодане. Этот чемодан, похожий на сундук, запирается на большой висячий замок, хотя воровства на участке не помнят даже такие старожилы, как Иван Ступнин.

Странно было видеть Егора, когда он, чуть сутуловатый, со скучным, даже брюзгливым выражением, проходил на бревне «малую кипень» — место перед порогом. Бурлит вода, раскачивается бревно, а Егор цепко стоит на нем, лениво вскидывает багром, не спеша отталкивается от камней, от наползающих бревен. И уж он не промахнется, не оступится, причалит к берегу, буднично, со сварливым страданием начнет жаловаться:

— Эвон перекатали-то сколько, а вот ужо посмотрим — столько ли запишут... Вот ужо, я зна-аю...

Генка Шамаев высок, плечист, разлохмаченная шевелюра падает на брови, лицо обветренное, дерзкое. Девчата в столовой всегда подставляют ему щи и погуще и пожирней. Но Генка каждый вечер садится в лодку, заваливаясь на веслах, резкими толчками гонит ее к другому берегу, оставляет лодку и скрывается в лесу. Километрах в шести — лесопункт, там работает Катя, ей лет двадцать пять, не больше, но уже вдова. Как рассказывают, муж ее из поморов, погиб прошлой весной в море.

Случалось, что Генка задерживался на окатке, и тогда видели ее. Она выходила на берег, кутаясь в платок, до темноты ждала под моросящим дождем.

Генка возвращался всегда поздно. На койку под простыни ему клали поленья и палки, он выбрасывал, ложился и спал как убитый.

А утром все густо ржали, отпускали такие шуточки, от которых, казалось, должны бы пунцоветь потолочные балки. Генка снисходительно улыбался, с хрустом лениво потягивался — белотелый, гибкий и довольный собой.

На участке ходили легенды о каком-то старом сплавщике Терентии Кляпе, который будто бы проходил, стоя на бревне, насквозь Большую Голову. Генка как-то раз тоже решился въехать на матером кряже прямо в пороги. Но его при первом же нырке сбило, накрыло волной. Думали, что закрутит, насмерть изобьет о камни, но он выплыл босой, мокрый, злой — резиновые сапоги тянули ко дну, пришлось сбросить.

— Врали, сволочи, про Кляпа. Не проскочишь...

5

Всем троим втайне завидовал Лешка Малинкин. Ему недавно исполнилось двадцать лет, на участке работал всего полтора года. Пришел из соседней деревни по-мальчишески круглоголовый, неуклюжий, страшно робел перед Дубининым. За последнее время раздался вширь, перенял дубининскую походку враскачку. И не только походку... В разговоре старался быть скупым на слова, как Саша, сурово и многозначительно хмурил лоб, как Саша, мечтал: «Вот поработаю год-другой, отпрошусь на курсы, вернусь обратно таким же мастером...» Представлял: дюжие сплавщики станут слушаться его слова, уважительно за глаза отзываться «свой в доску», будет ходить он по участку справедливым и строгим хозяином, как Саша. Нет для Лешки выше человека!

Впервые в жизни Лешка почувствовал в руках силенку. Она удивляла и восхищала его. Если кто-нибудь замечал, что слега, которую подхватил Лешка, слишком тяжела, и кричал: «Эй, вы! Помогите парню! Надорвется!» — обычно тихий Лешка с ребячьей злостью начинал ругаться:

— Идите вы с подмогой!.. Я сам...

Вечерами, когда Генка Шамаев перебирался на лодке на другой берег и исчезал в лесу, Лешка забирал свой багор и, воровато оглядываясь, шел к берегу за столовую, к

дамбе. Там он дотемна, в одиночку, упрямо учился держаться на бревнах, как держатся Иван Ступнин и Генка Шамаев. Возвращался в общежитие мокрый по пояс и обескураженный.

Раз вечером, держа на весу багор, перепрыгивая с валуна на валун, он направился к дамбе.

Солнце скрылось за высоким лесистым берегом, но облака над черными зубчатыми вершинами пламенели, пена, прибиваемая с Большой Головы, казалась розовой.

А на том берегу, почти у начала кипения, накренившись на один бок, покоилась полувытащенная из воды Генкина лодка.

Лешка вдруг остановился, удивленно раскрыл рот, стал всматриваться: оскальзываясь, спотыкаясь, хватаясь руками за кусты, прямо к Генкиной лодке спускался по крутому берегу человек.

Кто ж может быть? Из деревни, должно, или с лесопункта. Без нужды в эту глушь не заглядывают.

Едва незнакомец оттолкнул от берега лодку, неумело стал вставлять весла в уключины, Лешка понял — плохо гребет, не знает реки, его сразу же снесет на пороги. Большая Голова не страшна для лодки — покидает, припугнет, но всегда благополучно проносит, только надо отдаться течению, подправляй чуть-чуть веслом, чтоб не занесло корму. Боже упаси бороться с порогом — развернет, захлестнет, быть в воде, а уж тогда не выкарабкаешься.

Лодка с нежданным гостем заплясала на волнах, тот начал судорожно грести, брызгая, срываясь по воде веслами.

— Брось весла! — закричал ему Лешка.— Эй, ты! Смерти хочешь? Брось весла, говорю!

Но за шумом порога Лешкин голос глох, не долетая до середины реки. Незнакомец барахтался, лодку сносило туда, где гуляли яростные буруны.

— Э-эй! Ве-есла-а!! Эх!..

Лодку развернуло, раз-другой беспомощно взметнулись весла, украшенная разводами розовой пены волна навалилась на борт, приподняла лодку — на закате тускло блеснуло днище...

Лешка, похолодев от ужаса, секунду оторопело глядел, как крутит и подбрасывает перевернутую лодку, сорвался, хлюпая широкими отворотами сапог, спотыкаясь о валуны, бросился к поселку.

Одна из лодок стояла под столовой. Лешка с ходу столкнул ее, черпнув сапогом воду, ввалился через корму, судорожно стал разбирать весла...

Само течение гнало лодку на Большую Голову. Запрокидываясь назад, Лешка греб, трещали от натуги уключины... Каменная дамба, лес на берегу, зубчатой грядой врезавшийся в горячий закат,— все закачалось, зашаталось, то вытягиваясь вверх, то оседая. Лодка врезалась в пороги...

Лешка поднял весла и до ломоты в шее стал оглядываться: направо, налево, назад — ничего не видно, даже лодки. Брызги обдавали лицо, плечи, грудь. Сразу насквозь промок пиджак. Берега поднимались и опускались, рев бушующей воды туманил мозг...

Трудно что-нибудь сообразить, ничего не видно, даже лодки... Хотя нет, вот она — лоснится мокрое днище на закате. Уже проплыла буруны, течение сносит ее к Малой Голове.

Мягче водяные ухабы, ниже подпрыгивает корма, брызги уже не бьют в лицо. Минута-две — и Большая Голова выплюнула Лешкину лодку. Можно браться за весла.

Нервно покачиваясь, словно все еще переживая неожиданную встряску, плыли по воде бревна. Вода под лодкой мрачная, черная, крутятся клочья желтой пены. Попалось на глаза весло...

И при виде этого сиротливого весла Лешке стало жутко. Был человек — и нет его! Где-то в глубине, под темной водой, что несет сейчас на себе разбросанные бревна, течение лениво ворочает безжизненное тело. Ничем не поможешь. Конец. На твоих глазах. Холодно...

Впереди — кипень Малой Головы. Там уже бросает перевернутую лодку.

И вдруг на горбатой и скользкой спине одного из бревен Лешка увидел мокрый рукав, желтую кисть руки.

— Эй!..— крикнул он, но голос хрипло осекся. Он схватился за весла...

Черная, сведенная судорогой небритая физиономия, широко раскрытые безумные глаза, бесцветные, словно слинявшие от ужаса.

— Эй, друг! Отпускайся! Подхвачу... Эй!

Но человек, прижавшийся небритой щекой к бревну, глядел из-под слипшихся на лбу волос, не отвечал. Костлявая кисть руки судорожно держалась за бревно.

— Да отпускайся, черт! — плача, закричал на него Лешка.— Отпускайся! Сейчас снова в пороги попадем...

Малая Голова приближалась, лодку снова стало покачивать. Если ее развернет, то и в Малой Голове можно обоим найти могилу.

Прыгая в лодку, Лешка по привычке бросил в нее свой багор. Без багра он не вытащил бы утопленника. Подтянул к себе бревно, с сердцем ударил по окостеневшей руке, схватил за волосы...

Незнакомец лежал без сознания, откинув голову на резиновый сапог Лешки, неловко подвернув под себя ногу.

На берегу он пришел в себя, валялся на земле, и его долго рвало водой...

6

Его положили в общежитии на ту койку, где раньше спал Толя Ступнин, Лешкин дружок, уехавший в город на курсы.

Голова откинута на подушке, небритый подбородок торчит вверх, под щетиной возле кадыка бьется жилка, глаза закрыты, тонкие руки вытянуты вдоль тела, пальцы безвольно согнуты — усталые руки. В общежитии жарко, одеяло накинули только на ноги, плоская, ребристая грудь обнажена, на ней вытатуирована надпись: «Года идут, а счастья нет».

Сплавщики толпились вокруг, перекидывались вполголоса замечаниями:

— Видать, мужик тюремной жизни понюхал. Ишь украсился: «счастья нет»...

— Тут-то, считай, счастлив. Не подвернись на берегу Лешка, кормил бы рыб.

— И то цепок — из такой кипени выкрутиться.

— Случалось, видать, попадать в переделки...

Егор Петухов озабоченно произнес:

— Ненадежный человек. Как бы он за нашу доброту того... Не обчистил.

— Ну, ему теперь не до твоего сундука. Эту ночь спи спокойно.

В углу Лешка, приглушив таинственно голос, в который уже раз рассказывал:

— ...Гляжу: мать честна, развернуло. Я кричать. Мать честна, а порог-то шумит...

Засунув глубоко руки в карманы, упершись в грудь подбородком, из-под надвинутой на лоб кепки разглядывал нежданного гостя Дубинин.

Тонкая кадыкастая шея, устало вытянутые руки, мокрые грубые башмаки, брошенные под койку, и эта надпись... Дубинин жевал потухшую цигарку, разглядывал, и чем дольше глядел, тем сильнее испытывал жалость к этому незнакомому человеку.

Встретится такой на дороге — пройдешь мимо, не оглянешься вслед. Есть ли у него родня, есть ли хоть на свете человек, который бы искренне, от души пожалел его? Не подвернись под руку бревно — был и исчез, не оставил ни имени, ни смутной по себе жалости, ничего. Вот он, увильнувший от смерти,— на чужой койке, чужие люди с бесцеремонной жалостью разглядывают его...

Дубинин с трудом оторвал взгляд от надписи, наколотой на костлявой груди.

— Ребята,— спросил он,— кто раздевал? Документы-то есть ли?

— Есть. Поразмокло все. На печи разложили сушиться. Пятнадцать рублей было в кармане — не богат.

— Давай все сюда.

Дубинин осторожно взял мокрые бумаги, раздвинул плечами рабочих и вышел.

7

Был сплавщиком, стал мастером; не богато событиями, не омрачено трагедиями, даже на фронт не попал — скромно прожил жизнь Александр Дубинин. Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смутно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплавщиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность...

На каменистой быстрине неподалеку от сумрачного Лобовского плеса случился затор — пара бревен закли-

нилась среди камней, течение наворотило на них кучу леса.

Место было не слишком опасное, затор «не запущен», и Александр (он был за старшего) не пошел сам, а послал трех пареньков, чтоб «обрушили». Авось справятся, не полезут на рожон... Среди них был Яша Сорокин, мальчишка, которому едва исполнилось семнадцать лет,— скуластый, с широко расставленными у переносицы синими глазами. Ему раздробило сорвавшимися бревнами обе ноги...

Александр вез его на лодке в больницу. Яша Сорокин всю дорогу плакал, не только потому, что больно, а что отец погиб на фронте, на руках у матери остались две его, Яши Сорокина, сестренки, старшей всего десять лет, мать постоянно хворает. Кто теперь ей поможет, когда он, единственный кормилец, стал калекой?

Александр молчал и казнился: послал, отмахнулся — авось справится... Вот оно — «авось»! Что теперь делать? Взять на свою шею целую семью — мать-старуху, сына-инвалида, двух маленьких девчонок, жить ради них, а у него у самого — жена и сын... Как быть?

Никому и в голову не пришло обвинять Александра Дубинина. Случилось несчастье, что ж поделаешь... Жалели, даже упрекали слегка: «Как ты, друг, недосмотрел...» В конце концов Александр и сам уверился — ни в чем он не виноват, его совесть чиста, что ж поделаешь...

Как-то очищали от бревен косу под деревней Костры. Сели артельно обедать, варили уху, разложили хлеб, соль, картошку, крутые яйца на разостланном платке. Рядом оказалась девчонка — босые ноги, побитые цыпкой, нечесанные, выгоревшие на солнце волосы, рваное платье, сквозь прорехи просвечивает костлявое тельце,— глядит завороженно на платок со снедью.

— Есть, поди, хочешь? — окликнул девчонку Александр.— На вот, не бойсь.

Он протянул кусок хлеба, пару холодных картофелин и яйцо, вгляделся и замер... С чумазого, истощенного лица глядели широко расставленные синие глаза, нос пуговицей, тупые скулы...

Девчонка прижала к грязному платью хлеб — руки темные, тонкие, цепкие, как лапы лесной зверюшки,— не сказав спасибо, бросилась бегом к деревне. Александр смотрел ей вслед...

Сплавщики уселись в кружок, принялись за еду, рассуждая о том, что война подмела всех мужиков, бабы не управляются на полях, голодный ребенок возле деревни — не редкость...

До боли в глазах сверкала на солнце река, в свежем воздухе пахло наваристой ухой, пышный ивняк у заводи склонялся к воде. И в этом слепящем сверкании, в сытном запахе ухи, в кустах, пригнувшихся к плотам кувшиночных листьев, чувствовался какой-то ненарушимый покой, прочная, здоровая жизнь. А в эту минуту где-то далеко и без того истерзанную землю рвут мины, стелется вонючий дым пепелищ, на полях и лугах валяются мертвые, которых не успевают хоронить. Где-то далеко... А близко, за спиной, в деревне,— голодные дети.

Не притронувшись к ложке, Александр встал, прошел к своему мешку, вынул весь хлеб и, не сказав ни слова, зашагал в деревню. Возле первой же избы спросил: здесь ли живет Яков Сорокин? Да, здесь. Указали на пятистенок, добротный и благополучный с виду...

Ему думалось, что попадет в рабство, что станет изо дня в день ломать спину на две семьи, а пришлось воевать. Он воевал в райсобесе за пособие Якову, воевал в колхозе, чтобы помогли семье погибшего фронтовика, а больше всего пришлось воевать с самим Яшкой.

— А, испугался! Откупиться хочешь! Совесть-то не чиста! Ты мне своими грошами ног не вернешь! Ты у меня теперь попляшешь!..

Нежданно-негаданно, сам собой явился виновник несчастья, исковеркавшего жизнь. Что бы он ни делал, как бы ни извинялся — нет прощения!

— Давай, сволочь, деньги! Давай все, сколько есть! Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело. Пить буду, гулять буду!

И раз Александр взял его за шиворот.

— Дерьмо! Привык, чтоб на тебя, как на собаку, смотрели, человеческого добра не понимаешь. Вот мое слово: сестренок твоих к себе в дом беру, будут заместо дочерей. Живи один как хочешь.

И парень притих, согласился поехать от колхоза на курсы счетоводов.

Работать, чтоб быть сытым, чтоб радоваться в одиночку — есть прочная крыша над головой, тепло возле печи, ласковая жена,— радоваться и трусливо оглядываться,

чтоб кто-то со стороны не позавидовал, не позарился на твое теплое счастье. А ведь можно, оказывается, жить иначе. Поднять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!

Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетоводом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фельдшерицу.

Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб расчет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...

Пять домов, прижатых лесом к шумящей на порогах реке,— маленький кусочек необъятного мира. Здесь трудятся люди, и труд их тяжел, но крохотный поселок напротив Большой Головы — все-таки по-своему счастливый край. Угрюмоватый, неразговорчивый человек, ходящий по поселку с легкой раскачкой,— законодатель этого края.

У себя в конторе он разложил на столе размокшие документы незнакомца. Какие-то справки превратились в пригоршню бумажной каши. Паспорт сохранился лучше. Паспорт есть — значит, его хозяин ходит под законом.

Концом ножа Дубинин осторожно расклеил слипшиеся листки паспорта, прочитал: «Бушуев Николай Петрович, год рождения 1919». Паспорт, похоже, новый, в графе восьмой — «На основании каких документов выдан паспорт» — поставлен номер справки Гулага. Нетрудно догадаться — хозяин судился, отбыл положенный срок.

На чужой койке, среди чужих людей, во всем облике усталое оцепенение — ускользнул от смерти... Должно быть, путаная и неуютная жизнь за спиной у этого человека. Где-то в молодые годы хотел, видать, ухватить счастье — грошовое, такое, что можно купить за десятку. Потянулся в чужой карман за этой десяткой, схватили за руку, сволокли, куда надо. Пусть даже простили по первому разу, но счастья-то нет, надо искать. Искал... Шли годы, и не было счастья...

8

Утром, после того как рабочие разъехались, Дубинин заглянул в общежитие. Койка, на которой спал незваный гость, была заправлена.

«Живуч. Уже сорвался. Не отправился ли дальше блукать? Но паспорт-то у меня, без документов не сорвется...» Дубинин не спеша направился к себе.

Дом, где находилась контора, был единственным двухэтажным домом на участке. Внизу — контора и комната, где жил моторист Тихон Мазаев с женой Настей, уборщицей в общежитии. Вверху — красный уголок, где стоял приемник, полка с книгами и стол, накрытый вылинявшим кумачом. Здесь по вечерам собирались сплавщики, слушали радио и стучали костяшками домино.

Проходя мимо лестницы, ведущей в красный уголок, Дубинин услышал мужской голос, певший негромко под гитару:

> Почему у одних жизнь прекрасна
> И полна упоительных грез,
> У других она просто ужасна,
> Много горя, отчаянья, слез...

Дубинин поднялся. В чистой рубахе, с чьих-то чужих широких плеч — тощая шея жалко высовывается из просторного воротника,— по-прежнему небрит, сидел он, придерживая на коленях гитару, которая уже много лет без дела висела над приемником.

> Почему же одним удается
> Обойти все удары судьбы...

При виде мастера проворно вскочил на ноги.

— Здравия желаю, начальничек,— с наигранной развязностью поприветствовал он.

Лицо узкое, взгляд ускользающий, при улыбке в мелких плотных зубах видна щербатинка.

Дубинин опустился на стул.

— Садись, как там тебя... Николай Бушуев. Поговорим.

— Верно, Николай Петрович Бушуев собственной персоной. Хотел ниже, в Торменьгу податься, да вот к вам попал. Прошу прощенья, не предупредил, чтоб встретили...

— Брось дурочку ломать. Откуда к нам пожаловал?

— В лесопункте работал...
— И сбежал?..
— Начальник там — сволочь. За человека, видишь ли, не считал. Ты, мол, после отсидки, уголовный элемент, жулье, отбросы. Не сошлись мы с ним характерами.
— Уж так-таки дело в характерах?
— Вдруг да из-за этого гада пришлось бы обратно поворачивать. Подальше от греха... Рублей двести было заработанных, и те не взял...
— За что сидел?
— Говорят, за дело. Да я и не отказываюсь: за дело так за дело.
— По мокрому?
— Упаси бог.
— За воровство?
— Не будем уточнять, начальничек. Одно скажу: завязал.
— Ой ли?
— Верь не верь, а мне уж не двадцать лет. Что-то нет охотки дальше в казачки-разбойнички играть.
— А родом откуда? Почему в лесопункт нанялся, домой не поехал?
— У меня дом под шапкой. Где ее надел — там и дома.
— Уж и в родные края не тянет?
Светлые, со стеклянным блеском глаза Николая Бушуева прикрылись веками, на секунду бледное небритое лицо стало неподвижным, замкнутым, скучным. Случайный вопрос сбил наигранную веселость.
— Что толку? — ответил он, помедлив.— Знаю, как в родное место с пустой мошной приезжать.
— А я слышал: и там работают, с деньгами выходят.
— Шелестело чуток в кармане, да только в поезде с одним в картишки простучал...
Дубинин прочно сидел на стуле, в распахнутом пиджаке, в надвинутой низко кепке, со своим обычным угрюмоватым спокойствием разглядывал гостя.
— А куда теперь? — спросил он.
— Куда?.. В Торменьгу. Там на перевалочной базе работа найдется.
— Специальность имеешь?
— На все руки мастер: пни корчевал, ямы под фундаменты рыл, лес валил...

— Значит, нет специальности? — Дубинин пошевелился на стуле, отвернулся.— Вот что,— проговорил он в сторону,— можешь остаться у нас. Будешь работать, как все. Каждый сплавщик плохо-бедно в месяц тыщи две выколачивает. Ты без семьи, на питание да на одежду у тебя из заработка станет уходить рублей пятьсот от силы. За год накопишь тысяч пятнадцать-восемнадцать. Тогда — хошь у нас живи, хошь езжай на все четыре стороны. Тебя, дурака, жалеючи, говорю. Не хочешь — держать и упрашивать не будем.

— А чего ж не хотеть. У вас так у вас, мне все одно, где землю топтать.

Дубинин выкинул на стол короткую руку, сжал маленький, покрытый ржавым волосом, увесистый, как обкатанный рекой, голыш, кулак.

— Топтать? Нет, дружок, работать придется. Денежки-то за топтание не платят. Не надейся, на чужой хребтине не выедешь. Место у нас глухое, до милиции далеко, сами порядки устанавливаем. Ты видел наших ребят? Любому кости прощупают. И не убежишь — кругом леса да болота, местные жители глубоко-то не залезают. Три пути отсюда: в лесопункт, где, должно быть, тебя неласково встретят, в деревни, где любому в глаза бросишься, а вниз по реке через сплавучастки. Стоит мне позвонить, как тебя, голубчика, придержат до времени. Заруби на носу — лучше не шалить. Беру к себе не потому, что особо верю, а потому, что не опасаюсь — у нас не развернешься. Так-то, друг.

Дубинин поднялся.

9

Николай Бушуев занял в общежитии койку Толи Ступнина. По утрам он с топором за поясом и багром в руке вместе с другими сплавщиками шагал к лодкам. Дубинин расспрашивал ребят: как работает? Пожимали плечами — ковыряется.

Лешка Малинкин спал рядом с Бушуевым, работал с ним в одном пикете. К человеку, который стал причиной значительного, даже героического, события в твоей жизни (шутка ли, спас от смерти!), нельзя относиться равнодушно. Лешка на работе старался быть рядом, учил, помогал, ворочал за слабосильного соседа по койке тяжелые кряжи.

Гитара, которая висела в красном уголке,— ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги,— теперь перекочевала в общежитие. И по вечерам Бушуев, развалясь на койке, пощипывая струны, пел о тоске в неволе, о любовных изменах, об убийствах из ревности.

Может, фраер в галстучке атласном
Тебя целует в губы у ворот...

Сплавщики были не слишком привередливы, если грустно— покачивали головами, казалось смешным — похохатывали, и в знак благодарности время от времени чья-нибудь тяжелая рука хлопала по плечу Бушуева.

— Сукин ты сын! И откуда набрался?..

Приходил послушать и Дубинин, присаживался, курил, молчал, но, кажется, молчал одобрительно.

Когда Бушуев откидывал в сторону надоевшую гитару, к ней робко тянулся Лешка. Он долго ерзал на койке, пристраиваясь поудобней, низко пригнув голову, начинал огрубевшими, негнущимися пальцами бережно пощипывать струны, но гитара издавала лишь робкие, бессвязные звуки. Лешка почтительно откладывал ее, шевелил плечами, простосердечно удивлялся:

— Гляди-ка, не работал — сидел, а спину ломит.

По-прежнему вечерами Генка Шамаев перегонял лодку на другой берег и исчезал в лесу. По-прежнему Егор Петухов, покопавшись в своем чемодане, замкнув его тяжелым замком, садился и начинал плаксиво рассуждать:

— Поживу здесь еще немного и брошу вас. Ковыряйтесь себе по берегам. Дом куплю в райцентре, огороды с парниками заведу, на всяк случай подыщу работку — не бей лежачего. Хоть, к примеру, ночным сторожем куда. Самое стариковское дело...

На него не обращали внимания или лениво прикрикивали:

— Завел... Хватит зудить-то!..

Как всегда, на воскресные дни сплавщики расходились по деревням. На участке становилось тоскливо. Бушуев коротал время с мотористом Тихоном Мазаевым. У Тихона всегда была припрятана на такой случай бутылочка.

Тихон — маленький, узкоплечий, на обветренном сморщенном лице вислый нос — никогда не был доволен. Сер-

дитым голосом он ругал все — и погоду, и реку, и участок, на котором киснет в мотористах пятый год.

— Эх, милок! — откровенничал он, хватая Бушуева за отворот пиджака.— Я ведь, считай, механик, комбайнером работал, трактористом... И кой черт загнал меня в эту дыру? Ведь дыра! Оглянись — лес, лес, да в небо продушина.

Бушуев в такие минуты был вял, молчалив, глядел на слезящееся под дождем окно, за которым, не умолкая, ровно и тяжело шумела Большая Голова, вздыхал:

— Да-а, в заключении и то веселее.

Иногда, из-за выпитой ли водки, просто ли находило минутное откровение, начинал вспоминать:

— Я-то сам из Курской области. Там у нас солнца много и все поля, лесов-то, считай, нет. Забыл я уже свое село. Только здесь нет-нет да и придавит сердце...

Неожиданно добавлял:

— Не выдержу, сбегу от вас. Пять лет свободы ждал. Сво-бо-да...

10

Однажды вечером Бушуев снял с гвоздя гитару, пощипал струны, придавил их ладонью.

— Ну ее! Перепето, сыграно...— Добавил в рифму непотребную фразу, вынул из кармана потрепанную колоду карт, ловко перетасовал ее, предложил Лешке Малинкину: — Стукнем, что ли, в очко для забавы?

Лешка смущенно поежился:

— Да не умею я.

— Не играл — научу. Свеженькому всегда фартит. Не бойсь, обдирать не стану. Вот а банк кладу рубль, можешь бить хоть на гривенник...

Никто потом не мог сказать, откуда появилась колода карт у Бушуева. После того как его вытащили из порога, в карманах пиджака ничего не было, кроме раскисших документов и пятнадцати рублей мелкими бумажками.

Рассевшись на Лешкиной койке, Бушуев терпеливо учил:

— Не зарывайся, не зарывайся, миляга. Карты горячих не любят. Будешь или нет прикупать?.. Будешь. Даю... Смотри ты, и тут взял. Говорил, что тебе фартить станет поначалу...

Лешке шли карты, он розовел от возбуждения. Подошел Иван Ступнин, помигал желтыми ресницами, покачал головой.

— Греховное дело... Сколько в банке? Восемьдесят копеек всего-то! Ну-ко, для любопытства дай карту, ударю по ним.

Взял, с сомнением вгляделся, протянул:

— Пе-ри-пе-етия! Сразу две давай. Ага!.. Ну-ко, бери себе... Моя!

Потянулись другие, с соседних коек, плотно обсели. Егор Петухов, провожая глазами карты, сердито сводил губы:

— По гривеннику, по гривеннику — глядишь, и вылетит в красный рублик. Век за эти карты не брался.

— И не берись,— поддакнул Бушуев.— Игра скупых не любит.

Часам к десяти «простучали» последний «банк». Подсчитали: Лешка выиграл двадцать рублей. Иван Ступнин и остальные проиграли и выиграли по мелочи. Бушуев расплачивался.

— Фарт — великое дело, браточки.— Заглянув в лицо Лешке своими прозрачными глазами, с чуть приметной насмешечкой добавил: — Только за мной, мой мальчик, не гонись — могу до косточек обглодать. Видишь?

Он показал Лешке карту. Тот, смущенный тем, что пришлось взять у Бушуева деньги, еще не остывший от удачи, подавленно кивнул головой: «Вижу».

— Запомнил карту? Хорошо запомнил?.. Учти, я в нее не заглядывал. Клади ее в колоду. Тасуй!.. Да шибче, душечка. Эк у тебя руки — что грабли... Перетасовал? Подсними. Еще раз подсними... А теперь давай всю колоду сюда...

Небольшие, ловкие, с плоскими белыми ногтями, со свежими ссадинами, полученными во время окатки, руки Бушуева быстро перебирали карты, один глаз насмешливо прищурился.

— Эта?..

У Лешки удивленно отвалилась челюсть.

— Эт-та.

Все кругом, ухмыляясь, закачали головами.

— Мастак...

— То-то,— закончил Бушуев,— я карты наскрозь вижу. Со мной не садись.

11

И все-таки на следующий вечер сели играть на бушуевской койке — чтоб убить время, не всерьез — пять человек: Лешка, Иван Ступнин, сам Бушуев и еще двое — долговязый Харитон Козлов и рыжий Петр Саватеев. Вокруг встали любопытные, среди них Егор Петухов, которого всегда волновало, когда деньги переходили из одного кармана в другой.

Ставки были маленькие, копеечное счастье приходило то к одному, то к другому. Снова заметно везло Лешке. Он сорвал банк. Егор Петухов крякнул:

— Бывают же такие везучие!

Иван Ступнин вздыхал:

— Перипетия... Ну-кось, кто по гривенничку, а я на все стукну. Удача небось рисковых любит.

Мало-помалу игра стала расти, на смятом одеяле зашуршали не только рублевки, а десятки, четвертные, даже сотни.

Выигрывал Лешка, выигрывал Иван Ступнин. Бушуев спокойно вынимал из кармана деньги, небрежно бросал.

— Это что!.. Разве ж игра?.. Помню, деточки, по десяти тысяч в банке стояло.

Начали подсаживаться и другие. На днях выдали зарплату, все были при деньгах, каждый считал, что можно позволить себе удовольствие — проиграть или выиграть по мелочи.

Один только Егор Петухов, поджав скопчески губы, следил за картами, провожал глазами руки, прячущие деньги в карманы, осуждающе качал головой, но от играющих не отходил. Никто не обращал на него внимания.

После того как распаренно-красный, торжествующий Иван Ступнин наложил свою широкую лапу на банк, Егор подтолкнул в бок Лешку:

— Ну-ко, подвинься. У меня ноги не железные.

— Уж не сыграть ли хочешь? — спросил Бушуев.

— А что, я хуже тебя?

— Прогоришь. Карты скупых не любят.

Еще долго Егор не решался, сидел, смотрел, поджимал губы, наконец не выдержал.

— Подбрось, что ли, и мне карту.

Но Бушуев, показывая щербатинку в зубах, насмешливо оскалился в лицо.

— Положь на кон шкурку.

Егор вскипел.

— Шпана безродная! Не доверяет! Уж кому бы не верить, то тебе.

— Зачем лезешь, коль не веришь?

— Дай карту! Побогаче тебя, урка приблудная, расплачусь, коль проиграю.

— Деньги на кон или катись!

— У-у, висельник! Плевал я на твою игру. Тьфу!

Егор поднялся, прошел на свою койку, лег.

— Ты зря человека обижаешь,— упрекнул Бушуева Иван Ступнин.— У нас промеж собой пакости не водится. Проиграет — отдаст.

— Отдаст? Я, браток, знаю таких живодеров. Удавится. Достается им, когда попадают в холодные места. Требуху-то быстро из них вышибают.

— Я б твою требуху пощупал, да рук пачкать не хочется,— проворчал Егор, не поднимая головы.

— Иль схлестнемся? У тебя же кулаки пудовые, чего робеешь?

— Хватит вам, дети малые! Ты глянь, не перебрал ли? Четвертую карту тянешь.

— Перебрал, долбани его петух в зад...

Шла игра, раздавались голоса, то сдержанно-выжидающие, то настороженные, то удивленные. Шла игра, доносился шелест денег. Егор слез с койки, вытащил свой чемодан, отпер замок.

Расправив плечи, с выражением какого-то кислого пренебрежения на лице, подошел к играющим.

— Вот, приблудный, не лист с веника — деньги. Дай карту.

Бушуев хохотнул:

— Вот так отломил! Сколько же ты на этот пятерик червончиков собрать хочешь?

— Поскалься, у меня, поскалься! Сколько хочу, столько и выкладываю. Давай карту.

— На всю бумажку?

— Рубь ставлю.

— Не мельчись, все равно прогоришь.

— Рубль ставлю,— со злым упрямством повторил Егор.

— Эх, расчетлива девка, да принесла в подоле.

Бушуев принялся ловко раздавать карты.

Карта, брошенная Егору, утонула в его красной, с обломанными ногтями ручище, глаза остро уставились в ладонь, губы свело, казалось — вот-вот Егор изумленно свистнет. Бушуев с издевочкой щурил свои порочно-чистые глаза, показывал щербатину в плотных зубах.

Как только Егор сел, игра сразу же изменилась. До сих пор шутили, перекидывались незначительными замечаниями, похохатывали, проигрывали легко, чувствовалось, что, несмотря на поднявшиеся ставки, играют для удовольствия. С появлением Егора ставки не возросли, а, наоборот, уменьшились, но шутки как-то сразу увяли, все вдруг стали серьезны, на скомканные деньги глядели не прямо, а как-то стыдливо, искоса.

Бушуев все еще ухмылялся, но нет-нет да прикусывал нижнюю губу, и тогда на худощавом, вытянутом, с плоским подбородком лице появлялось что-то стремительное, острое, напоминающее выражение кошки перед прыжком на воробья.

Егор Петухов, напряженно приподняв плечи, стал метать банк. Но как-то быстро этот банк у него разобрали. Бушуев, пригребая к себе кучу мятых бумажек, бросил взгляд на Егора.

— Отчаливай. Кончилась твоя пятерка.

Те пять рублей, с которыми вошел в игру Егор Петухов, проиграны были незаметно, без особой боли. Осталось только ощущение неухваченного счастья.

Сердито посопев, Егор встал.

— Обождите, не начинайте.

Снова вытащил чемодан, погремел замком, выложил на койку бумажку. Иван Ступнин ухмыльнулся во всю физиономию.

— Перипетия ты, а не человек. Опять пятерку вынес, как нищим напоказ.

Бушуев ничего не сказал, только перетасовал карты и бросил на койку сто рублей.

— Кто смелый? Можно на все.

Запахло крупной игрой. Кто-то из стоявших попросил:

— Ну-ко, ребята, выдвинем в проход койку, мы присядем.

— Зачем мебель трогать, давай прямо на пол.

— И верно, чего в тесноте-то! Не в праздничных одежах, не попачкаемся.

12

Расселись в круг, одни — упираясь спинами в печь, другие — подобрав под себя ноги, прямо в проходе. Ни один человек не лежал на койке — играло больше половины. Банк рос. Доставались из карманов, из загашников смятые десятки, двадцатипятирублевки, полусотенные.

— Стучу! — объявил Бушуев.

По общежитию пронесся вздох, играющие зашевелились, распрямили затекшие спины. Последний круг. Если не разберут банк, Бушуеву достанется куча денег.

Егору Петухову до сих пор везло. Отрывал от банка по пятерке, по десятке, ни разу не промахнулся. Сейчас в потной ладони у него лежал туз червей — хорошая карта. Даже если придет валет или дама, можно без опаски добрать. А вдруг повезет — второй туз или десятка! Хорошая карта в руке!

Егор глядел на кучу денег — желтые рублевки, отливающие зеленью полусотенные. Пестрая куча! В ней выделяются величиной и благородством расцветки сторублевые бумажки.

У Бушуева, мечущего банк, прикушена губа, глаза прищурены, руки, как всегда, ловко выбрасывают карты. Куча денег и эти руки! Ловкие со свежими ссадинами на костяшках, длинные пальцы словно обрублены у концов, ногти плоские, белые. Кто знает этого человека с руками, не вызывающими никакого доверия? От него можно ждать всякого. Мошенник, и сидел, должно быть, за мошенничество.

Но, о господи! Сколько возле него на полу денег! И карта хорошая — туз червей. Вот уже пятый раз к нему, Егору Петухову, приходит красная масть. Четыре раза выигрывал. Не было промашки. А тут упустить...

Куча денег. Эта куча красива, от ее близости по телу проходит озноб. Все на нее бросают скользящие взгляды... Хорошая карта!

— Тебе?.. На сколько бьешь? — отрывисто спрашивает Бушуев, и его глаза сквозь редкие ресницы глядят холодно, без насмешки, Егору кажется — враждебно.

— А сколько тут? — глухо спросил он, чувствуя, что карта в руке становится мокрой от пота.

— Уж не по всему ли бить собираешься?

— Не твоего ума дело. Сколько, спрашиваю?

— Не считал.
— Подсчитай.
— Лешка,— кивает небрежно Бушуев,— сосчитай, сколько сейчас в банке. Я что-то не упомню.
Лешка, нахмурившись, стоя на коленях, неловко начал считать, перекладывая бумажки с одного места на другое. Все кругом молчали. Егор вытирал рукавом пот с лица.
— Семьсот сорок пять рублей.
Еще раз проводит по лицу рукавом Егор, еле шевелит пересохшим языком:
— На все.
— Шалишь, папа! — Бушуев дергает щекой.— Вот положи сюда при всех на уголок семьсот сорок пять — тогда поверю.
— Положу, чего ты...— не совсем уверенно возражает Егор.
— Вот и клади. Не задерживай игру. Распотроши свой сундучок.— Глаза Бушуева глядят без обычного прищура.
Егор чувствует, что он должен подняться. Этого ждет Бушуев, ждут все — настороженно, молчаще.
— Ну!..
Егор тяжело поднимается. Он отсидел ноги, трудно двигать ими, колет в икрах. Потная рука мнет карту. Карта хорошая, но при любой карте можно срезаться. Если сразу придет шестерка?.. Бушуев хвалился, что карты насквозь видит. И карты-то... Кто их проверял?
Егор идет к своей койке, выдвигает чемодан. Тяжелый, добротный замок, стальная дужка всунута в толстые кольца. Сам эти кольца приклепывал. При одном прикосновении к замку у Егора пропадает всякое желание играть. Но чемодан уже открыт, рука привычно лезет под белье, в укромный уголок, где у него лежат деньги — несколько пачек, зарплата за три месяца. Давно уже собирался вырваться Егор в воскресенье в райцентр, сдать с рук все деньги на книжку. Здесь пять тысяч в сотнях да рублей триста по мелочи. Одну тысячу он сейчас должен вынуть и отсчитать семьсот сорок пять рублей!.. Для кого отсчитать? Для этого каторжника! Свои кровные! Жене рубля не давал, в столовой не обедал. Семьсот сорок пять в руки проходимца!
— Ладно,— с трудом поворачивает голову Егор, но глядит в пол,— плевал я на твой банк. На пятьдесят рублей бью.

— То-то,— насмешливо тянет Бушуев.— А еще пугал.

В его голосе Егору чудится облегчение. Тоже боится за банк. Куча денег возле него, вся куча ему достанется. Он, Егор, выиграет пятьдесят рублей. Всего пятьдесят! Остальные не за будь здоров на пропой, на веселую жизнь этому бродяге... И карта хорошая...

Чемодан открыт, руки сквозь платок ощупывают пачки денег.

— Ну, ползи сюда! Чего там застрял? — торопит Бушуев.

— На все! — срывающимся голосом выкрикнул Егор.— Вот, сволочь, деньги!

Егор выхватил завернутые в женин платок сбережения, отделил тысячу, захлопнул чемодан. Долго искал упавшего за чемодан туза червей.

И пока он искал карту, снова пропала уверенность.

— На все...

Карта в одной руке (карта хорошая — ну, помоги бог, помоги бог!), в другой — пачка сторублевок. Кровные деньги, горбом заработанные, сбереженные жестокой экономией — обедал не каждый день...

— Видишь, стерва? Веришь теперь?

— Верю,— серьезно и коротко отзывается Бушуев.— Садись.

Все молчат, со всех сторон уставились возбужденно блестящие глаза. Ждут. А Егора охватывает отчаяние: как это случилось? Прихлопнет же его Бушуев. Эвон вытянулась воровская рожа, до сих пор щерился — теперь серьезен.

Но Бушуев уже выкинул ему карту. Егор взял ее. Отказаться? Уже поздно. Раз взял в руки карту, отказываться нельзя — возмутится не один Бушуев...

Пришел король бубен.

Бушуев прицелился острыми зрачками.

— Еще картинку?

Слышно, как кругом дышат люди.

— Дай сам потяну,— хрипло просит Егор.

Его неуклюжие, толстые, огрубелые пальцы тянут из подставленной колоды карту. Помоги бог, помоги бог!.. Егор ничего не видит, пот стекает со лба, ест глаза.

— Ну?! — всем телом подается Бушуев.

Через короля пришел туз — перебор.

Бушуев накладывает узкую, нерабочую ладонь на деньги, без слов придвигает их к своей куче.

— Возьми сдачу,— говорит он и бросает Егору несколько бумажек.

Егор послушно берет их...

Генка Шамаев, как всегда ездивший за реку, впервые застал общежитие неспящим... Все сидели на полу под лампой в табачном тумане.

Генка подошел к своей койке, откинул одеяло.

— Вижу — всерьез схлестнулись. Ужо Саша дознается, будет всем на орехи!

Никто не обратил на него внимания. Егор проигрывал оставшиеся от тыщи деньги.

13

Хмурое утро, облака цепляются за верхушки береговых елей, моросит дождь. Сплавщики, перепоясанные поверх курток и брезентовых плащей ремнями, выходя из теплого, душного общежития, поеживаются. Их лица сонны, не слышно разговоров. Как всегда по утрам, шум воды на Большой Голове кажется более громким и решительным.

Сутулясь, глядя под ноги, вместе со всеми идет к лодке и Егор Петухов. За ночь его лицо оплыло, шагает вяло, волочит по земле багор.

Возле лодок, где топчутся сплавщики, поджидая замешкавшихся, стоит Николай Бушуев. На нем поверх пиджака пузырится старая брезентовая куртка — одолжил у долговязого Харитона. И хотя Бушуев, как все, подпоясан, как у всех, за поясом топор, а в руках багор, но вид у него нерабочий, несерьезный.

Егор, пригнув лицо к земле, подошел боком, ковырнул сапогом землю, проговорил виновато:

— Слышь, парень... Ты того... Пошутили вчерась... Смешно, право я-то полез... Слышь, верни мне деньги, и забудем все...

Бушуев дернул в усмешке щекой, сощурился.

— Дуришь, дядя. Река-то в обратную сторону не течет.

— Слышь, отдай, говорю. Худа бы не было,— уже с угрозой надвинулся Егор.

— Ну, ну, отступи,— подобрался Бушуев.

— Сволота! Перешибу!! — Егор поднял над головой багор.

Бушуев отпрыгнул, схватился за топор.

— Давай, давай! Я т-тебя клюну в толстый череп!

Генка Шамаев, в короткой куртке, в резиновых сапогах до паха, повернув к ним вывалившийся из-под фуражки сухой чуб, прикрикнул:

— Побалуйте! Вот я вступлюсь! — Шагнув к Егору, схватился за багор.— Поделом дураку, связываться не станешь. Иди в лодку!

Егор обмяк, послушно отвернулся.

До сих пор жизнь на сплавучастке шла тихо и однообразно — день походил на день, вечер — на вечер, никаких тревог, никаких событий. Даже развлечения одинаковы — послушать радио, сгонять партию-другую в «козла». От таких развлечений быстро тянуло на сон. А утром — лодки, окатка бревен, обед, и так без конца.

Но вот — плотный круг людей на полу, напряженные лица, возбужденно блестящие глаза, отрывистые слова, деньги, сваленные кучей, деньги, переходящие из одного кармана в другой, острое чувство близкой удачи, разочарования... А Егор, распотрошивший свой чемодан! Разве это не событие? Совестно признаться, но, ей-ей, пережить такой вечер куда любопытней, чем стучать перед сном костяшками домино.

Настал вечер, и все общежитие уселось в плотный круг, одни — с желанием поиграть, другие — поглазеть, со стороны поволноваться. Не участвовали только двое — Генка Шамаев и Егор Петухов, лежавший, не раздевшись, на своей койке лицом вниз.

Игра сразу пошла по-крупному. До Егора доносились сдержанные возгласы. Он лежал и сжимал от ненависти кулаки. Бушуева сейчас не тронешь, все игроки поднимутся на дыбки. Пропала тысяча, не вернешь.

А голоса бередят душу:

— Стучу!..

— Подкинь еще карту...

— Ах, черт! Вот так сорвал!

Бередят душу и короткие напряженные паузы. Кому-то подваливает счастье. А он, Егор, обиженный, забытый,

лежит один, никому в голову не придет пожалеть. А если снова попробовать? Но не зарываться, а с умом, с оглядкой, осторожно. Вдруг да вернет свои деньги. По-крупному прогорел, можно, чай, рискнуть по мелочи...

Егор слез со своей койки, осторожно выдвинул чемодан, достал деньги, отделил сотенную бумажку...

На правах обиженного, которому обязаны прощать и сочувствовать, он грубо растолкал сидящих.

— Ну-ко, потеснись!

Сел и, стараясь ни на кого не глядеть, взял карту.

14

За поселком, в конце каменной дамбы, Дубинин ставил морды. Каждый вечер он ходил их проверять. И сейчас он возвращался с ведром, в котором плескались окуни.

Шел прямо по дамбе, ступая по громадным валунам. Дамба — каменная гряда высотой чуть ли не в два человеческих роста — растянулась на четверть километра, начиная от столовой, наискосок влезая в бурлящую реку.

Участок Дубинина два года назад был самым тяжелым на всей реке от истоков до устья. Большая Голова забрасывала лес на каменистую отмель, и там несколько раз за лето вырастали огромные завалы. В разгар сплава приходилось работать по двенадцати часов в сутки. К осени сплавщики изматывались. Тогда-то и решили своими силами построить дамбу, которая не пускала бы бревна на отмель.

Камень к камню, крупные, ноздреватые валуны! Сколько их! Гряда, растянувшаяся на четверть километра, высотой в два человеческих роста, она весит несчитанные тысячи тонн. Все эти камни укладывали зимой каких-то два с лишним десятка людей, с помощью простых слег, веревок и одной-единственной лошаденки. Тысячи тонн камня! Значит, каждой паре рабочих рук пришлось поднять и перенести многие сотни тонн!..

Дубинин вместе со всеми ворочал тогда валуны, которые на лютом морозе обжигали сквозь брезентовые рукавицы руки. Сейчас, ступая с камня на камень, он думал о том, что если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложенные один на другой камни, то за шесть лет

службы Александра Дубинина мастером выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака. Дамба удивляет, а это — побочное дело. Ребята-сплавщики привыкли к ней, как привыкли к неумолкающему шуму воды на Большой Голове. Александра Дубинина нет-нет да охватывает смутная гордость за своих ребят: «Трудовой народ, ничего не скажешь. Не зря хлеб едят...»

Дамба кончилась, булыжный склон упирался в стену столовой. А из-за угла столовой светились окна общежития. Время довольно позднее, но там не спят...

Ощущение гордости и спокойной уверенности — все хорошо, жизнь налажена — исчезло: «Опять в карты дуются!..»

Какой-то неудачник, легкая пена, которую выбрасывает жизнь, сейчас атаманствует над двумя десятками взрослых людей, здравых, рассудительных, знающих себе цену. И ему, мастеру Дубинину, всесильному человеку, слово которого хватают на лету, не так-то просто прийти и сказать: «Баста, ребята! Кончай канитель!»

Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно—сон да работа, работа да сон...

Дубинин мог заставить в трескучие морозы ворочать тяжелые камни. Нужно! Он мог приказать сплавщикам, вовсе не трезвенникам: на участке не пить. Нужно! В этом «нужно» и была сила Александра Дубинина. Но отбери сейчас карты, сразу зашумят:

— Мы что — подневольные тебе? Ишь порядочки — играть нельзя. Нет для работы вреда? Нет. Ну и не зарывайся.

А ведь так просто не кончится: где карты, там и выпивка и скандалы, мало ли что может стрястись. Пусть. Схватятся — тут-то он и появится, тут-то скажет свое «баста». И попробуй тогда возразить, попробуй ослушаться!

В берег уткнулась лодка. Генка Шамаев выскочил, рывком вытянул лодку на камешник, пружинящими скачками взбежал на дамбу.

— Колдуешь? — спросил он, тоже уставясь в светящиеся окна.

— Прикидываю.

— Обдерет как липку ребят и сбежит, сукин сын.

Дубинин промолчал.

— Дозволь мне, Саша, я из него и деньги вытрясу, и в шею вытолкаю.

— Успеется.

Генка переступил с ноги на ногу, приблизил свое лицо к Дубинину.

— С кем нянчишься? За чужой пазухой счастья ищет. Таких не вытаскивать из порога, а по башке надо бить, когда выныривают.

— Многих тогда пришлось бы по башке бить... Часто и честные люди — не чета Бушуеву — чужое заедают.

— Мудришь что-то. Кто заедает?

— Боюсь, что ты даже...

— Я?..

— Который месяц бабе голову крутишь. Побалуешься, а потом отвернешься. Тебе удовольствие, а ей слезы. Так-то... Не суди других строго.

Генка выпрямился, из-под волос блестели в темноте глаза.

— Суешься, куда не просят.

Погромыхивая по камням, он сбежал с дамбы. Дубинин постоял еще и не спеша начал спускаться.

15

Табачный дым пластовался над головами сбившихся на полу людей. Многие с испугом косятся на Бушуева: быть не может, чтобы срывал такие выигрыши без жульничества, зря зарывается, не простят... Прекратились шутки, исчез смех, в густом, прокуренном воздухе минута за минутой копилось что-то зловещее, все ждали — вот прорвется.

Николай Бушуев, в нижней рубахе распояской, подвернув по-турецки ноги, сидел возле денег. Он несколько раз рассовывал деньги по карманам, а они снова вырастали у его колен. Когда Бушуев поднимался и шел пить, все головы поворачивались вслед за ним, десятки пар глаз с подозрением следили за каждым его движением. Бушуев не спеша наливал в алюминиевую кружку воду из бака, жадно пил, возвращался, снова усаживался по-турецки.

Егор Петухов дрожащими руками тасовал карты, на рыхлом лице непривычное ожесточение, веки красные. Его чемодан выдвинут прямо в проход, в нем белеет скомканное белье.

Егор проигрывал последнее.

— На все,— безжалостно произносит Бушуев. Который уже раз за вечер он повторяет эти слова.

На все! Егор втягивает голову в плечи, руки дрожат. Он выбрасывает карту. Бушуев спокойно берет ее, мельком бросает взгляд, тянется к колоде.

— Дай сам потяну.

Дрожат руки Егора, дрожит колода карт, дрожат распущенные губы.

Кто-то недружелюбно роняет за спиной Бушуева:

— Взял!

Егор вдруг бросил на пол карты, через разбросанные деньги рванулся к Бушуеву, захрипел:

— Шаромыжничаешь! Задушу, оплевок!

Бушуев напружиненно вскочил на ноги. Неуклюже ворочаясь среди тесно сбившихся, опешивших людей, со звериным оскалом на багровом лице, Егор ревел:

— Уничтожу! Вдребезги разнесу! Сволочь!

Поднялся на ноги, тяжелый, неуклюжий, качнулся на узкоплечего, утонувшего в просторной рубахе Николая Бушуева — сейчас сомнет, придавит, искалечит... Но Бушуев вдруг низко присел и нырнул на Егора. От короткого удара головой Егор тяжело плюхнулся на пол.

Это произошло быстро — никто не успел сообразить. Никто не схватил Егора, не задержал Бушуева.

Бушуев бросился к своей койке, откинул матрац, и в руках его оказался топор...

Стало тихо. За окнами глухо шумела вода на Большой Голове.

До сих пор все испытывали к Бушуеву только неприязнь, пусть острую, подогреваемую смутными подозрениями, но в ту минуту, когда увидели в его руках топор, поняли — он враг, сам сознает это, не зря же загодя спрятал в койке топор.

— Вот,— Бушуев качнул топором,— сунься кто... Мне терять нечего — враз кончу.

В белой, выпущенной поверх штанов рубахе, острые ключицы выпирают под распахнутым воротом, шея тощая, длинная, как куриная нога, на бледном, тронутом черной щетиной лице пустовато-светлые глаза.

Один против всех. Каждый из сплавщиков наверняка сильнее его. Сплавщиков более двух десятков, целая толпа. И что из того, что в руках Бушуева топор? Топоры

лежат в коридоре, нетрудно выскочить за дверь, разобрать по рукам...

Шумят сквозь наглухо закрытые окна пороги. Никто не двигается, стоят, переминаются, глядят на Бушуева. Пахнет не потасовкой на кулаках, нет, топор в любой миг может подняться, и нельзя сомневаться — этот человек с легким сердцем опустит его на первую же подвернувшуюся голову. Его не связывают ни совесть, ни человеческие законы. А даже Егор Петухов, обезумевший сейчас от ненависти и отчаяния, не решится схватить топор, чтобы размозжить череп другому. Более двух десятков здоровых мужиков стоят в растерянности перед слабосильным, узкогрудым человеком. Стоят и молчат... Шумит вода на реке.

Егор, сидевший на полу, пошевелился, опираясь руками в пол, стал тяжело подниматься. Все внимательно следили за ним. Холодно, с острой настороженностью следил и Бушуев.

Егор поднялся, пошатываясь, прошел к своей койке, свалился на нее. Зашевелились остальные. Напряжение прошло, но настороженность и недоверие остались — косились на Бушуева, молчали.

Бушуев, присел на койку, отвалился на подушку, положив возле себя топор, не спеша вынул папиросы, закурил, откинув назад голову, стал пускать дым в потолок. Потянулись к своим койкам и остальные.

Открылась дверь, пригнув голову под притолоку, вошел Генка Шамаев, хмуро скользнул взглядом по койкам, споткнулся, поднял замок — большой, крепкий дверной замок,— бросил его в раскрытый, с разворошенным бельем чемодан Егора.

— Деньги-то хоть с полу приберите,— хмуро сказал он, стаскивая с плеч пиджак.

Деньги, вперемешку с рассыпанными картами, валялись возле печи. Никто не пошевелился, не стал их поднимать.

16

Лешка Малинкин последние два дня ходил очумелый — кучи денег, удачи, проигрыши, люди, стоящие за твоей спиной, жарко дышащие в затылок. Он смутно чувствовал: все, что происходит,— нехорошее, пугающее;

рад бы отойти в сторону, но нет сил. И Саша не похвалит. Омут какой-то, нырнул — не выберешься. С замиранием сердца минутами думал: чем кончится? И вот хриплый крик Егора, короткая драка, Бушуев с топором в руках у своей койки...

Как и все, Лешка почувствовал ненависть к этому непонятному человеку. Он ждал, что Иван Ступнин, Егор Петухов — люди сильные, никогда ни о чем не говорившие со страхом — бросятся на Бушуева, скрутят его. И никто не бросился, все, как он, Лешка, стояли в растерянности. Страшен же, видать, этот человек со светлыми глазами на прищуре. Все скопом перед ним робеют.

Лешка с опаской подошел к своей койке, стоявшей впритык к койке, на которой, развалясь курил Бушуев, стал торопливо раздеваться. Забраться скорей с головой под одеяло, отвернуться от Бушуева, забыть о нем. Едва его голова коснулась подушки, как почувствовал — что-то твердое выпирает сквозь наволочку. Он полез рукой, но острый пристальный взгляд Бушуева заставил обернуться.

— Ты...— чуть слышно, сквозь стиснутые зубы, процедил Бушуев,— выйди на волю...

Лешка, не понимая, таращил на него глаза.

— На волю выйди, говорю. Словно бы по нужде... Меня дождись там... Ну!..

Бушуев небрежно отвернулся, пустил дым в потолок. Лешка все еще не понимал.

— Ну...— чуть слышно вытолкнул с дымом Бушуев.

И Лешка не посмел ослушаться. Влез в резиновые сапоги, придерживая руками подштанники, пошел к дверям. Никто не обратил на него внимания.

Из-за леса выползла почти полная луна. С черной реки лился ровный, равнодушный ко всякой человеческой суете шум воды. Лешка стал в тень под стену, поеживаясь в одном исподнем от ночного холода, сдерживая стук зубов, стал ждать, поминутно оглядываясь. Казалось, со стороны подозрительно следят чьи-то глаза. Вслушивался: не уловит ли в шуме воды приближающиеся шаги...

Ждать пришлось долго. Луна, ядреная, чуть сточенная с одного бока, освещала просторный двор, железную бочку посреди двора. В конторе теплилось окно. Там сидел Саша. Если сорваться сейчас да к нему: Бушуев, мол, нехорошее затевает?.. Он-то не отступит...

Лешка топтался, поеживался и не решался сорваться с места.

Легко проскрипело крыльцо, в белой незаправленной рубахе, прижимая локтем топор, появился Бушуев. Свободной от топора рукой взял Лешку за грудь, притянул к себе, обдавая табачным перегаром, заговорил захлебывающимся шепотом:

— У тебя в подушке — десять косых... В субботу отнесешь к себе домой, в деревню. Припрячь понадежней, приду в гости. Скоро иль нет, но приду... Ты из Яремной, третья изба справа — все знаю. Ссучишься — живым не быть. А коль выгорит — две косых тебе на сладости. Понял, телок? Им и в голову не придет, что деньги-то у тебя. А меня пусть щупают.

Бушуев сплюнул сквозь щербатину.

— Иди!

Лешка выбивал дробь зубами.

— Отдал бы ты деньги,— попросил он.— Ребята-то шибко сердиты.

— Не учи, сопля.

— Тог... тогда сейчас уходи. Бери деньги и уходи.

— У-у, сука, зубами стучишь... Уходи? Без паспорта-то?.. Мой паспорт Саша у себя держит... Проваливай, а то и на тебя станут косоротиться. Помни: чуть вякнешь — убью!

17

Лешка вернулся в обжитое тепло общежития. Кто-то из ребят уже безмятежно всхрапывал. Генка Шамаев курил, думал о чем-то. Деньги по-прежнему валялись на полу.

Егор Петухов, нераздетый, в сапогах, лежавший лицом вниз на своей койке, при шуме открывшейся двери вздрогнул, рывком поднял голову — взгляд дикий, веки красные, лицо опухшее.

— Ты там был? Видел его? — хрипло спросил он.

— Кого? — спросил Лешка упавшим голосом.

— Кого, кого!.. Словно не знаешь. Ты вышел, а он за тобой следом. Спелись с ним.

— С ума спятил,— повернулся к Егору Генка.— Из-за денег сбесился. Может, на меня кинешься? Ложись, Лешка.

У Лешки дрожали колени. Волоча ноги, он прошел к своей койке, залез под одеяло. Едва его голова коснулась подушки, как снова почувствовал лежавший в ней узелок с деньгами. На секунду появилось острое желание вскочить, закричать: «Ребята! Вот деньги! Он мне в подушку сунул!» В него верят. Своих обманывать! Но ведь пригрозил: «Чуть вякнешь — убью!» И убьет, долго ли такому.

Лешка поджал к животу ноги и замер — никак не мог согреться, знобило.

А Егор плачущим голосом жаловался:

— Он же сбежит... Махнет с нашими деньгами за реку, только его и видели...

— Без порток, считай, выскочил. Куда он в таком виде — всякому в глаза бросится,— лениво возражал Генка.— Ты завтра за ним в оба гляди.

— Тогда что ж он там торчит? Тогда он, значит, наши деньги припрятывает...

— Вернет, заставим...

Кто-то поднял голову:

— Шабаш, ребята. Завтра в семь вставать.

Из своего угла Иван Ступнин вздохнул:

— Перипетия...

В общежитии наступила тишина. Скрипел на койке Егор.

Лешка, прижавшись ухом к выпирающим сквозь подушку деньгам, притих. Озноб прошел, но сложное, непривычное, томящее чувство охватило его. Не так давно на соседней койке, куда должен скоро вернуться Бушуев, спал Толька Ступнин. Он часто говорил Лешке о том, что читал в книгах. Рассказывал о больших городах, об институтах, об ученых людях, о самолетах, что могут поднять в воздух всех людей, какие есть на участке. Когда Лешка слушал Толю, мир за пределами их сплавучастка казался сказкой, населенной могущественными и добрыми людьми. Сейчас впервые открылось: в том большом мире живут еще и Николаи Бушуевы. Как соединить в одно Толькины рассказы и этого человека с черной душой? Запутан и непонятен большой мир...

Лешка лежал, плотно закрыв глаза, и чувствовал себя бесконечно маленьким, беспомощным, глупым перед той жизнью, которая, как океан, окружает знакомый ему островок — крохотный поселок, притиснутый лесами к

реке. Первое разочарование, первое смятение, первый страх, первое наивное прозрение затянувшегося детства.

Егор Петухов не мог успокоиться. Натыкаясь на спинки кроватей, он подошел к койке Бушуева, с ожесточенным лицом стал щупать пиджак, висящий на гвозде, приподнял подушку, помял ее, откинул матрац...

«Деньги ищет...— Лешка похолодел.— Сейчас мне скажет: а ну, вставай!..» Деньги сквозь наволочку давили в висок. «Что же делать? Сказать?.. Но Бушуев?.. Что они ему сделают? Ну, выгонят, ну, в шею дадут, пусть даже поколотят — все равно останется живой и здоровый. А он и в деревне знает дом — найдет, из-под земли выроет...»

Лешка лежал, прижавшись виском к деньгам. И Егор, разбрасывающий постель Бушуева, казался ему в эти минуты не таким, каким привык всегда видеть. Раньше был обычный человек, только, может, скупее других... Теперь — лицо злобное, упрямое, глаза красные. Узнай сейчас, что он, Лешка, лежит на деньгах,— пожалуй, душить бросится. Чужой, непонятный! А ведь больше года жил с ним бок о бок.

Затаив дыхание, Лешка глядел из-под одеяла на Егора. Тот, разворошив койку, выругался, отошел.

18

Выпотрошив наловленную рыбу, обложив ее крапивой, Дубинин выставил в сенцы, на холодок ведро, не снимая пиджака, сел в конторе и под хриплые звонки вечно бодрствующего телефона задумался.

Вспомнил, как Бушуев, только что вытащенный из порогов, лежал на койке с зеленым, обросшим щетиной лицом — острые коленки проступают сквозь одеяло, тонкие руки устало вытянуты вдоль тела, надпись на груди...

Счастья нет у тебя, сукин сын! Руку тебе протянули: давай выкарабкивайся, прислоняйся к нам. Пусть у нас у самих немудрящее счастье, но какое есть. С большим-то ты, поди, и не справишься.

Рвешь у других. Надеешься, что так легче прожить? Ой, нет. Не с землей, не с водой, не со зверем приходится воевать, а с человеком. Человек упрям, никогда не отдает свое счастье легко и просто. И потому ты, Николай Бушуев, не богат и не славен, потому жизнь тебя так

гнула, что пришлось признаться: «Года идут, а счастья нет».

Но ведь есть же Бушуевы и удачники. Сколько их ходит по свету! Просторна земля, а таким вот тесно на ней, стараются оттолкнуть соседа, верхом на него сесть. Тесно?.. Даже смешно думать об этом. Здесь, на участке, живут тридцать два человека, оттого и скудно — кино даже нет. А если б триста тысяч жили — пороги бы прикрыли, пароходы бы пустили, театров бы понастроили, музыка бы по вечерам играла... Просторна земля и обильна — могло бы хватить счастья всем.

Доносился шум воды, надрывался телефон на стене. Дубинин встал.

При первой встрече он сказал Бушуеву, что со сплавучастка скрыться трудно. А так ли трудно? Можно бежать не пешком и не на весельной лодке — на моторке. Она всегда стоит под берегом, моторист Тихон никогда не снимает с нее мотора. Если вечером сесть, то за ночь вниз по течению все участки останутся за спиной. А впереди перевалочная база, там сотни рабочих, среди которых легко затеряться, там железнодорожная ветка, там шоссе... Будет потом посмеиваться, что обвел простаков вокруг пальца.

Молчаливый, загадочный, поднимался над рекой лесистый берег — величественная стена, отделяющая маленький поселок от остального мира. Река была черная, только на середине неистово трепыхался лунный свет, рвался вперед вместе с течением и не мог сорваться.

Дубинин снял с лодки мотор, положил на берег и долго стоял среди валунов, глядел на судорожно мечущийся на воде лунный след, слушал рычание порога, легкие всплески о борта лодок.

Что он может сделать? Вразумить? Найти слово? Где уж, не горазд на слова. Просто вытолкать в шею? Скинуть со своих плеч на чужие, а там хоть трава не расти — чем-то бушуевским попахивает...

Дубинин взвалил на плечи тяжелый мотор и, глядя на свою короткую тень, ползущую по камням, стал подниматься по берегу на теплившееся окно конторы.

Не доходя метров десяти, он заметил, как в освещенном окне мелькнула тень. «Кто там? В такое время?..»

Чуть сутулясь под тяжестью мотора, Дубинин осторожно приблизился.

Согнувшись над столом, рылся в бумагах Бушуев. На столе лежал топор.

«Что это он? Что нужно?..— И вдруг осенило: — Паспорт! Я же его не отдал...»

Паспорт был не в столе, а в полевой сумке, что висела на стене возле телефона, прямо за спиной Бушуева. Он не замечал ее.

Наверно, Дубинин неосторожно переступил с ноги на ногу, Бушуев резко вскинул на окно глаза — лицо собранное, застывшее, глаза же затравлено бегают.

19

Они столкнулись в темных сенях.

— Саша? Ты? Я тут к тебе...— Ни страха, ни смущения в голосе. Дубинин в темноте схватил за локоть, вытащил на крыльцо.

— Пошли.

— Куда?

Дубинин не ответил.

При свете луны просторный двор казался особенно пустынным. На полпути к общежитию темнела старая железная бочка. Окна общежития светились. И этот свет в окнах, несмотря на то что время давно перевалило за полночь, и Бушуев, забравшийся в контору, и топор, не без умысла зажатый у него под мышкой,— все говорило: что-то случилось, пора действовать.

Не доходя до бочки, Бушуев остановился:

— Ты куда меня ведешь?

— Идем, не разговаривай.

— Да обожди... Хочешь, чтоб я деньги отдал?.. Так и скажи.— Голос Бушуева был миролюбив.

— Отдашь. Но прежде с ребятами потолкуем.

— Толковать-то легче, когда я деньги на стол выложу. Добрее будут...

— Вот и выложишь...

— Так я спрятал.— Бушуев, схваченный за локоть, глядел на Дубинина через плечо.

— Где?

— Не выгорело, что ж... Пойдем, покажу.

Дубинин помедлил и решился.

— Веди.

Бушуев потянул мастера от общежития к берегу, за столовую, к дамбе.

— Помнишь, Саша,— с прежним миролюбием говорил он,— ты меня спрашивал, хочу ли я домой. Я там семнадцать лет не был, с начала войны... Вот и запало: приехать бы туда, взять бы в жены бабу с домом. С деньгами-то любая примет. Жить, как все. Надоело по свету болтаться, надоело, когда вертухай за спиной стоит.

— Поработал бы честно, и езжай себе. Добрым словом проводили бы.

— А еще, Саша, дорогой ты наш начальничек, надоели мне ваши леса. Живу здесь и словно не на свободе. Сырость, тучи, пороги — тьфу! У нас поля кругом, приволье, теплынь. Не хотел я твоих ребят шерстить, но сами, дураки, полезли. Как не пощупать? На берега эти тошно глядеть, на остолопов, которые живут в дыре...

— Ладно, умник, кончай разговор. Где деньги спрятал?

— Обожди. Что-то тороплив ты сегодня. У меня желания нет торопиться.

— Ну!

— Не нукай! — Бушуев вырвал локоть, стал напротив, в рубахе, выпущенной поверх брюк, в резиновых сапогах: снизу — громоздкий и неуклюжий, сверху — узкоплечий, с вытянутой шеей.

За ним, уходя в призрачную лунную ночь, возвышалась дамба, сложенная из крупных валунов, укрепленная столбами. Совсем рядом шумела Большая Голова, чувствовалось ее влажное дыхание.

Бушуев поудобнее перехватил топор.

— Тебе при людях потолковать хотелось, мне — вот так, в тесной компании. Благодать, никого кругом.— Бушуев насмешливо разглядывал мастера.

— Где деньги, сучий сын? — шагнул на него Дубинин.

— Осади, осади. Не увидят твои ребята денег.

— Ты топором не тряси, не испугаешь!

— Ой, начальничек, не лезь. Давай лучше по доброму сговоримся: ты мне скажешь, где мой паспорт лежит, и без крику отпустишь. А я, так и быть, не трону тебя.

— Брось топор! — Дубинин сжал кулаки.

Но Бушуев поднял топор, заговорил свистящим бешеным шепотом:

— С кулаками на топор — смерти хочешь! Стукну и в реку сволоку, в ней места много... Паспорт давай, гад! В твоих бумагах нет, в кармане таскаешь. Давай паспорт, паскуда!

Дубинин отскочил, попытался нагнуться, чтобы поднять камень.

— Ах, та-ак, сука! — Бушуев пошел на него.— Перышко при себе носишь! Не страшно. Махни только перышком, я т-тебя накрою!

Дубинин совсем забыл про нож, висящий у пояса. Он выдернул финку... Но что с кулаками, что с ножом — одинаково трудно драться с человеком, у которого в руках топор. Держа в руке нож, Дубинин отступал к реке, боясь споткнуться о камень и полететь на землю.

Его сапог соскользнул с камня в воду — за спиной река, отступать некуда.

— Капец тебе! Гони паспорт, не то...

И Дубинин кинулся вперед. Он успел отклониться, прикрыть рукой голову. Должно быть, топор был тупой, лезвие, задирая рукав, скользнуло от запястья к локтю. Но рука после этого сразу упала, стала непослушной, деревянной.

А рядом — исказившееся, с оскалом щербатого рта лицо, широко открытые бешеные глаза. Топор снова взлетел вверх. Дубинин бросился прямо под топор, вплотную — так, в тесноте, топор неопасен,— попытался обхватить Бушуева, но разбитая рука не слушалась. Бушуев вывернулся, все еще держа над головой топор.

Не соображая, боясь только одного — что поднятый топор вот-вот опустится на голову, Дубинин ударил ножом в грудь сверху вниз — раз, другой, третий!

Топор с глухим звоном упал на камни. Бушуев вытянулся, задрал вверх подбородок и мягко, без шума откинулся назад.

Ревела вода на пороге. Кроме ее шума, не слышно было ни звука. Огромные валуны, тяжело давя друг друга, поднимались стеной. Раскинув руки, в просторной белой рубахе, лежал Бушуев, неуклюжие резиновые сапоги торчали вверх тупыми носами. Шумела вода...

Дубинин взглянул на нож, на блестевшем при свете луны лезвии увидел черные пятна — кровь. Бросил нож. Заплетающимися ногами шагнул к Бушуеву, нагнулся и сначала отпрянул... Глаза Бушуева были открыты, а гор-

ло сжималось и распускалось, изо рта черной нитью текла кровь, вырывалось икающее дыхание. Снова нагнулся Дубинин, хотел приподнять голову, но рука на затылке попала во что-то липкое. Только со стороны казалось, что падение Бушуева было мягким и бесшумным, — он разбил о камни затылок. На рубашке с левой стороны груди расползлось маслянистое, темное пятно... Дубинин разогнулся.

Он шел к дому. Отвороты резиновых сапог задевали один за другой. Шумела вода, скрипел под сапогами песок, шуршали, отмечая шаг за шагом, резиновые отвороты, глядела сверху безучастная луна...

В конторе Дубинин снял с телефона трубку. Линия, еще недавно кипевшая разговорами, теперь была пугающе тиха.

В районном отделении милиции дежурил какой-то старшина Осипов.

— Это с пятого сплавучастка Дубинин говорит... Дубинин! Я тут человека убил... Да, я... Нечего рассказывать, сами узнаете... Лодку к утру выслать? Вышлю...

Повесил трубку, сел на стул, бережно устроил на коленях больную руку...

20

На следующий день, часам к одиннадцати, моторист Тихон привез на лодке троих — следователя, врачиху и милиционера.

Все население маленького поселка молчаливой толпой встретило приехавших, вместе с ними пошли к дамбе, где на прибрежных камнях лежало тело Бушуева.

Врачиха, немолодая женщина с увядшим и каким-то домашним лицом, разрезала от подола до воротника рубаху на теле Бушуева, бережно касаясь груди кончиками пальцев, осмотрела раны, приподняла голову, обследовала разбитый затылок. Следователь поднял нож и, хмурясь, его разглядывал, потом попросил милиционера прихватить топор.

В конторе, расстегнув пальто, отбросив с волос на плечи платок, врачиха за столом Дубинина принялась заполнять свои бумаги. От ее трудолюбиво склоненной фигуры в стенах этой комнаты — наполовину учреждения, наполовину холостяцкого жилья — веяло покоем. Когда

Дубинин глядел на нее, ему казалось, что все случившееся не так уж страшно.

Следователь был молод — большие хрящеватые уши поддерживают форменную фуражку, лицо под фуражкой круглое, щекастое, губы сердечком. С Дубининым он разговаривал очень вежливо и холодно.

— Вы знали о выигрышах убитого?

— Знал.

— И вы не догадывались, где убитый может хранить деньги?

— Если б догадывался, не пошел бы вместе с ним искать их.

Дубинин отвечал и ужасался своей догадке — подозревает, что он убил Бушуева из-за денег. Хотел рассердиться, прикрикнуть: «Как ты смеешь, сопляк!» А потом понял: ведь в его годы он, Александр Дубинин, был не богаче ни умом, ни совестью. Послали к преступнику. А раз Дубинин преступник, то следователь, еще садясь в лодку, уже подозревал и не верил. Ни криком, ни добрым словом такого не переубедишь, придется терпеть.

Дубинин покорно и коротко отвечал на каждый вопрос.

— Будем опрашивать других, будем искать деньги,— заявил следователь.— Если они не найдутся, я, к сожалению, вынужден буду арестовать вас. Прошу посидеть на крыльце и никуда не удаляться без разрешения.

Дубинин вышел.

Бушуева перенесли к конторе. Он лежал у крыльца, выставив в небо подбородок, окровавленная рубашка разрезана, раскрывает плоскую грудь: «Года идут, а счастья нет».

21

Разговор с Бушуевым. Деньги. И ранним утром крик — убийство! Это уже совсем оглушило Лешку. Вой, рви волосы, маму кричи. Непонятно! Тьма!

Всю ночь деньги лежали под подушкой. Ужасные деньги! Крикнуть бы: «Вот они, освободите, будь трижды прокляты!»

Вот они!.. А Егор Петухов набросится: «Я искал, ты лежал рядом, молчал!» А какое у Егора было тогда чу-

жое и страшное лицо... Что Егор — все набросятся: с вором снюхался, за деньги товарищей продал!

А Саша?.. Убийца! Даже вслух произнести это слово не осмелишься, даже подумаешь — кровь стынет. Каково сейчас ему? И все он, Лешка... Он вытащил из порогов этого Бушуева (знал бы тогда!), он не решился бежать вчера к Саше и рассказать все... А теперь деньги... Если Саша узнает о них...

Отвернется Саша, отвернутся все, выгонят с участка, в деревне станет известно: «Лешка Малинкин — вор!» Куда там угрозы Бушуева. Страшно, непонятно. Как быть?

Заправляя койку, Лешка незаметно достал из-под подушки деньги. Они были завязаны в грязный носовой платок. Лешка сначала втиснул узелок в карман брюк, карман оттопырился, стало еще страшней — теперь-то уж каждый увидит. В дощатом нужнике Лешка развязал узелок, разделил деньги на две пачки и засунул их поглубже за резиновые голенища сапог — по пачке за каждое голенище.

Он вместе со всеми встречал следователя, вместе со всеми ходил на место убийства, толкался у крыльца конторы и ни на одну секунду не переставал думать — как быть? Спрятать где-нибудь в камнях, потом сделать вид, что нашел их случайно? Или того лучше — подстроить, чтоб кто-то другой нашел, например Егор Петухов? Но при одной мысли, что ему придется воровски прятать деньги, начинался озноб. Бросить бы их в реку, забыть, не знать!

Сплавщики собрались в общежитии, и тут впервые были произнесены слова — Сашу Дубинина подозревают! И Лешка обмер. Он сидел, прятал лицо, старался не глядеть на сапоги, где были спрятаны деньги. Как-то не думал раньше, что Сашу могут обвинить. Без того казнит себя, а тут еще — подозрение — убил из-за денег! Да что же это? Надо рассказать все, начисто, деньги выложить, спасти Сашу от оговоров!..

Пришел участковый милиционер, попросил никуда пока не расходиться, вызвал к следователю первого — Генку Шамаева.

«В судах сидят люди справедливые, должны понять... Попрошу никому не рассказывать. Нашлись деньги — и

все тут. Никто не виноват, кроме Бушуева, кому какое дело, где нашлись...»

Его вызвали сразу же после Егора Петухова, и это испугало. Егор не доверяет, может всякого наговорить следователю. Тот сразу станет подозревать, а тут еще деньги увидит. Попробуй тогда оправдаться.

«Все равно скажу, все равно...» — твердил Лешка, осторожно переступая сапогами, начиненными бушуевскими тысячами.

Неподалеку от крыльца лежало тело Бушуева в окровавленной рубахе. На крыльце сидел Дубинин; рядом с ним, прислонившись к столбу, стоял милиционер.

Дубинин сидел прямо, глядел в сторону, на шумящую воду Большой Головы, бережно придерживал на коленях больную руку. И Лешке он в эту минуту показался маленьким, одиноким. Саша Дубинин уже перестал быть хозяином, он сейчас такой же беспомощный, как и сам Лешка.

А хозяин участка — незнакомый человек: фуражка с лакированным козырьком, на груди светлые пуговицы, из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду, иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «уголовный кодекс...» Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял: должно быть, страшные вещи. А ему хотелось, чтобы поняли, пожалели, простили...

Глядят пристально глаза из-под лакированного козырька фуражки. Нет, не поверит, нет, скажет — был заодно с Бушуевым! А Саша?.. Вдруг да он тоже не поверит? Как доказать? Как открыть правду? Правду знал один лишь Бушуев. И Лешка впервые пожалел, что Бушуев мертв, что уже никто, даже этот человек с блестящими пуговицами,— никто, никто не заставит говорить, не вырвет из него правду.

Не поверит следователь... Не поверит Саша Дубинин... Не поверят ребята... На вопрос, не может ли он сказать, куда девал покойный Бушуев выигранные деньги, Лешка ответил:

— Не знаю.

Он снова прошел мимо Дубинина, мимо милиционера, мимо задравшего в небо подбородок Бушуева, прошел, не поднимая головы. Так же осторожно ступая, каждую се-

кунду напряженно помня о деньгах, лежащих за голенищами сапог, направился не к общежитию, а к берегу реки. Шел и боялся оглянуться, ждал окрика: «Эй, ты! Куда?!» Но никто его не окликнул...

22

Один за другим проходят мимо товарищи — те, с кем жил рядом, те, для кого жил. Кинут жалобный, растерянный взгляд и поспешно опускают глаза. Один за другим — в контору и из конторы...

А за спиной — молчаливый милиционер, на земле — человек, которого ты убил своими руками.

Не виноват! Нельзя было поступить иначе. Чиста совесть! И когда глядел в сторону на ныряющие по Большой Голове бревна, на вздыбленный лесистый берег, на низкие покойные облака, верил — не виноват. Но глаза сами опускались к земле: восковая грудь, запрокинутая голова, окровавленные лохмотья рубашки, окостеневшая желтая рука на примятой траве...

Да, защищался, шел с ножом против топора, да, если б не убил, то сам валялся бы возле крыльца... Все так, но запрокинутая голова, бурые пятна крови на рубашке, судорожно сведенная кисть руки — нет прощения тому, кто приносит смерть.

Кипит Большая Голова, кидает бревна, сумрачные ели и сосны лезут по крутому берегу к небу, а небо низкое, покойное, обещающее короткий дождь. Бушуев никогда не увидит этого. Удар ножа — и мир исчез.

Удар ножа... Древняя, как сама жизнь, история — человек не поладил с человеком. И сто, и двести, и много тысяч лет назад такие вот Бушуевы подымали нож и топор на других, заставляли и на них подымать нож. Неужели это проклятие вечно, неужели от него нельзя избавиться?

Сутулится на крыльце Александр Дубинин, глядит на лесистые берега, на реку, на небо. Все знакомо, каждый день видел эту реку, и эти берега. Усеянная камнем, скудная земля, но из нее, из каждой щели прет жизнь. На притоптанной, жесткой, как железо, тропинке, нагло разбросал листья подорожник — вот как мы: живем, не ту-

жим! А совсем рядом — бескровная, окостенелая сведенная рука...

Сидит Дубинин с окаменелым лицом. Проходят мимо него товарищи, опускают глаза.

23

Моторист Тихон, обычно перед каждой поездкой проклинавший свою судьбу, сейчас был бестолково суетлив и лишь подавленно вздыхал:

— Ах, боже мой...

Мотор долго не заводился.

— Ах, боже мой, боже мой...

Наконец мотор застучал. Следователь, врачиха, Дубинин, милиционер полезли в лодку.

Сплавщики молчаливой толпой теснились на берегу. Дубинин кивнул им головой:

— Ничего, ребята. Уладится.

— Саша,— выступил вперед Генка Шамаев,— сказать хочу... Обожди, Тихон, не отчаливай... Мы землю пробьем, а докажем, что ты не виновен.

— Уладится.

— А то, что попрекал тогда... Помнишь, за Катю-то?.. Напрасно... Утрясется эта заваруха — на свадьбе погуляем.

— Ну, ну, прости, коли так.

Оставляя над водой голубоватый дымок, лодка вырулила на середину реки, вот она заплясала на Большой Голове, то оседая на бурунах, то задирая вверх нос, прошла Малую, скрылась... Никто не обронил ни слова.

Молча, каждый глядя себе под ноги, потянулись в общежитие, молча разбрелись по своим койкам.

Не было только одного Егора. Он бродил по берегу в вечерних сумерках, отворачивал камни, заглядывал под кусты — все еще надеялся найти деньги.

Первым подал голос Генка:

— Проиграли в карты человека! И какого человека — Сашку!

— Ладно, не трави, без того тошно.

— Давайте, братцы, думать лучше, как бы выручить побыстрей.

— Деньги чертовы! Ежели б деньги нашлись, сразу б с него вину сняли.

— А может, соберем эти деньги, скажем — вот они, нашлись.

— Верно! Те-то были не меченые.

— Хитрость невелика — раскусят. Того хуже дело запутаем.

— Бросьте мудрить! Не с душой же Бушуева деньги улетели. Здесь! Камень по камню весь участок перекидаем, по бревнышку, по щепочке общежитие переберем — найдем!

И тут раздались сдавленные рыдания. Все подняли головы. Уткнувшись в подушку, плакал Лешка Малинкин.

Шумела Большая Голова за стеной. Откровенно, без стеснения рыдал Лешка. Все молчали, переглядывались. Только Иван Ступнин растерянно протянул:

— Пери-пе-тия...

1961

Находка

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, по прозвищу Карга, возвращался с Китьмаревских озер.

Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать прямиком, восемнадцать километров до Пушозера через лес — не впервой.

На берегу Пушозера живет знакомый лесник. Он перевезет его на другой берег — на веслах каких-нибудь километра два и того меньше, а там — обжитой край, не эта дичь несусветная. Там — село Пахомово, гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра.

День, заполненный промозглой сыростью, так и не разгорелся. С самого утра тянулись унылые сумерки. Сейчас, к вечеру, он не угасал, а скисал.

Тупой равнодушной свинцовостью встретило Трофима озеро. Хилые облетевшие кусты, темный хвостец у топких берегов и где-то за стылой, обморочно неподвижной гладью — мутная полоса леса на той стороне.

В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас, до бортов утонувший в хвостеце, и через шаг, на берегу у костра,— людей в брезентовых плащах и рыбацких, мокро лоснящихся робах.

«Должно быть, пахомовские. Ловко подвернулись — сразу и перебросят через озеро, долго ли им...» — Трофим направился на костер. Его заметили, к нему повернули головы...

Но по тому, как полулежавший рыбак резко сел, по тому, как напряженно застыли остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам он почувствовал: «Эге! Пахнет жареным...» Как у старой охотничьей собаки, которой уже не доступен азарт, появляется лишь вошедшее в кровь мстительное чувство при виде дичи, так и Трофим Русанов испытал в эту минуту злорадный холодок в груди: «В чем-то напаскудили, стервецы. Ишь, рожи вытянулись». Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость.

Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый — не собьешь. Нужно соблюдать закон, а так как из года в год приходилось сталкиваться, что рыбаки-любители норовили пользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артелей сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за поллитра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод — все кругом, все, кроме него, Трофима Русанова, жулики. Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах, высматривать, выслеживать — лишь бы уличить в незаконности. К нему прилипла кличка Карга, ему порой высказывали в глаза, что о нем думают, а Трофим отвечал: «Не хорош?.. Коли б все такие нехорошие были — жили б, беды не знали. Эх, дрянь народ, сволочь на сволочи...»

Он подошел к рыбакам. Трещал костер, над огнем, перехваченный за ушки проволокой, висел чугунный бачок, в нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи.

— Здорово, молодцы! — поприветствовал Трофим.

Пожилой рыбак — из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо — отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно:

— Здорово, коли не шутишь.

— А запашок-то царский...

Парень — исхлестанная ветром и дождем широкая физиономия, словно натерта кирпичом, вымоченно-льняная челка прилипла ко лбу, глаза голубовато-размыленные, с наглым зрачком — пододвинулся.

— Садись, угостим, раз позавидовал.

Трофим был голоден (днем на ходу, под елкой перехватил кусок хлеба), от запаха сладко сжималось в жи-

воте, но он с непроницаемо-сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, вгляделся в уху.

— Так, так... Сиг.

Рыбаки молчали.

— Ты — бригадир? — спросил Трофим старика в брезентовом плаще.

— Знаешь же, чего и спрашиваешь,— с ленивой неприязнью ответил тот.

— Климов, кажись, твоя фамилия?

— Ну, Климов...

— Значит, мне на тебя придется документик нарисовать... Чтоб рассмотрели и наказали.

— Короста ты.

— А оскорбления мы особо отметим. Не меня оскорбляешь, а закон.

— Не дури, отец,— вступился парень.— Велика беда — рыбешку в уху сунули. Мед сливать да пальцы не облизать!

— Вот-вот, мы по пальцам. Подлизывай то, что положено. Сегодня в котел, завтра — на базар. Знаем вас. Ну-кося.

Ценные породы — семгу, сигов — рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу, каждого сига. Таков закон. Но кто полезет проверять артельный котел. То, что после улова в уху шли не окунь, не щука, не лещ или плотва, этот вездесущий плебс озерных и речных вод, а благородные,— считалось обычным: «Мед сливать да пальцы не облизать». Даже инспектора рыбнадзора снисходили: пусть себе,— но не Трофим Русанов. И он знал, что, если составить форменную бумагу, пустить ее дальше,— отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызком карандаша выводил закорючки на бланке.

— Значит, все,— поднялся он, смахивая ладонью вытравленную дымом слезу из глаза.— Так-то, по справедливости.

Старик, продернув щетинистым подбородком по брезентовому вороту, произнес:

— Молчал бы. А то обгадит да покрасуется — по справедливости.

Парень недобро сощурил наглые глаза.

— Может, теперь сядешь, незаконной ушицы отведаешь? Накормим.

Слова старика не задели Трофима — привык, не без того, каждый раз — встреча с ощупкой, расставание со злобой, и, если б не парень с его ухмылкой и прищуром, он бы с миром ушел. Но парень издевался, и Трофим решил показать себя — пусть знают. Еще шире развел плечи, свел туже брови под шапкой, нутряным, спокойным голосом объявил:

— Нет, парень, ушицы этой и ты не отведаешь. Не положено.

Шагнул к костру, сапогом сбил с рогулек палку, перевернул бачок. Костер разъяренно затрещал, густой столб белого дыма, закручиваясь, пошел вверх. Сытный запах, казалось, залил мокрый унылый мир с чахоточными елочками, перепутанными кустами, хвостецом и замороженно застойной водой озера.

— Не положено. Шалишь.

Рыбаки не двинулись. Старик холодно, без удивления и злобы глянул Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил, невысокий, нескладно широкий в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты.

— Но-но...— Трофим тронул приклад ружья.

Парень стоял, мутновато-светлыми, бешеными глазами разглядывал Трофима.

Тот был выше парня, едва ли не шире в плечах, лицо обветренное, не в морщинах, а в складках, глубоких, крепких, чеканных, вызывающих по первому взгляду уважение,— бабы тают от таких по-мужицки породистых лиц. Топорщится замызганный плащ поверх ватника, рука лежит на прикладе.

— Брось, Ванька, не пачкайся,— посоветовал негромко старик.

Парень перевел дыхание.

— Одеть бы бачок на морду — да в воду.

— Брось, Ванька...

— Эх, дерьмо люди,— с презрением процедил Трофим.— Ни стыда, ни совести. Набеззаконничают да еще петушатся... Да что с вами толковать лишка. Дело сделано. Увидимся еще, чай.

Он подтянул на плече ремень ружья, повернулся и

зашагал по берегу — шапка сдвинута на затылок, плечи разведены, в походке внушительное достоинство человека, только что совершившего нужное, благородное дело.

Шесть рослых и сильных мужиков молча смотрели ему вслед.

А средь тлеющих головней скворчало мясо свалившейся в костер рыбы, мутноватый дым тек в сером воздухе, и стоял запах, как возле печи перед праздником.

2

Лесник Гурьянов Анисим жил рядом — крепко рубленный, приземистый дом на юру, стожок сена, огороженный от лосей, усадьба с раскисшими от осенних дождей грядками и добротная банька на отшибе.

Хозяин — высокий, костлявый не только нескладным телом, но и длинным лицом, глаза голубые, большие, с непонятной робкой горечью — бабьи, тонкие губы вечно сведены, словно вот-вот изумленно свистнет. Он сильно побаивался Трофима Русанова, может быть, потому, что не безгрешен,— живет в глухоте, сам себе во князях, может при случае лося порушить, хотя должен следить, чтоб другие не баловали, и уж, конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. «Дрянь народ» — относил без оговорок и к леснику.

Анисим, морща в улыбке сведенные губы, хлопая желтыми ресницами, позвал к столу:

— Не богато ныне наше застолье, ну, да чем бог послал.

А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее — скупо кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, ни «милости просим», ни «ешьте на здоровье», в гробовой немоте наставила чашек на стол, ушла с глаз долой.

Чтоб умаслить нежданного гостя, Анисим выставил на стол початую бутылку, морщась в застенчивой улыбочке, предложил:

— С устатку-то славно... С кой-то поры первачок остался.

Трофим выпил, почувствовал теплоту, с теплотой радость и довольствие собой: он кремень, а не человек, долж-

ны бы понимать — не ради корысти прижимает, жди — поймут. Так как никого другого под рукой не оказалось, стал распекать Анисима:

— Кто в этом краю начальник? Ты!

— Оно, видно, рукой не достанешь,— улыбнулся Анисим.— Десяток зайцев по лесу шныряют — командую.

— Не может земля без закона жить. Под носом у тебя рыбаки в котел сигов натолкали. Где закон? Нету его. С кого спрос? С тебя... Сегодня я прекратил безобразия, завтра-то меня здесь не будет...

Анисим кротко поглядывал в потное окно, к которому жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени, проговорил безнадежно:

— Сегодня-то уже, видать, не попадешь на тот берег... Где там, хоть глаз выколи.

И Трофим понял: готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дому. Не любит, а улыбается, самогончик выставил — эх, люди, ни в ком нет прямоты.

— Утром едем, да пораньше,— сказал Трофим.— Куда ты меня примостишь?

Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различались тщедушные, искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца.

— Экое утро помойное,— вздыхал Анисим.

Он был в плаще, туго стянутом ремнем, в ушанке со спущенными ушами, маленькая голова, широкий зад — похож на осу, готовую при неловком движении переломиться пополам. Трофим Русанов, выспавшийся, плотно подзакусивший, с легкой ломотцей в теле после вчерашней «пробежечки», довольный тем, что сегодня-то будет наконец дома, шагал следом, умиротворенно молчал.

Как и всюду, берег озера был топким — сначала тянулась жесткая неувядающая осока, потом темный хвостец, и только вдалеке просвечивала чистая вода. Ступили на лаву, связанную на живую нитку,— пара жердей да держись за воздух. Нескладный Анисим привычной ощупочкой выступал впереди. Вдруг он остановился, словно споткнулся, стоял с минуту, поводя туго облегающей голову шапкой.

— Вот так раз...
— Чего там?
— Лодки-то нету.
— В каком-таком смысле?
— Да смыслу-то, паря, не вижу.

Лодки не было. Среди густого хвостеца — смолисто-черная плешинка воды: место, где лодка стояла. В сторону озера хвостец помят, намечена проточина. Этим путем обычно выбиралась к чистой воде лодка. Анисим и Трофим балансировали на жидких жердях.

— Пошли, как бы не обвалилось,— посоветовал Анисим.

На берегу они присели на плоский валун, веками оседающий в заболоченную землю. Закурили, озадаченно вглядываясь в томящееся в мутном осеннем рассоле озеро.

— Может, сам куда завел спьяна да забыл? — с надеждой спросил Трофим.

— И в молодости до того не напивался.

— Не черти же лодку уволокли. Здесь людей не бывает.

— Бывают. Сам видел.

— Рыбаки? Пахомовцы! — Трофим и раньше об этом догадывался.

— Ты им, видать, круто насолил.

— Ах, бандиты! Да я им!..

— Обожди стращать. Пораскинь, как выберешься. Окромя моей, на этом берегу ни одной лодки больше нет.

И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет.

Пушозеро не широко, но длинно — путаной, изгибистой подковой влезает в леса, из конца в конец километров двадцать пять добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пройдешь — от озера тянутся заливы, по-местному — лахты; в озеро впадают речки, не широки, но глубоки: вплавь перед морозами не переберешься, но самое тяжелое — болота. С одной стороны тянется Волчья топь, она поразмашистей самого озера. Трофим, считай, всю жизнь прожил тут, а не знает, где кончается эта топь. Заберись в нее — не вылезешь. С другой стороны тоже болото — Мокрецы. Хороши «мокрецы», когда в нем есть места — ступишь ногой на травку, и ухнешь вниз, никто во веки веков не найдет. За два дня едва ли переберешься на тот берег — жилы вытянет. А село Пахомово рядом,

из-за леса колокольня маячит на том берегу. Всего-то на веслах не спеша — час от силы. Ни одной лодки! Знали, чем укусить, подлый народ.

— Может, плот,— неуверенно предложил Трофим. Уж очень не хотелось двое суток блуждать по лесу.

— Плот-то...— Анисим помедлил.— Ежели б лес рос у берега... У берега-то жердь добрую не вырубишь. За полкилометра таскать бревна на горбу. Пока свалишь, пока притащишь, сколачивать на воде придется. Нынче не лето... Плот — маета, проще обежать.

Трофим молчал.

Анисим смял цигарку.

— Конфуз...

И лицо у него в самом деле было конфузливо.

— И ни соли, ни сахару в доме, да и хлеба чуть. За всем езжу на тот берег. И сейчас вот метил — провожу тебя и отоварюсь... Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Не-ет, не смилуются. Будем мы с тобой кочерыжки капустные грызть...

Трофим понял: его, нежеланного гостя, любым путем хотят спровадить. Даже не обиделся — до того ли в эту минуту.

— Не плавом же мне...

— Конфуз...

— Обходить-то изведешься.

— Ты же к лесу привычный. Места вроде знаешь. Ночь под крышей ночуешь. На Копновских покосах курная избушка стоит. А уж там пораньше встанешь, подналяжешь и, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальца дам, хлеба, котелок, чтоб чайком горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому не выпутаешься... Не приведут стервецы лодку, не-ет. А коль и приведут, то через неделю — какой расчет тебе ждать.

Трофим молчал, глядел на оплывающее в грязном рассвете озеро. Анисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал:

— Конфуз, право.

8

Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь — глохнут во мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ни

шороха, ни пенья птиц, только стволы на километры, нет надежды встретить живое.

Едва обмятая тропинка. Летом по ней ходят охотники да колхозники с того берега, бросив лодки, добираются до своих дальних покосов. Зимой эту тропу может пересечь санный путь — как-то надо вывозить наметанные за лето тощие стожки. Но сейчас встретить человека здесь так же невероятно, как увидеть воочию Илью-пророка или Николая-угодника.

Иногда тропа протискивалась в чащу ельника — там сыро, темно, глухо, как в подземелье. Иногда лес обрывался одичавшей прогалинкой — торчали раскисшие будылья, лежал до краев залитый угрюмой водой бочажок. Тоскливая вода обреченно смотрит в тоскливое небо.

Как ни кинь, а выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково — конфуз-де, а выгнал хуже собаки, в лес, под дождь, в эту дичь несусветную. Не пропадешь — ладно, пропадешь — тоже не жалко. Трудно ли сбиться с пути, оторваться от озера, промахнуть мимо редких лесопунктов... Анисиму-то он не перебежал дороги.

Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено. Положено, чтоб ячейки сетей были такого-то размера,— он следит. Положено в таких-то местах ловить только удочкой — следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Отступить от правил для него было так же нелепо, как признать, что дважды два — пять, а шестью восемь — пятьдесят. Другие инспектора по надзору делают то же, что и он,— есть среди них и строгачи, ни словом добрым не уластишь, ни взяткой не купишь, а не любят его, Трофима Русанова. Почему? Он не понимал и злобился на людей. Просыпаясь утром, он уже знал, что кто-то обижен на него, кто-то затаил злобу.

Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко: что с них взять, не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся: «За что? Что сделал? Где же правда?» И единственное успокоение, что народ — дрянь, а он — особый.

Сейчас пустынным, неприятно-мокрым лесом Трофим нес обиду на Анисима. Не ущипнул его, не ославил — за что не любит?

Кончился ельник, моховые мочажины и унылые застойные бочаги. Начался сосновый бор. Даже в эту пору утоми-

тельной сырости, бесцветности, сумрака сосновый лес сохранил торжественность. В нем просторно, чисто, хоть играй в пятнашки. И почему-то назойливо ждешь жилье — вот-вот стволы расступятся, замаячат крыши. Но стволы не расступались, идешь, идешь — никаких перемен, все та же чинная лесная чистота, молчаливая торжественность, величавость, и сам кажешься себе маленьким, затерянным, начинаешь без причины торопиться.

Опять занозой засела мысль: упади он здесь, не вернись — никто не прольет слезы. А у него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца, едва подрос — ушел из дому, теперь работает на лесокомбинате, письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком — равнодушно его встречала, равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озера, равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал — такого-то припек. И ежели Трофим выходил из себя, ругался: «Квелая какая-то, не баба, а пень!» — она без обиды возражала: «А что мне, плясать перед тобой? Отплясалась, не молоденькая».

Сосновый чистый лес, он походил на мрачный прокопченный овин, бескрайняя крыша которого подперта бесчисленными столбами. Пустой овин, давно заброшенный людьми. Его вытолкнули сюда...

И узелок к узелку вязалась сладкая ненависть к Анисиму: «Найду случай, подсыплю соли на хвост тебе, старая лиса. Не без греха: семгу-то ловишь, икорку жрешь, а я тебя за рукав да соответствующий документик нарисую, да с ним — в райисполком, а оттуда — сигнал в лесхоз... Домик казенный обжил, к усадебке приноровился, пасеку держишь, корову, поросяток — ну-ка свертывайся, топорик в руки да на лесопункт...»

Сосновый бор стал мельчать. Покоробленные, не белоствольные, а рыжие березки назойливо втискивались среди разбегающихся сосен. Трофим вышел к реке, лесной, сонной — черная вода вровень с берегами. За ней — болото.

Через речку перекинута пара бревен — мост не мост, а вроде этого. Весной его унесет. Слава богу, что сейчас цел.

Трофим присел на комель, развязал мешок, достал хлеб, сало — время-то обеденное. Сидел, жевал сало, положенное Анисимом, думал о том, как он прижгет этого Анисима.

4

Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь — сыра могила. Проходил болотца с тощим ельничком, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом.

Он гнал себя, чтобы добраться к курной избушке до темноты. Ночью идти нельзя — через пять шагов собьешься с тропинки, влезешь в чащу или свалишься в бочаг.

Лес, и без того оголенно-черный, еще грозней потемнел. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и зальет мир.

Но вот лес оборвался, пошел низкий кустарник, кончился и он; Трофим уперся в ручеек, узенький — шаг в ширину, вздохнул облегченно — шабаш, ночь проведет под крышей.

Незамысловато петляя, шевеля осоку, ручеек тек к озеру. На его берегу и стоит избушка с односкатной крышей. Летом здесь — веселый уголок, много солнца, много сквозной зелени, ручей же просто набит окуневой молодью. Окуньки длиной в ладонь хватают чуть не за голый крючок. В сенокосы здесь легко встретить людей, в избушке тогда постоянно топится каменка — не для тепла, для дыму, чтоб отгонять комаров. Сейчас кой черт занесет сюда человека.

Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал — валится с ног. Мечтал об одном: чтоб в избе возле печи были заготовлены дрова, чтоб не нужно тащиться за валежником. Затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком.

Вот и выбитая тропа, вот и бревенчатая стена, нащупал дверь, толкнул — обдало банным запахом въевшейся копоти. Внутри темно, волоковые оконца забиты сеном. Трофим скинул с онемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтоб не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то чтобы теплые, нет, они скорей хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или поза-

вчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима.

В ту же минуту он вдруг ощутил — кто-то есть, рядом, живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой.

— Ктой тут? — сипло спросил он.

И сразу же шарахнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук — не то блеяние ягненка, не то скрипяще заскулила раненая собака.

— Мать честна! Кто здеся?

Спички были спрятаны от сырости в резиновый кисет с табаком. Он не сразу их достал. А крик продолжался, слабенький, захлебывающийся, не звериный — человеческий, чем-то очень знакомый, домашний.

Наконец спичка разгорелась в ладони, выперли из темноты лобастые валуны. Трофим направил свет на нары. Нары были пусты, никого в избе, а крик стоит.

«Под нарами, должно...» Но спичка потухла. Трофим торопливо зажег другую, шагнул к нарам, хотел уже нагнуться и только тут заметил, что в углу нар, ближе к каменке,— какой-то сверток тряпья, голос шел от него.

И снова погасла спичка...

«Чертовщина какая-то...» С третьей спички он заметил вязанку дров возле темного зева каменки, сверху вязанки — наколотая лучина. Схватил лучину, обломил, чтоб по ломаному концу быстрей занялся огонь. Сухое дерево затрещало, осветив горбатое нагромождение матово-черных камней, потолок и верхние венцы, глянцевитые от копоти, словно окрашенные мрачной масляной краской. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к нарам.

Лоскутное ватное одеяло, туго свернутое, перехваченное скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка — сипловато-тоненький детский плач. Младенец! Один! В глухом лесу!..

Потрескивая, горела лучина, весело выплясывая, росло пламя, то распухали, то съеживались тени. Застывший от ужаса, боясь дышать свободно, стоял коленями на нарах Трофим, горбился.

— Курва...— обронил он.

Это относилось к матери ребенка.

Ребенок осип и замолчал, Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горящей лучины зажег другую, вставил с накло-

ном между камней, так чтоб угли падали на землю, не подожгли избу.

— Ну и ну...

Он начинал понимать, что случилось.

На другой стороне озера много деревень. Почти во всех остались следы былого старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. И, видать, нарвалась одна, решила спрятать концы. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке. Перебралась на лодке, наверно, жила неделю, две, ждала, готовилась. Сама, как умела, со всем справилась, а потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверно, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула тряпицу с жеванным мякишем в рот, повыла на прощанье — и на лодку.

— Ух, стерва! — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы.

А ребенок снова слабо запищал. И Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес, в ночь, подальше.

Матерясь вполголоса, он полез на нары, долго шарил, нашел возле ребенка узелок — тряпица уже высохла, а хлебная кашица загустела. Отбросил.

— Таких бы своими руками...

Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету — чист ли? — оторвал кончик.

— Дознаться бы... Эх, дознаться — откуда? Из какой деревни?.. Живыми бы таких закапывал в землю...

Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал, стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка.

Нажевал много, понял, что такая громадная «соска» не войдет в детский рот, грязным пальцем убавил кашицы, оставил чуть-чуть.

Лица он не мог разглядеть в полутьме, осторожно, почти со страхом подсунул самодельную соску внутрь одеяла. И вздрогнул — младенец принял, плач затих, в тишине лесной избушки раздалось сладкое чмоканье. И оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно, задом, он сполз с нар, встал на ноги и разразился руганью:

— Есть же шкуры на свете! Таких гадов своими б руками!.. Кошка блудливая и та свое дитя бережет...

Ругаясь, принялся растоплять каменку. Дым пополз из щелей между камнями, стал копиться под потолком. Трофим вышиб сенные затычки из волоковых окон.

Через полчаса стало тепло, но ходить можно было только согнувшись—заполнивший верх избы дым ел глаза.

Угасла печка, выветрился дым. Чтоб не ушло тепло, пришлось снова заткнуть оконца. Трофим лежал на нарах, подальше от того угла, где находился притихший младенец. За прокопченными стенами шумел лес, глухой лес, не пересеченный дорогами. Далеки люди с их помощью. И жил рядом человеческий детеныш. Пока жил... И Трофим чувствовал, что нельзя просто уснуть и забыть, нельзя отмахнуться. И это его раздражало: «Напаскудничала, стерва, а я расхлебывай. Надо же налететь...» Он в эту минуту испытывал саднящую жалость, но не к брошенному ребенку, к себе. Невезучий, какая шишка ни свалится — ему синяк, не соседу. А за это кто-нибудь хоть раз пожалел его в жизни, сказал ли кто хоть одно ласковое слово? Только мать в детстве... Помнит, прибегал с улицы, скидывал берестовые ступешки, а мать мяла в руках его красные ноги, выговаривала: «Остудишься, непутный, вот лихоманка-то хватит...» Верил бы в бога, жаловался бы: «За что ты, сукин сын, меня наказываешь? Не хуже других, неровня, например, этой шкуре-девке, которая дитя родное на лютую смерть бросила...» Такой случай, может, один на тыщу выпадет, а подвалило ему, Трофиму Русанову. Надо же...

Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившись жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружелюбия.

Под шум леса, под тоскливые мысли Трофим незаметно уснул.

5

На воле уже наступило утро, в курной избе с заткнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером, и не поверил: «Не бывает такого. Сон дурной...»

Но ребенок заплакал.

И Трофима охватил приступ беспомощной злобы:

— Не задавила тебя эта сучка! Теперь нянчись! Цыц!

Чтоб только не слышать детского писка, соскочил с нар, запнувшись о приставленное к стене ружье, саданул ногой дверь. И резануло по глазам.

Еще вчера земля была нищенски темной, сейчас — ослепительно бела, празднична. За ночь выпал снег. И на этом непотревоженном снегу плясали, подбоченившись, молодые березки — стволы желтые, словно теплые на ощупь. А издали, с конца поляны, хмурился еловый лес. Тот лес, куда ему, Трофиму, предстояло нырнуть.

По лесу с ребенком. Путь не маленький: один шел, да и не шел, а бежал иноходью — едва-едва от сумерек до сумерек поспел. Не разбежишься в обнимочку с младенцем, а в мешок его не положишь. И кто он ему — просто дурным ветром пригнало. Не украли б лодку рыбаки — что тогда?.. Скажем, даже возьмет. Но этот подкидыш и без того, наверно, еле жив. Лес — не люлька, Трофим — не кормилица, здесь ему умирать или же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнись за грех какой-то сволочи. Еще ненароком собьешься с пути, закрутишься по лесу...

Яркий снег, снежно спиртовой воздух и трезвые мысли. Трофим успокоился: «Нет смыслу попусту валандаться...» И сразу же на душе стало легко.

Без шапки, в распахнутом ватнике направился к лесу за валежником.

Прогорела каменка, последний дым нехотя вытягивался в волоковые окошечки. Трофим попил чаю; сытый, согретый, чуточку отяжелевший, сидел уже в плаще у развязанного мешка и с непроницаемым лицом жевал, готовя новую соску.

Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет, второго такого чуда не случится — больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два, на три, вряд ли на день. Разумней совсем не давать соски, но что-то нужно сделать? Хоть чем-то купить совесть.

При дневном свете, падающем из волоковых оконец, было видно, что по избе прошлась женская рука: утоптанный земляной пол подметен, нары вымыты, выскобле-

пы, у порога приставлен наскоро связанный голичок. Дурная мать, верно, тоже подкупала свою совесть — прежде чем уйти, мыла, скребла, кормила младенца, обмывала, оставила запас чистых тряпок, зная, что никто уже ими не воспользуется.

И в голову Трофима пришла странная мысль, никогда такие не приходили раньше: «Конечно, девка — шкура из шкур, давить таких, чтобы землю не пачкали, но каково ей было, когда переступала порог,— только что грудью кормила, слезы лила, быть может, ласковыми словами называла и... бросить...» Трофим злобился на беспутную, потерявшую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. «Знать, уж солоно пришлось, раз на душегубство решилась».

Он испугался сам за себя — посиди еще вот так и вконец раскиснешь. Решительно встал, полез в угол нар, вгляделся в глубь свернутого одеяльца — у ребенка было натужно красное личико, он, наверно, был болен. Крохотные веки закрыты, губы вытягивались. Трофим коснулся соской этих губ, они жадно приняли тряпицу, а глаза не открылись. Трофим облегченно перевел дух. Глаза несмышленыша — они не упрекнут, не поймут, но все-таки Трофим почему-то боялся взгляда этих глаз.

Торопливо схватил незатянутый мешок, ружье, выскочил на волю, на потускневший под оттепелью снежок. Вспомнил про окна — забить бы сеном, отмахнулся: «А-а, не все ли равно»,— шагнул в сторону ручья, шагнул, словно оборвал пуповину.

По всей вкрадчиво сияющей поляне из-под снега торчала сухая трава, и от этого вид поляны казался щетинисто-небритый, гнусный. Горяче-черный ручей туго оплетал тесно сбившиеся елочки и кусты ивняка. Тропу занесло, Трофим ее чуть не проскочил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес — и все забудет. Нырнет, как обмоется,— сразу покой.

Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном,— через полчаса выстудится избушка, в ней станет холодно, как на улице. Спину продирал легкий озноб. Там, за спиной, близится беда.

Не в пример вчерашнему лес был наряден. В темных провалах между стволами — затейливое кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу.

И по своей привычке Трофим стал искать виновников, распалялся в ожесточении.

«Стерва баба, мразь... Доискаться бы... На суд, на люди, чтоб глядели, пальцами тыкали... И про парня, который девку с пути сбил, дознаться... Тоже голенького — глядите. Не тюрьму бы таким полюбовничкам, не-ет, к стенке приставить...»

Но тревога росла, с отчаяния стал винить Анисима, рыбаков, что увели лодку: «Тоже — совести ни на грош. Сидят сейчас в тепле, чаи гоняют. А коли услышат, что младенца мертвого в избушке нашли, что им — почешут языками да забудут... Сволочь народ...» Но вспомнил, как сунул соску и... словно ударили по черепу, остановился.

С заснеженных еловых лап падал отяжелевший, подтаявший снег, задевал за ветки. По спящему лесу проходил вкрадчиво-воровской шорох.

Соску сунул... И маленькие, как надрез ногтем, закрытые веки, и ищущие во сне губы. Не соску искали — грудь. Нет матери, нет отца, нет защитника. Соску сунул... Мать-то хоть что-то припекло, а тебя-то что припекает?.. Ведь над тобой смеяться, как над девкой, не будут. Девку ты готов — к стенке, а сам — соску сунул...

Сыпался с ветвей снег, равнодушные ели окружали человека — им все равно, на что он решится.

Девку — к стенке, а сам — соску...

Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробиваясь, сквозь чащи, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному на снегу. Бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток, матерясь, когда ружье цеплялось за сук.

В избушке он скинул плащ, ватник, сорвал через голову гимнастерку, нательную рубаху, долго прикидывал на вытянутых руках — как повыгодней располосовать? Разорвал на две части — в одну сейчас обернет, хоть и не чиста, да суха, другую припрячет про запас.

Ему до этого и в голову не приходило раскрыть ребенка — терпит и ладно, все равно помрет. Сейчас, когда увидел красное, до мяса сопревшее тельце, не выругался, а застонал. И стон его был неумелый, походил на скулеж голодной собаки...

— Зве-ери! Душегубцы!.. Спасу тебя, девка... Может, спасу...

Ребенок был девочкой.

От черного ручья уже вели в лес пробитые им следы. Но он не пойдет по этим следам, нужно двигаться в обратную сторону, снова к Анисиму — ближе человеческого жилья нет.

Собираясь перешагнуть через ручей, согнулся и в черном зеркале увидел свое отражение: обросший колючей бородой, за спиной ружье, вид звериный, одичавший, а в руках одеяльце пестрой изнанкой наружу — господь одарил ребеночком.

— Хорош,— враждебно усмехнулся сам себе.

Пошел к кустам, печатая по снегу крупные следы.

6

К полудню сошел снег. Лес стоял измученный тяжелым, как смертельная болезнь, ненастьем.

Ноша не грузна, но нести ее мучение — никак не приспособишься. Не по утоптанной дороге шагать, в одном овраге чуть не выронил сверток в ручей.

Девчонка часто плакала. Выискивал место, присаживался поудобней, «сочинял» новую соску. Для этого кусок хлеба держал за пазухой, там же — тряпки, чтоб не промокли. Соску девочка выкидывала, тоненько и сипловато кричала. Трофим ругался в отчаянии:

— Хрен тебя знает, чего хочешь.

Больше сидел, чем шел, да и вышел поздно — за весь день протащился чуть больше десяти километров. При первых сумерках, мокрый, со свинцовой ломотой в руках и плечах, среди угрюмого ельника, стал устраиваться на ночлег.

Дождь не шел, но весь воздух пропитан влагой, нечаянно задетая ветка обдает, как из ковша.

Нарезал лапника, устроил постель. Дров рубить не надо, кругом полно сушняка. Запас дров сложил в голову, чтоб были под рукой.

Разложил два длинных костра: они занялись не сразу, а когда занялись, мир замкнулся — ни елей, ни неба, подпертого колючими вершинами, только он, укутанный в ватное одеяльце ребенок, да с двух сторон с бездумной веселостью пляшущий огонь.

Стало жарко. Трофим подсушил тряпки — как ни берег их, а все же влажные,— затем быстро раскрыл одеяло. Уже

знакомое обваренно-красное тельце, оно беспомощно корчилось, надувалось, испускало натужные крики, но залихватски веселый треск костров заглушал слабый голосок. Наскоро вытер, подсунул чистые тряпки, поспешно закутал, утер пот с горячего лба:

— Ну вот... Лежи, приблудная.

Искры летели вверх, в ночь, в сырость, в чужой и неприветливый мир, до которого можно было дотянуться рукой. Трофим лежал, обняв полой ватника девочку, прижимал ее к себе, порой чувствовал сквозь толстое одеяло: чуть шевелится — значит, жива.

Жива, а это сейчас для него самое главное.

Смутно, сам того не осознавая до конца, Трофим один на один с этим осужденным на смерть младенцем почувствовал, что жизнь его до сих пор была холодной, неуютной. После смерти матери он жил у дяди, разносил пойло коровам, обходил лошадей, нянчил детишек, получал затрещины: «Шевелись, пащенок!»

Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет: «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю. Эксплуататор, надо раскулачить». А у дяди шестеро детей, старший, Петька,— одногодок Трофима, жалко все же.

— Ах, жалко! А они тебя жалели, сколько лет ты на них хрипт ломал? Сынок-то в сукнах ходит, на тебе рубаха чужая. На рубаху не заработал...

Верно, не возразишь — подписал.

Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, вытряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена, баба сварливая, высохшая, от жадности и работы, с котомками за спиной, с выводками детишек, под доглядом милиционера двинулись со двора на станцию.

— Столкнемся, Трошка, на кривой дорожке! Выкормили змееныша за пазухой!

А Петька, одногодок Трофима, плакал, как девчонка.

Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к богу в рай.

Дядино добро — полушубки, сапоги, поддевки суконные — распределяли по беднякам. Причиталось и Трофиму — отказался, не взял ни нитки. Пусть знают: не ради корысти заявление подписывал, а потому, что осознал.

Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенок — пустой и гулкий, по ночам мыши скребутсу, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор — все двери

нараспашку. Хлев, амбары, баньку, поветь продувает ветром.

Решил жениться. Нюрке Петуховой, дочке нелядащего Сеньки, по-уличному — Квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего — лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зятья к деревенскому скоморохy Сеньке Квасу.

Этот Квас, морщинистое лицо, мышиные глазки, все богатство — зипун из заплат, штиблеты с «березовым скрипом», потребовал:

— Свадьбу гони хочь хрестьянскую, хочь пролетарскую — была бы выпивка.

А на свадьбе, после первого стакана, словно обухом по башке:

— Ты мной не брезгуй, я сам тобой брезгую.

— С чего ты?

— Неверный человек — родню за пятак продашь.

Всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел:

Протекала речка эдак,
Протекала речка так.
Не задешево торгую —
С головы всего пятак.

Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Русанова в колхозное руководство. А Сенька Квас выплясывал:

Антиресная заботушка
Мне голову кружит:
Кабы с зятюшкой колхозушко
Напару поделить.

И ничем его не возьмешь — ни добрым словом, ни острасткой. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнется, злей станет лаять.

Трофим пошел в район с жалобой — житья нет. Там рассудили — вражеская агитация. Исчез непутевый деревенский скоморох.

Жена Трофима не называла раньше отца иначе — «шут гороховый», а тут перестала глядеть в глаза. Нутром чуял — живет через силу, ушла бы, да куда: брюхата на четвертом месяце, с таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он-де правильный чело-

век, за правильность-то его и не любят, а у нее в ответ одна унылая песня:

— Уедем скорей отсюда.

И где бы он ни жил, кем бы ни работал — всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово — настораживался: боятся, сукины дети, или целятся окрутить вокруг пальца. Дерьмо люди, нельзя верить.

Быть может, впервые ему доверился человек.

Человек?.. Еще не человек, но доверие-то человеческое. Вот я — можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает, люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись — это так просто сделать! — будешь свободен, быстрей вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек!..

Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, оно было ново, необычно, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одеяльце, он видел разъеденное нечистотами, обваренно-красное тельце и сам испытывал страдание. Он совал тряпичную соску и снова страдал оттого, что не материнское молоко, а грубая жвачка — опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от нездоровой ночной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только б донести до людей, там-то уж спасут.

Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда, час к часу не сложатся в сутки, спутается время...

Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торопливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким, собачьим сном.

7

Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбится на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже, километров пять

пробежишь и не заметишь. К вечеру наверняка доберется до Анисима: «Шевелись, старый сверчок!»

Теперь у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злобы. Не откажется лесник, как-никак вместе с женой станет ухаживать за девчонкой, спасать ее. За помощью идешь к нему, а от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь.

Падал ленивый лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей густотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко.

Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место: здесь лежали два бревна — их нет. Подмыло ли берега и концы бревен обрушились, просто ли после стаявшего снега поднялась вода, так или иначе — перехода нет.

Вода настолько черна, что кажется, сунь руку — и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково, то там, то тут, спускались невесомые хлопья снега, едва коснувшись, исчезали. Вода спокойна, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь-десять.

А на противоположном берегу, подпирая сумрачное небо, натянуто стоят стволы сосен. Не перепрыгнешь к ним...

Восемь шагов... Такие стоячие лесные речки «нутристы», берега их обрывисты; на дне, затянутые илом, лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы — сорвись, и скроет с головой. Вброд, да еще с ребенком на руках,— нет, опасно.

И все-таки Трофим решил прощупать. Наломал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку — попрямей и потоньше,— двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину...

По грудь у самого берега — значит, на середине может скрыть с головой, по пояс, снова по грудь... Но вот конец березового кола сразу уперся в дно — по колено, даже мельче, а у того берега кто знает... Ежели и решаться, то тут. Прежде чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду — не дай бог намочить ватные штаны и телогрейку, за сутки не просушишь у костра; нагишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком...

И Трофим сплюнул:

— Да что я, на смерть присужденный!

Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь оказию. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки — вот тебе и мост, шагай посуху.

Перед тем как двинуться в путь, присел на лапнике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дикую, сонную речушку. Сколько еще протянет девчонка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся... Трофим поднялся.

По болотистой долинке кружит лениво черная река, брось щепку в ее воду — не тронется с места. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что нетрудно перескочить с разгону. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, топкие — не разбежишься, не оттолкнешься.

Кружит река, вместе с ней кружит и Трофим — щетинистый, грязный человек, с ружьем, с мешком, с младенцем в ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима в глубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге.

Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушились в реку, перегородили ее. Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роща костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку.

Трофим снял ружье с плеча — оно больше всего цепляется, взял за ствол, размахнувшись, перебросил его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок перебрасывать побоялся — не долетит, упадет в воду. Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой хватаясь за сучья, полез по завалу...

Если б обе руки были свободны, одна минута — и он на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветви, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вершок за вершком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, припомнил бога и мать, но делать не-

чего — пошевеливая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медлительно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл.

Трофим поглядел на мешок злыми глазами, полез дальше. Наконец, ломая сучья, свалился на землю, долго сидел, прижимая ребенка, слушая стук своего сердца.

Когда поднялся, ни на черной воде, ни под запущенными в воду толстыми сучьями мешка не было — он затонул...

Мешок затонул, а ружье осталось. Ненужное ружье, мешавшее ему всю дорогу. Он не поднял его с земли.

Он устал за эти дни. Он уставал днем и не отдыхал ночами, так как постоянно вскакивал, чтобы подправить прогоревшие костры. А они прогорали быстро — не было топора, чтобы заготовить толстые дрова, приходилось пользоваться только валежником. Он устал до того, что его уже не волновала пропажа мешка, где лежала вся еда, кроме небольшого куска хлеба, который он спрятал за пазуху — «на соски»; он не нагнулся за ружьем, двустволкой бескурковой, которой он гордился, за которую в свое время заплатил пять сотен; он уже равнодушно думал о том, что девчонка все равно умрет; он не испытывал страха и перед своей смертью.

Идти обратно вдоль реки, чтоб наткнуться на знакомую тропу, которая ведет в сосновый бор,— значит потерять день. Оставить реку, двинуться наискосок через лес — не мудрено заблудиться. Но он хотел только одного — быстрей выбраться из лесу; по его прикидке, где-то недалеко должна проходить дорога, ведущая на один из лесопунктов. Хотя сейчас по ней не ходят лесовозные машины, но все-таки дорога — возле нее легче ждать помощи.

И он решился — обнимая ребенка, побрел в сторону от опостылевшей реки.

8

До сих пор его вели вперед — сначала тропа под ногами, потом река. Теперь, куда ни взгляни, во все стороны одинаковый лес. Впереди — перекрученные березки и елочки, справа — перекрученные березки, слева, сзади. Мир сразу же потерял всякий смысл.

А день сумрачно-серый, нет надежды — не проглянет солнце и ночью не вызвездит. Где север, где юг, вперед ли ты сделал шаг или назад — над всем равнодушная тайна.

Первые часы Трофима не покидала уверенность, что идет правильно, рано или поздно он наткнется на дорогу. Наткнулся на непроходимую чащу — ели ствол к стволу, торчат во все стороны высохшие острые сучья, у корней слежавшийся ночной сумрак. Побрел в обход, прижимая к груди ребенка.

Лес был высокий, крепкий, сюда еще не добрались лесозаготовительные организации, не проложили здесь «усы» узкоколеек, не пробили дорог. Тонкие, гибкие березы протискивались к небу сквозь плоты хвои. Ели развешивали над головой замшелые, полуоблезшие лапы. Лес давил дикостью, дальше чем на три шага ничего не видно.

Он шел и глядел в небо, на верхушки деревьев, ждал, что вдруг покажется заманчивый просвет. Вдруг да вырубка, а от нее непременно дороги к человеческому жилью, пусть полузабытые, полузаросшие, но все-таки дороги.

Несколько раз ошибался. Ему казалось, что лес впереди раздвигается. Тогда он прибавлял шагу, ломился напрямик через чащу и... выходил в мелколесье. А за мелколесьем — снова рослый лес.

Опять просвет... С каждым шагом он ширится, с каждым шагом становится чуть светлей. И лес оборвался...

Перед Трофимом выросло лохматое, как поднявшийся на дыбы неопрятный медведь, вывороченное корневище — пласт земли, поставленный на попа. Шагнул в сторону, чтоб обойти, и в упор — расщепленный ствол, страшный излом, словно разверстая пасть в диком крике. Стволы навалом, один на одном, толстые, тяжелые, забуревшие от времени, и вскинутые вверх в судорогах костлявые ветви...

Ждал вырубку, ждал лесную пожню с пригорюнившимся в одиночестве стожком сена, думал найти дорогу. Где там... Когда-то здесь прошел буран, столетние деревья сорвались с насиженных мест, остервенело набросились друг на друга, вцепились сучьями, упали в обнимку, на них попадали новые. Лесное побоище на километры, лесное побоище, прикрывшее заболоченную землю, дикие звери и те обходят стороной проклятое место. Дорога, где уж...

А с мутного неба — мутный, как жидкое коровье пойло, свет. И тишина, тишина, нарушаемая лишь равнодушным шумом хвойного моря. Морю нет конца. Как далеки люди! Как дороги они все!..

Только теперь Трофим поверил, что он заблудился.

А день увядал, мгла затягивала побоище.

9

Утром он не мог согреть кипятка, ничего не поел: котелок, хлеб, сала еще добрый кусок — все осталось на дне той проклятой реки. Он только, исходя слюной, нажевал соску. Но девочка опять ее не взяла.

Она скоро умрет. Его и самого лихорадило.

За ночь опять выпал снег, мокрый, липкий, которому суждено снова сойти.

Влез в болото. Из припорошенных снегом моховых кочек под сапогами брызгала рыжая вода. Провалился ногой до паха в трясину. Вырвал отяжелевший от грязи сапог, прополз на коленях шагов двадцать и не смог подняться — обессилел от страха. Сидел, чувствуя, как немеет от холода промоченная нога. И тут девочка заплакала слабеньким кашляющим плачем. Она давно уже не подавала голоса. И это помогло ему подняться...

Неожиданно напал на свежий человеческий след. Бросился по нему. След пьяно блуждал средь кочек. И он понял — наткнулся на свой собственный след.

За пазухой еще лежал обломанный со всех сторон кусок хлеба. Он шел и думал об этом куске.

С этими мыслями в темноте он добрел до пологого овражка, заросшего ольховником. Началась четвертая ночь под открытым небом. Он еле нашел сил набрать валежнику. Всю ночь не спал, всю ночь старался, чтоб костры горели жарче, и все-таки мерз.

«Крышка тебе, Трофим. Вот так просто — не встанешь утром и... крышка».

Привычно посерело небо, привычно расползлась грязная мгла, забилась в глубь кустов, на дно овражка. А снег падал и падал, сырой, тяжелый, обильный. От него воздух

вокруг тлеющих костров становился каким-то прелым, нездоровым.

Трофим с натугой поднялся, перемотал непросохшие портянки. Все тело ломило.

С равнодушием заглянул внутрь одеяла. Лицо девочки было странным — с синевой, какое-то замороженное. Умерла или нет?.. Тронул пальцем щечку, но грубый, жесткий палец ничего не почувствовал. С трудом сгибаясь, притронулся губами, но губы его были горячи и сухи, ощутили холод — никак не мог понять: умерла или нет?

Так бы и лег рядом с девочкой да не вставал больше.

Вспомнил про хлеб, достал захватанный, помятый крохотный кусочек, взвесил на руке, выругался слабо:

— А чтоб тебя! Померла иль нет?

Откусил хлеб. Глядя на девочку, съел весь кусок, не чувствуя вкуса хлеба, не наслаждаясь, что ест. А когда съел, стало стыдно: вдруг да жива, вдруг да подаст голос...

Из-за стыда неожиданно озлобился:

— Да что я, зарок кому давал!.. Что мне, сдыхать вместе с ней!

Это ли озлобление — как-никак живое человеческое чувство,— страх ли перед смертью совсем расшевелили Трофима.

Забрал подкидыша, тащил на себе, умилялся, красовался перед собой, забрел черт те куда, болен, голоден, сдыхает — ради чего? Проснись, Трофим, да мотай быстрей. Один-то как-нибудь выпутаешься.

Трофим встал, запахнул плащ, натянул потуже шапку, скользнул взглядом по ватному одеяльцу, волоча ноги, направился к лесу.

Без ноши в руках было непривычно легко и неловко. Такое чувство, словно раздет, вот-вот прохватит морозом.

«Матери она не нужна, так кому нужна? Ну, спасу, а куда девать, кто обрадуется? Может, лишний груз себе на шею повесить, выкормить, вырастить, замуж отдать? И спасибо не услышишь... Много ли ты от своего сына родного спасибо слышал?..»

Но как ни разжигал себя Трофим, а вспыхнувшая злость остывала, по-прежнему оставалась только связывающая неловкость — не хватает чего-то, забыто. И стучится в голову страшная мысль: «А вдруг да жива! Живую бросил!»

На кустах, на ветках деревьев лежал неопрятный клочковатый снег. Несмотря на белизну, лес был сумрачен, небо густое с грозовой просинью. И на Трофима мало-помалу нашло безразличие ко всему. Выпутается ли он из этого проклятого леса, останется ли здесь — не все ли равно? О доме, как о рае небесном, мечтает, а что дома?... Будет все то же, что было на прошлой неделе, год назад, нового ждать нечего. Наверно, только станет вспоминать, как валялся у костра, как прижимал к себе завернутого в одеяльце младенца, как прислушивался — шевелится ли? Пожалуй, ничего другого в жизни не вспомнишь.

«А вдруг да жива! Живую бросил!»

Наискось узкую полянку перерезал след. Прямой, как по линейке. Похоже, по заснеженному лесу проскакала палка, протыкая в мокрой пороше дырки. Это был первый след, кроме своего, который увидел Трофим в лесу. Пробежала лиса, оставила строчку.

И Трофима передернуло от этого следа. Он представил, как лиса боязливо обнюхивает брошенный им сверток, как засовывает острую, хищную морду в одеяло. Он-то знает, как лисицы обгрызают попавших в петли зайцев...

«А вдруг да жива!..»

И он, прихрамывая, держась за грудь обеими руками, поковылял обратно.

Лапник и одеяло в цветочках покрыл снежок. Только пепелища от двух костров были углисто-черны. Трофим поднял девочку...

И сразу все стало на свои места, все приобрело смысл. Надо идти, надо выбираться из лесу.

10

Вечером того же дня до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил шагов десять, останавливался, вытягивал шею, с заросшим, прокопченным, страшным лицом, стоял, раздувая ноздри, принюхивался, как дикий зверь, и снова шел сквозь кусты, сквозь чащу... Лес расступился. В оловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась. Дым тянулся от придавленной к земле баньки.

Место сначала показалось незнакомым Трофиму. Дом у озера?.. И какое это озеро?.. К Анисиму он же не мог выйти...

Но подойдя вплотную, он увидел покрытый снежком стожок сена, обнесенный крепкой изгородью от лосей, узнал баньку, понял: все-таки вышел к Анисиму, но только с другой стороны. Значит, где-то пересек дорогу и не заметил ее.

Обогнул стожок, по тропинке добрался до крыльца. С ходу подняться не смог, присел на ступеньку. Сидел, прижимая к себе туго свернутое одеяло, глядел на синие сумерки.

Из окна на синий снег упал теплый невесомый пласт света. И Трофим, чувствуя каждый неподатливый сустав в теле, встал. Занесенная нога не попала на ступеньку, и он сорвался лицом вниз, успел подумать: «Беда, ее придавлю...»

На лавке уже лежало приготовленное чистое исподнее. Анисим ждал — жена истопит баню, позовет его, а пока вздул лампу, стал пристраиваться с книгой.

В зимние бесконечные вечера на лесном кордоне очумеешь от тишины и скуки — до ближайшего соседа три километра, до Пахомовской избы-читальни, куда наезжала кинопередвижка,— пять. Книги стали стариковской страстишкой лесника. Любил читать про все, что не похоже на знакомую жизнь,— про мушкетеров, про моря, про корабли, про страны с пальмами.

Анисим услышал, как что-то упало на крыльце, подумал на жену: «Непутная. Оставила бадейку на пороге, сама же и наткнулась». Но долгая тишина после этого насторожила: «Чтой-то с ней? Не зашиблась ли?» Поднялся из-за стола.

В голубеющих снежных сумерках, растянувшись через все ступеньки, лежал на крыльце рослый человек.

— Эй! Кто ты?

Анисим перевернул гостя, увидел заросшее густой щетиной лицо, черные провалы глазниц и не узнал.

— Кого занесла нечистая сила?.. Без памяти... Ну-кось.

Подхватил под мышки, потащил в дом. И уж в избе, при свете, не по лицу, разбойно заросшему, а по плащу признал Трофима.

Вошла жена, неся в охапке какой-то узел:

— Глянь, что на крыльце...

И осеклась, увидев на полу, в распахнутом мокром плаще, задравшего каторжный подбородок человека.

— Трофим с пути сбился,— сообщил Анисим.— Образ людской совсем потерял.

И тогда она заглянула внутрь одеяла и ахнула:

— Ребеночек!.. Он принес... Мертвенький, кажись!..

Через три дня рыбаки, умыкнувшие лодку Анисима, перевозили Трофима через озеро.

Он сидел у самой кормы, на его отощавшей, порезанной во время бритья физиономии, в глубоких складках таилось что-то особое, каменное, пугающее всех.

Трофим сумрачно молчал, а рыбаки с удивлением и робостью косились на него.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вот он и дома...

Почему-то вспоминается Трофиму Мирон Крохалев, мужик из их деревни...

Два брата Крохалевы, Матвей и Мирон, после смерти отца стали жить каждый своим домом. Поделили, как люди: тебе кобыла — мне корова, тебе телка — мне жеребчик, вплоть до горшков и ухватов, иконы с божницы пополам. У поделенной по-братски земли лежала пустошь, просто болотце с жидким осинничком. Его-то не делили — в голову не пришло.

Но вот однажды весной, когда березовый лист «вымахал с копейку», старший, Матвей, обрядив все свое семейство в опорки, вышел на пустошь жечь новину — валили осины, складывали в костры.

И тут наскочил Мирон:

— Куд-ды, так твою перетак!

— А чего? Земля-то небось не твоя.

— Это уж не твоя ли?

И схватились за колья, и лег Мирон отлеживаться под осинку.

И нанятые грамотеи принялись строчить бумаги, и обиженный Мирон кричал:

— Ужо запляшет Матвейка!

Он свел на базар корову, распродал овец, забыл дом, пропадал в городе; не зная грамоты, выучил назубок все законы: «Ужо запляшет Матвейка!»

Шел год, другой, третий, и каждый кончался надеждой: «Ужо запляшет...» Долго не выплясывалось, но так-таки осилил.

Рассказывали: Мирон вышел к пустоши, поглядел на квелые осинки, которые теперь были его, а не Матвейки-вражины, и вдруг спросил недоуменно и жалобно:

— Это что же? Конец, значится?

И напился после этого. И стал пить без просыпу. И еще долго жил.

Трофим в детстве видел его: мутные глаза с кровянистыми жеребячьими белками, в рыжей бороде запуталась солома, истекает тягучей слюной, сипит.

— Для чего живу? А?.. Живу и звезды не вижу. Горшок порожний моя жизнь. А бывалоча, сам мировой судья Кузьма Прохорыч Певунов мне ручку с перстеньком тянул... Для чего живу? А?..

Трофим долго и тяжко добирался до дому. Вот он и дома. Стены с покоробившимися обоями, линяло-желтыми, со знакомым сальным пятном, мокрое окно, мокрые тесовые крыши за ним, сумрачная печь и стол с расшатанным венским стулом.

Вот он и дома. Жена ссохшаяся, сморщенная; запавший рот хранит унылую скорбность — совсем уже старуха, ходит тихо, по-мышиному шуршит у печи, нет-нет да оглянется, и взгляд ее тягучий, долгий. Она уже до приезда Трофима знала, что случилось. Не похоже, не он: тридцать лет, считай, без малого прожили бок о бок, сын рос, а на руках у отца не бывал — и вдруг с младенцем нянчился. Непонятен, а ночной заяц страшней волка днем.

И Трофим чувствует этот недоуменный страх. Вот он и дома, а слова сказать не с кем.

И лезет в голову давно забытый неприкаянный крикун-пьяница Мирон Крохалев: «Это что же? Конец, значится?»

Нет, надо жить. Настало утро — хошь не хошь, а вставай.

Он умылся, съел вчерашние щи, не потому, что хотелось есть, по привычке — жить-то надо.

Роясь в карманах пиджака, чтоб достать кисет с табаком, Трофим выудил сложенную бумагу, развернул — нацарапанный вкривь и вкось на колене у костра акт на рыбаков, побросавших сигов в котел.

Жить надо, надо работать, исполнять, что положено.

2

Бревенчатый городишко, плоский, голый, крытый темным тесом, разогнавшись грязными улочками, казалось, ударялся прямо в непробиваемо-серое небо. Такое ощущение, что там, за крышами крайних домов, обрывается земля. Впрочем, так оно и было: земля обрывалась, начиналось озеро — одно из многочисленных в этом краю озер.

Бревенчатый городишко, он начальствовал над спрятавшимися в леса и болота деревеньками и селами. Здесь были учреждения, без которых не обходится ни один райцентр. Среди них маленькая контора в тупичке улицы, выбегающей на берег, с подслеповатой вывеской: «Районная инспекция рыбохраны» — быть может, самая неприметная. О ней не шумели на собраниях, ее не разносили, не прорабатывали, не славили в печати. Останови прохожего, спроси, где находится,— не всякий ответит, хотя бы это и был старожил, знающий свой город не только вдоль и поперек, но и в глубь бревенчатых стен. Однако, если спросить у того же прохожего, где найти Пал Палыча Чурилина,— укажет без ошибки улицу, дом, крыльцо, то самое, над которым висит не привлекающая внимания вывеска.

В приозерном городке все — от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии — поголовно рыболовы. Все знают, что, где и как ловить,— этим распоряжается Чурилин, с ним на всякий случай не мешает водить знакомство.

Павел Павлович Чурилин в свое время занимал должности и повыше, чем районный инспектор рыбнадзора. В годы войны работал уполномоченным по заготовкам — фигура заметная, на бюро райкома кулаком постукивал, выдвинули после заместителем председателя райисполкома, бросали на укрепление в отстающие колхозы. И это было не так уж давно, но все почему-то забыли его руководящее прошлое, а охотнее всего его забыл сам Пал Палыч.

Казалось, он вечно сидел за низким столиком в тесной комнатушке рыбохраны, рядом потасканная форменная фуражка речника, несколько лет назад подаренная знакомым механиком с буксира, стопка казенных бумаг и под локтем — тощая захватанная книжица — правила рыболовства, куда записана вся премудрость, которой руководствуется Пал Палыч. Книжка эта выучена от слова до слова, и лежит она под рукой для того, чтоб при нужде ткнуть кому в нос: «Видишь — черным по белому пропечатано!» И восторжествовать нешумно: «То-то, брат».

Сам Пал Палыч невысокий, высохший, с желтым канцелярским, сморщенным личиком; только лысина, крепкая, гладкая, обширная, вызывает уважительную мысль: «Ей-ей, в этой башке не одни правила рыболовства спрятаны».

Своих участковых инспекторов, или, как их величал, «боевую пятерку», Пал Палыч называл ласково «милок» да «дружок», но так же ласково умел и нажать: на печке не отлеживались. О Трофиме Русанове он отзывался с похвалой: «Мертвая хватка, нам такие волкодавы нужны» — и держал его в черном теле: участок выделил самый большой, разбросанный, по особо щекотливым случаям толкал его: «Ноги в руки, милок!»

Трофиму нужно было заявиться к Пал Палычу, а раз заявиться — значит, отчитаться, а раз отчитаться — выложить на стол акт на рыбаков.

Пал Палыч прикрыл бумагу крепенькой рукой в золотистой шерстке, от глаз к остаткам волос потянулись улыбчивые морщинки:

— Явился герой. Что, милок, попал в переплетик? А ведь, гляди, даже с виду изменился. Как думаешь, Розалия Амфилохиевна, изменился он?

В тесной конторе, кроме Пал Палыча, постоянно находился еще один человек — женщина с унылым лицом, сильно косящая на один глаз, счетовод и кассир, делопроизводитель и даже уборщица по совместительству. Она была туга на ухо, потому упорно молчалива, но это не мешало Пал Палычу поминутно обращаться к ней за подтверждением: «А так ли я сказал?..» Причем имя ее — Розалия Амфилохиевна — он выговаривал с особым вкусом.

Розалия Амфилохиевна не подняла от своего стола лица, не взглянула на Трофима, ответила невнятно:

— Бу-бу...

— Ты глянь,— попросил Трофим.— Дело-то копеечное.

Пал Палыч опытным взглядом окинул мятую бумажку, отложил.

— Ну и славненько.

— Что — славненько?

— То, что наскочили. Передадим, куда следует, штрафанут для порядка. Верно, Розалия Амфилохиевна?

А Трофим почему-то ждал, что Пал Палыч откинет бумагу: «Крохоборничаешь, дружок мой милый»,— случалось и такое. Но тот не оттолкнул, и у Трофима появилось чувство острой неловкости: а так ли делаем?

— Грех-то невелик, простить бы можно,— произнес он хмуро.

Пал Палыч кольнул взглядом Трофима:

— Раз невелик, зачем его до меня нес? Взял бы да простил сам...

А Трофим и сам не знал, зачем принес, скорей всего по привычке: написана бумага — нужно донести.

— А коль принес мне в зубах, я покрывать не намерен. Вдруг, скажем, Розалия Амфилохиевна решит на принципах настоять, черкнет на нас заявленьице: так, мол, и так, попустительствуют. Кому первому ударят по шапке? Мне, не тебе!

Розалия Амфилохиевна не расслышала, думала, Пал Палыч обратился к ней с вопросом, ответила:

— Бу-бу...

И Трофима рассердило ерошничество:

— Ты и покрупней грехи покрывал. Припомни-ка: в прошлом году акт тебе принес на целую компанию, сети в нерестовые ямы кидали. Этот акт пропал, словно с кашей его съел. Почему бы это?

— Почему?.. Скажу, не утаю. В той компании козырные валеты были, не нам с тобой их бить.

— Это верно, рыбаки — не козырная масть, можно на них отыграться, к отчету пришить.

У Пал Палыча чуть-чуть порозовела лысина, веселые глаза потемнели:

— Знаем, знаем, считаешь всех нас — жулики, ты один ангел чистый. А разберемся, ангел, какова твоя чистота? Попрекаешь меня — через одного прощаю. Но всех-то подряд простить нельзя. А вот я чего не смог бы, того не смог — в уху заглянуть, каюсь. Ты заглянул, акт составил. Рыбачки на осеннем ветру, на холоде жилы вытягивали,

а на вот — утрись, братцы, ничего за работу не получите. Штраф!

— Так сделай, чтоб не было штрафу. О чем прошу?

— А вот и другое — ты ставь крест, ты рискуй, а я в сторонке побуду. Тоже хорошо, тоже по-ангельски. Так кто ж, выходит, чище из нас двоих: ты или я? Пусть, так сказать, массы рассудят. Кто из нас чище, Розалия Амфилохиевна?

— Бу-бу...— отозвались массы.

— Хвалишься: через одного прощаешь. Через одного! Скажи лучше: по выбору, с выгодцей...

— Эк чем уел. Слышала, Розалия Амфилохиевна?.. Да, с выгодцей, да, с расчетом. Без расчета одни дети неразумные живут. Лишь бы расчет дела не заедал. Общего дела! А попробуй-ка попрекни, что за делом не слежу... Не выйдет! И волкодавов приручил потому, что для дела полезны. Для этого тоже сноровка нужна.— Пал Палыч встал, добавил с холодком: — Только смотри, портишься что-то, волкодав, не стареешь ли? Коль зубы выпадут — мне не нужен.

Розалия Амфилохиевна, навесив нос над счетами, щелкала костяшками, шуршала бумагами, один ее глаз глядел в бумаги, другой — мимо стола на сапоги Трофима.

3

Трофим вышел раздавленный, волоча отяжелевшие ноги.

Похватали душу, ощупали, как старый пиджак на базаре, показали — тут дыра, тут прореха, ты дорожишь, а вещь-то ничего не стоит — хочешь носи, хочешь выброси.

Темные бревенчатые дома, осевшие в землю жмурились из-под крыш мокроотсвечивающими оконцами, и вид у них под промозглым дождем был довольный.

Прежде Трофим в окружении этих домов жил, не размышляя и не мучаясь. За бревенчатыми стенами — будь начеку — коротают век те, кого ты должен подозревать. Подозревай — нужно для дела! А у Пал Палыча за его спиной свой расчетец: простак волк ловит хвостом в проруби рыбку лисичке.

Домой рвался из лесу, а теперь хоть обратно в лес беги.

И вспомнилось: не далее как позавчера они втроем — Анисим, его жена, он, Трофим, еще небритый, сохранив-

ший вынесенную из леса одичалость, с дрожащими от слабости коленками,— вышли на берег Пушозера. На взлобке, где посуше, под узловатой сосенкой Анисим, ткнул раз десять заступом, вырыл могилку. Жена Анисима, прежде чем положить трупик девочки в землю, сурово спросила Трофима:

— Как назовешь-то?

— Чего? — не понял Трофим.

— Как назовешь-то, спрашиваю? Человек все-таки, не кошку хороним, негоже, чтоб без имени в могилу.

И оттого, что у девочки не было имени, и оттого, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло: вот-вот на людях заплачешь, как баба. Трофим сморщился и махнул рукой:

— Как хошь назови... Ну, Анной, что ли...

Когда уходили, Трофим оглянулся, и его, только что умиравшего в осеннем лесу, чего только не наглядевшегося там, место могилки поразило своим невеселым видом: тускло-темное, тяжелое, как чугун на изломе, озеро, плоский в сырой сопревшей травке пригорочек, старушечьи-мослаковатая сосенка и еле-еле приметный издали торфянисто-траурный холмик.

Уходит от него...

И уже нельзя одуматься, вернуться обратно, как возвращался к избушке или там, в лесу, к овражку...

Неужели виновница не поплатится за этот холмик?

Налитое чугунной тяжестью озеро, скрюченная сосенка — божья старушка, торфянистый холмик... Никто не ответит?..

Неожиданно Трофим остановился посреди улицы. Ударила мысль простая, ясная средь других путаных, угарных, она открылась, как свежее яичко в ворохе мусора.

Найти нужно...

Найти самому, нечего рассчитывать, что другие найдут.

Самому сделать доброе дело: раз девка на такое смогла пойти, то она при случае отца родного отравит, мужа изведет, брата прикончит — не должна безнаказанно жить!

Найти, вытащить на белый свет!

И чувствовал, как силы вливаются в тело.

Жизнь снова обретала смысл.

Торфянистый холмик под сосной, прольются на тебя еще вражьи слезы!

4

Он не знал, что сделает с девкой. Просто ли передаст в суд, под закон, или выведет на люди, порадуется, как будут плевать ей в лицо, или не удержится, задушит своими руками — за вздутое, обваренное, несчастное тельце, за черный холмик на берегу озера, за свою растравленную душу!

Там будет видно, но найдет!

Ночью он не спал, лежал, щупал темноту широко открытыми, невидящими глазами, соображал, как лучше взяться за дело.

Лесная избушка стояла на копновских покосах — значит, через озеро самая ближайшая к ней деревня Копновка. Деревня, как почти все кругом деревни. Трофим ее хорошо знал — не так уж велика, дворов пятьдесят. В таких деревнях каждый человек как на ладони. Не могут не знать, что какая-то девка или баба скрылась на время. Не могут и пропустить мимо глаз — было брюхо, потом опало. И уж ежели до этой деревни долетят слухи о найденном младенце, подозрения выползут наружу, как груздь из-под прелых листьев. Но и девка была бы последней дурой, если б не учитывала того — должна как-то схитрить, замести следы...

Могла она приехать на лодке по озеру и из дальней деревни, хотя бы из Клятищ. Деревень что опят — настолько дик тот берег, настолько этот густо заселен. Там — места гнилые, болотистые, здесь — повыше, посуше, в глубокую старину начали лепиться деревушки в этом краю.

И еще плохо: Трофима все знают и все не любят — не раз приходилось хватать за рукав деревенских рыбачков. Плохо и то, что слух о его истории расплывается по всем углам. А это может спугнуть девку.

Лучше всего пожить бы в какой-нибудь подозрительной деревеньке недельку, две, не расспрашивать, а только слушать. Тогда наверняка дойдет: мол, та паскуда в курной избе ребенка кинула. Но у Трофима никого из родни в этих деревнях не было, а если б и была родня, то ни он их, ни они его гостьбой не жаловали. Выехать просто так, поселиться у какой-нибудь старушки — опять подозрительно: «С чего это он в такую пору курортничает?» Не так-то просто выудить поганую рыбку.

Трофим перебирал в памяти знакомых, живущих по побережным деревням. Знакомых много, но эти знакомые

пусть сами готовы девке на подол плюнуть, а для него, Трофима, землю рыть не будут.

И неожиданно вспомнил: «Анисим-то родом из Нижнего Осичья, это как раз возле самой Копновки. Там у него — кто не кум, тот сват». Анисим видел мертвую девочку, сам стервил на чем свет стоит гулящую девку. После того как Трофим вернулся, не только Анисим, но и его жена, эта баба-солдат, радели к Трофиму — отпаивали молоком, парили в бане, выхаживали, как могли. Анисима можно упросить, чтоб съездил на недельку к родне — часто туда ездит, глядишь, мимоходом свою нуждишку справит. Его-то никому и в голову не придет опасаться. На худой конец, ежели Анисиму недосуг самому съездить, то пусть кому из Осичья накажет разузнать.

«Найду курву...» — Трофим, успокоенный, заснул.

На другой день он начал собираться к Анисиму. Вспомнил, что жена Анисима плакалась: часто угорает возле печи, а в Пахомове нельзя найти нашатырного спирта. Купил ей спирт. А так как дорога от аптеки шла мимо книжного магазина, вспомнил про страстишку Анисима, завернул в книжный, куда еще никогда не заглядывал. Долго щупал книги, приглядывался к картинкам на обложках, выбирал поцветистей и потолще — бог с ними, что стоят дороже, зато Анисим целую зиму будет мусолить страницу за страницей, поминать добрым словом Трофима. Наконец выбрал: Август Бебель, «Из моей жизни», потому что на обложке — почтенный человек с бородкой, а значит, и жизнь его должна быть почтенная, кроме того — толщина в кирпич.

И в этих сборах было что-то легкое, радостное — едет не по службе, а, считай, в гости. Трофим же не счесть сколько раз в году ночевал под чужой крышей, ел за чужим столом, а бывал ли он хоть раз в жизни в гостях?.. Что-то не припомнит.

На попутной машине до Пахомова. В Пахомове найти лодку нетрудно. И вот он снова у Анисима.

Хозяйка приняла пузырек с нашатырным спиртом: «Вот спасибо-то...» В простенке на дощатой полочке меж других книг уместился пухлый Август Бебель. На столе — печенье, конфеты и бутылочка «Московской», тоже привезенные Трофимом. И поет начищенный самовар, и хрящеватый нос Анисима, пропустившего стопочку, опрокинувшего в себя четыре стакана чаю, тоже отливает медью.

— Не могу, чтоб эта гнида жила безнаказанно,— говорит Трофим.— Ты уж мне помоги. Жизни нет, ни минуты покойной — все только о ребенке и думаю...

Анисим отмалчивается, цедит сквозь жидкие усы из блюдечка чай, ждет, что скажет жена. Сейчас, перед зимой, начальство не тревожит, можно на месяц скрыться из сторожки, но как жена — одной в лесу бабе оставаться страшновато, хоть за много лет и попривыкла к бирючьей жизни. И дом не бросишь — корова, телка, подсвинок ухода требуют.

А Трофим наседает:

— Святое дело — землю от пакости очистить. Худую траву с поля вон. Ты же сам костил ее почем зря в прошлый раз. Вспомни, как девчонку-то зарывали. Иль у тебя сердце луженое? Эх, да чего уж, как подумаю — варом обдает.

Анисим молчал, а его жена сказала:

— Тебе легче станет, если к прежней беде новая нарастет?

— Это на кого беда? На сучку блудливую? И злому осоту не сладко, когда его с грядки с корнем рвут. От такой беды всем легче станет.

— Блудливая? А вдруг да горемыка разнесчастная. Мало ли обманутых вашим братом.

— Ты чего защищаешь? — прикрикнул на жену Анисим.— Припечь бы такую не худо.

— При-печь... Много вы оба понимаете в бабьем горе. Может, в такие клещи попала, что хоть в омут головой.

— А хотя б и в омут,— возразил Анисим,— все греха меньше.

— Оглянись на себя! Тебя-то можно ль заставить в омут нырнуть? Трактором потащат, отбрыкиваться будешь.

— У тебя были дети? — строго спросил Трофим.

— А то нет! Троих родила, да на ноги-то поставить одного привелось.

— Так детей своих вспомни. Погубила бы ты их своими руками? Что молчишь?.. Ты же мать, ты же пуще нас, дубовых мужиков, к сердцу принять должна. Я вот забыть не могу, как у могилки вместе имя девочке давали, ты чего-то быстро забыла.

И жена Анисима осеклась, сидела за столом надутая, не остывшая, тронь — ожгет; но это только казалось, так себе — самовар, в котором угли потухли.

Анисим рассудительно заговорил:

— Припечь бы такую не худо... Всей бы душой тебе помог, но, сам посуди, как уехать на неделю? В лесу-то в эту пору уж так невесело, что и мужик в одиночку, гляди, затрубит волком, а тут бабу оставить — будет она по ночам зеленых чертей гонять. Нет, не неволь.

— Тогда через кого другого помоги дознаться.

— Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попрошу — пусть заглянут к Пашке Щепенкову, он по матери братаном мне приходится. Мужик дошлый, а баба его на сажень под землей свежинку чует, они-то разнюхают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет наружу, не кручинься.

Большего добиться Трофим не мог.

5

Ждать, когда само собою вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, лениввенькую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той так и сойдет с рук злодейство!..

И уже начинают люди забывать историю, уже не судачат по домам и не оглядываются на улицах вслед Трофиму...

Так и сойдет с рук?.. Не бывать этому! Найдет! За уши вытащит!

Трофим потолковал с Пал Палычем: «Не мешало бы прощупать Пушозеро на всякий пожарный случай — на рынке сбывали незаконную рыбу, не деревенские ли рыбаки чудачат?..»

Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой, без нажима, махнул рукой — езжай, а сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию, выпрашивал еще одну штатную единицу, второго моториста на катер.

Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попряталась в глубину, давно на полях киснут зеленя озимых, уже пять раз выпадал снег и каждый раз сходил, оставляя после себя слякоть на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина.

Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, ночевал в избах, прислушивался, а чтоб навести на разговор, сам охотно рассказывал, как нес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали, судили мать-злодейку, но ничего путного не сообщали — рады бы, да не знали.

Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запоздпился, наливалась ночь над черной водой, недалекий берег расплывался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали уключины, падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отсвет сумрачного неба. И казалось, все живое вымерло вокруг и весь мир с деревеньками, с мокрыми лесами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро.

И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, вползла зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете — безродный, несогретый, никому не нужный, один, и нет надежды, что найдешь кого-то. Уже близка старость, в его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи — дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего! Голый, зябнущий, источенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежал из дому, ищет... А вдуматься — что ищет?

Вскрикивают уключины, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню, к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если найдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче.

В стороне от берега, на воде теплился огонек. Единственная светлая точка в мокрой темени — деревня-то далеко, светящихся окон не видно,— единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущая к себе. И правое весло само собой налегло сильней, само собой нос лодки нацелился на огонек.

Огонь на воде, огонь среди озера, где не бывало и нет никаких бакенов, мог означать только одно — «лучат рыбу».

Поздней осенью, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни — не рыщут с прежней энергией, кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожранными, не увиваются возле самок — «трошки тупеют», как говорят в деревнях. Рыбаки на нос лодки устанавливают из желез-

ного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она, в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени хотя и скупо, но открывает секреты — шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и наконец обморочно застывшую в скупой пестрой расцветке щуку. Тогда вскидывай острогу и не промахнись... И в этой ловле были свои прославленные мастера добытчики.

Но «лучить рыбу» запрещалось, хотя и не очень строжились — проступок не из больших. Однако Трофим ехал сейчас не для того, чтобы схватить кого-то за шиворот, а чтоб согреться у живой души.

На вскрученных волнах, на мокрых лопастях весел, в каплях воды, срывающихся с них, засверкали горячие и веселые отблески костра. Казалось, костер горит прямо на воде, отбрасывая длинную тень в одну сторону. Эта тень была дубасом, лодкой-долбленкой, не всякий-то с такой справится, а уж тем более не решится на ней гулять ночью по озеру.

Обычно лучат вдвоем — один на веслах, другой на носу с острогой. Но Трофим в дубасе разглядел одинокую нахохлившуюся фигурку, подумал с одобрением: «Видать, хват. И с острогой, и с шестом, и сам огонь подправляет, да еще на такой душегубке».

Человек давно уже приглядывался и прислушивался к приближающейся в темноте лодке. Он был мал и тщедушен, как подросток, голова в лохматой зимней шапке ушла в сутулые плечи, сухонькое личико и козлиная седая бородка — в своем узком длинном дубасе походил на паука, плывущего на палке.

Он, наверное, узнал известного всем рыбакам на Пушозере Трофима Русанова и потому находился в оцепенении.

— Ну, чего ты? — подворачиваясь мягко бортом, стараясь не толкнуть верткий дубас — не мудрено опрокинуть,— сказал Трофим.— Ну чего уставился? Все ждете, что я вас есть буду да кости выплевывать. Эх, люди!..— И уже виновато, чтобы как-то оправдать свое появление, пояснил: — Спички утерял, прикурить хочу... Василий Никифорович, кажись?

— Он самый.

— То-то, думаю, какой ухарь в одиночку лучит. Ну, поздравствуемся, что ли, как добрые люди?

— Здравствуй... Спички тебе? Чичас. Упрятал их...

И старичок засуетился, каждым движением вызывая содрогание своего утлого суденышка.

— Чичас. И куды оне, треклятые, запропастились?

— Головню дай.

— Чичас...

Василий Никифорович, сидевший в дубасе, носил фамилию Бобылев. Но так как в деревне Бобыли все поголовно были Бобылевы, а среди них еще один Василий Никифорович, то при разговорах всегда переспрашивали: «Это какой? Тот, что щуку в озере привязал?..» Именно тот, что Щуку Привязал, и сидел, робея, неподалеку от Трофима. Из-за щуки, которую поймал на крюк, не смог вытащить — велика была, однако,— а потом привязал, как козу, к стойке вымостков, где полощут бабы белье, он и был знаменит.

— Уловишко-то есть?

— Чуток зацепил.

— И больших?

— Да вот глянь, я не прячу.

Трофим привстал на лодке, заглянул на дно дубаса, где под сапогами Василия Никифоровича белели брюхами заостроженные щуки.

— Одна вроде подходяща.

— Сходна. Время-то не ловое.

Трофим не хотел уезжать. Ему приятно было видеть, как оттаивает старик, уже благодарный за одно то, что грозный рыбный начальник, о котором ходит дурная слава, не накричал, не возмутился, разговаривает по-человечески. Не хотелось уезжать в ночь, в темноту, в одиночество. Приятен был разговор, свет костра, тянуло на душевность, сам не сознавая, старался подладиться к старику, задобрить его словом.

— И что ж ты без напарника ездишь? Одному-то трудно справляться.

— Эва, трудно! Еще мальчонком наловчился, а теперь за шестой десяток перевалило. Было время обвыкнуть.

— Я бы не сумел.

И от этого признания старик не удержался, раздвинул в улыбке сквозную бороденку.

— Ты-то, горюн, чего на ночь глядя блукаешь? Ай озеро твое украдут?

— Верно, отец, горюн...

Трофима захлестнуло теплое чувство к старику. Навалившаяся невеселая ночь, безлюдное угрюмое озеро, сиротские мысли взорвали его, и он, торопясь, стал рассказывать:

— Верно ты заметил — горюн. Места вот себе не нахожу. Слышал, чай, что со мной стряслось? Девчонку-сосунку нашел в лесу, нес, да не донес, похоронить пришлось. И чего, вроде не родная мне, а нет покою. Сердце горит, как вспомню. Какая-то стерва покинула на смерть. Дитя свое сгубила и меня губит... Не отыщу места, никак не отыщу. Ты думаешь, по службе здесь езжу? Да пропади она пропадом. Служба-то волчья, после нее всем нехорош, на тебя как на цепного пса смотрят... Езжу я, чтоб эту проклятую богом девку на чистую воду вывести. Не жизнь мне, пока ее не открою. Притаилась, змея, обождите — вот ужалит еще кого... Дай срок, вытащу из-под колоды, положу под каблук — хрустнет темечко!..

Вяловато горели сухие гнилушки на носу дубаса, прорывающиеся языки пламени плескались в стоячей воде, с треском падали угли, шипели... А над придавленно-сонным озером разносился звонкий и сильный от неизрасходованной ненависти голос. Берег отзывался на него приглушенно-истеричным эхом. Сковывающая озеро немота исчезла, казалось, оно где-то в глубине начинает шевелиться, скоро стряхнет сонную одурь — и уж тогда конец всему...

И старик опять оробел, втянул в плечи лохматую шапку, снова стал походить на паука.

Трофим заметил его робость и замолчал. Эхо под берегом глухо пролаяло его последние слова.

Вот всегда так получается: подъехал к человеку с добрым словом, с лаской, с открытой душой, а вместо ласки, как из ушата, облил его перекипевшей злобой. С открытой душой, а в душе-то, видать, ничего, кроме этого, нет, открывать ее добрым людям опасно.

Рассердился на себя, рассердился на старика, и уж совсем некстати в сердцах сказал:

— Поди, прячете ее. А я-то, дурак, петухом пою перед всяким.

— Кому нужда прятать такую? — слабо возразил старик.

— Ладно,— буркнул остывший Трофим.— Чего зря толковать... Не поминай лихом, дед.

Веслом бережно отодвинул от лодки дубас, нацепил весло на уключину.

— Слышь-ко...

— Чего тебе?

— Народ поговаривает, чуял...

Занесенные весла застыли над водой.

— Ну!

— Чуял краем уха... Про Любку, Тихона Славина дочку, брешут.

— Верно ли?

— Да кто ж знает... Поговаривают... Уезжала-де и там спроворила. А прежде брюхатой ее примечали.

— Любка? Славина? Ты ее знаешь?

— Не. С отцом ее приходилось сталкиваться. Лет пять назад тес у меня купил. Да ты о нем, должно, слышал — бригадирствует ныне в Клятищах.

— Значит, из Клятищ она?

— Стало быть, из Клятищ... Да может, брехня все. Ты веры-то особой не давай.

— Клятищи вроде далече от избушки. Непохоже, что баба на сносях столько веслами отмахала.

— Ухажер ежели подкинул... Ой да не слушай меня — брехня все. И говорить-то, поди, не надо. Бес толкнул.

— Ладно!

Трофим налег на весла.

6

Клятищи — самая дальняя деревня по берегу. Если б Трофима не остановило в лесу несчастье, то от Анисима, огибая озеро, он пришел бы сначала сюда.

В старое время клятищенцев величали «загибыши». Крепкие мужики, строго придерживавшиеся старой веры, свято соблюдали посты, но и в посты ели так, как по другим деревням дай бог на пасху: пшеничные пироги с рыбой, загибыши — брюхо не в обиде и богу любо.

Сама деревня громоздилась на берегу темными северными избами. Каждая изба — бревенчатая хоромина в два этажа, прятавшая под крышей не только жилье, но и повети, клети, подклети, летники, каморы. В каждой избе жила прежде огромная семья с престарелыми родителями — стариком и старухой, с бородатыми сыновьями, морщинистыми невестками, их несчетными детьми: парнями,

молодухами, ползунками, сосунками в люльках, свисавших по горницам с потолков.

Сейчас большинство изб заколочено. Во многих под обширной крышей, в пустых горницах коротали жизнь или древняя старуха, или старик — соломенный вдовец. Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса, высосали народ из деревни. Молодежь год из года нанималась на сторону, вила гнезда за пределами Клятищ. Громадные избы слепли одна за другой.

Но еще оставались дома, полные жизни, где все окна дерзко и весело глядели на улицу, где крыши не прогибались от ветхости, углы не отваливались и в пазах между бревнами, почерневшими, древними, торчала конопатка из свежего мха.

Трофиму показали на один такой дом:

— Туточки живет Тихон Славин. Гостей кабыть принимает.

Новенькие пряслица огорожи, размягшая от непогоды дорожка через просторный двор, где выгнулась тупыми коленами пара сильных, сияющих белизной берез. Перед крыльцом набросан щедро еловый лапник — входи, гость, но вытирай ноги. Само крыльцо вымыто, выскоблено, а у порога еще брошена ветошка — от бабок-староверок осталась привычка, те чисто любили жить.

Вытирая ноги, берясь за железное кольцо в дверях, Трофим услышал изнутри веселые громкие голоса и почему-то без всякого злорадства подумал: «Вот не догадываются, что беда встала на порог».

Подумал, нахмурился, толкнул сильно дверь, шагнул...

В красном углу за столом тесно торчали льняные головы детишек, средь них двое мужчин: молодой — пшенично-патлатый и возбужденно-краснорожий, в чистой, необмятой, видать надетой после бани, рубахе, и постарше — суховатый, с чеканным, горбоносым, празднично-выбритым лицом, должно быть сам Тихон Славин.

У печи разогнулась разрумянившаяся баба, не молодая и не старая, по улыбчиво гнездящимся морщинкам можно понять — бесхитростна, уживчива и теперь довольна минутой. Она озадаченно склонила на плечо голову, без слов ясен ее вопрос: «Кого бог послал?..»

Белые головы ребятишек повернулись, как по команде, круглые глаза хозяина на тонко кованном лице глядели с деловитой строгостью. Неуклюже развернулся широким туловищем и патлатый парень.

— Жаль, не ко времени,— хрипловато сказал Трофим.

И словно ожгло: из боковушки вышла молодуха, грудастая, бедристая, с выправочкой — отцовская спесивая строгость в выпяченной нижней губе.

Так вот она какая! Похожа. Такой вроде и представлялась. И цветет себе маковым цветочком, не болеет душой...

Трофим спросил осекающимся голосом:

— Любовь Славина? Это ты будешь?

Метнула брови на лоб, сильней выпятила губу, ответила:

— Я... А что?

— Выйдем на крыльцо на пару слов.

За столом зашевелился парень, спросил с угрозцей, не обещавшей ничего доброго:

— Эт-то что за секрет? Ты сам-то кто?

— Дело есть к ней. Идем-ка, красавица.

— Дел у жены помимо мужа не бывает.

— Так ты муж ей?

— Нет, приблудный... Иль паспорт показать?

— Тогда и ты выйди, втроем потолкуем.

В избе настала тишина. Голубели глаза детишек, хозяин буравил Трофима острым взглядом. Любка с остановившимся, недоуменным и сердитым лицом стояла рядом, затаив дыхание. А парень начал медленно-медленно подыматься и все рос, рос вверх, пока не расправился — детина под потолок, заслонивший свет в низком окошке.

И в этой тишине раздался плач — знакомый Трофиму плач младенца, разворошивший воспоминания и вызвавший испарину на лбу.

— Что это? Ребенок? — растерянно спросил он.

Любка повела плечом. Видно было, что плач звал ее. Ей трудно стоять на месте. И это невольное подергивание плечом убедило Трофима больше, чем любые слова. Она мать, и любящая — значит, наговорили на нее.

— Ваш? — снова обратился Трофим к Любке и парню.

— Нет, подкинутый...— сердито отозвался парень.— Что за спрос?

— Ну, тогда извините. Ошибка вышла...

— Нет, дядя, не отпляшешься,— с угрозой заявил парень. —Выкладывай камушек из-за пазушки, коль принес.

— Ошибся же. Наболтали мне... Э-э, да что муть подымать. Будьте счастливы.

Он повернулся и вышел, оставив за собой недоуменное молчание, нарушаемое криком ребенка.

На дороге у старухи, несущей в подоле мирно смежившего глаза крохотного поросенка, спросил:

— Зять, что ли, к Тихону приехал?

— Зять. Год как старшенькую-то выдал, а зятя видит впервой.

— Что, уезжала дочь-то?

— Она, милый, то туда, то сюда. На стороне вишь, тоже не баско. Муженек-то в обчежитье, а тут дите. Вот и прикатили к тестю. Пожить собираются...

Трофим шел к своей лодке, вспоминая белые головы детишек, обсевших стол, патлатого зятя, рослого и плечистого, его румяную тещу у печи, цветущую Любку, и завидовал Тихону Славину — вот она, семья-то, и в старости возле такой теплый уголок найдется.

Черным вороном влетел к ним, сбил застолье. Влетел да обратно вылетел...

А люди... Эх, люди! Любого в грязь втопчут. И не от злобы, не от черной зависти, а так — по случаю, подвернулось на язык. А если б у этих ребенка-то не было, он, Трофим, ославил бы Любку. Там, глядишь, муж поверит — свары, раздоры, поношения, жизнь закрошится, как сухой навоз. И все оттого, что кто-то от безделья сболтнул. Эх, люди!..

Трофим не досадовал, что зря добирался в дальнее Клятище, он был даже рад, что вышла ошибка: беда не вошла вместе с ним в этот дом.

На обратном пути он вдруг почувствовал усталость и равнодушие. Рысканья на лодке от деревни к деревне показалось ему глупым и ненужным занятием. Захотелось домой и странно — захотелось видеть жену.

Дотянув до Бобылей, он оставил лодку на Василия Никифоровича Привязал Щуку, а сам добрался до города на попутной машине. И все время вспоминал семью за столом, белоголовых детишек, голубеющие на него, широко распахнутые глаза.

Жена, как всегда, заученно спросила:

— Есть хочешь?

Он посмотрел, как она собирает на стол,— натруженные руки, ввалившийся рот в затаенной скорби,— и стало

пронзительно жаль ее. Не видывала она с ним радости, нет, не видывала.

— Слышь, Нюра...

И она вздрогнула, руки, расставлявшие чашки, стали двигаться по-деревянному.

— Почему мы с тобой никогда не потолкуем? Живем, как глухие.

— За тридцать-то лет, чай, можно было обо всем наговориться...

Ой, неправда. Сама знает, что врет. За эти тридцать лет они так и не успели поговорить друг с другом, быть может, в первый год до исчезновения отца только и беседовали. Но тогда оба были глупы, оба не знали жизни, о чем они могли тогда говорить?..

— Слышь, тебе, может, что-нибудь нужно? Ты скажи мне. Ты только скажи.

Она смятенно взглянула, на мятых щеках выполз румянец, отвернулась, сжалась вся, руки по-деревянному двигались над столом. Так она сжималась, когда он в сердцах обзывал ее нехорошим словом.

Утром, проснувшись, он услышал разговор за дверями. Жена жаловалась кому-то:

— Пока дома нет, только и живу. Как приедет, хоть с глаз беги... Вчера, подумай-ка, спрашивает: «Что тебе нужно, ты только скажи — в лепешку расшибусь». Пойми, чего там у него на душе.

— А может, он вправду уноровить хочет? — спросил женский голос.

— Жизнь прожил, не ублажал, а тут на старости-то лет... Не-ет, неспроста чтой-то. Боюсь его.

Трофим заворочался на койке, и голоса смолкли. В комнату заглянула жена, спросила, пряча глаза:

— Не спишь?.. Тут тебе из суда повестку принесли...

7

Повестка была не из суда, а от следователя.

Трофиму казалось, что следователь обомрет, когда услышит во всех подробностях о свершившемся злодействе. А тот вежливенько слушал, кивал головой, нет, не осуждающе, а, мол, понял тебя, верно говоришь, валяй дальше. Видать, он знавал дела и поважней, чем смерть

какого-то младенца, которому даже и имя-то не пришлось носить.

— Что полагается за такое?..— спросил Трофим, сжимая за столом руки.

Следователь потер лоб, равнодушно ответил:

— Ежели б она его сразу... ну, в беспамятстве, скажем,— условно бы дали, даже простить могли, высказав, разумеется, общественное порицание. А так — преступление с умыслом, с подготовкой при здравом рассудке. Тут строже...— устало зевнул с растяжечкой.— Конечно, если найдем.

— Как так — если найдете?

— По опыту знаю: раз такое примитивное преступление сразу не раскрылось, потом хоть лоб расшиби...

И Трофим ушел в расстройстве: увильнет блудница от наказания и уж, видать, сердцем особо болеть не будет — жди от кошки слез по мышке.

И чувствовал: сам выдохся, вот что обидно. Уж нет желания, какое было,— землю насквозь пройти, деревни вверх дном переворошить. Торфянистый холмик под сосной так и останется на всю жизнь укором Трофиму — не отплатил сполна.

Едва Трофим шагнул за порог, как жена накинула платок на плечи:

— Мария Савельевна зайти просила.

Понял: боится, что снова набиваться на разговор по душам будет. Задержать бы, сказать: «Ой, худо мне! Не бегай, нужна». Так сказать, чтобы поверила, пожалела, глаза на него раскрыла — не волк, только приласкай — навек верная собака.

Но жена вышла бочком, тихонько прикрыла дверь.

Он разделся, сел за стол — как гость в чужом доме. Взглянул на ходики — до ужина еще час, а там сразу спать, по теперешнему положению — самое веселое для него время, вроде и жив и не замечаешь, как живешь. Потом утро... Все начнется сначала — от завтрака до обеда, от обеда до ужина, дотянуть бы до сна...

В дверь кто-то робко поскребся.

— Кто там? Входи!

Плечом вперед, лицо опущено, платок низко надвинут, сперва подумал — старуха, ан нет, молода. Остановилась у порога, уставилась в заляпанные грязью сапоги — молчит.

— Что скажешь?

И вдруг ошпарила до костей догадка: «Неужто?!»

Стоит — мужской обвисший ватник на плечах, легкий платочек, повязанный по-старушечьи, линялая ветхая юбка и громоздкие, покоробленные, не размягшие ни от грязи, ни от сырости сапоги. Молчит. Прячет лицо. Смотрит в пол.

Трофим попробовал привстать, но ноги ослабели, выдавил:

— Ну!..

И она подняла голову. Рукой из слишком длинного рукава ватника, судорожно путаясь, стала рвать верхнюю пуговицу, узел платка, освободила горло. И опять ничего не сказала, только кривила губы...

Она! Трофим поверил в это совсем. Сама пришла!

Круглое обветренное лицо, лицо деревенской девки, мало сидящей под крышей, круглые выбеленные ужасом глаза, острый вздернутый, со сплюснутыми ноздрями нос — в своем обвисающем ватнике словно воробей в перьях старой кукушки. И из этого ватника — белое, беззащитное, гуляющее под тонкой кожей горло.

— Это ты?

Она что-то сказала непослушными синими губами. Трофим ничего не расслышал.

— Ты или нет?

— Поведи меня... к кому нужно...

А Трофим боялся только одного — не выдержит при встрече, потеряет себя, вцепится в горло. И вот это горло близко, шагни, протяни руки — не отстранится, белое, беззащитное, хрупкое... Вместо гнева в душе какая-то пустота и недоумение: «Неужели это она? Не похоже...» Поморщился: «Сейчас расплачется. Этого еще не хватало...»

Но она не плакала, глядела остановившимися глазами.

— Зачем ты это сделала?

— Поведи меня... Жизни нет... Поведи меня к кому нужно.

— Зачем ты это сделала?

— Кабы меня кто убил теперь...

Копил лютую ненависть, ждал: взглянет ей в глаза и увидит страх — решетка впереди, позорище, вот она, расплата за все, поделом тебе, зверина блудливая. И вот гля-

дит в глаза, видит страх, да не тот. «Кабы кто убил меня...» — просит, словно — «Кабы кто пожалел...» И вместо ненависти — тупое бессилие.

— Зачем ты сделала это?

— Сама бы порешила себя, да боюсь.

— Дура! Зачем сделала, спрашиваю?!

И дернулось горло, клокотнуло внутри:

— Мать дознается...

— Матери испугалась, а загубить душу нет?!

— Боялась, что помрет... Болела она шибко.

— Теперь вот выздоровеет, коль узнает.

— Нету ее.

— Кого нету?

— Матери-то.

— Ну, что путаешь, что путаешь, дура!

— Померла.

— Кто? Мать?..

— Пока я там жила... в избушке-то... Слава богу...

— Что — слава богу?

— Не узнает ничего... К лучшему...

Трофим раскричался, а ей, наверно, казалось, так и должен вести себя обычный человек. И первый страх в ее глазах исчез, взгляд их стал мутным, безразличным, тупым. Страшно было только переступить порог...

Она жалась к порогу, боясь наследить на полу, отвечала скупо, и по этим ответам, вытащенным словно клещами, складывалась незатейливая история, сплетенная из самых незначительных поступков человека, мир которого очень мал.

Жили вдвоем — она и мать. Мать, как и все старухи, истово держалась старой веры. А в глухой деревне непримиримое староверчество переплеталось еще с угрюмым язычеством. И росла девка под шепоток: «Заговариваю рабу божию от упуды овечьей, кошачьей, свинячьей, собачьей, человечьей, и конской, и коровьей. Пуд-пудуница, царь-царица, князь молодой, ссылаю тебя на щедры боры, на темны лесы, на зелены травы...»

Жили вдвоем — она и мать. Родни, конечно, целая деревня, и даже помощь от них случалась — дров нарубить, усадьбу вспахать. Мать болела, дочь тянула ее, как могла. Приехал парень из дальнего лесопункта — даже не гуляли толком. Он уехал, она осталась, а через месяц заметила — беременна. И тут напал страх — родня отвернется, вся

деревня станет пальцами тыкать, а мать... Мать — в чем душа держится! Бросало в судороги, в немоту — бежать! И никому в голову не пришло заподозрить, когда стала хлопотать справку в сельсовете: многие из молодых норовят выбраться.

Выбралась в лесопункт, в тот самый, где работал парень, встречалась с ним, спрашивала — отмахнулся. Жила в общежитии, другим девчатам говорила: замужем. Раз замужем, кто попрекнет — законно.

Дали декретный отпуск, конечно, вычеркнули совсем из списков рабочих: ребенка родит — разве вернется? Получила деньги, куда идти? Для нее весь мир состоял из лесопункта и из своей деревни. Обратно в деревню? На глаза своим? Там-то не заявишь, что-де законная жена. Мать такое наповал убьет.

Набила котомку хлебом, крупой, сластями, забрала свои пожитки. Пришла в деревню, крадучись, берегом, даже собаки не залаяли. Нашла свою лодку. В приозерной деревне у каждого, считай, лодка. Была и у них — старая, щелястая, чуть ли не ровесница ей самой, отец еще сам делал. Ночью и перебралась в копновскую избушку.

Хлеб был, крупа была, окуней в ручье ловила — удочки чьи-то под матицей на потолке нашла. Жила, мучилась от схваток, ждала со страхом, думала: тут ей и конец. Но ее бабки и прабабки рожали не в больницах — на полях в межу выкидывали. Родила и она, обошлось.

И опять: жила, нянчилась, ловила окуней. Кончился хлеб, что хуже — кончилась соль, пресная окуневая уха не лезла в горло. Да и надо было на что-то решаться — не вековать же в лесной избушке.

А к ребенку прикипела, но и страх перед деревней велик. То-то будет веселье: уехала одна, вернулась парой... А мать?.. Нет, нельзя, а куда деваться — на лесопункт в общежитие с ребенком не возьмут.

И обманула сама себя: «Гляну одним глазком и вернусь...» Но когда подгребала в полузалитой лодке к деревне, поняла на минуту: «Умрет же, быстро-то не обернешься, мать ночевать заставит...» И опять себя обманула: «Уж вырвусь как-нибудь... Только одним глазком...»

А дома беда — двери распахнуты, соседи толкутся, мать лежит на столе. Ей была уже послана телеграмма на лесопункт, и никто не удивился, что появилась в деревне. Одно горе задавило другое...

Она вспомнила о ребенке, когда возвращалась с кладбища, вспомнила равнодушно, так как жалела мать,— сразу жалеть мать и ребенка не хватило сил, да и, пожалуй, душевной широты.

А в это время Трофим бродил по лесу с ее дочкой...

Через два дня очнулась от угара, вспомнила: какие крохотные ноготки были на пальчиках девочки, как она спала на руках, как припадала к груди... Села в лодку, гребла со стоном, даже не вычерпывала воду...

А изба встретила ее затхлостью, пустотой, холодом, валялись рваные тряпки на нарах, грязные следы на подметенном полу, под каменкой — березовое полено, оставшееся от охапки дров. И упала на пустые нары, рвала волосы, кричала дико: «Господи! Господи!» Неуютный осенний лес молчаливо слушал ее надрывный голос.

Примерно через неделю пришел слух в деревню, что у них по соседству, за озером, найден младенец. Всех особенно волновало, что по соседству. Событие, о котором судили и рядили во всем районе, оказывается, случилось рядом, а они-то не знали. Слух дошел и до нее...

Какие крохотные ноготки...

Какие маленькие ножки высовывались из тряпок...

Мучительно вспоминала, какого цвета были глаза, и не могла вспомнить...

А по деревне бабы чехвостили злыдню, сгубившую дитя. А соседи жалели ее. И если бы не эта жалость, то, пожалуй, хватило бы смелости крикнуть в глаза: «Люди добрые! Это я!» Оказывается, не так-то просто переступить через людскую жалость, граничащую с ненавистью.

Никому в голову не приходило ее подозревать, хотя вовсю гадали: кто же? Должно, из других деревень, иначе знали бы, такое не скрыть...

Жить стало совсем невмочь. И вот...

— Кабы кто убил меня...

Стоит перед Трофимом, жмется к порогу, наследить на полу боится, а тюрьма, смерть — нет, не страшно, все награда. И Трофим чувствует себя раздавленным.

— Поведи меня куда надо. Поведи, ради Христа.

— И зачем ты, дура, это сделала?

— Поведи...

— Да куда же я поведу? Ночь скоро на дворе. Кто с тобой возиться сейчас будет?

— Все одно, поведи.

— Шагай домой.

— Не пойду. Лягу здесь, не пойду!

— Я те лягу! Нужна мне такая гостья. Марш с глаз долой!

— Как быть-то? Куда обратиться?

— Сами найдут, будь спокойна.

— В деревню не могу, тошно там.

— Ты из какой деревни?

— Из Копновки ж...

— Ловка. Кто б мог подумать. А звать как?

— Клавдией... Ечеина я, Ечеина Клавдия Ивановна.

— Иди, не тревожь душу. И так тошно.

Она ушла.

Трофим сидел за столом, уронив голову. Завтра надо идти к следователю. И уж ясно, тот не подпрыгнет от радости — не такой она важный преступник.

«Преступник... Тоже мне... Эх, дура, дура... А не перестарался ли ты, Трофим? Не целишься ли снова плюнуть в уху?..»

8

Сон не шел. Лежа на спине, слушал, как тихо-тихо дышит жена. Она даже во сне не осмеливается шуметь.

Перед глазами стояла преступная девка — окаменевшее птичье лицо, остекленевшие пустые глаза и белое, нежное, взволнованно ходящее вверх-вниз горло. И эдакую-то считал — людям страшна.

«Ах, дура, и зачем только?.. А что, ежели решится?.. Ума хватит...»

Отстукивали ходики на стене, секунду за секундой склевывали время.

«А что, ежели в это самое время?.. Вот сейчас, в темной избе...»

Трофим даже приподнялся...

Стучали ходики, где-то далеко-далеко ворчала машина, видать, какие-то бедолаги застряли на размытой дороге.

Сейчас, может, кончается человеческая жизнь, а все кругом спят, все спокойны, некому схватить за руку, остановить.

«Ум-то мушиный, ей ведь невдомек, что жизнь велика. Ох, велика — это перемелется, новое стрясется и снова

пройдет... По ее аршину — белый свет от околицы до околицы, жизнь с комариный век...»

Стучат ходики, и лениво, лениво волочится бесконечная ночь.

«Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога, а завтра — катись себе, объявляйся. А самому тащить эту ду́рочку за шиворот — была охота. Спросят — все скажу, как было, не утаю, а хлопотать, чтобы прижгли, нет уж, не стоит того... А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен на поверку-то».

Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ночи к черту на кулички: «Опомнись, непутевая!»

Он не мог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман.

Поговорит по-человечески, образумит. Только б не опоздать.

По дороге его нагнал ухарски расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большаку до поворота на Копновку, а там — рукой подать.

Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветви берез, раскачивающие на себе почерневшие скворечники, зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому налегке — только голова туго обмогана большим платком,— гнула к бревенчатому срубу колодца спесивую шею журавля.

И по этой неразбуженной тишине Трофим понял — в деревне ничего не случилось. Клавдия жива. Стало стыдно — дурак он, однако, ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, гнал столько километров, а для чего?.. Жива, здорова, поди, и в мыслях-то не было...

Но уходить ни с чем, когда уж прискакал сюда, глупо. Увидится, скажет по-свойски, чтобы не вздумала учудить, хоть этим себе наперед покой устроит.

— Эй, кума! Где живет Ечеина Клашка?

— Ты к какой? Котора померла?

— Померла?!

— У нас две их было — мать и дочь, обе Клавдии. Мать-то недавно, царствие ей небесное...

— Дочь-то жива ли?

— Плачет все, сохнет по матери-то. Никак не придет в себя, сердешная... Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возля калитки старый жернов лежит. Найдешь ли?

И женщина долго смотрела вслед, должно быть, гадала: для чего понадобилась Клашка Ечеина этому самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни и раньше?

Изба была старая, громадная. Из крапивных задворок выползала она прямо на дорогу, стояла голая, открытая, ничем не огороженная — корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Ноевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полусгнившие стропила.

В лицо изба была кривой — все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком: «Сколько вырастила людей — не одна сотня рожалась, умирала под моей крышей, теперь вот скриплю, тужусь — тяжело, но уж недолго скрипеть».

Трофим подумал: «И со спокойной душой в одиночку в этакой куче бревен запоешь лазаря».

Он поднялся на шаткое крыльцо:

— Есть кто живой?

Никто не ответил.

Трофим толкнул одну дверь в темные сенцы, толкнул вторую — в избу...

Сумеречная комнатушка с тяжелой печью. На полу разводы воды, стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, босая, с обвисшим подолом — она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остекленевшие.

— Здравствуй...— сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол.

Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно:

— Собираться мне?

— Куда?

— Как — куда?

— Поспеешь...— и взъелся: — Да что я тебе, милиция, что ли? Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя.

— Надо же что-то делать, чтоб не думалось... Без дела-то рехнешься... Так я сейчас соберусь.

— Хороша и так, не жениxаться к тебе пришел.

Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала.

Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже не скажешь, что хотел сказать: «Опомнись, непутевая!» Ни вешаться, ни бросаться в озеро девка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым, особенно злило, что моет пол, наводит чистоту — значит, рассчитывает здесь жить.

«Теперь вижу, какая змея. Вижу! А вчера-то пожалел было...»

Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное, белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке, с опущенными руками, открытая, покорная — вот я, без хитрости, ругай, казни — стерплю. И эта покорность взорвала Трофима:

— Прикидываешься овечкой-ярочкой, горлышко подставляешь — режьте, мол, добрые люди! Расчетец немудреный — кому охота на живого человека нож подымать. «Кабы кто убил меня...» Ха! Кабы кто... Уж коль жить невтерпеж, чего просить. Найди гвоздь потолще и веревку покрепче...

И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, сшибла ведро, потекла по полу серая жижа.

— Ну вот...— растерялся Трофим.

Она лежала, уткнувшись лицом в недомытый пол, сухие космы длинных нечесаных волос мокли в разлитой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой.

Трофим глядел на нее и молчал: бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова — нож под ребро. Разве не распроклятый...

— Эй, девка... Да хватит, хватит, нечего зря-то...

Она беззвучно рыдала.

— Да, право... Ну, сорвалось с языка. Не хотел обидеть... Встань, давай встань...

Дотронулся до плеча — головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямился, затоптался, кося на нее глаза, не зная, что делать.

— Встань, — попросил он,— поговорим по душам...

Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала, концы сухих волос мокли в грязной луже на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой неловкостью положил ей на спину.

— Слышь... Я зла тебе не хочу... Я и бежал-то сейчас — за тебя боялся. Слышишь или нет? Боялся же, сердце кровью обливалось..

Она зашевелилась, оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Заляпанная кофта, грязное лицо, сбившаяся юбка открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам. И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожи, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалось сердце.

Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновато, с какой-то усталой простотой сказала:

— Боязно... Хотела, да боязно...

— Ты о чем?

— О том, что ты говорил.

— Брось это!..

— Чего зря на людей-то надеяться, самой надо...

— Брось! Я же вгорячах. Дернуло за язык. Забудь!

От жалости, от страха — чего доброго, надоумил — стал смелее, взяв за плечи, помог подняться, подвел к лавке.

— Поговорим по душам.

Она сидела чуть горбатя спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой, мимо валявшегося на полу ведра.

— Да очнись ты! По душам хочу...

Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращаясь к печке:

— Со мной? По душам?

— А то на твой угол помолиться из городу прибежал.

— У меня, поди, души-то нету... Выело.

— Ду-ра!

— И что тебе до моей души? Ведь я паскудная. Что тебе до меня?

— Что?! — Он встал перед ней, большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий покоробившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные раздавленные веслами ладони.— Что?.. Ты видишь эти руки? Нес

ими твоего ребенка. Спасти хотел. В это-то веришь, что не для корысти, не для того, чтоб славили. Чуть не сдох в лесу-то, а нес, думалось — спасу, к себе возьму. Веришь в это?.. А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек.

И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала.

— Сведи ты меня сейчас. Сведи, прошу. Легче будет...

— Пойдешь сама, держать не буду. Сам не поведу, да и не посоветую.

— Почему? Стою ж того.

— Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками да гулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Не-ет, коль хочешь того —иди, объявляйся. Я на себя не возьму доносить.

Она плакала, размазывая кулаками грязь.

— Все одно, жизнь моя кончена.

— Дура ты, дура. Кончена!.. Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Дура, ты, дура... Ты еще четырежды столько проживешь. Еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь... Ну, ну, не плачь, это хорошо в молодости-то так ожечься... Помнить будешь, как самой больно было, а значит, и других поймешь — у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла... Я вот тебе помогу, может, и ты, когда кому поможешь — не отплюнешься, не открестишься...

Она плакала, а он стоял над ней и говорил грубо и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала.

9

После первых морозов, когда озеро сковало льдом и от деревни Копновки до лесной избушки можно дойти прямиком, не замочив ног, Трофим отправил Клавдию на лесопункт, дал денег и грубоватое наставление:

— Не живи дикой-то.

А она всплакнула:

— Бывают же такие люди на свете...

Они расстались, он шагал по чугунно-смерзшейся дороге, бережно нес в себе благодатную усталость путника, дошедшего до конца пути. И еще с такой усталостью после погожего весеннего дня возвращаются с поля — вспахано, засеяно, гудят кости.

Больше о Клавдии он не слыхал. До сих пор он работает на старом месте, случается — хватает за рукав слишком развольничавшихся рыбаков. Дело есть дело, не все святы и честны, кто-то должен наводить окорот. И многие по привычке зовут его Каргой.

1965

Поденка — век короткий

1

Ни крик в голос, ни слезы не помогли — Кешка Губин, муж недельный, собрал свой чемодан, влез в полушубок, косо напялил на голову шапку, кивнул на дверь:

— Ну?.. Не хошь?.. Тогда будь здорова. Сама себя раба бьет. В свином навозе тонуть не хочу, даже с тобою!

И дверь чмокнула, ударило Кешке по валенкам тугим морозным паром,— ушел.

Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы... Стояла посреди неприбранной избы, валялся на лавке клетчатый шерстяной шарф, забытый Кешкой.

С печи, шурша по-мышиному, сползла мать, встала напротив, сломанная пополам, зеленое лицо в сухих бескровных морщинках, в глазах — тоскливая накипь, знакомая с детства.

— Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. Жизнь твою заедаю, дитятко.

Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:

— Невезучая я, ма-монь-ка-а! Проклятая моя жи-ызнь!

Мать присела, гладила трясущееся плечо легкой ладонью, повторяла:

— Покинь, право... Мне все одно скоро...

Настя выплакалась, поднялась с опухшим лицом, раскосмаченная, сказала спокойно:

— Давай спать укладываться. Завтра опять вставать ни свет ни заря.

Направилась в боковушку к кровати с никелированными шарами, на которой еще вчера спала вместе с Кешкой, добавила:

— Жили ж мы без него.

2

Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хорошо помнит — в избу ворвалась мать, тревожная, суетливая, тормоша накинула на Настенку оболок, укутала платком:

— Идут же, идут! Господи! Може, в последний раз увидим... Да шевелись ты, Христа ради, квелая!

Бегом тащила ее мать от деревни через поле к тракту. Стоял ненастный осенний день, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги. По дороге двигались подводы, забросанные туго набитыми котомками, за подводами неровным строем шагали мужики, кто в брезентовом плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из райцентра, от военкомата к вокзалу на станцию, в армию.

Из растянувшегося строя выскочил отец, краснолицый, широкий, оступаясь в колеях, бросился к ним... Он поднял Настю и поцеловал, от него попахивало водкой. Мать повисла на его плече, а отец легонько, ласково ее отталкивал, оглядывался на своих деревенских, говорил с непривычной, неуверенной удалью:

— Чего зря мокроту разводить. Ты меня знаешь — иль грудь в крестах, иль голова в кустах...

Поглядывал браво по сторонам. Он никогда прежде не пил, считался самым тихим мужиком в деревне.

— Грудь в крестах иль голова в кустах... Ты меня знаешь.

Среди мокрой, темной стерни — грязная дорога, ровным войлоком небо, шагающие за подводами люди, бабьи всхлипы, бабьи вздохи, мелкий дождь... Последний раз видела Настя отца — голова в кустах...

Война. Ушли из деревни на фронт не только мужики, но и лошади. Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали усадьбы — четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба не хватало — хлеб нужен фронту. Муку с осени берегли к весне, весной — тяжелые работы, надорвешься без харчей. Летом Настя заготовляла траву, ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправляли яйцом и пекли оладьи. Они выходили буро-черные, тяжелые, напоминали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная, на молоке, подрумяненная, политая янтарным маслом.

Корова-то своя, молоко было и маслицем баловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь — все не сытно. Ели еще и куглину — сухую шелуху с головок льна. До древесной коры не доходило. На усадьбе рос ячмень, но его всегда сжинали зеленым — невтерпеж сидеть на траве.

Но и трава Насте шла на пользу — росла крепкой, а мать горбилась, хирела. Она отрывала от себя последние куски: «Ешь, Настя...» После колхозной работы она бежала за восемь километров в заболоченный Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махала косой среди кочек, по берегам бочажков: корову-то надо кормить, сохранишь корову — и Настя будет жить. К матери подкатывался Иван Истомин, на фронте он оставил в кустах не голову, а только ногу, хоть и на костылях, а руки целы — пимокатничал. «Давай завяжем узелок, в паре-то ладней лямку тянуть. Степана твоего ждать нечего...» Мать и не ждала мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван к Насте повернет — не родная кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы.

Настя выровнялась — не так уж и высока, но крепко сбита, прочна в кости, плечи налиты полнотой, грудаста, щеки румяны, вздрагивают на каждом шагу и глаза в колючих редких ресницах. Настя выровнялась, а мать сломалась, года три уже не вылезает дальше завалинки, греется на солнышке, сложив руки на коленях, в ситцевом платочке, с линялым, ссохшимся лицом. Но дома по хозяйству она еще шевелилась — печь топила, обеды варила, а дров от поленницы или воды с колодца уже не принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей ровесница, никому и в голову не придет величать ту бабушкой.

Настя не хуже других девчат, поди лучше многих. Но в последнее время мать, глядя на нее, вздыхала: «Твоего батьку старый цыган облаял...»

Отец еще мальчишкой вместе с другими ребятишками как-то увязался за проезжавшим мимо деревни цыганом. Прыгали вокруг, бесновались:

Цыган, цыган!
Почем кобыла?
Без рубля четвертак,
А с хозяином — за так!

Дразнило много ребятишек, но цыган с коршуньим носом из дикой бороды почему-то направил на одного Степку Сыроегина крючковатый палец, брызгая слюной, проклял, как взрослого:

— Не будет тебе удачи в жизни! На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться! И родня твоя, и дети твои счастия не узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезьми солеными умываться!

Это почему-то так поразило всех, что уже много лет спустя, если у Настиного отца случалась неприятность, сразу же вспоминали: «А правду, знать, цыган плел: на суху оскальзываться, на ровном спотыкаться...» И вот на войне — споткнулся...

За Настей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, а зарабатывал неплохо, и по характеру тихий, и к водке увлечения не имел. Брали в армию — говорил: «Ужо срок кончится — мимо своего дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не вернулся, слух дошел — получил хорошую специальность, работает на экскаваторе где-то под Челябинском.

А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подрастают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И вздыхала мать: «Старый цыган все. Будь он нездоров!»

Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах — шапка пыжиковая, зуб золотой. Надоел ему Север, не встретишь дерева живого. Он был братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за Сеньку Понюшина. Соседки, подруги, по утрам бегали друг к другу закваску занимать, по вечерам сумерничали, перемывали косточки всем, кто попадет на язык. У Павлы и встретила Кешку, сошлись както быстро. Ему — за тридцать, пора семьей обзаводиться. Собрал пожитки, перешел проулок, и тут оказалось: «В свином навозе тонуть не хочу...» Метит снова в город. «Бросай все, едем...» И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно больную мать, ту, что вынянчила, ту, что от себя кусок отрывала. С больной матерью по общежитиям не проживешь, а когда-то еще устроятся на стороне, квартиру получат. Да и что Насте делать в городе? Она одно умеет — свиней накормить.

«На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться...»

Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удержать, слезы лила, упрашивала, уламывала, жизнь тихую расписывала — в колхозе-то давно не бедуют. Остался от Кешки только клетчатый шарф на лавке. И одно успокоение: «Жили ж без него».

3

Над зазубренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто бесцветный зимний рассвет. Деревня Утицы была окутана синими снегами. По этим угрожающе синим снегам промята дорога, связывающая деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелево, где стоит колхозная контора, с районным центром Загарье, с маленькой станциюшкой Ежегодка, со всем великим и далеким миром.

За деревней на отшибе — длинное, придавленное к земле тяжелой, заснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала Настя Сыроегина.

Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо — за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Настя встает раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном ватнике спешит к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми сапогами — в валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут.

Скрипит снег, и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой напитан воздух, и жиденько расползается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свинарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь.

Сейчас пройдет по утоптанному выгону, снимет тяжелый замок с дверей, навстречу мягко ударит в лицо теплый, спиртово перекисший воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел закипает, засыплет мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день.

В девять часов с воли донесется скрип санных полозьев и треснутый стариковский голос:

— Н-но, необутая, шевелись!.. Эй, пустынница, жива аль нет?

Настя распахнет дверь:

— Жива, Исай!

Старик Исай Калачев привезет мешки с картошкой, пахнущей погребным тленом, мякинных высевок, муки... Отпускают не очень скупо, но Настя не удержится, чтоб не поворчать:

— Сколько раз говорила: коль картошка прихвачена — пусть дают с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе принес, одни высевки. С мутной водицы не зажиреют.

А старик Исай будет слюнявить толстую цигарку, напустив важность, начнет рассуждать:

— Ныне ученые люди головы ломают — достичь жирок не с мутной водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним, так-то, кума.

Через час — через полтора зарычит мотор полуторки, шофер Женька Кручинин доставит с маслозавода бидоны с сывороткой и обратом:

— Как жизнь молодая? Погрела бы, прозяб в кабинке.

— Не погрею, а огрею. Помогай давай.

— Плывет курица по прудику,
Крылом гонит волну.
Эх, девка с грудями по пудику
Достанется кому?

— И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким уживается?

— Ничего, терпит, должно, нравлюсь.

Глашка — под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не пропустит, чтоб не зацепить. Они два года, как поженились, и уже двое детей, и живут вроде дружно.

Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело... И не ряба, не кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее. Эх, Кешка, Кешка! В две пары рук устраивали бы семью!

Председатель Артемий Богданович Пегих на последнем собрании сказал при всех: «Еще услышит район

фамилию Сыроегиной! Еще будет она гордым знаменем нашего колхоза!..» Артемий Богданович любил громкие слова.

И, пожалуй, дива нет, стала бы знаменем — Артемий Богданович всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был Селезнев, была доярка Катька Лопухова из деревни Степаковская, была бы и она, Настя Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович... «Гордое знамя...»

4

Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь, и... в лицо ударил не обычный, сбродивший до спиртовой остроты запах здорового свинарника, а другой — удушливо-едкий, кислый, мутящий.

Мимо холодной плиты с вмазанным котлом, мимо картофелемойки, вглубь, к клеткам. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.

Грузная розовая Купчиха заворочалась, с усилием поднялась, навесив на глаза лопушистые уши, и в маленьких черных глазках под этими ушами — покорное, умное осуждение: «Что ж ты, мать, меня подвела?..» Вяло повизгивали у ног ее сосунки, им, считай, уже по месяцу, а каждый не больше рукавицы — вечно зябнущие, серые, жалкие, не растут, хоть плачь. Настя сразу заметила — двое не двигаются, лежат, напряженно вытянувшись, кажутся тоньше, длинней остальных.

Вот оно — ждала... Еще третьего дня среди сосунков начался понос.

Освещенный знакомый свинарник, он не нов, но добротен, его выстроили, когда колхоз «Богатырь» начал уже подыматься на ноги. Одну клеть от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, им всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны из старой церковной ограды. Свинарник, как всегда, выглядит чинно, как всегда, чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая возня. И спирает дух, настолько заражен воздух. Два подохли, сколько еще?..

Вот оно, виноват Артемий Богданович, а спишут на нее — не уберегла, не управилась.

Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бумажке и пришел к выводу: свиньи поросятся два раза в году — весной и летом, как раз в то время, когда в амбарах уже пусто, зато кругом начинает подрастать трава — корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются — поросята малы, чтобы добывать травку из-под ног. А что, если запустить опорос на зиму, к весне поросята подрастут, можно выпускать на травку, пользовать запаренной крапивой. За лето они нагуляют вес, осенью будут тяжелее весенних — двойной выигрыш, сколько мяса в колхозе прибавится.

Артемий Богданович обещал Насте: «Будешь получать рыбий жир — питай витаминами». Обещал, но рыбий жир по оптовым ценам достать не мог, появлялся он в аптеке маленькими пузыречками, и то рецепт от врача просили, покупать его для свиней — прогоришь, свининка колхозу влетит в копеечку. Артемий Богданович обещал еще давать сверх всяких норм проросшее зерно, в нем тоже, сказывают, есть какой-то витамин. Обещал, но предложили купить две пятитонки, за них нужно сдать на закуп хлеб сверх плана, не упускать же машины, подчистили все излишки, проросшее зерно уплыло мимо Настиного свинарника. Только вера в Настю у Артемия Богдановича осталась прежняя: «Будешь гордым знаменем нашего колхоза!»

Вот уж воистину — беда не приходит одна: вчера ушел Кешка, сейчас спозаранок — новая напасть. Настя прошлась от матки к матке, вытащила из-под них мертвых сосунков. Семь! За одну ночь! Вот оно — началось!

Вышла во двор за навозной тачкой, побросала всех, вывезла...

Сумеречная синева снегов стала прозрачней, воздух ясней, небо над дымчатым лесом порозовело, прижимал морозец. А в грязной тачке один на другом, как поленья,— поросята, окоченевшие пятачки, сквозь полуприкрытые веки — влажная муть мертвых глаз, взъерошенная щетинка на острых хребтах... Вот оно... Болезнь, как пожар, займется, не потушишь — перекинется на откормочных, начнется повальный мор.

Настя стояла на морозе под розовым заревом и чувствовала — рассыпается жизнь. До сих пор хоть в одном

была удачлива — в работе. Хвалили, слов не жалели и платили хорошо, в прошлом году пальто новое справила с мерлушковым воротником, больная мать ни в чем нужды не знала, загадывала летом купить Кешке мотоцикл. Теперь все разом покатится. Попреков не оберешься, поносить начнут, за падеж выплату скостят, не постесняются. Девки завидовали, то-то будут подхихикивать: «Гордое знамя...»

Но убиваться да плакать некогда: нужно отобрать больных поросят, согнать в отдельную клеть, полы, стены, переборки в стойлах надо вымыть, ошпарить, бежать на склады за дезинфекцией... Болезнь, как пожар,— успей вовремя схватиться. А из-за стены слышен дружный визг — бунтуют голодные, чтоб им пусто было. Разводи огонь, крути картофелемойку. Изо дня в день одно и то же — корми да навоз выгребай. «В свином навозе тонуть не хочу...» Уехать бы вместе с Кешкой, бросить бы все — опостылело! Бросила бы, если б не мать.

Совсем рассвело. Под потолком блекло горели невыключенные электрические лампочки. Как всегда, с воли донесся скрип саней:

— Шевелись, необутая!.. Эй, пустынница, принимай гостя!

У деда Исая жиденькая бородка курчавится инеем, мятые щеки свекольного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой шапкой:

— Урон, гляжу, у тебя. Целу тачку, на-кось, наворотила.

И снова закипели слезы на глазах:

— Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась.

— Оно верно, послушный конь без копыт ходит.

— Ты сейчас в село, Исай? Захвати меня... Захвати с тем добром, что в тачке...

— А то зачем? Пока ни людей, ни поросят с того свету не возвращают. Не дано.

— Разложу у него на столе под носом, пусть любуется.

Исай хмыкнул:

— Ну, ктой-кого любоваться заставит. У плохого пахаря — кобыла-злыдня борозду криво ведет.

5

В старом ватнике, насквозь пропахшем свинарником, в резиновых, заляпанных навозом сапогах, платок сбился на шею, губы сведены в ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, носком отшибла легонькую дверь.

За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай — любопытно все-таки, как-то председатель поглядит на номер с поросятами, право, любопытно.

Отшибла ногой дверь...

Не только за гиблую затею, не только за то, что эта затея станет ее позором, влетит ей в копеечку, но и за ушедшего из дому Кешку, за хворую мать, которую нельзя покинуть, за всю свою нескладную судьбу — на тебе! Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, а то живут себе, ни до кого дела нет. Так — на тебе!

Без «здравствуй» вывернула мешок, об пол с тупым стуком ударились дохлые поросята, закоченевшие, тощие, запачканные нечистотами.

У Артемия Богдановича сидел Костя Неспанов, председатель сельсовета,— просто покуривали перед началом хлопотливого дня.

Костя Неспанов — прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуговицей, щеки в веснушках, глаза в прозрачную зелень и большие уши. Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел на поросят.

— Ты что... Что это?..

Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сообразил все, как сидел за столом, круглый, домашне добродушный, напустив на ворот рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть — не дрогнул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула настороженная искорка.

— Видишь?..— выдохнула на него Настя.— А это только почин. То ли будет еще!

Артемий Богданович пошевелил на столе переплетенными пальцами, покачал сокрушенно головой. Костя Неспанов растерянно переводил взгляд — с поросят на Настю, с Насти на Артемия Богдановича. А в распахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай — любопытно.

— Что мигаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние! Дох-нут!

— Как же ты? А? Не углядела? — мягко, сокрушенно вымолвил Артемий Богданович, и снова пошевелил пальцами, и снова покачал головой.

— Я?! Это я-то не доглядела? Так и знала! Так и знала, что на меня все свалишь... Кто настаивал? Кто толкнул меня? Не я ль тебя отговаривала? Не ты ль меня уламывал?.. Рыбий жир, витамины!.. О-о!..— И задохнулась.

Простодушное рыхловатое лицо, сдобная складка под подбородком, приглаженные набок редкие волосы, и в щелках век осторожный умненький блеск, и мягкость, и сокрушение — ничем это сокрушение не пробьешь. Криком кричи, волосы рви, а он будет сидеть поглядывать, перебирать пальцами по столу, качать головой, ждать. Настя задохнулась, опустилась на стул и закрыла лицо руками.

— Так что же ты хочешь? — мягко спросил Артемий Богданович.— Ась, красавица?

Настя вытерла глаза, отвернулась.

— Хочешь, чтоб я встал сейчас, пошел по улице, стал кричать: «Люди добрые! Сыроегина Настя не виновата, виноват я, подлец!» Так, что ли?

— Знаю, сам-то чист останешься, меня в грязь посадишь.

— Тебя? Я?.. Ой, Настя, не греши, голубушка. Кажись, до сих пор я не в грязь тебя садил, а подсаживал, чтоб повыше куда.

— И подсадил... «Гордое знамя»...

— То-то и оно, хотел, чтоб — знамя, а ты мне — подарочек, да еще вон это добро,— Артемий Богданович кивнул на поросят на полу,— мне на шею вешаешь.

— Само собой, мне нынче одно осталось — умойся да молчи в тряпочку.

— Кричи, почему же, рот затыкать не буду! Кричи, сколько влезет, чтоб другие глупость твою видели.

— По твоей милости глупа, не по своей!

— Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Настя.

— Ты ж руководитель наш! Как к тебе не прислушиваться? Иль ты, что крест на церковной маковке, для красы торчишь?

— Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою голову не заменишь.

— Ох, да хватит!

— Вот тебе и «ох». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для меня. Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла, я что — бегу в район и кричу там: «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте!» Нет, мне скажут: «С больной головы на здоровую не вали». И правы они! Надо было раньше мозговать. Поздний ум что глупость — цена одинакова. Не сумел вовремя мозгами пошевелить — ответь.

Артемий Богданович встал из-за стола, невысок, широк, несмотря на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах,— такой вот встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет.

— Ты в том виновата,— голос Артемия Богдановича отвердел,— что не настояла на своем тогда, когда нужно, не убедила меня. После драки, дружочек, кулаками не машут.

Настя сморщилась:

— Не настояла, не убедила... Ты — сила, а я кто? Ты всегда подомнешь.

— Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти, а с бессильным-то всяк справится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так-то, святые слова.

Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважительным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил:

— Подводишь ты нас, Настя. Мы на тебя большую надежду имели. Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в голове шевелилось, эдакое лирическое... М-да, Настя, Настя...

В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: подвела Настя, пропало лирическое начало.

— Эхе-хе,— вздохнул у дверей дед Исай.

— Тебе чего? — спросил его Артемий Богданович.

— Да ничего,— ответил Исай.— Говорю: кобыла-злыдня борозду криво взяла.

Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят посреди кабинета:

— Бери-ка свой мешок да сваливай эту падаль.

6

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — любимая присказка Артемия Богдановича.

Его выдвинули в председатели на укрупненный, разбросанный, отсталый колхоз в те дни, когда и в печати, и на собраниях, и в директивных бумажках вовсю славили торфоперегнойные горшочки.

Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дородством, успел поработать в районе каким-то начальником средней руки — тертый калач, но попался, потому что всей душой наивно поверил: только торфоперегнойные горшочки могут поднять колхоз. Он с усердием, о котором сложена пословица «новая метла чище метет», перекроил посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных бригадиров, замов, счетоводов заставил лепить горшочки. Их лепили колхозницы, их лепили школьники с учителями, раздобыли специальный станок и штамповали на нем — горшочки, горшочки, горшочки! Горшочками забили все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих горшочках к весне капустная рассада зеленела даже на подоконнике кабинета Артемия Богдановича. Горшочки, горшочки, горшочки — залог будущего, начало изобилия!

В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели, к весне совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз,— с глаз долой, из сердца вон.

Но Артемий Богданович уже тогда показал характер: ругал, умолял, сулил золотые горы, добился — почти все горшочки с капустной рассадой были высажены на поля. Не знал он, что это станет началом большой для него беды.

Горшочки, горшочки, горшочки!.. Нет, не зря их славили, рассада поднялась, Артемий Богданович не мог нарадоваться: «Только бы не побили заморозки... В прошлом году килограмм капусты стоил чуть меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля. За тонну — круглая тыща, а то и больше... Только бы не прихватило заморозками...»

Заморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны.

Вместе с ними назревала беда...

Она грянула!

Много ли мало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ — по смете не предусмотрено. На базаре капусту перестали покупать... Эх, горшочки! На этот раз сельский клуб забили до потолка белокочанной, на Артемия Богдановича писались жалобы: закрыл клуб, гноит овощи. За труд колхозников — лепили горшочки, рассаживали, поливали, таская на плечах воду за километры,— нужно платить, а чем? Бери капусту... Капустой все сыты. Эх, горшочки!

Колхозники клянут, из района, не шутка, стращают судом — погноил сотни тонн высококачественных овощей.

Брань колхозников на председательском загривке не висит, от суда Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но приобрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем, кого обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал на все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

Долго висел выговор, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато новое наступление — грозную кукурузу — Артемий Богданович встретил, как мудрый полководец.

Артемий Богданович любил громкие слова, поэтому, выступая на районных совещаниях, нисколько не хуже других славил «королеву полей». Сначала славил, потом громко каялся: вымерзла сразу, с ходу, пришлось, чтоб не пустовали поля, засеять овсом и ячменем. Но в районе слезам не верят: «Почему у тебя вымерзла, у других нет? Проверить! Припечатать!» Выехали проверять и... наткнулись — у самой дороги, так что любому ударит в глаза,— поле кукурузы, вовсе не мерзлой, раскустившейся, по району поискать такую. «А ты говорил: вымерзло?» Артемий Богданович вздыхает, разводит руками: «Только это и сберегли. Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог — старались. Создавали передовое звено кукурузоводов...» Артемий Богданович умолчал лишь о том, что все звено состояло из одного человека — Сашки Селезнева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все силы бросили, старались, спасли только пять га...» И опять Артемий Богданович немного преуве-

личивал — пяти га под кукурузой не было, двух, если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб впредь не вымерзало, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато осенью были с хлебом, расплатились с колхозниками. Артемий Богданович не кичился, наоборот, прибеднялся, жаловался: того нехватка, там неудача, кругом прорехи. Не верили особо, но в передовые не посадили и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили: «Вкатим выговор»... Эва, «выговор — не туберкулез». «А умный в гору не пойдет...»

По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример, выполняли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только дойных коров, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий Богданович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перегоним!» Но свой скот не спешил резать: «Догоним и перегоним по свинине!»

В те годы в свинарниках его колхоза сновали длиннорылые, длинноногие существа с острыми хребтинами, заросшие колючей щетиной. Они отличались неуемной прожорливостью и резвостью.

— На что мы корм изводим? — спрашивал Артемий Богданович своих.— На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросятками только бы зайцев травить — не поросята, а борзые собаки.

И вот этих-то «борзых» Артемий Богданович давно хотел вывести, заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и пуды сала и мяса.

«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под нож — хряки, матки, сосунки. Мясо есть мясо, лишь бы шло в зачет.

Правда, не так-то просто выехать на одних «борзых», тем более что соседний Блинцовский район выкинул лозунг: «Блинцы — вторая Рязань!» А с блинцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу вкатили выговор. «Выговор — не туберкулез», пусть... «Умный гору обойдет...»

Вскоре после этого Настю назначили свинаркой вместо Пелагеи Крынкиной. А свинарник был пуст, даже запах свиней выветрился, углы затянуло паутиной. И вот однажды к нему подкатил грузовик, сам Артемий Богда-

нович выскочил из кабинки — шляпа из соломки сбита на затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед.

— Племяши приехали, встречай, тетушка! — крикнул он Насте.

С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них — по пяти поросят, замученных длинной дорогой. Их высадили на согретую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали — розовые, тупоносые, беспомощные.

Артемий Богданович щупал их, восторгался:

— Гляди! Ты на уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят — значит, благородных кровей, из дворян! — И вдруг стал строг: — Вот, девка, подыми. Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь?

И Настя подняла всех, это было не так уж трудно — поросята быстро обжились.

Из них выросли десять дебелых маток, каждой было дано имя — Роза, Канитель, Рябина, Купчиха... Они стали основой свинофермы, каждый год по два раза плодили ушастых поросят.

Артемий Богданович не мог нарадоваться на них:

— У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих разводим!

Хвалил Настю:

— Золотой ты человек. Придет время — на руках носить будем.

И вот при первой же оплошке свалил все на нее.

7

По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых полях тонули черные избы знакомых деревенек — Степаковская, Кочерыжино, Кулички... В них попрятались люди. Настя несла в себе воспаленное недоверие к ним.

Те, кому она больше всего верила, обманывали ее. Венька Прохорёнок — первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Венька — тонкая шея с проклюнувшимся кадыком, узкие плечи, стянутые тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь робел перед Настей, не нахальничал, как другие парни, можно ли подумать, что обманет?..

Кешка Губин не похож на Веньку, потаскался по жизни, знал баб, ему нужно было к кому-то прилепиться, а Настя — по соседству, чем плоха — не урод, люди уважают. Зажал в сенцах, когда выходила от Павлы, дыхнул табаком, блеснул золотым зубом, сказал: «Перейду к тебе, примешь?» И опять поверила, и опять обман.

Артемию Богдановичу, казалось, какая корысть обманывать, ни в мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся: «Сумей против силы справиться». Против силы...

Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать, да не умеет...

Снег, снег, поля, поля — обширна заснеженная земля, утыканная пахнущими печным дымом деревеньками, перелесками в инее, рассеченная оврагами в путанице кустов. Обширна земля кругом, а куда в ней спрятаться одинокому человеку?

Дорога вела мимо свинарника. Настя свернула к нему. От девичьих неудач, от вида больной матери она привыкла прятаться здесь, забывалась в работе.

Из кормокухни распахнутая дверь вела внутрь, в стойловое помещение. Настя не зажгла свет, и животные не учуяли ее приход. Из темноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая от белого заснеженного мира, здесь шла своя жизнь,— Настя впервые подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: подымалась возня, визг.

Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его вздохи напоминают натужно стариковское: «Охо-хо!» Тоже жизнь, радуются, когда приносят корм, спят, чешутся, поросятся и не замечают, что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Насте вдруг стало страшно от неожиданного открытия — живут, словно спят, к чему являться на белый свет, когда свету не видят?

«Охо-хо!» — вздох Одуванчика.

Кешка звал Настю с собой, в города, освещенные по вечерам огнями, в города, где кипят улицы от народа, где сияют окнами магазины, где не похожие на нее, Настю, люди разъезжают в машинах, ходят в театры. Кешка звал, и стоило ей сказать «да» — как забыты были бы эти стариковские вздохи Одуванчика, забыта засыпанная сне-

гами деревня Утицы, и нынешние беды казались бы смешными, и ругает или хвалит ее сам Артемий Богданович — нисколько не важно. Кешка ни разу не заглянул сюда в свинарник, а звал: едем, не топи себя в свином навозе. Стоило только сказать «да»... Кешка звал, и уговаривать его было напрасно — не прельстился, что построят новый дом, что купят мотоцикл...

Темный провал дверей, в густом, перебродившем сумраке живут туши сала и мяса, без мысли, без страсти, покорно. И Настя, чтоб перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене, отыскивая выключатель.

Свет вспыхнул, разбудив свиней — заворочались, завизжали. И в этом сонливом мире бывают минуты радости, даже неистовства. Поросята лезли друг на друга, толкались в перегородки...

Отлученные от маток больные сосунки лежали кучей под рядном. Только один отпал в сторону, растянулся, припав по-собачьи мордой к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черный маленький глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта тоска в упор, в самую душу, и то, что не в куче, а сиротливо умирает в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его на руки, прижала к себе:

— Бесталанный ты мой...

Из кучи вынесла в подоле троих, выкинула в навозную яму. В куче оставалось еще около десятка, все они обречены, все подохнут, но Настя все-таки возилась с ними, кормила, подносила к маткам.

Того, сиротливого, засунула за пазуху, пошла домой, волоча от усталости ноги.

Спускавшаяся с потолка лампочка без абажура заливала избу ярким светом, на столе в деревянной чашке прикрыт полотенцем нарезанный хлеб. Мать сидела у стола, сутулилась, ждала ее, и, как всегда, лицо у нее какое-то немое, как всегда, прислушивалась, что происходит у нее внутри, к болезни.

— Щи в печи и селянку с яйцом сделала, должно, перестоялась,— сказала мать.— Достань, лапушка, сама...— И почему-то сняла со стола свою иссохшую, с набухшими суставами руку, стыдливо спрятала в юбке.

Настя вынула из-за пазухи поросенка, положила к порогу:

— Чем бы укутать его?.. Умрет, не выходим.

Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на лавке, Настя взяла его, заботливо завернула грязного поросенка.

— Ты чего? — удивилась мать.— Вещь-то совсем новая.

Настя сердито обрезала:

— Иль думаешь, я корыстоваться после него буду?

И представился Кешка с этим шарфом на шее, в городском пальто, в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, толкается где-нибудь под фонарями на людной улице, глазеет — в какой бы магазин зайти. Мать, как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все равно умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка?..

Сухие, текучие морщинки на бледном лице матери, глаза застывшие, глаза, для которых не так важно то, что они видят — изба, Настя, печь, поросенок,— важно внутри, туда вглядывается, тем живет.

— Собери, лапушка, сама, мне сегодня чегой-то совсем... Ох, господи! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не вымолю.

— Раньше бы молила, а теперь чего уж — поздно! — прорвалось у Насти.

Вот как складно у нее получается: мать умрет, когда уже нет нужды умирать, когда уже Кешка утерян, когда счастье проскочило мимо. И что толку, что мать когда-то тянула ее, выкармливала на крапиве да на кугеле, что толку, что вытянула — нянька при свиньях. И впервые к больной матери обида, впервые злоба: пусть не хотела, а ее, бабье счастье, переехала:

— Поздно! Не вымолишь!

— Доченька, господь с тобой! Что говоришь?

— А то, мне хоть вешайся, как подумаешь, что за житье впереди.

— Господь с тобой!

— Видать, не со мной ваш господь, с кем-то другим!

— Так я, что ж... Так ты б покинула меня... Право, чего уж жалеть.

— Покинула! Покинула! А после — корчись от совести. Тоже не жизнь! Ох, нет мне удачи! Скажи, за что я проклята, за какие такие грехи? Оглянись, кто из девок так обижен, как я?

— Я бы рада...

— Уж молчи! Что толку от твоей радости! Ты-то хоть немного да хлебнула счастья, хоть чуток да с мужем жила, семью имела. А я?.. Может, мне радоваться, что сейчас щи не пустые буду есть, что в сундуке пальто нарядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не нужна!..

Мать сидела, подавшись головой вперед, скрученные руки дрожали на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клекотом:

— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заробить? Потом спрятать и не надевывать! Ломлю спину с утра до вечеру — для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она долечка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?..

Мать тихо произнесла:

— Не руки же мне на себя наложить. Нету смерти-то, не вымолю.

И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустилась на лавку, шершавой, жесткой ладонью провела ото лба к подбородку, сдирая с лица кошмарную одурь.

— Раньше, слышь, приемные дома для стариков были... Есть ли теперь-то?

Настя терла лицо:

— Чтой-то со мной?.. Дичаю...

— Разве не вижу я, что век твой заедаю.

— Молчи! Молчи! Забудь! С ума схожу!..

— У меня, глядючи-то, кровью по тебе сердце обливается.

— Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи! Нянчить тебя буду, лечить буду! Да и как мне без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума свихнусь. Хоть для тебя и жить-то, маменька...

— Добрая ты у меня, Настька.

— Сорвалась я сейчас...

— Этого-то...— Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчатого шарфа высовывался поросячий нос.— Чаю надо круто заварить да отпаивать. Помогает.

— То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то жалко стало...

— Добрая ты... А шарф зря — новый.

— Ну и пусть этот бездоля в новом пофорсит.— Настя подошла к порогу, опустилась на колени.— Лежи, Кешенька, лежи, болезный... Вот и имя ему, самое подходящее. Коль выживет — память о том. Другой-то не оставил.

8

На следующее утро выбросила еще пятерых поросят. Заболели новые. Болезнь как пожар...

Приехал дед Исай, привез корм, сообщил, что кладовщик Михей отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.

Все ясно, считали — «гордое знамя колхоза», как тут не задабривать, не идти навстречу — ей подбрасывали и получше и побольше. «Гордое знамя»... Ошиблись. И сразу вместо муки — высевки. И жаловаться не думай, ответ один — как всем, так и тебе. Как всем, ты не особая.

И с отчаянья решилась: «Еще посмотрим, может, и особая...»

Она зашла к Павле:

— Подкинь вечером моей прорве корму. В Загарье еду, до ночи задержусь.

Дома она достала из сундука пальто с мерлушковым воротником, то самое, что купила в прошлом году, на голову накинула пуховый платок...

Пешком до тракта, а там к райцентру ходил автобус.

Сушеной черники она достанет и в деревне, в аптеке надо взять каких-нибудь трав, бутыль риванола и, главное, как можно больше рыбьего жиру, на что не захотел раскошелиться Артемий Богданович.

В ветлечебнице просить — пустое. Было бы у старшего ветфельдшера, было бы и в колхозе — Артемий Богданович с ним в дружбе.

Конечно, все влетит Насте в копеечку, да теперь ей деньги не так уж нужны, раньше думала купить Кешке мотоцикл «Уралец».

В аптеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей не отпустят, тем более что собирается закупать оптом: стадо лечить — не мать, все полки в аптеке опустошишь.

Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной, та родом из их деревни да еще приходилась родней, хотя и не близкой — троюродная сестра. Работала Маруська буфетчицей в сплавконторе, ее все Загарье знало.

— Выручай, Марусенька, не то съедят меня...

Маруська — добрая душа, своих помнит, не раз выручала, когда сахар в магазинах было трудно достать,—

сплавщики-то снабжаются на отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахару.

— Выручай, Марусенька...

Маруська — добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает на сплаве и зарабатывает крупно, не пьет, на стороне не гуляет, Маруськи побаивается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к другим можно быть доброй.

В аптеке Маруська никого знакомых не имела, но зато хорошо знала местного фотографа Исаака Куропевцева. Тот уж знает всех и ей, Маруське, ни в чем не откажет. Кроме того, он — стар, верно, часто ходит в аптеку.

Однако Исаак Куропевцев был хоть и стар, побаливал, но лечиться не любил, а беде помочь мог — хорошо знаком с Василием Леонтьевичем Мигуновым, тот много лет работал в райздраве, сейчас на пенсии, авторитет еще не растерял.

Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты,— «аптека-то не частная лавочка, перед кем-то отчитываться должна»,— свел Настю с Анной Павловной, она заведующая аптекой, провизор, командовала штатом — одной девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск,— так что полная хозяйка.

Василий Леонтьевич попросил, Анна Павловна не отказала, выдала все, что нужно. На беготню от одного человека к другому ушел целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, вряд ли бы управился быстрей, ему бы пришлось ходить из учреждения в учреждение, составлять бумаги, подписывать их. Вряд ли быстрей, да и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает.

С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками, пузырьками, пакетами, Настя двинулась от Маруськи к автобусу. Все-таки Маруська — добрая душа, она и покормила Настю, и помогла уложить все, даже сунула гостинец — двести граммов недорогих конфет: «Старуху побалуешь...»

Насте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. Открылась дверка, высунулся шофер:

— Домой, зазноба?

Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку.

— Садись. И мне веселей. Люблю женское общество... Да сидоры-то брось в кузов,— целы останутся.

— Не.— Настя стала пристраивать сумки на коленях.— Бутылки у меня — побьются.

— Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь?

— В моем заведении один жених — Одуванчик, да и то у него невест много.

— Тогда именины?

— Иль поминки. Чай, слышал уже, болезнь на поросят напала, вот спасаю — рыбьего жира купила да еще отравы всякой.

— Вроде не твоя забота. Тебе должны на подносике поднести.

— Жди. Хоть бы раскошелились... На свои деньги все.

— Мне б такую женку заботливую, как у твоих поросят хозяюшка.

— А своя что? Сменяй на другую, коль не хороша.

Променял бы старую
На девку угарую,
На кобылу,
На козу,
На козулю в посу...

Прогадать боюсь. Все девки хороши, и откуда только жены-злыдни берутся.

Машину заносило на поворотах, из тьмы на стекло кабины бесновато летели освещенные фарами хлопья снега.

9

Веселый Женька Кручинин выболтал. На другой день, близко к полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у свинарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Артемий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанном морозным ветерком лице — доброе смущение, скинул шубную рукавицу, протянул теплую руку:

— Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко?

— Чье? Мое? Или их? — Настя без платка, раскосмаченная, гневливая, розовая — только что подшевеливала печь.

— Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова, и они выправятся.

— Твоими молитвами, Артемий Богданович.

— Эк, кусачая.

Подошел к окну, где на подоконнике рядком стояли опростанные пузырьки, взял один, поднес к носу, внюхался, озабоченно покачал головой, взял другой...

— Ладно, не серчай, девка... А за эти снадобья мы тебе заплатим. Не серчай. Я ведь тоже могу ошибаться. У каждого своя манера к делу подходить. Я, к примеру, люблю с обходцем — «умный в гору не пойдет...». А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб... Много еще пало после тех? А?

После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богдановичем, пало много и еще, не миновать, будут падать — считай, на всем зимнем опоросе крест. Но Настя ответила заносчиво и решительно:

— Один — и хватит!

Сам Артемий Богданович урок дал; не будь слишком доверчивой, доверчивому — синяки и шишки, обходчивому — колобки и пышки, теперь-то она всю правду ему не скажет. Один! Пусть проверит, пусть пересчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чесаночки да полазить на коленях вокруг маток, а при этом недолго и полушубочек запачкать. Пусть проверит.

Но Артемий Богданович и не думал проверять:

— Один?.. Ай, молодец! Характер у тебя, девка, гвардейский. Не растерялась, вовремя спохватилась. Ай, молодец!

Голос искренний, уважительный, лицо открытое, от глаз добрые морщинки, но Настя нутром почувствовала — вряд ли совсем верит, не так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается: пусть будет «один — и хватит», пусть кончится напасть; раз она, Настя, так говорит — значит, знает, что потом вывернется. Ну, а коль не вывернется — он, Артемий Богданович, не ответчик. А в сводках и расчетах — полный порядок, никто сверху не попрекнет, что у тебя в колхозе падеж; председателя за неудачи по головке не гладят.

— Ворочай, Настя. Мы еще покажем с тобой, что не лаптем шти хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершины!

И опять теплой ладонью пожал ей руку, заглянул в глаза, вышел. Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом. Настя знала: Артемий Богданович теперь снова начнет ее славить.

И не ошиблась.

Не от кого иного, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспанов о подвиге Насти. На следующий день прибежал к ней пешком, озябший, прячущий уши в поднятом воротнике, конопушки на щеках тонули в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик и вечную ручку.

— Хочу матерьялец подать в районную газету. Так сказать, вроде коротенького очерка о передовике...

Костя был председателем сельсовета. Когда-то на этой должности сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руководителей, попробуй-ка ослушаться, коль говорит глава местной власти. Но уже много лет, как эти разбросанные колхозы слились в крупный, один на весь сельсовет. И председатель колхоза как-то незаметно поднялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтировать — помоги колхоз, у него и тес, у него рабочая сила, в школе дров нет — у колхоза и кони, и машины, и леса вокруг колхозные, не сельсоветовские. Первая фигура на селе — Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспанов, и если у Кости над головой будет протекать крыша, то на поклон ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия Богдановича — закон для Кости, да Костя и не лезет в главари, чувствует — молод.

Не так давно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под Степана Щипачева:

Любовь — это буря в душе,
Любовь — это верность навеки!
Скажите вы мне, человеки:
Чего не хватает мне?

Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом, потому он начал писать заметки в районную газету. И каждый раз,

когда он читал напечатанное типографским шрифтом то, что недавно было написано его рукой, когда видел в конце заметки свою фамилию «К. Неспанов», от волнения краснели уши.

К тем, о ком он собирался писать, Костя заранее относился с почтительным уважением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к человеку с надеждой увидеть его имя в печати — значит, этот человек особый, он, Костя, не имеет права называть его Ванькой, Сашкой, Настей, как звал их вчера, обязан величать по имени и отчеству.

Вот и сейчас он смущался, от смущения с деловитой строгостью насупливая почти отсутствующие брови, выспрашивал:

— А скажите, Анастасия Степановна, что побудило вас?.. Ну, какая внутренняя причина?.. Я с точки зрения переживаний, психологически...

— Чудак ты, Костя. Какая точка зрения да психологически еще... Поросята же дохли, а в правлении, знаю, никто не почешется...

Костя с важным видом делал пометки в своем блокнотике.

Дома он в тот же вечер сел писать очерк, который начинался: «Мела свирепая метель, заносила дороги. Преодолевая напористый ветер, по сыпучему снегу шагала девушка...»

Дальше шел рассказ о том, как эта девушка сквозь пургу несет медикаменты больным поросятам. Костя знал, что метели в тот вечер не было и что Настя к дому шла не пешком, ее привез в кабинке грузовика шофер Женька Кручинин, но недаром же Костя мечтал стать поэтом...

Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал его, нахмурился:

— Спрячь и никому не показывай.

— Почему?

— Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочитают в районе, ухватятся: «А, мол, вы такие-сякие — поросята у вас дохнут, свинарки из своего кармана лекарства покупают, даже лошади не догадаются дать — словом, никакого внимания ни к людям, ни к поросятам. Как мы, братец, будем выглядеть? Такие писульки у знающих людей называются очернительством, слы-

хал? То-то. А вот про свирепую метель ты красиво загнул.

Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково — краснел ушами.

— Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз угодишь в самую точку,— успокоил его Артемий Богданович.— Ты к этой Насте приглядывайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рость и рость. Еще вырастет не без нашей с тобой помощи — по области, а то и по всей стране загремит.

Косте не впервой было переживать неудачи. Он спрятал свой очерк, но слова Артемия Богдановича запали ему в душу — к Насте стал приглядываться, и очень внимательно.

10

Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за пазухой, выжил, вырос, отъелся, стал тугой, как барабан, давно живет в общем стаде. Но пока Настя нянчилась с ним, отпаивала крепким чаем, черничным настоем, рыбьим жиром, он так привык к ней, что теперь, едва выпускали из клети, ходил за своей хозяйкой, как собака, терся о ноги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку.

Косте Неспанову, частенько заглядывавшему на свинарник, Настя говорила, показывая на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:

— Вот — скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут брошусь, он — за мной. Средь людей, поди, таких не бывает. У людей-то, у каждого — своя рубашка ближе к телу.

Костя косился на млеющего под Настиными руками Кешку, возражал:

— Ты это брось людей с поросятами сравнивать. «Человек — это звучит гордо!» Горький сказал.

— Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет. А у животных душа проста. Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как... Ишь, лыбится...

— Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей черства. Вот я, к примеру...— У Кости начинали наливаться багрянцем уши.— Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз мне слово ласковое бросила?

Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу людям... Вот, к примеру, я... Я, конечно, ничем других не лучше, но...

Костя замолкал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, холодновато и пытливо присматривалась к Косте:

— Лучше ты иль хуже — не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих речей никому ни жарко и ни холодно.

У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая девка с крутыми плечами и самостоятельным характером, которого побаивался сам Артемий Богданович, не замечает его, глядит как бы сквозь. А Костя последним парнем никак себя не считал.

Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала:

— Один — и хватит!

А к тому времени подох уже не один, да и после выносила тайком в подоле. Тайком, утаила и — вот диво — страха не чувствовала, что откроют обман.

О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную контору — есть, мол, прибыль на голову. Эту голову сразу записывают в книгу, в графе «приход» цифра увеличивается на единицу. Сдох поросенок — спиши, акт составь, чтоб в другой графе «расход» была проставлена новая цифра, уже на единицу меньше. Учет, на то и существует бухгалтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым. Сам он мужик тихий, покладистый, жена на нем верхом ездит, да законы возле него строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подохшего сосунка — откроют книгу, и цифра покажет: не сходятся концы с концами — на единицу меньше, где эта единица? Может, продала, может, во щах съела, и не думай доказывать на пальцах. На суд, скажем, не подадут, а оплатить из собственного кармана заставят.

Вынесла тайком в подоле добрый десяток... Казалось бы, прямехонько сама себя к беде ведешь и свернуть нельзя — дохлых поросят не оживишь. Но... «Умный гору обойдет...» А каким путем? Кого это интересует?

Весной — новый опорос, как бы его ни планировали

там, в конторе, какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не в силах: сколько матка Рябина вымечет поросят — может, пять, может, десять. Сколько ни скажи — поверят и, уж конечно, сломя голову не бросятся считать, с цифрами, записанными в книгах, сравнивать: «Не собираешься ли обжулить нас, голубушка?» Любая свинарка удивилась бы и обиделась такой проверке. Обычно документы на рожденных поросят оформляют в конторе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, верят слову, сразу подохших поросят даже не записывают, чтоб особо «не портить показатели».

Весенний опорос покроет недостачу. Интересоваться поросятами начнут осенью, когда придет время рассчитываться с государством по мясу. Но и тогда всех по головам считать не станут, могут только спросить: почему не подросли, почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спасибо говорите, что таких вытянула». «Умный гору обойдет...» Большого риска нет, а совесть... Что совесть? Артемий Богданович, ежели прижмет, не посовестится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть совестливее его?

Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за зимний опорос. Настя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохранила часть поросят, у других же свинарок попередохли не только сосунки, но и откормочные, заразились матки. Свинаркам снижали оплату, и они на чем свет стоит костили Артемия Богдановича. И тут единственный ангел-хранитель — Настя. На все попреки, на все жалобы у Артемия Богдановича один ответ: «Не справились, а почему Сыроегина справилась? Она что — дух святой, не такая же свинарка? Все дело в умении и добросовестности!» И фотографии Насти наклеили на доску Почета, ее имя постоянно склоняли на собраниях, о ней с уважением писали в районной газете. И становилось ясно каждому — на околице деревни Утицы зреет знатный передовик колхоза. А чтоб он быстрей зрел, нужно подкармливать. Кладовщик Михей по словесному указу Артемия Богдановича отпускал Насте на свиней лучшие корма, не заменял больше муку высевками. Лучше и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли, крепли, им тоже отпускалось на прокорм.

Так прошла зима, из-под снега выползли прогретые проплешины, в оврагах копилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на ферму уже при молодом солнышке — дни становились длиннее.

После зимнего опороса матки не набрались сил, и весенний приплод был мал. Рябина, самая плодовитая, меньше восьми никогда не метала, а тут принесла шестерых. И, как назло, где тонко, там и рвется. Хотя Настя не спала ночами, затемно вскакивала с постели, накидывая платок и ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток, но все-таки не доглядела. Матка Роза, страховидно толстая, неуклюжая, ворочась с боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хряка Голубка, на которую Настя рассчитывала — будет хорошей маткой,— оказалась со злым пороком. Голубка, крокодилом бы ее звать,— выметала четверых и тут же сожрала. И не обошлось без поштучного отхода: одного угораздило свалиться в навозную яму, другого искусал хряк...

Настя извелась, почернела лицом, мать дома пряталась от нее на печи — вдруг да вгорячах облает. А Настю продолжали славить, Костя Неспанов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, ждал ответа. И часто заскакивал тоже замотанный делами Артемий Богданович, топтался в проходе, заглядывал под маток, бодрил:

— Держи марку, Настя. На тебя глядит вся колхозная общественность.

Настя сердито пеняла ему на скудный приплод, но о потерях помалкивала. Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле...

Списать под этот опорос мертвые поросячьи души? Наверно бы, можно. У нее не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то не получали добавочные корма, не обиходили маток, как она обиходила, не вскакивали по ночам с кровати... Списать можно, грехи покроются, но тогда уж похвалы не жди — кисленькие попреки и, быть может, вместо чистой мучки высевки. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на одной половице с Марией Клюшиной стоишь?» А у свинарки Марии Клюшиной пустые клети паутиной затягивает. Нет, она ей неровня!

Семь бед — один ответ. Раньше не испугалась проверки, а теперь-то и подавно бояться нечего.

Для виду Настя решила списать двоих на Голубку. Только двоих. Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте!

Нежданно-негаданно нагрянул носатый паренек в кожаной куртке, увешанный фотоаппаратами, заставил выгнать всех свиней под открытое небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгонько покрикивал: «Не глядите в объектив! Минуточку!» Хлопотливо щелкал, то забегая сбоку, то приседая, то забравшись на изгородь. Прославлена была на область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно смотрела в сторону, а Кешка, прижавшись к юбке, нахально уставился со снимка, он не считался со строгими приказами носатого паренька: «Не глядите в объектив!»

После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробрался к Утицам автобус, из него высыпали девчата и парни — все свой брат, колхозники из соседнего Блинцовского района. Они лазали по свинарнику, изучали свиней, расспрашивали:

— А каков рацион? А когда поишь? А собираешься ли еще проводить зимний опорос?..

Глядели в рот, ловили каждое слово.

11

А дома по-прежнему — пустынно и скучно. Мать держалась, ей не хуже и не лучше, лечилась травками. По-прежнему Настя заставала ее сидящей на лавке с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя, вглубь.

Мать-то не считала Настю счастливой. Вот если б внуки по избе ползали да стоял бы в доме запах ядреного мужика, дымящего табаком, приходящего с работы в пропотелой рубахе, тогда бы — у дочери жизнь, как у людей. А так и с почетом, и с фотографиями в газете, а бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.

Потому-то Настя и не любила бывать дома, что каждую минуту чувствуешь немое сожаление матери.

Они с матерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки, мать смотрела, придвигала то соль, то нож для хлеба. Молчали, обо всем давно переговорено. Корм в свинарнике задан, вечер свободный, как-то надо его

убить. Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каждый раз сообщала новенькое о Кешке — живет в Соломбале, работает на лесозаводе, холостяжничает, как бы при одинокой жизни карусель у него не пошла, сама знаешь, от стопки никогда не отказывался, а дружков-собутыльничков везде хватает... Павла доносила не без задней мысли — вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя что-то не очень падки, нам-то Кешка пишет, а тебе даже и поклоны не велит передавать. Павла в эти минуты была неприятна Насте, но приходил вот такой свободный вечер — и тянуло к ней, послушать о Кешке.

И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном раздался храп коня, стук ног на крыльце, знакомый голос:

— Дома хозяйка?

Артемий Богданович — что с ним? — синий бостоновый костюм, в каком выезжал только в область, не ниже — для района и обычный хорош,— рубашка белая, галстук, и лицо — что пятак, натертый о валенок. За Артемием Богдановичем бочком Костя Неспанов, тоже в глаженом костюме, отложной воротничок вокруг шеи, туфли начищены, щеки красны и глаза бегают где-то по потолку, выше голов.

— Здоровы будете?

— Здоров, коли не шутишь,— ответила Настя, чувствуя зябкость в спине и слабость в ногах: начинала догадываться.— К столу бы пригласить, да не сказались — стол-то не праздничный, а вы — как на именины. Может, порогом ошиблись?

— Нет, вроде, порог тот и люди те, что нам нужны. Правда, Костя? — Артемий Богданович решительно присел к столу. Костя на краешек лавки в сторонке.

Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Артемий Богданович остановил ее:

— Нет, мамаша, останься. Не посторонний человек, а, так сказать, напротив — самый нужный в нашем деле. Правда, Костя?

У матери дрогнули морщины, она села, тревога и выжидание застыли на лице.

Артемий Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцами, крякнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю — тот густо покраснел.

— Ну вот,— начал Артемий Богданович,— я человек прямой, вилять не люблю. Обычаев старых тоже не знаю. Но, помнится, в прежние-то годы начинали: «У вас есть красный товар, у нас — купец молодец...» Так, что ли, мать? Настя, ясно?

Настя молча покосилась на свекловичную физиономию Кости.

— Я сват, Настя! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на себя. Впервые в жизни, значит, с этой должностью справляюсь, может, чего и не так, не обессудьте... Ну, Настя?

— Чего — ну?

— Эва, она еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого там принца крови из заморских стран подождешь? Вопрос, так сказать, прочувствованно — ребром. Ну?

Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала. Артемий Богданович смущенно крякнул:

— Ну, не тяни! Иль он чем худ тебе?

— Худ?.. Пожалуй.

Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:

— Пойдем, Артемий Богданович, отсюда. Что уж...

— Это как так пойдем? — У Артемия Богдановича гневливой темнотой налились подглазницы.— Уйдем, когда выясним, не раньше того. Уйдем и позор снесем. Выкладывай, чем он тебе худ?

— Одним только. Молод. Я уж в годах, намедни двадцать восемь стукнуло, что мне к себе детей припутывать?

— Детей? Костя, слышишь?.. Да обидься ты, чертов сын! Стукни по столу, чтоб чашки с ложками на пол посыпались!

— Пойдем, Артемий Богданович, чего уж...

— Эх, завел волынку! Ты не можешь, так я стукну! — И Артемий Богданович действительно влепил тупой кулак в столешницу.— Тебе — двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года разница. Как ты успела постареть за эти три года, чтоб он тебе дитем стал? Сколько Кухареву Гришке, помнишь? А сколько его Верке?..

— То-то и оно,— глуховато и спокойно возразила Настя,— иль слава о Гришке не идет? За любым хвостом во-

лочится, юбку на козу одень — побежит, принюхиваясь. Такого не хочу!

— Ха! Он ли на Гришку похож? Да ты оглянись — с таким ли характером хвосты ловить? Не парня, а ярочку к тебе в дом ввожу.

— Артемий Богданович! — Костя вскочил, щеки пошли пятнами, зеленые глаза плавились, голос сколодся на сипленький тенорок: — Не хочу! Баста! Можно только по... по любви! А раз нет... То чего уж. Я пошел, Артемий Богданович...

Артемий Богданович вдруг стал спокоен и суров:

— Ну, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка, скажи, я послушаю.

— Я пошел, Артемий Богданович! Я пошел... Раз нет, раз не лежит сердце... Чего уж...

— Что-то я, Настя, голосу твоего не слышу. Молчишь?.. Ну, тогда я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хвалю! Цену себе каждый знать должóн. Но только помни: так и с товаром на руках остаться можно. А твой товар — скоропортящийся, вроде молока, подержи подольше — там уж за бесценок никто не примет.

— Цена! Бесценок! — вдруг завопил Костя.— Что за слова? Не хочу! Не буду! Знал бы я, да разве... Да ну вас!..

Он повернулся и пошел к двери. Мать, сидевшая за столом все с тем же тревожным выжиданием в глубине бесцветных морщинок, вздохнула, опустила глаза.

— Костя, обожди,— тихо сказала Настя.

И Костя застыл — одна нога в сенях, другая в избе.

— Неуж любишь? — все так же тихо спросила Настя, пристально глядя на застывшего на пороге Костю.

— Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-на-вижу! Врага ты, Настя, во мне нажила во веки веков!

И Настя улыбнулась, оглянулась на Артемия Богдановича:

— Чай принесли с собой чего-нибудь? А то ведь я не заготовила, не ждала таких гостей.

— А как же, как же,— колыхнулся Артемий Богданович.— Костя! Там в сено сунута, вынь поди!

Костя помялся в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пряча глаза, поставил на стол поллитровку.

12

С Кешкой даже не успели расписаться, а о свадьбе даже и разговоров не было.

Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад.

В троицын день, по старой памяти, гуляли все — и верующие старухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович признался: «Бога легче выкорчевать, чем праздник». И потому он созвал правление, посовещался, выпустил приказ:

«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхоза «Богатырь» постановило:

1) отменить праздник святой троицы;

2) вместо него праздновать каждый год свой социалистический, колхозный праздник — «Встреча лета»;

3) в этом году во время праздника «Встреча лета» широко отгулять колхозную свадьбу К. И. Неспанова и лучшей нашей свинарки А. С. Сыроегиной:

4) на проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот рублей;

5) свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей Редькинской мельницы, в случае плохой погоды — в сельском клубе;

6) на свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь».

Но и это не все. Артемий Богданович всегда считал: «Мало сделать похвальное дело — нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхозной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область.

Артемий Богданович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пачки чертежной бумаги и с ними поехал в райком, беседа была недолгой, после чего в районной типографии раздался телефонный звонок:

— Тут к вам зайдет председатель колхоза «Богатырь», посодействуйте.

И Артемий Богданович не заставил себя ждать:

— Великая просьба — отпечатайте покрасивее.

Выложил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный своею рукою текст:

«Уважаемый товарищ . . . . 2 июня, сего года, в селе Верхнее Кошелево Загарьевского района колхоз «Богатырь» выдает замуж знатную свинарку Ана-

стасию Степановну Сыроегину за председателя сельсовета Константина Ивановича Неспанова. От лица молодых и от лица всего колхоза просим Вас, дорогой товарищ, быть желанным гостем на нашей колхозной свадьбе.

Начало в три часа дня».

Великая просьба... Как тут откажешь.

Приглашения были разосланы в область: секретарю обкома по сельскому хозяйству, председателю облисполкома, главному редактору областной газеты, начальнику сельхозснаба... Посланы они были и в район: опять же первому секретарю Пухначеву, секретарю по пропаганде Кучину, председателю райисполкома Гаврилову, директору районного отделения госбанка Сивцову (нужный человек), председателю райпотребсоюза Тужикову (не менее нужный) и еще кой-кому по расчетам Артемия Богдановича.

Из района — сомнений не было — приедут, а из области — за двести километров, на свадьбу — ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не рассчитывал на высоких гостей из области. Важно, что там прочитают приглашение, лишний раз узнают, что в Загарьевском районе существует колхоз «Богатырь», который, по всему видать, живет на широкую ногу, дружно справляет свадьбы знатных людей. Артемий Богданович не без умысла поставил перед именем Насти слово «знатная».

Приглашения были разосланы, а Артемий Богданович развивал бурную деятельность, брал за бока приглашенного на свадьбу председателя райпотребсоюза Тужикова, закупал у него селедку — бочками, постное масло — ведрами, водку, красное вино, шампанское — ящиками. А в деревне Степаковская сноровистая бабка Анфиса варила хмельную бражку и на меду и на солоде.

По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рассказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два гармониста, Павел Клешнев и Серега Рюхин, один из села, другой из деревни Кулички, вечные соперники — не известно, кто из них мастеровитей в игре,— были освобождены от работ «для репетиций» со строгим наказом, чтоб не ударили в грязь лицом.

Настя шила себе белое подвенечное платье. Костя на правах жениха приходил к ней каждый день, сидел на краешке лавки, напряженно вытянувшийся, с густым торча-

щим ежиком, который так и хотелось пригладить ладонью, спросить: «Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал, вздыхал, иногда ронял:

— Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животноводы.

— Это почему?

— Бесперспективная у меня работа. Может, там смогу показать себя. Нет, бесперспективная.

— Зато чистая. В животноводах-то, гляди, ручки навозом испачкаешь.

— Навозом испугала. Я, может, за светлое будущее жизнь готов отдать.

И торчит мальчишеский непокорный ежик, под чистым лбом обиженно зеленеют глаза, и Настя со зрелой бабьей жалостью думала: «Право, не на три года моложе, на все тринадцать, с кем судьба сводит — желторотенький».

13

И вот он — день.

На небе ни облачка, засасывает синий воздух колом взмывающих стрижей. Река Курчавка сквозь темную воду червонится камешковым дном. Березки на берегах задумчиво перебирают не утерявшей еще весенней яркости листвой — сочные, песенные березки троицына дня.

На зеленом берегу наспех сколочены длинные тесовые столы буквой «П», в челе — место для молодых и для начальства. Здесь стол покрыт белыми простынями, на остальных простыней не хватило. Вокруг стола хлопочут жинки-общественницы, уставляют закуску: холодное мясо ломтями — свинина, баранина, говядина; райпотребсоюзовская, крупно нарубленная селедка с вареной картошкой; квашеная капуста, щедро политая постным маслом; на противнях горы холодца, размякающего от жары; огурцы прошлогоднего посола; бордовые винегреты под тем же райпотребсоюзовским постным маслом. Меж всем этим убранством — ясные бутылки столичной, сумрачно нарядные — шампанского. Ближе к молодым в стеклянных графинах, какие обычно украшают столы президиума во время заседаний,— мутно-янтарная бражка, налитая по самые пробки. Подальше от молодых — та же бражка, но только в разномастных эмалированных чайниках.

Народу на берегу что пчел на летке перед роением — топчутся, мнут траву, сходятся кучками, степенно беседуют о погоде, о яровых, о том, что неплохо бы дождичек, нет, не сегодня — боже упаси! — как-нибудь на днях. Все в костюмах, в чистых рубахах, кой на ком пучится шляпа, кой-кого не сразу разпознает и сосед, влажный речной запах нет-нет да и перебьет густая волна нафталина. Девицы ходят в цветистых платьях, при часах на запястьях, каждая держит в кулаке чистый носовой платочек. Дед Исай мученически морщится — жмут ни разу не надеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтобы не глазеть зря на стол — неприлично выказывать нетерпение.

Наконец гуляющей походкой подошли гости из района: невысокий, коротко стриженный Пухначев, рослый, начавший полнеть Кучин, осанистый Тужиков из райпотребсоюза, тихий, в очках директор из банка... Подошли, растворились среди масс, примкнули к разговорам о яровых.

А молодых нет. А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой-кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки. Молодых нет, не видать и Артемия Богдановича.

И тут раздался крик:

— Б-бе-ре-егись!

Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, несла бричку, за кучера, заваливаясь на спину, багровея лицом,— Артемий Богданович.

— Бе-ере-егись! Люди добрые, дорогу молодым!

Ветер играет белой накидкой невесты, жених в черном костюме, как скворец, задрал вверх подбородок — душит тугой галстук.

И сразу берег беспокойно зашевелился, одни расступались перед конями, теснили других, эти другие поднапирали, чтоб поглазеть поближе,— толкотня, смех, выкрики:

— Богданыч-то, словно Илья Пророк.

— Вместо бороды бы веник приклеить.

— Жаль, бубенцов нет, по-старому-то с бубенцами.

— Вывелись бубенцы...

— Люди добрые! Дорогу!

И визгливые бабьи голоса:

— Гости дорогие! К столу просим! Гости дорогие! Пожалте к столу! Не обессудьте — чем богаты, тем и рады!..

Упрашивать никого не пришлось, хлынули, приступом беря скамьи, потирая руки. Оказывается, как ни длинны

столы; а гостей больше, чем нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам, смех, советы:

— Прижми-ко Нюрку — сок потечет.

— И так стараюсь.

— Отцепись, банный лист! Василья крикну!

— Твой Василей, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.

Какая-то компания парней развалилась в стороне, развесив по сучьям пиджаки:

— Механизаторы, сюда давай! Дед Исай, ты когда-то прицепщиком был!

— У него теперь своя механизма на четырех ногах.

— Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнездился.

Тощая, костистая спина деда Исая — между двух пухлых бабьих спин.

— Тут меня греют.

Во время этой суматохи появились еще два гостя, их заметили только тогда, когда один из них начал выплясывать перед молодыми, целиться из фотоаппарата.

— Кто такие?

Оказывается — область не забыла, из газеты прислали, чтоб описать, сфотографировать,— знай все, как гуляют в колхозе «Богатырь»!

Костя — с растерянно задранным подбородком, потный, в черном костюме. Настя — вся белая, горбится от страха, от лютого смущения, кажется — вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от беспокойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича. И почетные гости с невнятными, чуть смущенными улыбочками...

У Насти на голове рюшечки, покрывало, заполненное речным воздухом, спадает на плечи. Невестин наряд Насте не очень-то идет, лицо из белого газа — круглое, широкое, с крутыми скулами, как деревянная чаша, и буйная плоть — плечи, груди — слишком решительно выпирает сквозь тонкую ткань. Настя чувствует взгляды, смущается до одеревенения, прячет под стол раздавленные, красные, заскорузлые от работы руки.

Бригадиры за столом и правленческий актив, исполняя волю Артемия Богдановича, шепчут направо и налево:

— Передай-ко, чтоб тут особо не наливались. Как бы при гостях-то какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину накажите, он же дурной, когда хлебнет... Вот гости уедут, бражка останется, вечерком возьмем свое...

И всяк, кто бы ни получил такое наставление, понимающе кивал:

— Само собой, раз зазвали — держи марку....

Но сильней всяких уговоров трезвило начало пира.

Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз идет в гору — святая правда, давно ли получали триста граммов на трудодень, — что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Настя Сыроегина — прощенья просим за оговорочку, уже Неспанова,— была ничем, а стала всем, что такие, как Настя,— хозяева жизни, что спасибо дорогим гостям, что приехали... Артемий Богданович говорил до тех пор, пока не занемела рука, державшая стопку, и только тогда провозгласил:

— За здоровье молодых!

Поднялся первый секретарь райкома Пухначев, в жизни он был прост, скор на слово, но тут случай особый, быстрота и простота неуместны. Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам наглядный пример — знатная свинарка...

Второй секретарь по пропаганде Кучин долго увязывал свадьбу Насти с международным положением, с посягательствами империалистов...

Однако дальше пошло быстрей, так как Тужиков, председатель райпотребсоюза, речей гладко говорить не умел: колупнул международное положение — спутался, завязал было речь о светлом будущем — и тут спутался, махнул рукой и рявкнул:

— Горька-а!!

И столы охотно подхватили:

— Го-орь-ка-а!!

Костя, путаясь в невестиной газовой накидке, послушно потянулся к Насте, клюнул носом в щеку.

— Э-що горь-ка-а!!

Снова клюнул.

Тут кончилась организованность, начался разброд, чокались кто с кем хотел:

— Эй, кум, будь здоров!

— Пашка, едрена-матрена! Забыл? Дотянись!

Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за их здоровье охотно пили.

Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки, молодежь зашевелилась, полезла танцевать, но танцы сбил шофер Женька Кручинин со своей Глашкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать — мелькали начищенные голенища, летали ладони, моталась разлохмаченная голова, с разгону врастал в землю перед Глашкой:

Эх, хвать да похвать —
Я в прямом расстройстве!
Надоть бы свинарку сватать —
Ту, что попородистей!

Глашка, чернявая, узкобедрая — сама в невесты годна, хотя и двое детей,— каменея в бровях, вихляя плечиками, плыла, потрясая скомканным платочком в руке:

Ой, мил соколок,
Не держу за локоток:
Приживи свинарочке
Свиночек три парочки...

А их, припадая на колено фотографировал репортер из областной газеты.

— Товарищи! Граждане! Упустили!! — надрывался Артемий Богданович.— Товарищи! Выпить забыли!

— Не забыли — пьем!

— За здоровье забыли выпить! За мать Насти! За ту, которая родила нам, которая для нас вырастила...

—Ура-а Анне Егоровне!

— Ур-ра-а!!

Для всех неожиданно вынырнула пригнувшаяся к столу старушка. Фотограф из газеты сломя голову кинулся к ней... Вынырнула и снова канула, снова куролесил Женька, сверкая начищенными голенищами.

До самого вечера было шумно и весело над рекой Курчавкой, но праздник не дорос до того горячего уровня, когда враги нежно мирятся, а друзья ссорятся. Только деда Исая вывели из-за стола — слишком ослаб,— уложили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не жали. Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг вспомнил, что он несчастлив в жизни, и пошел было к реке топиться, но и его отговорили вовремя.

Настя была трезва, сидела за столом, как связанная, а Костя обнимал за плечи Артемия Богдановича, втолковывал ему:

— Первый человек у нас — она! — и указывал на Настю.— Второй — ты. А третий — я.

Артемий Богданович, красный, маслянистый, довольный всем, ухмылялся:

— Может быть, может быть... Я ведь, сам знаешь, в гору-то не ползу, могу и без номера походить.

— Нет, ты второй человек. Признаю! Она — первая! А третий — я!

На берегу реки вечер кончился, начинался по деревням. Далеко за полночь надрывались гармошки во славу Насти в девичестве Сыроегиной, ныне Неспановой. Далеко за полночь кипел праздник — и враги мирились, и друзья ссорились.

14

Ранним утром бежала сломя голову на свинарник, затапливала печь под котлом и, пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу.

А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник, и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и мать словно бы ожила, воевала с ухватами, тащила к столу топленое молоко.

Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все ощутимей материнская ответственность за него и, когда уходил из дому, почему-то боялась — а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала: какая беда, занимается, как и занимался, сельсоветовскими делами. Мало-помалу приходила вера, что не случайно к ней потянулся Костя, что без нее ему трудно, а значит — прочно, значит — надолго, не упорхнет.

До сих пор бабью жалостливость тратила на какого-нибудь полудохлого поросенка, больше некуда, кто ее примет эту неизбывную жалостливость, кому нужна? Сейчас ее принимает, по ночам, косноязыча от удивления, шепчет:

— Жару в тебе, что в печи, право.

И Настя бешено крутилась между домом и свинарником — ни минуты свободной, некогда оглянуться по сторонам. Вот это жизнь! Даже загадай раньше — не смогла бы представить лучше.

А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию животноводов!» Давно уже в колхозной конторе подбивали итоги: за такой-то квартал надоено, выращено, продано... И где-то в незнакомом Насте Густоборовском районе жила соперница, тоже свинарка, тоже знатная, знатнее Насти, потому что гремела по области давно, потому что и теперь приплод у нее больше, потому что в свое время была награждена орденом,— Ольга Карпова! С полгода назад Настя и думать не думала с ней сравняться — высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович сказал без обиняков: «Вызывай ее на соревнование, не робей, воробей!» Помог составить Насте письмо.

И, как всегда, Артемий Богданович не остановился на полдороге: «Мало сделать похвальное дело — надо добиться, чтоб за него похвалили...» И он добился, что Настино письмо напечатали сразу в трех газетах: у себя в Загарье, в незнакомом Густоборье и в области.

— И наши утки по верхам летают.— Артемий Богданович потирал руки.

Он поднимал Настю, а сам-то говорил: «Умный в гору не пойдет...» И Настя смутно понимала — хитер, удобно для него посылать в гору кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком недовыполнил, с зерном заминка — ан нет, обождите, мы другим славны, все разом не охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, без этого никак нельзя.

Этот человек все сделал для Насти — вознес, прославил, даже мужа нашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем, но почему-то боялась Артемия Богдановича. Как ни растет вверх Настя, а над ним не вырастет, попробуй только поперек пойти — мягонько эдак ссадит, и славу сдует, и знатность слетит... Ох, Артемий Богданович, Артемий Богданович, благодетель!

Тем свирепей Настя орудовала на свинарнике. Что она без него? Простая баба, каких много. Сорвись, Костя потерпит, потерпит, да и возьмется за шапку. Он-то с образованием — книжки читает, статьи пишет, политические моменты в докладах освещает...

Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина родила одиннадцать поросят, даже неприметная раньше Канитель удивила — девятерых, все крепкие,

здоровые, любо-дорого глядеть. Тут-то бы и снять грех с души, покрыть старые прорехи, но уж время очень неудачное — перед совещанием-то животноводов, когда пришлось вызвать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свинарок — удача, у тебя одной провал, на белом черное сразу заметят, каждый пальцем ткнет, позлорадствует — эге, мол, оплошечка у знатной. Нет уж, назвалась груздем — полезай в кузов. У Насти до областного рекорда не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб перешагнуть Ольгу Карпову. Все ждут этого, пуще всех ждет Артемий Богданович. Всего несколько, чтоб «знамя колхоза» стало «знаменем» всей области. И эти головы выросли. Опасно, с огнем, Настя, играешь.

По первой зорьке заспанная, едва успевшая ополоснуть лицо, мчалась к свинарнику. Со свинарника — иноходью домой. Дома включенный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился за столом, перебросив через плечо чистое полотенце.

С огнем играешь,— тревожило. «Навстречу совещанию!» — газетные заголовки. На это совещание Настю собираются проводить с почетом — значит, она кому-то должна сдать с рук на руки свой свинарник со всей живностью. С рук на руки той же Павле, и тут — мало ли что может случиться?

Павла была всего на год старше Насти, крупнокостная, плоскогрудая, из тех, кого называют — неладно скроена, да крепко сшита, лицо грубое, голос с сипотцой, замужем не столь давно, а успела обложиться детишками. В свое время ее сватали в свинарки — отказалась. Работа хлопотная, с утра до вечера торчи на ферме, порой и ночами нет покою, забудь дом, а заработаешь или нет — это еще бабка надвое гадала. А за мужней спиной Павлу нужда не особо подпирала.

Она одно время считала себя удачливей Насти — без отца выросла, мать больна, суженый да гаданый на стороне где-то застрял, как не пожалеть. И жалела, и за Кешку сватала. Но теперь-то жалеть нет причин, теперь сама Павла возле Насти крохи подбирает. Настю-то частенько в район вызывают, иногда целыми днями приходится сидеть по совещаниям, нельзя свиней без присмотру оставлять. Павле за случайный догляд приплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь и ребятишек не накормишь, работай в поле, как все.

Одно дело оставить на Павлу свинарник на день, на вечер, другое — на неделю, на две. За неделю она так освоится, так приглядится, что откроет — под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла — не святая, не утерпит ковырнуть знатную соседушку.

Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на лице выражение со строжинкой: или только что председательствовал на собрании и еще не остыл, или принес какие-то новости — портрет Насти в газете напечатали, правление премию выделить собирается...

— Командируют тебя.

— Куда?

Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с другими опытом.

— Значит, уезжать?

— А ты хочешь быть в командировке да дома на печке лежать?

— Никуда я не поеду.

— Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густоборовский район для обмена опытом с Ольгой Карповой. Раз! Блинцовский район просит побывать у них. Два! Ну, наверное, еще кой-куда завернуть придется...

— На кого я брошу свинарник? Запустят! Изведут! Никуда не поеду!

— Найдем людей, чтоб присмотрели. В десять глаз, в десять рук славу колхоза станем беречь.

Что говорить с Костей — надут, как индюк, горд, что жена будет разъезжать по другим районам, учить людей уму-разуму.

Легла спать в тревоге. «В десять глаз, в десять рук...» Это пострашнее, чем на одну Павлу довериться. Как начнут заглядывать да вникать кому только не лень,— беды не миновать. А одна Павла, что ж... О Павле, пожалуй, напрасно тревожилась. Павла и сейчас, считай, все стадо знает, каждого сосунка по рылу угадает, как соседского парнишку в лицо. Стадо знает, да не дано знать, что в книгах про него записано. А книги эти бухгалтер Сидор Матвеич Петряев держит в конторе, в шкафу под замком. Смешно даже думать, что Павле в голову ударит в эти книги залезть. А ежели б и ударило, то все равно не столь уж грамотна, чтоб понять. Правда, Сидор Матвеич,

хоть ночью раскачай, любую цифру назовет. Но опять нужно догадаться спросить его. До сих пор это Павле на ум не приходило. Вот ежели «в десять глаз, в десять рук...».

Утром после кормежки Настя была уже у Артемия Богдановича.

— Ладно, уеду, раз уж так нужно,— согласилась она.— Хоть, что говорить, боюсь бросать свиней. Павла — баба верная, но все ж не свои руки.

— Приглядим за ней. Не оставим без внимания,— пообещал Артемий Богданович.

Этого-то от него и ждала Настя.

— Нет уж, просить хочу, чтоб не совались без нужды. Разве не наказание — сам посуди, когда работаешь, а за тобой десять глаз в спину глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданыч, не вели путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда приеду.

— Ну, ну, накажу. Никто не сунется.

— И платить Павле будете, как мне. Слышишь?

— Заплатим, не волнуйся.

— И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея-ключника — кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку...

В тот же день она привела Павлу на свинарник:

— Старайся, любая, никого не пускай к себе, греха не оберешься с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают.

— Окорочу,— успокоила Павла.— Это у меня быстро.

Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя протянет руку, поскребет за ухом, повизгивал просяще. И Настя склонилась:

— Не надолго, чадушко, расстаемся. Не скучай, любый... Павла, ты не жалей ласки на него. Чего уж скрывать, он у меня заласканный.

Павла хохотнула:

— Под подолом держать буду.

— И смотри, Павла... Чуть что — дай знать Артемию Богдановичу, он сразу меня телеграммой вызовет.

— Авось, сойдет и без телеграммы. Детишек на соседские руки оставляют, не боятся, а тут — поросята. Эка...

Кешка терся о сапоги, не отходил ни на шаг. А Настя с тоской думала, что рано или поздно придется оторвать от

себя этого Кешку, ему, как и всем свиньям, конец приписан один — под нож. «Господи! Сердце теснит, словно расстаешься с родней кровной, а не со свиньями...»

Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по вороту, темный жакет со вздернутыми плечиками, через руку — песочного цвета легкое пальто, ткань «метро», подкладка в глянец; на ногах туфли на высоком каблуке — жмут проклятые, авось разносятся. Настя садилась в поезд.

Артемий Богданович не поленился, сам провожал до станции вместе с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя — эх, дурачок! — лицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал на Настю, сказал дважды:

— Ну и шикарная ты женщина.

Артемий Богданович подхмыкивал:

— Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто.

— Нет, она верный человек.

Эх, дурачок родной...

15

Попала не в заморские страны — в другой район. А все районы похожи: такие же желтеющие поля, такие же обветренные крыши деревень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами, с ветхими мостиками, держащимися на честном слове. Все знакомо, вроде бы нечему удивляться, а каждый час одаривал Настю новизной.

Едва сошла с поезда, как подскочил человек:

— Простите, вы не Анастасия ли Степановна будете?

— Она самая.

— Пожалуйста, вас ждет машина.

Настя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре, вышедшей замуж на стороне за начальника лесопункта, случалось-таки сходить с поезда и на своей станции, и на чужых, и каждый раз забота — как не упустить автобус, как уломать шофера-левака... А тут «Пожалуйте, машина ждет...»

А от машины спешит женщина, морщит в улыбке и без того сморщенное бабье лицо. Вот так-так, выехала

встречать Настю сама Ольга Карпова! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается:

— Здравствуйте. Как доехали?

Знаменитая Карпова, невысока, жилиста, тяжелые в мослах руки, спеченное лицо с доброй, несмелой улыбочкой. Настя по сравнению с ней в своем нарядном платье, в туфлях на высоком каблуке — артистка из столицы, не меньше. Потому, видать, и смущена Карпова.

Все ново, даже номер в районном Доме колхозника. Никогда не останавливалась в номерах — уезжая из дома, всегда ночевала у родных или знакомых. А тут отдельная чистая комнатушка с картиной трех богатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке.

Все ново, утром вежливый стук в дверь:

— Разрешите? Я за вами.

Парнишка-шофер, на Женьку Кручинина похож — глаза с нахалинкой, так и ждешь, что пропоет:

Девка с грудями по пудику
Достанется кому?

Где там, другой мир, другие люди...

Знаменитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз имени XX партсъезда, знаменитый председатель Чуев Афанасий Парфеныч. Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным носом — дремучие брови, прячущие глаза.

— Знакомьтесь. Критикуйте.— Ладонь сунул, широкую, словно лопата.

Ох, как хотелось посмотреть да раскусить, что из себя представляет Ольга Карпова. С виду куда как проста, баба бабой, чуточку смахивает на Настину мать, когда та была помоложе. А на самом деле так ли проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно — много лет обиходит громадное стадо, получает небывалые приплоды. Настя ее перескочила, но как? Своей-то победе Настя цену знает. Но Ольга обещает и ее побить. Что у нее вместо пары рук — пять, десять? Настя надрывается, с темна до темна пропадает на свинарнике, а показатели хороши, что сумела обратать мертвые души, они-то ухода не требуют. Ох, нетерпится... Может, все кругом пыль пускают, обычное это дело? Тогда все ясно — без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга Карпова, навести тень на плетень, мы — не начальство, мы — дошлые.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Карпова привела Настю в свой свинарник. И Настя оробела.

Настя больше видывала на своем веку свинарники — смрад, теснота, темнота, в потолке продушины, на полу болото. Потому ей и свой свинарник всегда нравился: цементная дорожка, поработай рычагом — вода льется в котел, а решетки даже с затеями, с церковной ограды сняты... Здесь котла нет, есть какие-то запарники — ручки никелированные, что шары над кроватью, бока выкрашены в белую краску, что-то внутри пыхтит, клокочет, а ни дыму, ни пару, ни запаху. Прямо к запарнику — лента, транспортер. Нажал на рычажок — корм теплый порцией на ленту, и эта лента по лотку с бортиками везет корм к клетям каждой свинье отмерянное — ешь, наживай жирок. Не таскайся взад-вперед с грязными ведрами. А клетки чистить? Сколько времени, сколько труда уходит, а не успеваешь — свиньи в навозе валяются. Тут взял резиновый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по лотку прогонишь к колодцу. Смыл, закрыл крышкой колодец — чистота, лопат даже нет. И просторно, и светло, и все в белое выкрашено — больница. Полдела в таком свинарнике работать, тут и лежебока в знатные выскочит.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Послали опытом делиться. Что ж, могла бы поделиться опытом...

После того как Настя выбросила перед Артемием Богдановичем дохлых поросят, после того как услышала: «Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти... Против силы умом...» Умом да хитростью. Настя хитрила и не угрызалась совестью — не зря же говорят: простота хуже воровства. Одного боялась — ее хитрость не мудрена, могут и раскусить...

И вот. «Знакомьтесь. Критикуйте»... Как порядочной. Никому невдомек, что случайно попала в святые угодницы. В нарядном платье, в туфлях на высоких каблуках... Да если б ей, Насте, самой с такой привелось столкнуться — плюнула бы вслед. Нарядное платье — обман, голос вальяжный — обман, даже мужа в дом обманом заручила. Вся жизнь — обман, все счастье на обмане держится. Надолго ль такая жизнь? Надежно ль такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая ты, Настя, фальшивый камушек в дорогой сережке.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Настя ходила по просторному свинарнику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела

Ольгу. Простая баба, как и она, еще более дремучая, а повезло. Нет нужды ей обманывать да изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обманывать, почему у нее счастье, что жеребец в сапу — на вид здоров, шея дугой, а внутри-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Настя ненавидела Ольгу.

Вечером было собрание всех животноводов колхоза имени XX партсъезда, Насте пришлось выступать, попросили из-за красного стола пройти к трибуне, похлопали в ладоши. «Критикуйте». И Настя смекнула — умней будет не критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее свинарник, и ее породистое стадо:

— Великая наука для меня лично, товарищи. Много хорошего у вас насмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас... Спасибо вам всем...

И все сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченными морщинками, и сам Афанасий Парфенович Чуев, мужик суровый и, видать, дошлый, из тех, кто в землю на аршин узреть может, сидел именинником. Лесть душу вынимает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла нутром, с усердием хвалила Ольгу Карпову.

Ее проводили с почетом.

16

Она проехала по нескольким районам, кружным путем вернулась на родину.

У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, поглядывая исподлобья.

— Ты чего? Случилось что? — спросила Настя.

— Да нет, ничего... Ты какая-то... Не та...

То же платье, та же жакетка, пальто через руку, но круглое лицо стало угловатым, сильней выпирают скулы, от глаз заметней морщинки и сами глаза неспокойные, бегающие, в складках полных губ — горчинка. Не та...

Костя же ничуть не изменился — густой щетинистый бобрик над чистым лбом, возбужденно краснеют большие уши, в зеленых глазах растерянность и ожидание.

Не та... Настя это и сама чувствовала. Что ни день — то новая ступенька вверх, что ни день — то на шаг выше, а когда-то будет и конец... Притворялась спокойной, уверен-

ной, а по ночам не могла уснуть. Никогда не бывало, чтоб не спала по ночам, обычно едва положит голову на подушку — как кричат уже утренние петухи, пора вставать.

А Костя разве поймет. Прост слишком, и как только такой сидит в председателях сельсовета, да и что — за него все дела устраивает Артемий Богданович.

Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провыла по-бабьи:

— Золотко ты мое непутевое!.. Ой, здравствуй, бедолажный! Как ты без меня?

У Кости повлажнели глаза — гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, ждал небось.

— Едем скореича. Домой хочу.

— Домой сразу нельзя. Просили заехать в район. Там актив собрали — выступишь, отчитаешься.

— О-ох!

В загоне перед свинарником лежали разморенные на солнце свиньи. И одна вдруг забилась, встала, кинулась навстречу, тугая, розовая, налитая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Настю. Задирая рыло, повизгивая, поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, устало и сладко смежил веки.

У Насти даже слезы навернулись на глаза:

— Гляди ты, признал. Голубь мой сизый, кровинушка моя. Ох, ласковый, ох, дурачок непутевый...

Скребла жесткую, шелушащуюся кожу. Кешка млел.

И Павла шумно высморкалась в конец платка:

— Пропади ты пропадом! Вот уж любовь зла... Ко мне небось так не подкатывал.

Палило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан знакомыми запахами — перебродившим, пьяным навоза, острым, плотским от распаренных свиных туш. Над полями, над упрятанной в ивняк речкой, над плавящимися в зное лесами и над безлюдной деревней — дремотный покой. В привычном Настином мире все по-старому, нет перемен.

Ничего Настя теперь так не хотела, как вставать рано по утрам, шагать короткую дорогу от избы к свинарнику, шагать лицом к ясной утренней заре, засучив рукава приниматься за работу, с любовью, с лаской обхаживать скотину, знать, что ни один из дней не пропадает даром, каж-

дый приносит пользу — сало, мясо, деньги колхозу, знать, что у тебя за спиной твой дом, семья, ждут детишки (рано ли, поздно они появятся), у этих детишек судьба краше, чем у тебя,— не узнают лепешек из куглины и крапивы, тяжелых, как камни, черных, как сопревший навоз, и отца им не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горьким наигрышем: «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах...» И будут в семье маленькие праздники, маленькие радости, такие, как сегодня...

А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в районе купила Настя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если и появляются в магазинах, то нарасхват. Выручил Тужиков: он помнил хлеб, соль да крепкую бражку на свадьбе, едва Настя проговорилась: «Хотелось бы...» — как по щучьему велению... Прими, Костя, в подарок машину. Тоже, поди, мечтал...

Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую — без шума, без славы, в мире, в радостях, с ломотцой в костях к вечеру, с крепким сном, с чистой совестью. И начать бы эту жизнь сейчас не откладывая, но нет...

К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в другой конец района, в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано выступление. Ей, знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими свиньями. Павла, о которой не пишут в газетах, кого не посылают в командировки, не встречают с почестями, должна кормить и холить ее свиней. А ей, Насте, нужно славить свои животноводческие подвиги. И скоро начнется долгожданное совещание в области...

А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спеши в село — там тебя ждет Артемий Богданович, ему нетерпится потолковать с глазу на глаз: что видела, что узнала, как принимали колхозного посла? Услышишь, ей есть что сказать.

Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме. Встречая, сиял распаренным лицом, жал руку, похлопывал по плечу, придвигал стул, заглядывал в глаза. Но когда начался разговор, притих, посерьезнел, шевелил короткими пальцами на столе.

Настя рассказывала о механизированном свинарнике Ольги Карповой. Артемий Богданович не перебивал.

— Хошь не хошь,— говорила Настя,— а рано ли поздно придется строить такой. А коли нет, то пошумим, побурлим, пыль в глаза пустим, а потом скиснем. На «ура»-то долго не продержишься, Артемий Богданович. Они при механизации — хоть лопни от натуги — нас быстро обскачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай — дорогонько стоит такой свинарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, оправдает себя с лихвой...

Артемий Богданович не перебивал, слушал и соображал.

— А коль решаться, то надо решаться теперь, чтоб к весне, в крайнем случае к лету стояло новое помещение. Только тогда марку выдержим...

— К весне иль к лету?..— подал голос Артемий Богданович.— А что ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свинарник спроворю к зиме, к самому началу?..

— Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то свинарником я бы, пожалуй, снова на зимний опорос рискнула.

— А почему бы и нет.— Артемий Богданович оживился, начал жмуриться.— Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже фундамент заложили. Тоже с водопроводом, с колодцами, с навозохранилищами внизу... Но вот поставили не умно, скот на выпасы придется гонять через поля — значит, устраивай прогон специальный или посевы топчи... Не перекроить ли нам этот скотный в показательный свинарник, пока не поздно?

— И окупится быстрей. Свиньи-то у нас породистые, а коровы местные — корма на навоз переводят.

— И окупится... Добро. Покумекаем. Только тебе на работу-то ходить придется за семь километров. Как тут?

— Я дом свой перевезу поближе к свинарнику. Поможете, чай?

— Как не поможем... Ладно, буду ставить вопрос на правлении.

«Буду ставить вопрос», а это почти значило — вопрос решен. Раз Артемий Богданович поставит, правление не возразит.

17

Областной театр драмы и комедии сияет огнями. Областной театр — здание с колоннами, ставленное еще в прошлом веке, с тех пор несколько раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все возможное, что-

бы человек здесь чувствовал себя празднично. Ковры на полах, искрящиеся люстры под потолком, мрамор стен, обширные зеркала...

И сейчас празднично в фойе, толкотня, суета, раскинуты пестрые лотки с книгами и брошюрами, в толпе мечутся как угорелые газетные репортеры. Празднично, но собрались не на праздник — на деловое совещание. Да и оснований для празднования нет.

Когда-то эти места на всю Россию славились заливными лугами, особой породой коров; на масле, мясе, кожах местные купцы наживали миллионы. Одно время область повернули на зерно: стране нужен хлеб, распахивай, что можно. И заливные луга распахали. Потом спохватились, да поздно — луга заболотились, зарастали кустарником, породистые стада захирели, в колхозах появилась мелкая неприхотливая скотинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти лесные покосы год от году затягивало мелколесьем. Пора бить тревогу,— совещание собралось не для торжества, многие на нем получат крутые нагоняи.

Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще до начала совещания ее нарасхват: «Просим зайти в областной отдел сельского хозяйства»... «Просим побывать на курсах зооветтехников»... В обкоме партии с ней разговаривал сам первый секретарь, корреспонденты газет, радио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И номер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным столом и с видом из окна на центральную городскую площадь. Артемий Богданович жил в номере по соседству вместе с секретарем райкома Пухначевым. Артемий Богданович очень заботился о Насте, даже вместо нее принимал газетных репортеров, чтоб не надоедали лишка.

А на совещании Настю выбрали в президиум. Шла через весь зал на сцену, а на нее смотрели: Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути.

Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Настя — образованна, что скрывать, не шибко,— даже она читала брошюрки по кормовым рационам, написанные этим профессором. И вот она рядом с ним за почетным столом. Из темного зала — сотни лиц, среди них где-то затерялся и Артемий Богданович, и секретарь

их райкома Пухначев, и много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они там — ниже, Настя над всеми. И докладчик несколько раз назвал с уважением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все стали расходиться, на лесенке, ведущей со сцены, седой профессор вежливо придержал ее за локоть:

— Осторожно, не упадите.

А потом заговорил:

— Много о вас слышал. Рад познакомиться.

Они вместе вышли в фойе, под горящие люстры, а там на них набросились фоторепортеры:

— Одну минуточку! Всего минуточку! Не задержим!

А утром Артемий Богданович принес ей .свежую газету:

— Союз науки с практикой, так сказать.

Под руку — две знаменитости.

А на следующий день ее попросили непременно выступить. «Нет, нет, никаких отговорок, без вашего выступления невозможно...»

И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная рука сжимала бумажку с написанной речью. И на нее смотрел из загадочной, страшной полутьмы многоголовый, многолицый, многоглазый зал. Не перед своим братом колхозником выступать, от страха подгибались коленки. Но выступила:

— Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...

Ей аплодировали.

Настя почувствовала — она нужна, очень нужна. Ни Артемий Богданович, ни Пухначев, никто другой так не нужен, как она. Даже Ольга Карпова... Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять имя Ольги — значит, признаваться себе: никто из новых не выдвинулся, топчемся на месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выходит — растет новое, хорошее, обнадеживающее, вот доказательство.

«Мы животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Простая свинарка, которую недавно видели в газете, стоящая рука об руку с известным профессором. Союз науки с практикой — раз так, то дела наладятся в области.

До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на людей: а вдруг раскусят, что тогда? Ненастоящая, случай-

ная, фальшивый камушек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловила — люди хотят верить в нее, людям это нужно. И фальшивые камушки вставляют в оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое дело поддержать бодрость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости. Нуждаются! Настя нужна! И уж Артемий Богданович изо всех сил станет стараться, чтобы она не свалилась с высоты. Считала — одна, кругом враги. Нет же, не одна, а раз так — ничего не страшно. Вот построят новый свинарник, такой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем-то Настя развернется, добьется больших приплодов, рано ли поздно покроет мертвые души, очистит совесть, переродится наново, не будет на свете честнее человека, чем Настя Неспанова!

«Умный гору обойдет...» С такой высоты, на какую сейчас взобралась, разве страшны горы, даже самые крутые?

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Аплодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит — выдержит все обязательства, не подведет. Верит — все силы отдаст на пользу людям, от нее ждут этого!

И слезы на глазах, и благодарность к тем, кто в ней нуждается. Счастливые слезы.

18

Над поясом черных лесов, как всегда по утрам, сочится сквозь неплотные облака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спящих изб. Настя по-прежнему встает раньше всех в деревне Утицы.

Все хорошо в меру — блины на масленой и пост за веру. Настя от торжеств, от заседаний устала, с охотой скинула туфли на высоких каблуках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник.

Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка, печь под котлом, барабан картофелемойки...

Как всегда, стучат колеса телеги, голос деда Исая окликает:

— Эй, пустынница, жива аль нет?

Теперь Насте возят корм какой попросит и сколько попросит, попробуй-ка отказать — зоб вырвет.

Свиньи под доглядом Павлы — все-таки не свои руки — поосунулись. Настя раскармливает, старается.

Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь свинарник, научился рылом выбивать задвижку, сам выскакивает из клетки, крутится под ногами, тычется, мешает.

А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, образцового свинарника. Погребные ямы для навозохранилища выложены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила. Артемий Богданович крутится — все дни в хлопотах, срывается то в райцентр, то в область, со всех концов ему звонят, телефон в конторе надрывается. Подняты на ноги доставалы, такие, как Тужиков,— их в приятелях у Артемия Богдановича не один десяток. Не так-то просто найти водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электромоторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец, держит наготове громкое имя Насти, кто заупрямится, начнет крутить волокиту — того рубит с плеча:

— Для знатной свинарки возводим! Гордость нашей области! Стыдитесь!

И свинарник растет, как на дрожжах,— водопроводные трубы в земле, кабель проложен, начали класть стропила...

Похоже, с первыми морозами Насте сниматься с места, отбить поклон родной Утице, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, подправят, расширят, крышу, верно, покроют железом, стены обошьют тесом... Но тут Настя — сторона, неудобно для своей корысти давить авторитетом, улаживает все с Артемием Богдановичем Костя.

Костя завел кожаный шлем с большими очками, по утрам на работу пешком не бегает — гоняет на мотоцикле. Каждое воскресенье возится с машиной, разбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сообщает:

— Великое дело — двадцатый век. Сплошная техника.

В последнее время Костя говорит на басовых нотах, держится солидно, как и Артемий Богданович — заводит знакомства в райцентре. Он не выносит Женьку Кручинина за то, что тот пустил по деревням частушку:

Эх, чистый верняк —
Свиночки с навозиком!
Получил от вас за так
Женку с паровозиком!

А кругом все шло своим чередом. Хлеба убрали рано, осень стояла погожая, чем дальше к зиме, тем суше, солнечней, золотистей. На полях по стерне индевела паутина. По вечерам над крышами деревень, над верхушками елей летели густые грачиные стаи...

В солнечный и ветреный полдень Настя нацепила на колья изгороди только что вымытые бидоны из-под обрата, поглядывала в поле, на дорогу — не затарахтит ли там мотоцикл Кости, время-то обеденное.

И не углядела, как из ложка вынырнул плотный мужчина, пошевеливая плечами, двинулся к свинарнику. По этой раскачке в плечах, по крутому наклону головы узнала — он, Кешка! Наверно, от неожиданности чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платок, повернулась, стала ждать.

— Здорово, Настя,— издалека, еще не подходя.

— Здравствуй.

Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый какой-то — кепочка блином, кожанка старая, лицо одубело, складки на щеках врезались глубже — чужая сторона не родная мать, в прошлый раз пофорсистей приезжал. Но по-прежнему кряжист, по-прежнему от него тянет медвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте.

— А я думал: высоко взлетела, тут законно и не признать.

— Где там высоко, все вот в свином навозе копаюсь.

Видать, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолчал.

— Надолго ль сюда? — спросила Настя.

— На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживаться, коль приголубить некому.

— Поищи, может, кто и согласится приголубить. И здесь, как всюду, свет не без добрых людей.

Снова хмыкнул с угрюминкой:

— Ты хоть вспоминала?

— Тебя? А как же.— Настя обернулась к распахнутым дверям свинарника, крикнула:— Эй, Кешка!

За дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил Кешка, другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к ногам Насти — вот-вот собьет.

— Сдурел, вражина... Вишь, был у меня человек, стала свинья — не часто случается. Помню.

В это время затарахтел мотор, встряхиваясь на выбоинах, подкатил Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, поднял очки, открыл зеленые настороженные глаза.

Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Костю, мотоцикл, спросил:

— «Уралец»? Много прошел?

И Костя смутился:

— Нет. И трех тысяч не успел нагонять.

— Хорошая машина. Все целился купить, да куда бездомной собаке ремешок с бляшкой? Ну, бывайте покуда...

Повернулся, шагнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на мотоцикл, еще раз похвалил без зависти:

— Хорошая машина.

— Кешка! Иди домой, паршивец! Иди! Иди! Вот я тебя! — погнала Настя тыкавшегося ей в колени поросенка.

Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой.

— Что ему? — спросил Костя. В зелени глаз под вздрагивающими, вымоченно-белесыми ресницами — плавящаяся ревность.

Настя ответила грустно и задумчиво:

— Так... Блукает по свету, ищет, кто бы приголубил... Пошли обедать, Костя.

Неприкаянный Кешка напомнил Насте, что она согрета не только славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек.

19

Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушубок, старший среди плотников Егор Помелов, приезжий техник, долговязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом механизмов, электромонтер Сеня Славин и Настя вошли в новый свинарник.

В широкие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только что вставленным ясненьким стеклом вливался свет голубеющего дня. Со стен попахивало еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы медово желты, на цементной дорожке и в лотках — курчавая стружка. Длинные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль.

Почти все кончено — установить транспортер, подключить электромоторы, покрасить, даже вода подана в водопроводные трубы.

— Магарыч с тебя, Настасья. Старались ребята,— подмигивал красным глазом плотник Егор.

Настя молчала.

— Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч,— отвечал Артемий Богданович.

— Если всю артель снарядишь — за недельку. Долго ли умеючи-то.

Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя, охватывает стойки переборок, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не хвалит, только жмурится — доволен.

— Разворачивайся, Настя. В твоем старом свинарнике Павла осядет. От тебя, так сказать, почечка.

А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молчала. Знакомый, давний, полузабытый страх подпирал к горлу.

Артемий Богданович направо и налево помахивал ручкой:

— Здесь, значит,— откормочные, здесь — родилка, а здесь, так сказать,— комнаты матери и ребенка, опоросные матки лягут... Тут зелененькие, самый молоднячок, тот, что от титек оторван... Расписано, как на почте. Чуть стадо увеличишь — и стоп! Больше не надо. Устраивай круговорот, чтоб одни рожались, другие под нож — фабрика, цех-автомат с управлением одного человека. Выгоняй мясо центнерами. Расписано, учтено... Иль не нравится? Чего молчишь?

Нет, Насте нравится свинарник, но — расписано, учтено, то-то и оно. Она только теперь поняла... А ведь сама настаивала, сама торопила, чтоб строили быстрей... Только теперь поняла — тут-то ее и погибель. Матки, молодняк, откормочные, фабрика-круговорот, где все, как на полочках. А в старом свинарнике — теснота, суета, давка, попробуй разглядеть — сколько голов налицо. Фабрика-круговорот с полочками... Часть клетей окажется пустыми. Тут уж не только Артемию Богдановичу, не только членам ревизионной комиссии, не только председателю сельсовета Косте Неспанову, а любому и каждому, кто ни заглянет, хотя бы плотнику Егору, станет видно — у знатной свинарки знатная прореха. Фабрика, рассчитано, как

на почте, на столько-то голов. А где эти головы, куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, красавица! И начнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то центнеров мяса — воровство, обман, надувательство. И не покроешь, и не спрячешь концы, пойдет новая слава, погромче прежней.

Сама настаивала... Думалось, только крышу сменит, а под новой крышей старые порядки. Сама настаивала, сама под собой яму копала.

Цементная дорожка из конца в конец, замусоренная стружкой, колодцы в навозохранилище с открытыми крышками — слов нет, отменный свинарник, не только в районе лучший, по области поискать. Артемий Богданович жмурится, как кот на сливки.

— Ай и вправду чем-то недовольна? — спрашивает плотник Егор.— Критикуй. Наша братва критики не боится, потому что — фирма!

— Нет, все хорошо... Очень.

— То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, подновим, игрушечка будет, залюбуешься. У родни нагоститься не успеешь, как мы с шапкой у порога: гони магарыч!

Долговязый техник и электромонтер Сенька лазали вдоль стен, рассуждали о дополнительной проводке. У стойки из неплотно закрученного водопроводного крана капала вода.

— На будущей недельке кочуй сюда со всем племенем,— сказал Артемий Богданович.

«На будущей недельке...»

20

За окном ночь, полная луна висит над окоченевшими, бесснежными полями. Голова Кости лежит на ее руке. Костя уютно посапывает над ухом. Глаза Насти широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспоминает другую ночь, наверно, самую счастливую в жизни.

Та ночь могла бы быть такой, как все ночи августа, теплая и душистая,— пахнет осокой от берегов, пресно пахнет речной водой. Сама река, обморочно опрокинувшаяся под небом, смолисто-черная, вязкая, неподвижная,— не сморщится, не шелохнет прибережную былинку. И где-то

за лесами низко над землей лежат тяжелые, набрякшие от влаги тучи, но небо над головой чисто, точеная луна обливает онемевший мир. И в тишине разносится скрип весел в сухих уключинах, скрип весел, как крик раненой птицы.

Эта ночь могла быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка с блеклыми розочками лежит на плечах, Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды...

Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет... Спит река, а над сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится снежная метель. Да, метель! Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья.

Венька подымает весла и застывает на минуту, и тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно грозовое. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма, над просторной рекой им тесно, они вылетели на свадьбу, вылетели, чтоб порадоваться минуту и... умереть.

В теплую августовскую ночь — снежная метель, немая и бешеная. Тьма несчетная, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лицу в предсмертной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. Этих мотыльков зовут подёнки, потому что все они живут по одному дню, не более.

По расплавленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, вскрикивают весла, блестят глаза Веньки, сыплются подёнки, чей минутный век кончился. И луна над головой, луна, точеная, яркая...

Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осыпаются мертвые подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь будет счастлива,— до этой ночи ее, Настю, никто никогда еще не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи?..

Сейчас тоже ночь лунная, яркая. Глаза Насти широко открыты. Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, просиял на никелированных шишках кровати, и наконец луна плоской мордой из угла окна уперлась в лицо Насти, осветила затылок спящего Кости. Костя уютно посапывал на Настиной руке...

У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама шея белая, твердая, ребячьи упрямая. Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот он рядом, теплый, жарко дышащий, доверчивый, вон он на ее руке! И курчавится пушок, и плавится душа от нежности, от непоправимого горя...

Скоро он все узнает... Ох, Костя, Костя!.. Пусть бы весь мир знал, пусть бы смеялись, тыкали пальцами, сочиняли дурные частушки. Пусть бы весь мир знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости... Чудес нынче не бывает, вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох, Костя, Костя! Пушок на шее, посапывание над ухом — не будет этого. Неделька — срок отмерен. Настя кусает губы, чувствует на них соленый привкус слез.

И ночь перед глазами, та счастливая ночь со сказочной метелью! Ночь, какая бывает одна на всю жизнь!.. Одна?.. А, наверно, могла бы повториться. Пройдет зима, появятся опять летние ночи, теплые, с луной, и будут летать подёнки... Все может повториться, если б... Неделька — срок отмерен.

И от этого приговора, от щемящего душу Костиного затылка мысли Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода.

А что, если предложить правлению: беру несколько маток на расплод, в новом свинарнике начинают все сначала, начинала же когда-то с десяти сосунков. Пусть старый свинарник остается как был...

Обжигает минутная надежда, обжигает и гаснет. Свинарник-то сдавать придется той же Павле, кто ж примет без счету, без проверки,— все выплывет наружу...

А что, если просто уступить новый свинарник другой свинарке?.. Настаивала, подгоняла, ждала, а теперь — отказ. Сразу спохватятся — что-то тут не чисто. Выплывет...

А что, если сбежать вместе с Костей, все кинуть — пропади пропадом! Бежать?.. Куда, глупая? Кого уговорить собираешься?.. Костю? Глаза ему на себя открыть?.. И мать

больная. И что делать на стороне?.. И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись...

Мечутся мысли — нет выхода.

Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от нежности. Влезла в заговоренный круг — выхода нет. Пока еще Костя рядом, пока еще прижался к ее боку. Неделька — срок отмерен.

Эх, новый свинарник, надежда колхоза, добротно построенный, размеренный, рассчитанный... Новый свинарник для лучшей свинарки, для той, что — «гордое знамя»...

Пальцы свободной руки тянутся к пушку на шее, луна освещает крупную, раздавленную работой руку. «Родной ты мой, срослась, не могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы — простил. Душа-то в тебе добрая...» Разбудить бы его, рассказать начистоту: «Прости, если можешь, ради своего счастья, ведь срослись. А уж простишь — на руках буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха...»

И опускается рука: простить-то он, пожалуй, с ходу и простит, да потом опомнится. Ему тоже придется хлебнуть горького от людей, не меньше, чем ей, Насте.

Тугая петелька — не вырвешься.

Тугая петелька, сама на себя накинула...

Не вырвешься?.. Нет, можно вырваться, и очень просто...

Для чего жить, коли все рушится? С работы скинут, муж бросит... Жить, корчиться от позора?..

Выход есть, и очень простой.

Слезы высохли на глазах, в грудь словно положили холодный кирпич.

Высвободить сейчас осторожненько, с бережностью руку из-под Костиной головы, встать, выйти в сени, там на колышке висит веревка — летом траву носила... Выйти в сени и — на поветь... Можно и не сразу, можно и на крыльцо выглянуть, на небо полюбоваться. Над крышами — луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет... В последний раз на луну, на землю, где ей нет места. В последний раз вспомнить ту ночь, метельную, теплую, самую что ни на есть счастливую. Пушистые завитки на шее. В последний раз.

Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, очень жарко дышит, боязно разбудить его... И что торопиться, с этим всегда можно успеть...

А утром вместе с небом слиняла луна. Из-за леса, из глубин, перло вверх солнце, брызгало лучами. И старая изба покрякивала от мороза.

Нет, она еще обождет.

Костя так и не проснулся, лежит сейчас, укрыла его, подоткнула одеяло. Скоро встанет, свежий, с ясными конопушками по щекам...

Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неделькой попользуется.

Без платка, с голыми икрами по морозцу — к поленнице. Нахватала охапку охолодавших, свинцово тяжелых поленьев, понесла в дом.

А мать уже сползла с печи:

— Беги, чадушко, по своим делам, управлюсь тут... Нынче сон видела: рыбу с твоим отцом, царство ему небесное, на Климовском перекате бродим. Все окуни, все окуни... Золотая рыбка — к добру это.

Умылась, обулась, не утерпела — прямо в сапогах и ватнике прошла к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Костя зорюет. И разбудила неуклюжая — половицы заскрипели. Поднял всклокоченную голову с заспанным, очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, сказала скупо, чтоб не выдать боль:

— Утро на дворе, сокол.

Вышла.

С полпути заметила — по дороге торопится к деревне полуторка Женьки Кручинина. Не к ней ли такую рань?

Оказалось — к ней.

Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил:

— Пожар устраиваешь, знаменитость?

— Какой пожар?

— Вишь, меня ни свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера втолковывал: перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эх, ма! — Зевнул сладко.— И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямо пожар.

— Вольно же Богданычу... Костя мой только глаза протер.

— Может, обождать у порога прикажешь, начальница?

— Езжай, коли приехал, тряси Костю. У меня своя справа.

Настя направилась к свинарнику: нет, не дадут спокойно дожить эту куцо отмеренную неделю.

Как всегда, первым ее учуял Кешка, вышиб рылом задвижку, как всегда, кинулся навстречу, взахлеб негромко и радостно повизгивая, колыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро. Кешка подавал голос, просыпался весь свинарник, стены заполнял требовательный визг проголодавшихся за ночь свиней.

Обычно гнала от себя назойливого Кешку:

— Кыш, дурак! Не липни! Погибели на тебя нет...

А сейчас преданная поросячья радость ударила в сердце, потрясла, словно гром над головой.

Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а что осталось? Одна живая душа на свете ее любит, не отвернется, не шарахнется в сторону. Даже мать осудит, даже родная мать! Одна живая душа на всем свете и та поросячья. Ластится Кешка, лишь ему можно верить, лишь он надежен — не продаст.

И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхватила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое поросячье ухо:

— Ве-ер-ны-ый ты мо-ой?

Затравленный звериный вопль — жалоба на людей.

Егор Помелов со своими плотниками поработал на совесть. К вечеру избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней прислонены входные двери со знакомой скобой и устало упавшей задвижкой...

Падал реденький сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. Разрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село, в бывший Костин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены стены — это начало, остальное будет рушиться завтра... Стоишь, как на пожарище.

После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло думала о людях: они станут ее врагами, все до единого. Сейчас пока эти враги желают ей добра, потому и разгромили дом, негде преклонить головы. Кучи бревен и голая, зябнущая печь, взметнувшая трубу в небо,— вот оно, начало конца.

Разрушенная изба напоминает пожарище... Настя стояла, разглядывала ее, и морозец продрал по спине...

Как вырваться из петли?.. Оказывается, можно, дух захватывает. Но ей-то теперь терять нечего...

21

Ночь провела в доме Павлы, одна, без Кости и без матери. Так уговорились: те пока будут жить в селе, Настя эти дни перебедует в Утицах, не бегать же ей по утрам за семь километров к свинарнику.

Снова ночь провела без сна, снова думала...

Спозаранку, как всегда была на свинарнике: растопляла плиту, чистила, скребла, разносила ведра с месивом. В углу под дощатым столиком стояла четверть с керосином, дрова порой были сырые, не сразу занимались — плескала на них. Четверть пыльная, давно не троганная, почти полная... Настя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под рукой.

Перед обедом сказала Павле:

— В Загарье мне надо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужда потолковать, в банк загляну — матери обещали пенсию пересмотреть. Поди, к ночи не управлюсь, придется у Маруськи переночевать. Ты подбрось моей прорве корму — вечерком и утром, ежели рано не поспею.

— Езжай, езжай, не впервой, сделаю,— согласилась Павла.

По свежему снежку прикатил на мотоцикле Костя — как тут без него Настя? Настя и ему сообщила:

— В Загарье еду...

Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с мерлушковым воротником. Не ехать же в райцентр в грязном ватнике, в каком щеголяла по свинарнику. Настя взяла у Павлы ее полушубок, шерстяную шаль, Костя свез ее на заднем сидении до автобусной остановки.

— Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там — да прямо к нам в село, с нами и переночуешь, утром в Утицы махнешь,— попросил Костя.

— Коль не запозднюсь, так и сделаю,— согласилась Настя.

В полушубке с чужого плеча, в чесанках с галошами

она для Кости выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная.

Маруська в Загарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежала: поросята дохнут, выручай... Тогда Настя была простая свинарка, теперь — знатней по району человека нет, а вот ведь заходит, не забывает.

— Марусенька, любушка, тут у меня дел невпроворот — и в банке и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночевать.

— Да господи! Место не заказано. Всегда рады...

Маруська — добрая душа, и дом у нее свой, и в каждой комнате кровать никелированная с периною...

— Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как у нас — толки-перетолки, заседания, конца не видно.

— Хоть к третьим петухам. Стучи в окно — открою. Постель тебе с вечера приготовлю, чистое постелю.

— Право, хлопот-то тебе со мной...

— Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.

Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Маруськой — темно, напротив райисполкома и почты зажглись фонари.

Настя забежала в банк, стукнула в кабинет к самому Сивцову, тот был рад ее видеть, рад помочь Настиной матери с пенсией, но нужны справки из райсобеса, справки, из военкомата. Сивцов загибал пальцы на сухонькой руке, ласково посматривал сквозь толстые очки, а в голосе суровенькая вежливость — понимай: ты хоть и знаменитость, но и знаменитым законы писаны.

— Придется заночевать здесь,— со вздохом мирно сказала Настя.— Сегодня-то не успею достать...

В банке не задержалась, бросилась в райком. В райкоме не было ни Пухначева, ни Кучина — оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывозкой хлеба. Говорила Настя с инструктором Лапшевым и ему сообщила:

— Здесь нынче заночую. Завтра утречком заскочу.

Из райкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной остановке, на ходу закуталась в шаль, подняла овчинный воротник, так что нос не виден, одни глаза. И не удивительно — морозец, чуть-чуть сыплет сухонький снежок.

Удачно рассчитала, автобус еще не ушел, иначе ждать бы часа два, не меньше.

Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид что дремлет. Почти все в районе ее знали в лицо, а тут еще впереди через два ряда торчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил механизмы в новом свинарнике. Он тоже не узнал Настю — попробуй-ка разглядеть, кто такая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. Техник-монтажник сидел нахохлившись и читал книжку.

Он сошел в селе. Настя проехала еще три остановки, отсюда до Утиц прямая дорога через поля.

Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на холод из теплой избы. Настя, кутаясь в шаль, бежала почти бегом...

В Утицах избы теплились редкими огоньками — добрые люди сидели за самоварами, на сон грядущий гоняли чаи. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настиного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.

Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей... А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.

На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой... Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же... Кому знать, что их было два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.

Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.

Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь...

И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий...

Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.

— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!

Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят,— оглянулась... Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыль с керосином?.. Ах, вот она.

Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой,— их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине. Канители, Кешке. И Кешке тоже...

Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат... Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?

И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыль, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню...

Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет... Керосинный запах, одна спичка в солому...

«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.

А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Беда!!. Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дождется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..

Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять,— одна спичка...

Но рано... Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.

Одна спичка... Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:

— Эй, Кешка!

Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла...

Кешка завозился в глубине.

Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.

— Эй, Кешка!

И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени, счастлив негаданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку:

— Гуляй, лапушка, живее...

Теперь все. Одна спичка!

И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ...

Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?

Можно бы и не спешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.

Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Марусеньки приготовлена перина под чистой простынью. А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Пуста дорога... И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался...

Кешка привычно ткнулся в колени.

— Кыш! Иди-ко, любый, иди. Покуда сам живи. Авось, завтра встретимся...

Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что пуста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли...

Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это ночью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все пропало!

— Кыш! Погибель моя! Кыш, дьявол!

А он врезался с разгону в подол.

— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.

Сопение сзади, нет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся, опять за жалость-то.

— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.

Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней... Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрышки...»

Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:

— Провались ты, треклятый! Сгинь!

Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:

— Знатье бы... Эх, знатье бы... Да я бы тебя поганого!..

Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганый, уже не доверяющий.

— Кешенька, иди, голубчик... Подь сюда, глупый...— Голос елейный, со слезой.— Да иди, сатана, поближе, иди!

И он бочком придвинулся. И грузный камень опустился на морду, и по темному полю пронесся морозящий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, надрывный, оскорбленный, горестный.

И тут произошло невероятное. Настя словно проснулась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накрытая глухой тьмою, преступница, прячущаяся от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — нет ничего святого, гори ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее труд, ее прошлые радости и беды, гори все живое, поднятое ее руками! Вопят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших, подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — одинокий выродок среди ночного поля. Вопят свиньи...

Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, бросилась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда, к своим!

Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на полушубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.

В деревне теплится чье-то одинокое полуночное окно. И не видно пока зарева. Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, пробитой своими ногами,— поспе-

ет, должна поспеть! Свинарник издалека — сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша. Нет беды, не померещилось ли?

Но, еще не добежав, услышала истошный визг, приглушенный стенами. И этот визг подхлестнул...

Дверь в кормокухню. На ней замок. И похолодела — ключа-то нет, ключ-то остался в брошенном полушубке. И визг свиней, и через дверь слышен какой-то блудливый, трескучий перепляс... Замок — ключа нет. Вторые ворота заложены изнутри.

И заметалась вдоль по стене от окна к окну. Но окна узки, рамы крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла, завернула и ахнула... Со стороны деревни свинарник сонный и темный, но он собой закрывает розовый снег. Из окна кормокухни выплескивает кипящее, жадное, в темных чадных завитках пламя. Оно облизывает стену. И часть стены — золотая, яркая, выедающая глаза. А на крыше вдруг на пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший рев одичавших свиней. И ничего нельзя сделать.

Настя заломила руки и завопила:

— Спасите! Спаси-те!!

Не переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к первому окну, кулаками изо всей мочи:

— Спасите! Спаси-те!!

Ко второй избе:

— Спаси-и-те!!

Хлопнула дверь, другая, хриплые мужские выкрики, бабье оханье. В стороне над свинарником крепло зарево, тускловатое, с багрянцем, как освещенный под гаснущей печи.

Хлопали двери, и над деревней разносился надрывно зовущий, плачущий голос:

— Спаси-те!! Спаси-и-те!!

Люди добрые, спасите Настю.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

Тендряков В. Ф.

Т33 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 1. Повести. Вступ. статья Е. Сидорова. М., «Худож. лит.», 1978. 494 с.

В том вошли семь известных повестей В. Тендрякова «Не ко двору», «Ухабы», «Чудотворная», «Суд» и другие написанные в первое десятилетие творчества писателя,

Т $\frac{70302\text{-}236}{028(01)\text{-}78}$ подписное **Р2**

Владимир Федорович Тендряков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 1

Редактор
Н. Иванова

Художественный редактор
И. Сальникова

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
Т. Бардина и Г. Киселева

ИБ № 877

Сдано в набор 23.09.77. Подписано к печати 26.05.78. А00970. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 26,04 усл. печ. л. 27,03 + 1 вкл. = 27,08 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 2140. Цена 2 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.

